

ISSN 0130-7673

Ж О В Ы И
М И Р

Ж О В Ы И
М И Р

1989

1



1989



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 1

Январь, 1989 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН — К вопросу о бессмертии. Из заметок минувшего года	3
ГЕННАДИЙ СТУПИН — Свет мой безмерный, стихи	51
ВЯЧЕСЛАВ ПЬЕЦУХ — Новая московская философия, повесть	54
АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ — Грань, стихи	125
ВАЛЕРИЙ РУБИН — Репортаж, стихи	129
ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА — Первая попытка, рассказ	131
ГЛЕБ СЕМЕНОВ — Остановись в потоке, стихи. Вступительное слово Виталия Шенталинского	154
АНАТОЛИЙ НАЙМАН — Рассказы о Анне Ахматовой	160

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Из истории русской общественной мысли

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ — Статьи и письма. Составление Р. Гальцевой. Публикации Р. Гальцевой и И. Роднянской, Александра Носова, Марка Смирнова. Комментарии Александра Носова, Марка Смирнова. С. С. Аверинцев — К характеристике русского ума (вступительная статья)	194
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ИГОРЬ ЗОЛОТУССКИЙ — Крушение абстракций	235
---	-----

(См на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Марина Новикова. Дети барака.	
Сергей Иванов. О «малой прозе» Искандера, или Что можно сделать из настоящей мухи.	
Юрий Карабчиевский. «...До былой слепоты не унизимся».	
<i>Политика и наука</i>	
Петр Черкасов. Государство СС.	
В. Вахрушев. Когда Адам пахал, а Ева пряла...	
Михаил Буянов. Образцы великих.	
КОРОТКО О КНИГАХ:	
Вячеслав Кондратьев. — Вилен Сальковский. Смоленская дорога. Роман. ♦	
А. В. Михайлов. — Арсений Гулыга. Путиами Фауста. Этюды германиста. ♦	
М. Киселева. — В. Г. Горохов. Знать, чтобы делать (История инженерной профессии и ее роль в современной культуре)	269
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН

★

К ВОПРОСУ О БЕССМЕРТИИ

Из заметок минувшего года

В минувшем году от первого до последнего его дня мы открытыми глазами вглядывались и в свое настоящее и в свое прошлое, пытались мы и заглянуть в будущее. Мы пытались понять самих себя, но самого себя нельзя ведь узнать без понимания окружающего мира, без тех фактов, происходящих в нем, которые мы часто называем примерами.

...Что было — все перед глазами, озвученное и окрашенное, явленное и до сих пор недоступное пониманию, потому что это — глыбы, это — тучи времен, с помощью одних только воспоминаний на них не вскарабкаешься, и редко-редко когда удается вырвать у памяти какое-нибудь событие, чтобы затем втиснуть его в рамки повести, рассказа, еще в какой-то литературный жанр.

Большое и существенное событие всегда противится литературному жанру. Понятно почему: у повести, у рассказа, так же как и у научного исследования, есть границы, есть начало и конец, есть единая мысль и более или менее определенный сюжет — у большого события границ нет. Если исключить период его созревания и назревания опять-таки неопределенной продолжительности, тогда возникнет дата его начала, но конец события определить уже невозможно, только чисто формально, потому что оно еще и еще будет жить и жить в памяти и психологии людей, в их поступках, во всей их деятельности.

Даже роман с таким явлением не может справиться. Большие события дробят жизнь человека на несколько жизней, отчуждая одну от другой и как бы даже и от того, кто все эти жизни прожил, от собственной природы и личности того человека, который когда-то вошел в жизнь.

Вот и не знаешь, что это такое — твоя жизнь. Твоя она или чужая? Чужая судьба? Тебе она принадлежит по праву или по случаю? Или исключительно тому времени принадлежит она, в котором ты угодил жить, в котором все еще годишь и живешь?

А главное, предвидеть надо уметь, без предвидения разве жизнь? В лучшем случае это некое существование.

Конечно, нынче проще всего предвидеть конец света, нынче он реальность, а вовсе не та сказка, которой люди веками пугали друг друга, находя в этом некое моральное и возвышенное утешение: вот, дескать, какого бесстрашия духа мы достигли! Нынче бесстрашие духа и совести в другом — в несогласии с реальностью, в приложении сил к тому, чтобы восстановить идею бессмертия хотя бы относительного, в пределах доступной нам обзорности.

Не могу привыкнуть к мысли, что я старше советской власти, старше Октября 1917 года!

А ведь я помню годы первой мировой войны. Помню газеты того времени и крупно напечатанные сводки «с театра военных действий», которые я еще не умел прочесть, но уже знал, что это такое, что это за «театр»: солдаты в папахах, в шинелях и с винтовками наперевес, бородатые и суровые генералы, «павшие смертью храбрых». И, значит, так: солдаты ходят в атаки, а смертью храбрых погибают генералы — вот что явствовало для меня из газет.

Помню манифестации по случаю свержения самодержавия: красные флаги, лозунги, улыбки радости и надежды. Толпы, толпы... И меня медленно-медленно ведут за руку, а то и несут на руках в этой толпе, и я так ликую — кажется, больше всех. Малыши всегда откликаются на ликование толпы, всей душой хотят быть участниками праздника. Это уже потом, с возрастом, не каждый праздник для человека — праздник. Далеко-далеко не каждый.

Ну и еще такую картину вижу: партизанский вождь Ефим Мамонтов в кожаной куртке, в светлой папахе с красной лентой. На белом коне, с оголенной пашкой.

Лубок? Лубок и есть, но реальный, живой. Видел в Барнауле, на Демидовской, ныне площади Свободы, в декабре 1919 года, в тот день, когда мне исполнилось шесть от роду. (Много позже я написал роман, в котором главным героем был Ефрем Мещеряков, его прототип — это Мамонтов.)

Нэп помню — это уже вполне сознательно и как бы даже участвуя в нем. Я учился в барнаульском сельхозтехникуме — старинное, еще демидовское здание окнами на ту же самую площадь. В этом здании проходили нередко заседания правления Алтайского союза кооперативов. Мужики-правленцы в посконных рубашках с витыми поясками беседовали друг с другом.

После того мало где и мало от кого я слышал такие же выразительные и такие толковые речи. Бестолковых речей там не было, ораторов, если они говорили не по делу, тут же сгоняли с трибуны: «Седни нам недосуг. Завтре доскажешь!»

И коллективизацию помню. Как проходила она в Барнаульском районе, в Бельмесовском кусте — все в мельчайших подробностях. Она проходила при самом активном участии все тех же мужиков и без особых потерь на раскулачивание — этот район, как говорится, бог (относительно) миловал. К тому же и урожай от «первой большевистской весны» 1931 года вышел в наших краях отменный, и его убрали. Ну, правда, молотили до весны.

Проблема апокалипсиса нас не бог весть как волнует. Нас проблемами нынче вообще не удивишь, и этой тоже.

Между тем именно эта проблема и есть существо нашего века, века, в котором она явилась впервые, явилась отнюдь не извне. Если бы так, дело было бы проще, мы умеем бороться с силами внешними, но мы создали ее своими руками, а нет ничего труднее как переделывать то, что самим же и сделано, — для этого нужно переделывать и себя тоже. Так или иначе, но и легенда о нашем бессмертии уже рухнула, и «бессмертие» заменено другим словом — «выживание», словом, по существу, позорным для XX века, для всей предшествующей истории человечества.

Человек миллионы лет только и делал что выживал ради того, чтобы жить — выживал в пещерах и шалашах, выживал в страшных эпидемиях и голодовках (я вот тоже до сих пор помню, как говорилось: «волжская голодовка», «украинская голодовка»), — выживал и выжил в пятнадцати тысячах войн, которые сам же и затевал, но всегда он верил, что доживет до жизни «настоящей», практически — бессмертной, гарантированной для множества поколений. Именно ради этого и создавал он и науку, и искусство, и новые социальные системы, и медицину, а когда все это создал, оказалось,

что ему как никогда прежде необходимо самое элементарное, примитивное, чуть ли не в пещерном смысле выживание.

Мы все вместе уступаем и уступаем в нашей мечте о светлом будущем, о свободе, равенстве и братстве. Мы уступили все что могли, все, что уступить было можно, и многое из того, что уступать ни в коем случае было нельзя. Теперь уже перспектива выжить, и слово «выжить», и девиз «нет войне!» для нас чуть ли не равнозначны словам о свободе, равенстве и братстве в их еще недавнем и великом смысле. Нам нынче не до жиру, быть бы живу. Быть бы живу какими-нибудь, неизвестно какими.

Мы чуть ли не согласны и на то, что равенство наше заключается лишь в одном факте: мы все еще живы и все хотим жить, вот и вся «великая» идея! Вот как мы обеднили самих себя, к чему великие принципы гуманизма.

Неужели же мы не способны осуществить и этот минимум — миниморный принцип?

Нельзя открыться самому себе или — самим себе.

Друг друга-то мы знаем хорошо и даже слишком хорошо и за всем этим «слишком» теряем нечто самое главное, имеющее историческое, подлинно общественное значение.

Только открываясь другим, мы нынче открываемся самим себе, самих себя более или менее полно познаем. Другие — это другие народы, для которых наше нынешнее самооткрытие — процесс подлинно исторический, он же психологический и человековедческий.

Очень интересно наблюдать, кто и как нынче воспринимает это наше самооткрытие, то есть нашу перестройку. Ну, скажем, как это воспринимают американцы.

В декабре позапрошлого года мне довелось быть в экспертной группе, сопровождавшей миссию М. С. Горбачева в Вашингтон. Не буду говорить о ходе переговоров Горбачев — Рейган, о них многое сказано с большим знанием дела, чем это могу сделать я, собственно дипломатических впечатлений у меня и нет, мы присутствовали только на встречах непротокольных, но этих последних было много — в Белом доме, в госдепартаменте, в посольстве, в частных домах, — и участвовали в них люди, будем говорить, серьезные: крупные политические деятели, настоящий и бывшие вице-президенты, бывшие госсекретари, ученые. Я пытался посмотреть на нас как бы их, американскими глазами. Мне казалось, что мы представляли для них прямо-таки сногшибательное открытие: люди как люди и говорят откровенно, очень часто откровеннее, чем они сами. Смеются. Шутят. Не пренебрегают и анекдотами, до которых сами американцы великие охотники.

Но дело даже и не в этих всем и каждому видимых частностях, дело в том, что один народ открывался здесь другому. Такой здесь шел процесс. По нынешним временам все еще довольно редкий и необычный.

Открытие же и осознание одного народа другим — это великое открытие, если хотите, и научное, и эмоциональное, и, может быть, наиболее человековедческое, чем что-либо другое.

В конце концов это открытие мира, того самого, ради бессмертия которого и встречались руководители двух великих государств, незадолго до того как бы даже и исключавших друг друга из своего поля зрения, бывших друг для друга только противниками, и никем другим.

И тут вот что стало заметно: американцы слушали друг друга без внимания, они были не бог весть как интересны самим себе, а я, пожалуй, не преувеличу, если скажу, что их и мне тоже было слушать не так интересно, как своих.

Наш внутренний процесс самооткрытия, самосознания и взаимных знакомств в эти дни перестал быть внутренним, домашним, он в те дни происходил за океаном, в чужой стране и, я бы даже сказал, становился нормальнее, поскольку был лишен мелочности и той домашней опеки, которые так часто не идут на пользу большому делу. Я не дипломат, но сдается мне, что я был свидетелем возникновения новой дипломатии, основанной на таких принципах, которые приемлемы не только для двух или более договаривающихся сторон, но и для всех народов мира. Не побоюсь и другого слова — основана на откровениях, которыми люди и целые народы способны делиться между собой. Я не представляю себе, что отныне так будет всегда, но что так уже было, что такая возможность существует и может быть реализована — это факт.

И еще в тот раз я подумал о том, что всякий союз между договаривающимися сторонами — это культура, иногда высочайшая, а всякое, и тем более резкое, размежевание между людьми — это антикультура.

В семье, в домашней обстановке, на ночь глядя или поутру мы то и дело возвращаемся к мысли о том, что станет с нашими детьми, что их ждет. Уж не последнее ли они поколение на земле? Правда, мы избегаем говорить об этом вслух...

И что семья может сделать для выживания человечества?

Мы думаем: это решается где-то там, наверху. Как сумеют сделать они, так и будет.

Они — это главы правительств и министры. Мы очень боимся, что те, кто решает проблему выживания человечества, могут быть заражены этими пороками — формализмом и бюрократизмом. Наш опыт доказывает: может это быть, может!!

Выживание нынче решается в двух сферах — в сфере отношений людей между собой (политика) и в отношении людей к природе (экология). Что касается последнего, так лично у меня сомнений нет: здесь мы все, все наше общество еще в руках таких тупых и беспощадных бюрократов, которых, может быть, и свет никогда еще не видывал, они до сих пор считают экологию не международным, а внутренним делом, а раз внутренним, значит, и своим, значит, нечего тут и соваться какой-то там общественности, дело касается лишь тех, кому оно «положено». Впрочем, как наверняка догадывается читатель заметок, я эту проблему и дальше не обойду.

А сейчас скажу, что две эти проблемы — политическая и экологическая — составляют в современном мире ту одну, которая и есть проблема выживания. И, значит, возможности их решения тоже одни и те же. Какие? Я, он, она тут ничего не решат. Семья ничего не решит. На каком же уровне может сформироваться сила деятельная и действенная? Я думаю, на уровне народа.

О том, что народ — хозяин положения, что он творец своей собственной судьбы, творец истории и своего будущего, говорилось всегда, везде по разным поводам и разными словами. Но если XX век и создал какой-то новый гуманизм, так прежде всего в том, что он действительно приблизился и продолжает приближаться к идеалу народности, ко всему тому, что мы называем интересами народов.

Еще в конце прошлого века Африка была для европейцев и американцев страной африканцев, Азия — за исключением, может быть, трех-четырех народов — тоже была заселена азиатами, а нынче? Сколько там, на этих «далеких» континентах, оказалось суверенных народов, языков и государств!

Народы нынче находят все новые и новые общности между собой, это так, но они отнюдь не размываются в общей массе народонаселения земли, они отстаивают свою самостоятельность — негры в Южной Африке, палестинцы на Ближнем Востоке, — они все вни-

мательнее относятся к своей собственной истории, к своему собственному искусству и фольклору, они хотят быть такими, какими их создали история и природа.

В нашей действительности мы наблюдаем похожие явления, но только слишком уж часто не умеем использовать их потенциал, не умеем организовать общественно, чтобы отстоять себя этнически и политически, отстоять и природу как сферу своего обитания перед лицом высокоорганизованной бюрократии, которая потому и бюрократия, что не хочет, а может быть, и не может понять подлинных интересов народа,— собственные интересы для нее выше, их-то она и отстаивает. Ей это удастся, потому что неорганизованный народ — дело обычное, неорганизованной бюрократии попросту не бывает.

Наступил странный и удивительный исторический момент, когда внешняя политика нашего государства и многих других государств становится для нас все более понятной, более открытой, более действенной и благородной, чем политика внутренняя, когда наше государство имеет большие успехи в спасении всего мира, чем в спасении самого себя.

В мире становится все меньше и меньше тайн, скрываемых от народов: уходят в прошлое тайные договоры и союзы между штабами и главами разных государств, создаются, правда, новые виды оружия, но теперь уже и они задолго до разворачивания перестают быть тайными. Цивилизация — это же прежде всего информация, а информация делает народы человечеством. Теперь каждый народ несет свою историю и свои искусства в общий котел и многое оттуда же черпает, черпает то, что ему по душе, по вкусу и по потребностям пусть иногда и ложным, но это уже дело каждого народа — проявить в отборе собственный вкус и собственный такт.

Так или иначе, а движения и за мир, и за сохранение окружающей среды — это движения подлинно народные, а они, те, которые наверху, обладают правом быть там только в том случае, если выражают мнения и устремления своих народов.

Нынче даже социальные размежевания в недрах народов то и дело перекрываются именно этими общечеловеческими заботами и действиями. Территориальные притязания народов друг к другу, этот вечный камень преткновения, и нынче, как и прежде, нередко становятся причиной кровавых конфликтов, но время доказывает бессмысленность этих конфликтов и великий смысл компромиссов. Так было и в Африке, и в Афганистане, и в столкновении между Ираном и Ираком. Где-то, увы, происходит и иначе — в Палестине, например, и сейчас торжествуют средневековые методы решения спора.

Так или иначе, а во второй половине XX века общечеловеческие перспективы, общечеловеческие заботы каждого «я» и каждой семьи более всего оказалось возможным выразить через ту общность людей, которая — народ, оказалось возможным воплощать их в действие через ту же общность.

Нам и здесь нелегко, потому что слишком долгое время мы чисто формально пользовались понятием «мы — советский народ», не вскрывая сущности этого понятия, не размышляя над его правомерностью, его историчностью и будущностью, над его противоречиями.

Никакие другие события не предвещают людям столько драматических перемен, столько неожиданных последствий, как революции, недаром же говорится: подлинно революционное событие. Риск здесь значителен хотя бы уже в силу равенства противодействия действию — каковы силы революции, почти таковы же и силы контрреволюции, а может быть, они и больше; ведь если революционные силы имеют явное превосходство еще до своего открытого и вооруженного выступления, так и в выступлении, то есть в самой революции, нет необходимости. И так риск очень велик, но он ведь и

очевиден: революция твердо знает, чего она хочет, и выступает с открытым забралом, у ее противника забрало тоже открытое.

Другое дело, когда риск не очевиден, когда он тайна, когда он камуфлируется мнимым отсутствием противоречий, противоречий между словом и делом прежде всего, когда люди — и провидцы и просто-напросто способные к трезвому прогнозу — становятся «врагами Отечества», в лучшем случае они попросту оказываются ненужными. Так протекают явления, называемые перерождением революции. Период культа личности и период застоя страшны не только сами по себе, они приводят к тому, что теряется способность людей и общества в целом предвидеть последствия своих сегодняшних поступков и деяний.

В нашем социалистическом обществе (плановом!) это тем более неприемлемо, но это же в нем — увы! — было, есть и вовсе не исключено, что будет еще и еще. Это наш страшный бич, поразивший прежде всего ведомства, до неузнаваемости исказивший исходные принципы революции, ее результаты и перспективы, перспективы всего нашего существования.

Собственно говоря, революции ведь и не совершаются ради самих себя, а прежде всего ради блага тех эволюций, которые должны последовать за ними, в которые они должны вписаться.

Но вот между революцией и эволюцией вклинивается некий межумочный период, в котором все «анти» столь же антиреволюционны, сколь и антиэволюционны, и тогда ничто не находит самое себя.

Наши теоретики в стремлении sobлюсти «чистоту идеалов социалистических революций» нередко доказывают, что ни культ личности, ни застой, ни экономические аварии, ни нарушения прав человека к самим революциям никакого отношения не имеют, а главное, теоретически и иметь не могут, поскольку они не что иное, как «анти» — антиреволюционны, антисоциальны, антинародны и даже антипартийны(!). Так что все это не более чем случайные издержки революции.

Что имеют место извращения — это факт, сомнений нет, а вот что они случайны... Что за странная такая случайность, которая присуща едва ли не всем социалистическим революциям в Европе, Азии, Африке, да как бы и не в Америке тоже?

И тут возникает давний-давний вопрос, который, кажется, можно обозначить как «личность и революция». Революция — это творчество масс, это правда, но ведь правда и то, что ни в одном другом событии кроме как в революции не может наиболее полно реализоваться личность, а ее вождистские качества прежде всего.

Быть может, даже именно это сочетание на первый (и трезвый) взгляд несовместимых особенностей всякой революции и является психологически наиболее привлекательным, с одной стороны, для масс, с другой — для интеллигента, если он склонен не только к умозрительным заключениям, но и к самым решительным действиям в пользу этих заключений. Но это совпадение намерений, устремлений, идей и идеалов массы и личности не может продолжаться бесконечно. Будучи обязательным для успеха революции и в революции осуществившись, оно вовремя должно быть признано устаревшим.

Ведь революционные события — события стремительные, поэтому они и завершиться должны тоже вовремя, а часто и безотлагательно. Вспомним, в какие краткие сроки Ленин завершал революционные начинания и переходил к начинаниям мирного развития страны: не была еще закончена гражданская война между красными и белыми, когда он ввел «белый» нэп. Но Ленин был чуть ли не единственным исключением в истории русской, французских, английских, китайских революций. Еще в те времена, когда его партия была в подполье, он много говорил о бонапартизме, отрицая его не-

избежность при захвате власти революционным путем. Ленин столь многое совершил в этом мире, что лавры Бонапарта были для него никчемны и примитивны, они попросту унизили бы его.

Но именно то обстоятельство, что Ленин избежал бонапартизма, позволило его преемникам, во-первых, утверждать, что бонапартизм вообще не свойствен большевизму, а во-вторых, в целом ряде случаев далеко-далеко превзойти самого Бонапарта, даже и не обладая ни малейшими признаками и качествами оригинала. Вспомним хотя бы Хрущева. Тем более Брежнева.

Нет, неспроста пристальное внимание нашего общества, всего народа приковано нынче к личностям руководителей: а не произойдет ли повторение прошлого, не увидим ли мы столь знакомое?

Среди нас нет уже личностей, непосредственно прошедших школу революции, нет и тех, кого миновала бы школа культа и застоя, мы все мазаны одним миром, все мечены — и ведь как мечены-то! — одной историей, иной раз и места-то живого на человеке от этих месток не осталось.

И вот что удивительно: пусть их немного, но остались же люди, сохранились с не искаженными психикой и мышлением, хотя уже мало кто верил, будто сохраниться все-таки можно. Конечно, если таким сохранившимся человеком является ученый или писатель, так это проще объяснить, поскольку искусство и наука пусть в меньшей степени, но все-таки творчество индивидуальное. Было бы оно тоже коллективным, от и до организованным — разве сохранились бы хоть кое-какие признаки былой самостоятельности?

Но вот в чем еще дело: люди с идеалами подлинно социалистическими сохранились и среди тех, кто прошел всю иерархическую лестницу парт- и совработы периода застоя и даже прихватил ступени культовой иерархии тоже. Эти люди, пройдя через все должностные испытания, искривления, искажения и зигзаги, вынесли, наверное, глубокое убеждение в том, что если будет и дальше так же — катастрофа неизбежна, мы все погибнем, и вместе с нами погибнут, теперь уже навсегда, и социалистические идеи и социализм как таковой. Они убедились, что эту пагубную действительность нужно коренным образом менять, другого пути нет и не может быть — только демократия, только народовластие! Мы, народ, на такой поворот событий тоже мало надеялись, мы этих людей, занявших ныне самые высокие посты, не загадывали и на них не ставили — они сами пришли и теперь весьма энергично толкают нас к демократии и народовластию, преодолевая невероятные трудности.

Такого случая, а может быть, и такого казуса история, вероятно, еще не знала. Это совершенно новая постановка вопроса о личности и революции, о личности в истории. Вот как она откликнулась, революция, через семьдесят-то лет!

Мы вспоминаем, мы говорим: нэп, нэп.. Но если была новая политика, значит, было и новое мышление, раз было возвращение к тем или иным экономическим принципам, значит, было и возвращение к тем людям, которые эти принципы, если так можно сказать, персонифицировали, значит, пересматривалось и отношение ко всем тем, кто еще вчера числился по разряду «врагов». Я бы сказал: пересматривались отношения между людьми времен гражданской войны и «военного коммунизма». А вот эту новую, или обновленную, психологическую картину нэпа мы и не оцениваем. Не извлекаем из нее опыта. Попросту о ней забываем.

Я многое из того времени и в этом именно смысле помню до сих пор. Я жил в Барнауле, густо заселенном политическими ссыльными, с которыми мои родители поддерживали добрые отношения: интересные люди! Интересные люди были и меньшевиками, и эсерами, и «новая» ссылка в лице большевиков — уклонистов, оппортуни-

стов, оппозиционеров. Все они воспринимались тогда просто, естественно, без той злобы и непримиримости, которую открыл год 1929, год «великого перелома». Ссылками Россию — а Сибирь особенно — не удивишь. Вот я и вспоминаю, какие были тогда занятные фигуры. Не самые выдающиеся личности, нет, а именно занятные приходят прежде всего на память.

Ну вот был такой польский бундовец и меньшевик Гвиздон, маленький, рыженький, с невероятным каким-то акцентом, в прошлом судовой механик, а в еще более отдаленном прошлом люблинский портной. Именно портновское мастерство было его страстью, но в Барнауле он шить не хотел, шил, конечно, но безо всякого энтузиазма, мечтая о Варшаве, на худой конец о Люблине.

Была у Гвиздона жена — здоровенная сибирячка Евдокия, она приносила ему рыженьких младенцев круглым счетом по два каждые три года. Однако это не мешало Гвиздону пускаться каждую весну в бега, он достигал-таки очень беспокойной в те времена польской границы, там его ловили и возвращали в Барнаул с добавкой нескольких лет к сроку ссылки. Но Гвиздон свои сроки и не считал: десять или пятнадцать лет — какая ему разница?!

Весна — и нет Гвиздона в Барнауле, в его портновской мастерской по улице Гоголевской, и снова вздыхает Евдокия:

— Мой-то — обратно убег...

И это, эти побег, тоже никем не воспринималось как ЧП. Больше того — они входили в наш барнаульский быт того времени, и в конце зимы по домам и домишкам улиц Алтайских (мы жили на Третьей Алтайской) ходил какой-нибудь человек, затевал с жильцами разговор о том о сем, потом распахивал шубейку — там у него висела церковная жестяная кружка — и говорил:

— На побег товарищу...

Мать уже с января начинала беспокоиться: скоро март, а у нас на побег товарищу и полтинничка нет, нехорошо, надо как-то сэкономить.

При жалованье отца 33 рубля, при цене мяса 13 копеек за фунт, квартиры — 3 рубля в месяц, при покупке то и дело книг полтинник тоже был деньгами, и отец говорил:

— Ничего, не будет денег в марте — в мае побежит Гвиздон, ему прямо в руки и отдадим наш полтинник.

А при очередной встрече с Гвиздоном происходил такого рода зондаж:

— Ты чего это бегаешь-то, Гвиздон? — спрашивал отец. — Если уж бегаешь, так и убежал хотя бы один раз!

— А-эх, Павел Иванович, Павел Иванович, — грустно вздыхал Гвиздон, — мичта! Ты понимаешь ли, что такое есть мичта?

— Ну а если реально — в чем твоя мечта? На самых первых порах в чем она?

— Сшить костюм! Сшить костюм и смотреть, как человек идет в моем костюме по проспекту Варшавскому в Люблине, совсем хорошо — по Люблинскому проспекту в Варшаве! Он идет на заседание министров. О-о-о! Это, Павел Иванович, это картина! Это, если так, если так, это Рубенс!

— На кого же ты хочешь шить, Гвиздон? На Пилсудского, что ли? На Рубенса?

— Тьфу-тьфу! Пилсудский — польский черносотиниц, как можно!

— Тогда на кого?

— Конечно, на кто-нибудь руководителя моей партии. Только!

— Руководитель социалистической партии никогда не интересуется покроем своих костюмов!

— Заинтересуются! — отвечал дальновидный Гвиздон. — О-о! Как заинтересуются! Я заинтересую!

— Хороший костюм можно шить и в Барнауле.

— В Барнауле? Как это, по-твоему, по-русски я хочу сказать,— в зас... Барнауле? Никогда! Костюмом нужен шить на фигуру, конечно, но шить на фигуру — этому мало дела. Много дела — шить к обстановке, могу сказать — нужен шить на дворец польского сейма, на оперный театр Варшава, на костел святого Креста. Скажите мне, вот ты и Любовь Тимофеевна скажите: на какого и такого святого можно шить в Барнауле? На какого и такого, если Барнаул — это во-всеи не город, а только один городской юмор? Какой и такой костюмом можно шить на юмор?

Таков был Гвиздон. Людей неимущих, ссыльных прежде всего, он обшивал бесплатно и, как помнится, в спорах на политические темы был находчив и умен. Это уже из того следовало, что нередко он говорил:

— Надо бы убивать. Надо успивать, пока ваш неп не кончался... Надо бы успивать звать Варшаву Евдокию Петровну з детками...

Но убежать Гвиздон вовремя не успел. С 1931 года он бегать перестал, а в 1937 году его вообще не стало.

Так мне рассказывали позже.

Ну а чего стоил Георгий Сергеевич Кузнецов, деятель II Интернационала, рабочий-металлист, удивительный мастер на все руки! (Он послужил мне как прототип, когда я писал Казанцева в романе «После бури».) Лишь только через газету «Красный Алтай» он выразил желание сотрудничать с советской властью, как его тут же назначили директором крупного завода на Украине, кажется в Кривом Роге. Но там Георгий Сергеевич не дожил и до 1937 года.

А врач Матвей Павлович Элисберг! Этот ссыльных бесплатно пользовал, да и нашу семью тоже. Мать так и говорила отцу:

— Пойдем, Павлуша, к Элисбергам. Поговорим, а он заодно и Сережу послушает...

«Поговорим», «поговорить», «давно не говорили», «вот уж поговорили так поговорили», «мы с ним всегда разговариваем», «я при нем молчу» — это было исчерпывающей характеристикой тех отношений, которые складывались между людьми. Радио не было, о телевидении и речи нет — были только разговоры. И не так уж просто было «разговаривать», это стоило риска. Особенно в зимнее время. Вот в каком смысле.

Собирались в каком-нибудь доме по предварительному уговору (домашних телефонов не было ни у кого, служебных раз-два и обчелся) попить чайку. Взрослые пели русские народные песни, дети веселились сами по себе, потом все вместе играли в шарады, а настало время расходиться по домам — и лица у гостей озабоченные: как бы по дороге не раздели! Риск большой, особенно на окраинах — а все наши знакомые жили на окраинах, — глубокой же ночью раздевали и в самом центре города. И при встречах знакомые спрашивали друг друга: «Ну как здоровье? А на ваших улицах нынче раздевают?»

Отчасти всех утешал доктор Элисберг.

— Ничего,— говорил он,— если разденут — я постараюсь, чтобы шубы нашли и вернули.

Доктор Элисберг работал еще и в тюрьме, в каменных постройках бывшего женского монастыря (позже в этих постройках побывали многие, если уж не все ссыльные, доктор Элисберг тоже. Погиб же он в трюме корабля, на котором заключенных перевозили на Камчатку,— так я слышал.) Воры и грабители всего города Элисберга отлично знали и часто предлагали ему свои услуги по розыску украденного или снятого. Однажды был раздет и сам доктор, но

ему его шубу — с двумя большими кусками сала в придачу — принесли домой с глубокими извинениями сами грабители.

Все мы это знали, все доктору верили, но мать говорила:

— У Сережи здоровье плохое... Простудится ведь. Раздетый-то...

Был и еще один прием безопасности, который изобрел Николай Аркадьевич Швецов, красавец мужчина, бывший офицер, отвоевавший во всех войнах, которые были на его веку.

Кроме грабителей и разбойников, на ночных улицах Барнаула то и дело можно было встретить конвойных в военной форме и в штатском, которые куда-то шли еще «пустые» или же возвращались уже «загруженные» арестованными. В этом случае впереди шел один из конвойных, который, завидев кого-нибудь, а то и просто так громко кричал: «Дор-рогу! Дор-рогу!»

Так вот Николай Аркадьевич шел впереди возвращавшихся гостей и тоже кричал: «Дор-рогу!» Гости шли молчаливо, меня родители везли в санках, я очень стеснялся, но ходили они очень быстро, а у меня были пимы навырост, да еще и подшитые, в них я за взрослыми никак не успевал. И штаны у меня были очень плотные и долговременные, сшитые из байкового одеяла. Так или иначе, а бог миловал — никого из нас ни разу не раздели. Нынче, когда я вспоминаю все это, когда думаю, что это были за люди, я определяю их одним словом — «утописты», иногда и двумя: «русские утописты».

О чем они в ту пору вели свои бесконечные разговоры? Советской властью сосланные в Сибирь, они эту власть не ругали, нет. Несогласие было, ругани не было. Главными упреками были — жестокость гражданской войны и отсутствие многопартийной системы после войны. Но и к однопартийности присматривались внимательно: а вдруг получится? Ведь уже и получается кое-что, и вполне может быть, что на каком-то этапе единовластие и единодушие достигнут большего, чем может достигнуть многопартийность и разногласия. Надо, надо посмотреть. Надо пожить. Материальная сторона этого «пожить» мало кого интересовала.

И вот еще что: все верили в светлое будущее, причем не столь уж и отдаленное. Если большевики одни не будут справляться, что же, вот тогда они и призовут на помощь меньшевиков и эсеров, а может быть, даже оставшихся в живых кадетов. Надо, надо посмотреть, будущее России в ее собственных руках, в этом сомнений не было: от интервентов Россия отбилась.

Ну и такой вопрос: а власти-то, барнаульские большевистские власти того времени как относились ко всей этой ссыльной публике? С которой они то и дело были знакомы лично, с которой лет двенадцать, а то лет восемь тому назад, при царском правительстве, они, бывало, вместе сживали в одних тюрьмах, в одних камерах, путешествовали в одних арестантских этапах?

Я на этот счет вспоминаю такой случай, точнее случаи. Когда мы жили на Третьей Алтайской, окно нашей комнаты выходило в палисадник соседнего дома, хозяйка которого содержала пансионат для ссыльных. Она, офицерская вдова, сдавала им комнаты и углы, готовила нехитрую пищу, стирала белье. А в палисаднике у нее стояли скамьи и топором рубленный длинный стол — все лето за этим столом и шли «разговоры», иногда очень громкие. Мать этот шум очень переживала: не дают, негодяи, спать Павлуше, а ему завтра на работу! Сердиться-то она сердилась, но сказать негодяям хоть слово, обантовить гам и шум так ни разу и не решилась, стеснялась. Гам особенно усиливался в те субботние вечера и ночи, когда к этой компании присоединялся... секретарь окружкома ВКП(б) товарищ Нахимсон (кажется, так). Вот уж тут был шум так шум — все набрасывались на одного, один на всех. Не смогу передать существование этих споров, не помню, да и проходили они ночью, но вот когда они

вдруг смолкали, я просыпался, выглядывал в окно и видел, как товарищ Нахимсон усаживается в незамысловатую пролетку, а его собеседники, провожая, стоят вокруг. Кучер кричит: «Ну, ну, Гнедко, шевелись-ка-а-а!» — и увозит Нахимсона (на Гору, где тогда уже была окружкомовская дача), а кто-нибудь из его недавних собеседников провожает Нахимсона так:

— Узурпатор! Приезжай, узурпатор, в следующую субботу — посмотришь, что от тебя останется!

В следующую субботу Нахимсон приезжал, и все повторялось сначала. Ну а если почему-то он в субботу не приезжал, вся компания заметно скучала. Одна только моя мать и бывала довольна:

— Слава богу, хоть потише будет и пораньше разойдутся!

Я же не знал такого слова «узурпатор», в нашем ребячем лексиконе оно не значилось, и я думал, что это страшное какое-то ругательство, и стеснялся спросить у взрослых, что оно значит.

Современный мир — это такой набор общественных и государственных образований, о котором сто лет тому назад никто и не подозревал. И похоже на то, что унификации ждать здесь и не следует, а вот еще большего разнообразия — сколько угодно. Если гуманизм в нашем веке и существует, так он, безусловно, сказывается в этом факте, в этом разнообразии, которое как бы повторяет разнообразие характеров и судеб отдельных людей.

Тем меньше современный мир дает оснований думать, будто одно из наличных государственных устройств может быть причиной гибели другого, что социализм обязательно погубит капитализм или наоборот: капитализм — социализм. И вообще бессмысленно ждать единомыслия всех, искать общий для всех знаменатель, его не будет, кроме одного: принципа жизни для всех.

Небесполезно учесть и такой факт: столкновения между государствами на нашей памяти происходили (и все еще происходят) не столько между капитализмом и социализмом, а несравненно чаще между странами капиталистическими или капиталистического толка. Мировые войны, первая и вторая, — это сугубо капиталистическое изобретение, обращенное все к тому же принципу универсального и безудержного обогащения, ну а еще это и Доминиканская Республика, и Гренада, и Фолклендские острова, и Ближний Восток, и Египет — Израиль, и индо-пакистанские конфликты, и конфликт Иран — Ирак, и т. д. и т. д. Об экспансиях, о колониальном гнете XX века, о долговых ямах, в которые одни капиталистические страны сажают другие, тоже капиталистические, — обо всем этом все мы знаем.

Вот и следует спросить: в каких условиях возникает больше шансов для мирного будущего — в социалистических или капиталистических? Именно так: предшествующая нашему времени «однопартийная», а главное, одновластная в мире капиталистическая система никак не доказала своего миролюбия, зато оправдала и подтвердила характеристику, данную ей Лениным: эпоха колониализма и мировых войн.

Собственно, капитализм никогда и не скрывал своего милитаризма, мир до сих пор был чужд ему, разве только за столом переговоров с повергнутым в прах противником он заключал «мирные» договоры, но и тут закладывал в текст возможность новых и новых войн, ведь чем ближе, чем очевиднее для него противник, тем стремительнее он развивается, крепнет материально и идейно. Ведь враг для капитализма — это самый выгодный заказчик самой выгодной продукции, то есть вооружения, а ради приобретения такого заказчика капитал пойдет на все что угодно. Если враг отсутствует, какой другой заказчик обеспечит эти же прибыли? Нет такого! Поэтому и надо создавать врага во что бы то ни стало, надо живописать его

портрет любыми художническими средствами и всей силой политического и предпринимательского воображения, чтобы он выглядел ужасным, могущественным, жестоким, коварным и вездесущим...

Чтобы оправдать такие вооружения, которые способны уничтожить врага 150 раз подряд, какой его портрет нужно создать? То же со столпятидесятикратными преувеличениями? И какой нужно создать ореол вокруг тех, кто этому врагу противостоит? А слава какая должна быть у живописцев, которым «свободный мир» вверяет создание портретов врага?

Об этом говорил еще Маркс (не устаю приводить эту цитату): «Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте капиталу 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживленным, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы». Однако Маркс не предусмотрел того, что прибыли производителей оружия к концу XX века достигнут... 2000 процентов.

Должен сказать, что я не раз слышал возражения на этот счет. «Нет,— говорили мне,— товарищ Маркс устарел, прибыль, процент прибыли на капитал, теперь уже не играет прежней роли, обогащение — это уже далеко не единственный стимул агрессий и агрессивных действий. Власть, стремление к ней — стимул такого рода ничуть не меньший. Гитлер же не стремился к богатству, он стремился к власти, к власти той идеи, которой он сам служил бескорыстно. Сталин умер в бедной, плохо обставленной квартире».

Однако ошибочно было бы утверждать, будто «процент на капитал» сошел со сцены, не вершит и далее судьбы человечества. Убийства, террор, мафии, наркомания, чудовищные по своей жестокости фильмы, отравления промышленностью среды обитания, невероятная бедность целых народов — это что такое? Разве это не процент на чей-то капитал?

Убийство Джона Кеннеди, Роберта Кеннеди, а затем и множества свидетелей этих убийств — разве это не тот же жуткий «процент»? Все усилия, направленные на то, чтобы трагедия как можно скорее была забыта, — разве это не он?

Кроме того, «процент» так нынче научился камуфлироваться, маскироваться под благотворительность и бескорыстность, что, пожалуй, и сам Карл Маркс его бы не сразу распознал. Но все равно «бескорыстный процент» странен уже потому, что он процент, прирост, он как таковой не способен сделать бедного богатым, его назначение — обогатить богатого. Ну и еще облагородить его.

Стремление к власти, говорят нам, сильнее стремления к обогащению. Но ведь власть — это то же богатство. Может быть, это не золотые слитки, не бриллианты и не дворцы, а только возможность (иногда и не используемая) всем этим распоряжаться и владеть, но без богатства разве обходится власть в тех же США? Чего стоят там одни только президентские выборы!

А оттого, что богатство и в самом деле может играть роль не более чем средства в достижении цели — в том числе и власти, — дело опять-таки не меняется. Цели могут быть поставлены любые, для них нет ни преград, ни логики, ни исторического опыта и даже самой истории, ни обязательств перед той самой современностью, которая их порождает, цели нынче то и дело невероятнее и утопичнее, чем сам классический утопизм — тот выстрадан и воспитан тысячелетиями, а эти чем? К тому же — увы! — и классический утопизм тоже перерождается, становясь то меркантилизмом, то донельзя самоуверенным сумасбродством, и нынче его нужно оберегать, да,

оберегать, и цели оценивать не сами по себе, а по тем средствам, которые они принимают на свое вооружение.

Мы — все наше общество, весь «социалистический строй» — прошли в вопросе соотношений между целями и средствами, можно сказать, великолепную школу, труднейший «спецкурс». Наш печальный опыт, на многие годы привлечший внимание мира, помог капитализму скрывать его собственные грехи и пороки, которые столь явственно обнаружались уже в 1917—1920 годы. А что же последовало из этого сокрытия? То и последовало, что капитализм сначала вступил во вторую мировую войну, а после нее поставил мир на край ядерной катастрофы.

Нельзя отрицать того, что и в нашем обществе существует «процент на капитал», причем — и это парадокс, но это так и есть — даже тогда, когда и капитала-то нет. Это внушает некоторый оптимизм: легче устранить парадокс, чем тот принцип бытия, из которого парадокс проистекает. Теперь мы сами — и это следует еще и еще раз подчеркнуть — собственными силами вскрыли свои заблуждения.

Посмотрим, какие способности и возможности в том же направлении покажет строй капиталистический, который как ни крути, а может быть только процентным. Процентным по Марксу.

И так бы оно и было, стремление к обогащению самых богатых привело бы к порабощению ими всего мира, если бы не появился противовес этому стремлению — социализм. Социалистические идеи в том или ином виде существовали всегда, развития общественной мысли без них еще не бывало, если же эти идеи будут преданы — плохо будет нашему общечеловеческому делу. Если мысль существует многие века, она не может не найти себе того или иного воплощения, своего собственного строительного объекта. Социализм должен быть на земле, но вот вопрос: в каком образе и каким образом? в какой постройке? Во всяком случае не в тех, которые возводятся ради получения тысячепроцентных прибылей, поскольку доходы эти всегда имеют место за счет кого-то — чьего-то обеднения, чьих-то несчастий, чьих-то долгов. Однако этого принципа — принципа от противного — для реального социализма оказалось далеко не достаточно. Мы в этом убедились.

Социализм за все время своего государственного существования так и не обрел соответствующих форм государственности, именно в этом направлении он ищет и ищет. Конечно, это странное состояние: форма без соответствующего содержания. Но, с другой стороны, человеческие общества никогда не являлись в законченной форме и с совершенно определенным содержанием.

Такое совершенство скорее всего присуще миру животному.

Наверное, можно сказать и так: социалистическое общество, худо ли, хорошо ли, опять-таки без надлежащих навыков, законов и морали, но уже существует, а вот что касается приемлемых форм его государственности — они так и не найдены. Трудный случай, но еще хуже было, когда государство «развитого социализма» формировало, конструировало и «укрепляло» общество исключительно по своему образцу и подобию, по своим госбюрократическим представлениям и требованиям.

От этого средневекового, антиисторического, антисоциалистического, античеловеческого принципа мы ушли совсем недавно, и не только ради себя, но задача государственного устройства социализма осталась она, мне кажется, самая существенная в процессе, который мы называем перестройкой. Решающее слово в этой проблеме нынче за нашим обществом, которое в соответствии со своими представлениями и требованиями должно строить и государственность.

И как же это трудно! Мы ведь до сих пор не сформировали своих реальных требований к государству — именно реальных, — тем более не сложились у нас представления о том, какая же все-таки должна быть у нас структура госаппарата, и не временная, не переходная, а долговременная.

Почему-то до сих пор у нас бытует мнение, что нэп — это мелкие лавочки, мелкие мастерские в городе и частный сектор в деревне. А это не так. Существовало, например, Всесоюзное акционерное общество розничной торговли (АКОРТ), оборот которого немногим уступал оборотам государственной торговли. Или другой пример. Мало кто помнит нынче, что, например, железная дорога Москва — Донбасс тоже была сдана в руки акционеров и при этом приносила государству доход не меньший, чем если бы оно единолично эксплуатировало эту дорогу.

На Западе экономика именно таким путем и регулируется: приходят к власти «левые» и национализуют крупную промышленность, устанавливая в ней более легкие условия труда, сокращая безработицу, предоставляя большие права профсоюзам, при всем при этом, однако, производительность труда на государственных предприятиях снижается, себестоимость продукции повышается, удлиняются сроки модернизации предприятий; приходят правые, например г-жа Тэтчер, и проводят политику денационализации, а вместе с ней повышается и эксплуатация рабочего класса, повышается (правда, не всегда) и безработица, урезаются права профсоюзов, но зато повышается и рентабельность предприятий и быстрее идет их модернизация.

Между прочим, одна из первых стран, где такого рода опыт был использован в железнодорожном хозяйстве, это Россия в бытность министра путей сообщения С. Ю. Витте. Очень интересны его записки на этот счет, поданные им Николаю II. Больше того — до революции студентам соответствующих специальностей читался курс «Железнодорожное право», в котором с достаточной полнотой излагалась теория вопроса о соотношении государственной и частной собственности.

И в самом деле, развитие той или иной отрасли народного хозяйства, как и вообще сколько-нибудь масштабная деятельность людей, может идти по единственному, безвариантному пути только в исключительных случаях, скажем во время войны или в период послевоенного восстановления. Во все другое время должен срабатывать некий регулятор, будь это «право — лево» или «государство — акционеры», но регулятор должен быть и осуществлять ту вариантность, без которой не может быть ни нормальной экономики, ни эволюционного развития. У нас ни этого, ни какого другого регулятора не было. Вот мы и зашли в тупик.

Если кто-то думает, что капиталистическое общество ничего не приобрело в результате Великой Октябрьской революции, так это ошибочная точка зрения. Отдельные капиталисты, может быть, действительно выиграли мало, а кое-кто из них явно проиграл, но что касается капиталистического общества в целом — оно приобрело многое, причем без особых усилий, а в ряде случаев и тогда, когда осуждало нашу революцию и активно противодействовало ей.

Поставим обычный в этой ситуации вопрос: а что было бы с Европой, и не только с ней, если бы наше социалистическое государство, такое неустроенное и даже нелепое с точки зрения истых европейцев, не оказалось бы столь стойким и способным на величайшие жертвы в войне против фашизма? Того самого, который капитализм же и породил? Как сложилась бы судьба рабочего класса на Западе, если бы Октябрьская революция не указала капиталу: не

жадничай, не эксплуатируй рабочего жестоко и безоглядно — иначе и в твоей стране может произойти Октябрь! И капитализм это понял и в ряде случаев даже сделал рабочего акционером предприятия, на котором тот работает. А нынче, когда этот рабочий имеет высокий, очень высокий уровень жизни, неплохо ему было бы вспомнить, что обязан он этим не одному только владельцу предприятия, но и его учителям тоже.

Ну а западная социал-демократия? Сейчас она играет роль громоотвода: вот какая там демократия, какая многопартийность, зачем же такая крайность, как компартии? Но не будь этих «крайностей», что стало бы с социал-демократией, проявлял бы к ней лояльное отношение капитал или уже нет? Сотрудничал бы с нею или нет? Вот в Америке не имеет компартия заметного влияния, не возникает там перспективы прихода ее к власти, так нет там и социал-демократии.

Нам социал-демократы говорят: а вы не такие, какими должны быть. И правильно, мы и сами понимаем это, а нынче поняли окончательно и перестраиваемся. Но вот в чем дело: если бы социал-демократы хотя бы в одной капиталистической стране построили социализм, показали пример его мирного внедрения-врастания в капитализм! Тогда мы поклонились бы им в ноги, тогда и вправду возник бы серьезный вопрос: а зачем, собственно, существуют компартии? Но что-то не слышно о таком прекрасном примере, затеяли социал-демократы долгострой — и строят, и строят... Смежники, что ли, их подводят? Или они и не хотят другой роли чем роль регулятора «право — лево», регулятора социальных отношений и конфликтов?

Впрочем, я не хочу умалять значения социал-демократии. Нужно помнить, что лекари не раз спасали мир, нужно предвидеть, что впереди им предстоит очень много самой ответственной работы, с которой нельзя опаздывать, нельзя передоверять ее врачам — эпидемиологам и хирургам.

Не бог весть какой положительный пример, особенно в недавние годы, являли и мы для развивающихся стран, но тем не менее они одна за другой избирают социалистический путь. Почему так? Наверное, потому, что не сладок и капитализм, тем более в его азиатском или африканском воплощении, потому что именно социализм позволяет в определенные, исторически наиболее ответственные моменты сосредоточить все силы нации, всю ее энергию на скорейшем развитии промышленности, а если браться с умом — то и сельского хозяйства и начал культуры.

Одним словом: любой опыт любого общества — это опыт общечеловеческий.

Что такое русская классическая литература? Что такое классическая русская музыка? Что такое русская живопись, в частности передвижники? А это помимо всего прочего еще и русская интеллигенция и интеллигентность, из которой выходили творцы, умевшие выразить склад ума, устремления и все то, что мы называем духовным миром народа, создавать произведения, которые затем становились знаменами. Не знамена создавались при этом, нет, а именно знаменания.

Но и это далеко не все. Русская интеллигенция, как мы теперь понимаем, в значительной мере была утопична в поисках своей духовности, в мечтах о свободе, равенстве и братстве, и это нынче опять-таки само собой разумеется, разумеется часто с усмешкой и удивлением. Но вот еще в чем дело: человек, именующий себя интеллигентом, тем самым брал на себя совершенно определенные моральные обязательства. Мерилом интеллигентности были не только убеждения, и мораль, и творчество как таковые, но и поступки.

Человек, оскорбивший прислугу, незнакомого прохожего, мужика, приехавшего на базар, нищего, сапожника, кондуктора, в интеллигентной среде не принимался, от него отворачивались, но тот же человек, надерзивший начальству, а то и плюнувший ему в лицо (тогда говорилось «в физиономию»), вызывал полное доверие.

Но доносить нельзя было ни на кого, даже на начальника. На начальника можно было подать официальную жалобу, еще лучше подать заявление об уходе с работы с изложением причины ухода: не хочу служить под начальством взяточника или еще что-то в этом роде. Вообще грубость не допускалась нигде, кроме как в отношениях с начальством, — странно, но факт.

Карьеризм ни в какой степени не поощрялся, но в отдельных случаях был терпим: если карьерист «не забывал бедных и своего собственного достоинства» — примерно такое было правило.

Обогащение было презираемо, особенно в тех случаях, когда разбогатевший человек никому не оказывал материальной помощи. К богатому человеку не зазорно было прийти если уж не с требованием, так с настойчивой просьбой пожертвовать на такие-то и такие-то общественные и благие нужды.

Именно потому, что интеллигентность предусматривала мораль поступка и образа жизни, она и не была сословностью, и граф Толстой был интеллигентом, и мастеровой был им.

Удивительно было и то, что подавляющее большинство этих людей были интеллигентами в первом поколении — дети крестьян и мещан, дети рабочих и рабочие, поповичи и поповны, купеческие отпрыски, порвавшие со своим сословием. Интеллигенты потомственные были даже более свободны в своих поступках и часто имели увлечения — театральные, музыкальные, туристические или какие-то другие. Для интеллигентов же первого поколения интеллигентность была их самым сильным увлечением, если на то пошло — своеобразным патриотизмом. Я знаю это по своим родителям.

Кодекс интеллигентности никогда и нигде не был написан, но понятен был всем, кто хотел его понять, тот и знал, что такое хорошо, а что такое плохо, что можно, а чего нельзя.

Кроме того, интеллигентность обозначала еще и товарищество, взаимопомощь и совет. Совет в том смысле, что в любом затруднительном случае жизни человек обращался за советом к близким людям. Я помню, как моя мать говорила: «Все-таки очень жаль, что товарищ Сталин оказался малоинтеллигентным человеком. Но неужели у него нет товарищей, которые бы его поправили?» Вообще когда чей-то поступок осуждался, очень серьезным обвинением было и такое: «Поступил очень плохо, и представьте себе — ни с кем не посоветовался!» Давать советы было очень ответственным делом, люди ночами не спали — думали: вот ведь какой случай — не знаешь, что и посоветовать! К советчику шли и с упреками: вы посоветовали, а вышло вот как плохо. Вот и поставьте себя на место человека, которому вы дали свой совет!

И еще такой был неписанный порядок: всякого рода осуждение, порицание, недовольство по отношению друг к другу редко высказывались вслух, тем более многословно, это считалось плохим тоном. Хороший тон был — дать понять. Дать понять тем, что человека переставали приглашать в гости и не приходили к нему, сухо с ним здоровались или не здоровались совсем, но это уже в самых крайних случаях. Кроме того, в каждой компании был человек, который «не стеснялся». Он и произносил в лицо осуждение тому, кто, по общему мнению, это заслужил. К такому нестеснительному относились с уважением: он может!

И еще была такая черта, как доверие. Вспоминаю, каким прямо-таки беспредельным и даже наивным бывало доверие одного человека к другому, и до сих пор удивляюсь этому.

В Барнауле зимой, в конце 1919 года, шла артиллерийская перестрелка между красными, которые занимали привокзальную часть, и белыми, закрепившимися на Горе. Снаряды летели через весь город, в котором не было ни тех, ни других. Казалось, вообще никого.

Моя мать работала библиотекарем на Горе и каждый день ходила в расположение белых, полагая, что женщину никто не может, не имеет морального права обидеть.

И вот однажды вечером, уже темно было, мать вернулась с работы не одна, а в сопровождении белого офицера. Меня особенно поразили его блестящие сапоги. Все мы ходили в пимах (валенках), а этот щеголял в сапожках умопомрачительного блеска.

Офицер представился отцу.

— Сударь,— сказал офицер,— вашей жене небезопасно ходить вечером одной. Поэтому, пока это возможно, я буду провожать ее. Для меня это не составляет труда — моя батарея стоит рядом с ее библиотекой.

— Лучше не надо,— сказал отец.— Пусть уж Любочка ходит одна или совсем не ходит. Я уговариваю ее не ходить на работу, но она непослушная.

— Вы мне не доверяете? — спросил офицер.— Но, поверьте, я же интеллигентный человек!

— Откуда вы родом?

— Из Харькова.

— Ах из Харькова! Действительно очень интеллигентный город.

И офицер несколько дней провожал маму домой. Потом красные заняли весь город, белые отступили на восток.

Но это еще не все.

Хозяин нашего дома, у которого мы жили, который и не скрывал своих белых убеждений, настучал красным: у меня квартирантка, так вот ее каждый день провожал с Горы офицер-улан! И уже поздно вечером, перед самым сном, к нам пришли два красноармейца выяснять что к чему. Хозяин стоял за занавеской — наш угол был отделен от коридора только занавеской — и слушал разговор. А разговор был такой.

— Вы Залыгин Павел Иванович? — спрашивал красноармеец постарше.

— Да, я...

— Где работаете? Кем?

— Я делопроизводитель в Алтайском союзе кооперативов.

— Почему в постели?

— Я болен.

— А это ваша жена?

— Это моя жена.

— А почему ежедневно ее провожал белый офицер? Это был ваш знакомый?

— Он был из Харькова. Больше я ничего о нем не знаю.

— Почему белый офицер провожал вас?

— Как это почему? — удивилась мать, оставаясь при этом совершенно спокойной. Не в пример болезненному и нервному отцу, она никогда и ничего не боялась (так, безбоязненно, и дожила до девяноста лет).— Наверное, потому, что этот офицер был интеллигентным человеком...— Потом она посмотрела на старшего красноармейца и спросила его: — А вы не с Урала? Произношение у вас уральское.

— С Урала...— подтвердил тот.— Рабочий. Доменщик. А как зовут вас?

— Так я и думала! Так я и думала, что вы тоже интеллигентный человек. Все доменщики — интеллигентные люди. Но тогда зачем же вы спрашиваете, почему меня кто-то провожал с наступлением темноты, да еще при перестрелке белых с красными, красных

с белыми?.. Зовут меня Любовь Тимофеевна. Но вы меня очень удивили!

— Вот и хорошо,— сказал старший красноармеец.— До свидания, Любовь Тимофеевна. До свидания, Павел Иванович. Будь здоров, мальчуган.

И красноармейцы вышли за занавеску, и я слышал, как младший красноармеец сказал хозяину нашего дома:

— Ты — падал, старик! Гляди, еще раз — и мы тебя прямо в твоей же оgrade...

Ограда по сибирскому говору значит двор.

Теоремы всегда были хороши тем, что их можно доказывать, аксиомы же доказывать — бессмысленное занятие, и это в то время, как в основе сущего лежат все-таки они. Жизнь существует ради жизни, а не ради смерти — эта аксиома понятна всем, но опять-таки где они, те «все», которые это поняли и готовы этим понятием руководствоваться, кто и что они такое, если до сих пор их ни в чем нет вместе? Как могут они осуществить эту аксиому, убедившись в том, что аксиомы тоже нужно осуществлять? Какие к этому имеются средства, приемлемые для всех?

Аксиомы более коварны, чем теоремы. Вот мы говорим: прогресс — это главное деяние нашей жизни. Ну а если это главный приводит нас к гибели? Ведь мы же безусловно теряем здравый смысл, когда называем прогрессом и все то, что ведет нас к гибели. Если повседневное, ежечасное усовершенствование военной техники тоже прогресс, причем прогресс, запрограммированный на апокалипсис, значит, чем-то, какими-то средствами нам нужно ему противостоять, нужно менять тех, кого мы называем хозяевами жизни, менять наши собственные привычки, уклад, мышление и направление наших умственных, наших моральных поисков. А ведь это и есть социалистические поиски, именно они.

Может быть, слабость социализма заключается в том, что в основу своего бытия и мышления он то и дело берет не столько теоремы, сколько аксиомы? Может быть, аксиом вообще нет? Но ведь без истин вполне очевидных и аксиоматических мир тоже не существовал бы, он и сам по себе тоже аксиоматичен.

Социализм — это, собственно, до сих пор далеко не реализованное открытие и не реализованное же учение. Открытие не столько новой практики, сколько новых возможностей, механизм реализации которых, однако, далеко несовершенен и до сих пор не гарантирует успеха.

Если же сопоставить общество неиспользованных возможностей с обществом, в котором все его собственные возможности используются сверх всякой меры, я лично предпочитаю первое — в нем больше разнообразия, больше надежд и, если на то пошло, неизвестности. Уж очень не хочется быть роботом. А это вполне реальный вариант в наш до предела запрограммированный век, когда само понятие бессмертия становится гораздо ближе к неизвестности, чем к программе, известной до конца, до того конца, который — апокалипсис.

И должны быть найдены средства, которые омолодили бы жизнь на планете, избавили бы ее от груза выживания, восстановили бы в своих правах идею бессмертия как таковую.

Что же это за омолаживающие средства?

До сих пор это были революции.

Трудно сказать: может быть, всемогущий прогресс, который взял на себя функции пусть и научно-технической, но тоже революции, тем самым навсегда отменит революции классические, социальные, но так или иначе, а до сих пор именно они были самым сильным средством обновления человечества и человеческого духа.

Надо повторить сказанное где-то выше: человек выжил в пещере не только потому, что он в ней родился и к ней приспособился, но и потому, что он вовремя из нее вышел. Если бы не вышел — он бы погиб. Вероятнее всего, что он дотянул в ней до последнего, когда его стали мучить пещерные болезни и эпидемии, пещерные же социальные и семейные отношения тоже складывались невероятно тяжело, уж это так!

Ведь даже рабовладение и то требует большего пространства, чем его предоставляет пещера, и вот чтобы избежать пещерного апокалипсиса, человек покидает ее. Навсегда. А этот уход был революцией.

В силу тех же обстоятельств человек входил и выходил из апокалипсиса феодального, а если он вошел в капитализм, значит, должен будет куда-то выйти и из него. Вряд ли можно полагать, что капиталистическая система и ее цивилизация способны к тому самоусовершенствованию, которое привяжет к ним человечество навсегда. Пока что этому нет подтверждений, а вот навыки мировых войн он привил человечеству успешно, больше того — привил гонку вооружений как обязательное условие существования любой скольконбудь заметной на карте мира страны.

И все это происходит из того же принципа наибольшего обогащения. (Знаю, что повторяюсь, но все-таки повторяюсь.)

Интересно, если бы производство вооружений в США вдруг перестало приносить предпринимателям доходы, если бы оно стало убыточным, как далеко были бы нынче переговоры между США и СССР о разоружении?

Я задал этот вопрос президенту Рейгану на его встрече с писателями в Доме литераторов. Он подумал и не ответил.

Наши технические возможности возникают из потребностей, потребности — из возможностей, круг замыкается. Он изолируется от всего остального мира, от тех условий, в которых существует Земля и ее природа, от природных начал и замыслов. Человек — производитель и человек — потребитель, ничего другого он уже не может, не представляет собою, не хочет ни придумать, ни разгадать. Производя бесконечный ряд предметов собственного потребления, он и сам вписывается в этот ряд под номером один. Но если предмет номер один — это предмет-конструктор, а все остальные предметы — конструкции, дело от этого в принципе не меняется. Ряд один, и в нем конструктор неизбежно приобретает свойства своих собственных конструкций, а все свойства окружающего мира тоже сводит к тем же параметрам. Человек познает себя уже не в окружающем мире, а в мире своих собственных потребностей, хотя бы и ирреальных. Само будущее для него теперь тоже предмет потребления. И как таковой уж вполне сравним и сопоставим с другими предметами. Ишенный качеств духовных, этот предмет тоже может быть и приобретен и потерян, и вот уже нам не столь невероятным кажется его потеря. Потерять, скажем, собственную автомашину, может быть, даже и страшнее, чем потерять будущее человечества?

Между тем все еще существует природа с таким множеством собственных законов, сфер, соединений и предметов, которые человеку никогда не дано будет постигнуть, которое благодаря этой бесконечности становится беспредметным и неконструируемым. И она, природа, и сегодня все еще предоставляет человеку возможность выбора пути своего развития, минуя и ирреальное производство и ирреальное потребительство, она как бы настаивает на восприятии человеком тех нравственных и, в общем-то, таких очевидных «хорошо» и «плохо», «можно» и «нельзя», которые когда-то ею же в человека были привнесены.

Без них, без этих нравственных начал, человек уж давным-давно изничтожил бы сам себя, без них человек не вписался бы в природу, без них он никогда не обладал бы всем тем, что мы называем разумом. Разум всегда был нравственным, а если нравственность из него изымается, нельзя сомневаться в том, к чему это приведет.

Какими бы доводами ни прикрывалась необходимость войн в капиталистическом обществе, суть их все та же: обогащение, приобретение.

А в социалистическом? Нам-то что обещают войны? Если мы и обретали где-то и какое-то территориальное влияние, так только на свою шею, поскольку такого рода обретение требовало и требовало от нас все новых вложений, совершенно непродуктивных, невыгодных и обременительных, отдачи от них не было никакой, одни убытки. Тем более что мы и со своими исконными территориями управляемся из рук вон плохо и часто не знаем, что с ними делать.

А тогда что же все-таки двигало нами в этих случаях? Двигала политика. Очень странная, убыточная, разорительная, но она. Мы ведь не в пример капиталистам считали свою политику статьей не приходной, а расходной и внутри страны, а тем более вовне. Такое место политики в жизни государства и общества приводило к столь же странной, если не сказать больше, психологии.

Во второй мировой войне мы были победителями и, если так можно сказать, чересчур хорошо усвоили этот факт. Действительно, победив фашизм, мы покорили весь мир, покорили морально, поскольку все были нам признательны, все восхищались нашим героизмом, нашей безоглядной готовностью к любым жертвам. Нам бы воспользоваться всем этим, тем более что это было еще и признанием социализма и мирового коммунистического движения, которое тогда-то и приобрело давно не виданный размах, сравнимый разве только с годами, последовавшими сразу же за первой мировой войной, но мы возгордились, позиция силы стала нам близка и слишком уж понятна.

Конечно, сегодня никак нельзя сбрасывать со счета тайную и явную подготовку к войне против нас вчерашних наших союзников. Они без особого на то основания еще во время войны 1939—1945 годов, судя о нас прежде всего по нашему внешнему виду и облику победителей, сильно нас испугались, создали атомную бомбу и, глазом не моргнув, дважды испытали ее на мирных жителях Хиросимы и Нагасаки, на своих противниках в той войне и своих союзниках по социальной системе. Вот так: одного испытания им показалось мало, они провели его дважды и тем более почувствовали себя героями.

И действительно нам никак нельзя было не создать равноценного оружия, на нашем месте это сделал бы каждый. Но когда мы «уравновились» с США, вот тут-то и надо было, наверное, проявить большую гибкость, дипломатичность и выдержку, но мы стали пугать мир тем, что будем производить ракеты, как сосиски. Это было тем более рискованно, что сосисок в достаточном количестве у нас со времен нэпа не было никогда.

Кроме того, мы полагали, что лучше, чем наш «развитой социализм», который к 1980 году обязательно станет полноценным коммунизмом, ничего на свете никогда не было, нет и не будет, а все, кто этого не хочет понять и внутри страны и вне ее,— наши безусловные враги. С внутренними врагами разговор был короткий, с внешними — никакого разговора, мы до этого не снисходили, зато хотели нашу социалистическую модель видеть и в Азии и в Африке, даже если речь заходила о кочевых племенах. Нами и здесь руководил принцип «чем больше, тем лучше», и здесь нужен был вал. Мы не хотели верить и тому, что какое-то из социалистических государств может оказаться и поумнее нас и сделать у себя дома лучше, чем делали мы.

Если бы в 1968 году мы не вмешались в чехословацкие события,

нынче весь наш социалистический лагерь, наверное, выглядел бы достойнее и убедительнее и перед нашей перестройкой встали бы не столь трудные задачи, что-то осталось бы уже и позади, какой-то кредит доверия мы дополнительно обрели бы и во всем мире. Знаю, что на этот счет существуют разные точки зрения, моя — такова. Так или иначе, но у нас оказались утерянными и гуманистические и самокритические критерии по отношению к самим себе, зато по отношению к нашим противникам они все возрастали и возрастали. Я думаю, что даже если бы опыт 1968 года был продолжен и оказался отрицательным, это все равно был бы опыт, причем ценный.

Именно потому, что мы всегда ругали капитализм за его агрессивность и милитаризм (а я и сейчас ругаюсь по этому поводу почти беспрерывно), нам надо было быть в этом вопросе более сдержанными и деликатными. Мы справедливо осуждали агрессию США во Вьетнаме, но не сделали из этого осуждения надлежащих выводов для самих себя, мы вообще были склонны заимствовать от капитализма то худшее, что в нем есть, тем самым подавляя то лучшее, чем хотя бы и в потенциале, но мы обладали сами.

Все это и еще другие моральные ущербы перед лицом всего мира скрывалось от своих граждан; в предположении, что в подобной глупости может быть заключена некая мудрость, причем не доступная никому, кроме нас, что и такого рода внешняя политика, отгороженная от собственных граждан сооруженной на скорую руку китайской стеной, это тоже не что иное, как «развитой социализм». Меньше всего руководящие «мудрецы» интересовались тем, сколь пагубно эта изоляция от мира и эта ложь сказывались на внутреннем мире нас, советских граждан, как порождалось диссидентство в самом широком смысле, а не только в смысле эмиграции за границу. Эта последняя в свою очередь была как идейно убежденной, талантливой, так в еще большей степени бездарной и безнравственной, существующей за рубежом исключительно поношением, поношением своего вчерашнего отечества, благо что поносить действительно было что, а ставки на поношение были за рубежом достаточно высокими. Недаром, например, Андрей Синявский утверждал не раз, что эмиграция так и не создала за рубежом ничего значительного в литературе. Ну разве два-три имени «там» только. Не сыграла она никакой роли и в изменении нашего курса, все, что произошло здесь у нас, произошло исключительно здесь.

Наша армия (а любая армия — это еще и внешнеполитическая организация, поскольку она ориентируется на внешнюю политику), в которую на каждом шагу внедряется политика, именно политики-то и не получала, а только такой ее суррогат, из которого можно понять, что уставы и политика обязательны для солдата, но для начальника они нужны тем меньше, чем выше он по должности. Отсюда и такие явления, как дедовщина, и подобные ей. Но не все то печатается, что мы хотели бы напечатать.

Мы и не заметили, как научились заимствовать из своего прошлого опять-таки все худшее, что в нем было. И все-таки...

Все-таки как все мы воспряли, после того как заговорили с миром откровенно, на общечеловеческом, а не только на своем птичьем языке, полном то вопиющими умолчаниями, то поношениями, на котором и по сию пору пишутся романы клюквенно-информационного содержания. И тем не менее оказалось, что общечеловеческий язык нами отнюдь не утерян, что мы многое можем рассказать и объяснить миру, а он пусть не во всем, но готов понять и принять наше дело и как свое дело. Опыт существования любого народа — это ведь всегда опыт человечества, чем больше человек испытал и перенес, тем с большим интересом и сочувствием к нему относятся окружающие. Тут, кстати, надо заметить, что интерес к России издавна поддерживался еще и этим именно обстоятельством — выпавшими на ее долю испытаниями.

Вот здесь-то мы и оказались действительными провидцами, когда поверили в себя не в замкнутых, а в открытых, когда поверили в то, что человечество нас поймет не только как открытых, но и как достойных и необходимых жителей современного мира.

Социалистические идеи возникли задолго до социалистов, тем более задолго до капитализма, уже тогда, когда человек осознал себя существом общественным, обязанным и мыслить тоже общественно. Едва он понял, что у него есть будущее, он тут же увидел в материальном обогащении самого себя причину своей гибели, а в свободе, равенстве и братстве, хотя бы и относительных и не так, а как-то иначе сформулированных,— свое спасение и бессмертие.

Прежде чем появились социалистические учения, были сказки, мифы, утопии — вот откуда они пошли-то, эти учения, вот с каких пор люди мечтали об их воплощении в жизнь!

Другое дело — капитализм. Он был предусмотрен программой обогащения, но ждать-то его никто не ждал ни в практике, ни в теории, ни в религии. Никто о нем не мечтал, и в этом смысле он возник явочным порядком. Он пришел, огляделся: кто тут за равенство и братство? кто за них в вековечном их понимании? вот я вам покажу, что значит свободу любить, покажу кузькину мать! И показал! Показал, но пороха не выдумал — как начал с принципа обогащения, так и пробавляется им до сих пор. В самом себе он новых ценностей уже не найдет, в чем-то другом не ищет — самоуверенность не позволяет. Паллиативы предложены им неплохие, но ведь и самый хороший паллиатив — это только он и ничто другое, принципов он не меняет. Принципы остаются прежние: священная необходимость врага, производство все нового и нового оружия, новые пещеры — те самые лаборатории, которые конструируют и совершенствуют средства массового уничтожения людей. Куда и как из них выйдешь, если они дают до 2000 процентов прибыли в год? Куда и как?

Идеи нельзя заменить цивилизацией. А те социально-нравственные «хорошо» и «плохо», которые человек понял на заре своего общественного существования, но которые так и остались нереализованными до сих пор, должны быть реализованы или сейчас в течение очень короткого срока, или же им не быть никогда, потому что и самого-то человека уже не будет. Эти «хорошо» и «плохо» и запрограммировать нельзя, просчитать нельзя, узаконить нельзя, хоть умри.

Намерения такого рода не сейчас возникли: еще римское право пыталось ввести в законодательные параграфы такие универсальные понятия, как «добрая совесть» и «справедливость», но это не удавалось ни тогда, ни позже, они, эти понятия, заложены не в юриспруденции и не в науке вообще, тем более не в технике, а в том социальном устройстве, которое наиболее полно способно использовать духовный опыт человечества. Науке, а в частности юриспруденции, отводится при этом лишь роль охранителя этих высочайших понятий, а отчасти их толкователя, но никак не создателя и открывателя.

Природа человека, в общем-то, для науки недостижима; подлинным учителем и толкователем ее у нас не был даже и Вернадский, но были Толстой и Достоевский. Общество, которое в большей степени сохраняет нынче этот духовный потенциал, эту энергию, обладает и большими перспективами в будущем. Даже если его настоящее или недавнее прошлое омрачено грубейшими нарушениями все тех же «хорошо» и «плохо», главных нравственных начал. Мы эти начала в значительной мере подорвали, должно быть, так. Но мы глубоко осознали и переживаем эту потерю, а это значит — потерян не все.

Россия, страна Толстого, Достоевского, прошла в XX веке страшную и страдальческую историю. Страдания не только убивают и калечат, страдания возвышают...

Революции — это в истории нового времени прежде всего революции социальные, и они европейское изобретение, творения прежде всего христианского сознания.

В сознании христианина жили и Христос и Антихрист. Христос был персонифицирован, Антихрист — в такой же степени — нет, но, в общем-то, дилемма существовала всегда, несмотря на то, что церковь никогда не хотела этого — она хотела единовластия над умами, хотела единолично владеть идеей бессмертия, быть ее единственным и непререкаемым носителем и вот всячески компрометировала Антихриста. Антихриста церковь, наверное, напрасно сделала своим врагом, поскольку ни одна религия опять-таки не существует без своего собственного врага и дьявола. Хуже другое — предавая дьявола проклятию, церковь тем самым отвергала и полемику с ним, свела ее к минимуму. Без полемики же, без активных оппонентов ни одна философия, в том числе и теология, существовать не может, она перерождается в догму.

Христианство, само возникшее из жесточайшей борьбы мнений и верований и столь тщательно заботящееся о сохранении собственной истории в памяти людей, именно об этой стороне дела постаралось забыть, и, таким образом, в догму было возведено само понятие бессмертия — и рода человеческого и христианского учения, — и все это в то время, как за образом Антихриста стояла гипотеза конца света, учение отнюдь не бессмысленное и отнюдь не безнравственное, скорее наоборот, поскольку предупреждение о грядущей катастрофе всегда нравственно.

Дальше: церковь не раз отождествляла Антихриста с социальной революцией, в то время как именно через революции человечество и обновлялось, отодвигало сроки конца света, если уж не всеобщего, так по крайней мере европейского. Что бы сейчас представляли собою Франция, Германия, Италия, Испания без своих революций?

Революции тоже отнюдь не обходились без оружия. Это так, но как могли они поступать иначе, если против них выступала вооруженная контрреволюция? Нельзя же принять на веру условие, по которому вооруженная контрреволюция — это естественно и это во благо, а вооруженная революция — это противоестественно и во зло?

Контрреволюции всегда были арсеналами вооружений и чем дальше, тем больше присваивали себе право владеть ими, а церковь, провозглашая мир на земле, этого права всерьез не оспаривала, полагая, что кровь пятнает только революции, но никак не контрреволюции. Итак, социальные революции и религии всегда располагались на разных полюсах, в самые же ответственные моменты истории они становились особенно яростными врагами, забывая даже и о том, что и те и другие в конечном счете стремятся к усовершенствованию мира, что это стремление неизбежно определяет и некоторое сходство между ними, не может не определять.

Революции тоже не обходились ни без веры, ни без фанатизма. И те и другие — явления массово-исторические. Революции объявляют себя категорией научной и объективной, а религии клеймят мракобесием. Религия действительно долгое время чуждалась науки, но времена меняются, и вот уже религия ищет союза с наукой, а наука проявляет интерес к этому сближению, задумывается над религиозными постулатами и кое-что объясняет религии в ней самой.

Не пора ли и революциям, если уж они так научны, через науку посмотреть на религии? Более терпимо?

Не пора ли и пастырям, религиям и революциям, где-то уже совершившимся, а где-то назревающим, а также и науке подумать о том, что все они, издавна спасая мир, саму идею бессмертия оставили неподготовленной к самозащите?

А между прочим, история уже на моей памяти однажды представила людям шанс, только они не воспользовались этим шансом. Это было в 1917—1918 годы, когда на фронтах первой мировой войны началось братание солдат воюющих армий. Если хотя бы однажды армии пришли к миру через головы своих генералов и правительств, как это призывал сделать Ленин, если бы русские и немецкие революции победили тогда в этом своем главном, основополагающем и антивоенном смысле и значении, если бы имел место такого рода прецедент — мир изменился бы неузнаваемо и вряд ли появились бы условия для возникновения войны второй мировой. Но контрреволюция и тогда взяла верх, и скоро уже вторая оказалась неотвратимой, она была еще более жестокой, более бескомпромиссной, чем первая, и ни о каком братании речи уже не шло, зато оставшийся в полной сохранности милитаризм породил фашизм. А это до сих пор лежит ведь на чьей-то совести. Надо бы разобраться — на чьей?

Но как тогда, так и теперь выход и надежды прежние: воздействие народов на свои правительства всюду, где это действительно требуется задача выживания, а она требует этого везде.

Да, именно революции как ничто другое восставали против самых жестоких несправедливостей, против самых бессмысленных бессмыслиц, возникавших в истории человечества, — и прежде всего против войн. Если не все, так многие из них противопоставляли себя войне — так бывало во Франции и в Германии, так в 1905, а затем и в 1917 году было в России, и эти факты нельзя не отнести к духовному достоинству и потенциалу Октября.

Да и сами масштабы Октября тоже зависели от масштабов предшествовавшей ему мировой войны. Когда капитализм был полновластным хозяином на земле, ему надо было подумать о будущем и внять предупреждениям марксизма. И если уж капитализму кого-то винить в социалистических революциях, так прежде всего самого себя.

Правительство Николая II не вняло даже такому грозному предупреждению, как революция 1905 года, не вняло и своему ближайшему, вполне искреннему союзнику — партии конституционных демократов (кадетов), разогнало их съезд, посадило в тюрьму и послало в ссылку почти всех его участников. При первой же возможности — и даже при невозможности этого, вопреки здравому смыслу и собственным интересам — оно отобрало у народа даже те более чем куцые уступки и права, которые были следствием 1905 года. И как это всегда бывает во всех случаях ужесточения режимов, оно стало готовиться к следующей войне во имя призрачных приобретений новых территорий и укрепления собственной власти.

Война состоялась. Как всегда, совсем не та, которая замышлялась и планировалась, которая привела к последствиям, диаметрально противоположным тем, которые намечались.

Главное последствие: европейские революции 1917 года и последующих лет.

Да, первой мировой войне не оказалась противопоставленной мировая революция. Как мировая она не состоялась, но как препятствие на пути к апокалипсису значение Октября нельзя приуменьшать — факт противопоставления мира войне состоялся.

Поначалу Октябрьская революция была одной из самых бескровных революций — по крайней мере в первые полтора-два месяца. Позже возникло белое движение, но и его силы иссякли к весне 1918 года, и тут новая Россия могла бы вздохнуть полной грудью, но во внутренние ее дела незамедлительно ввязался капитал международный — он поднял чехословацкий мятеж, он более чем десятью различными армиями оккупировал юг, север, запад и восток России.

И вот уже и Колчак, и Врангель, и Деникин приторговывают русскими территориями, продают их за обмундирование и вооружение,

которое осталось у союзников от мировой войны и девать его некуда, а тут представляется возможность столь выгодной коммерции! Или: кто-то на севере вывез через Мурманск на миллион фунтов стерлингов леса, значит, и на юге нельзя оплошать, и с юга погружается на корабли три миллиона пудов зерна. Тут зевать нельзя, успевай пограбить истерзанную, измученную, обнищавшую страну.

Октябрьская революция имела целью быстро ликвидировать ту техническую отсталость, которая мешала России с допетровских времен, — благая цель, но и тут не было даже признаков понимания со стороны ее «друзей».

Что бы и теперь, в 1989 году, думали о нас англичане, если бы мы лет семьдесят тому назад оккупировали север Шотландии и устроили бы там концлагеря и вмораживали бы в огромные ледяные сосульки живых людей? И погубили бы 52 тысячи британских граждан? Что бы думали американцы, если бы наши войска в те же сроки высаживались в Калифорнии? Что бы думали о нас в Канаде, если бы в сравнительно недавнем прошлом не канадские войска маршировали по улицам Омска, а советские по Ванкуверу? Но и то правда, что о России во многих странах издавна привыкли судить более чем своеобразно, и это давнее отношение Советская Россия испытала на себе вполне.

Если речь шла о защите Европы от нашествий татаро-монгольского, шведского, турецкого, наполеоновского, а позже гитлеровского, тогда Россия была о'кей, тогда, как свидетельствовал Александр Твардовский, «а «спасибо» все по-русски говорят»; но уже на другой день после победы многим хотелось бы, чтобы Россия стала небольшой такой и смирененькой страной, скажем Люксембургом. Но так в истории не бывает, и поскольку социализм случился не в Люксембурге, а в России, он и испытал на себе сполна всю историческую алчность и несправедливость современного ему «цивилизованного» мира.

Мы, народ, не перед кем-нибудь, а сами перед собой не оправдаемся в тех напрасных жертвах, которые были совершены под знаком «социалистического строительства». Мы о них помним, ими мучаемся и страдаем. И хотим спросить: а мучаются ли, страдают ли другие сравнительно молодые человеческие общества теми жертвами, которые в свое время они принесли на алтарь своего благополучия? Мучаются ли французы жертвами своих собственных революций или тех потерь, которые они нанесли Алжиру и Вьетнаму? Мучаются ли американцы тем, что истребили на всем континенте индейцев, а с другого континента привезли миллион чернокожих рабов? События давние, могли, конечно, забыться, но если они и в самом деле забылись — дело плохо.

Или вот еще об одном интеллигенте — Викторе Ивановиче Верещагине, который преподавал мне в сельхозтехникуме ботанику.

Не очень точно, но я помню о нем, что он был уроженцем Симбирска, окончил Петербургский университет и вот куда подался — в Барнаул. В барнаульском реальном училище преподавал он ботанику в течение учебного года, а летом путешествовал по Горному Алтаю. Виктор Иванович путешествовал не напрасно: пятнадцать растений и поныне читаются с приставкой «верещагинус» — все они были открыты им.

Он был дальним родственником художника Верещагина и учился в симбирской гимназии вместе с Лениным.

Говорил Виктор Иванович очень тихо, почти шепотом, и выступать не любил, но однажды его уговорили выступить, рассказать о Владимире Ильиче. Он и рассказал: хороший был мальчик Володя Ульянов, очень способный, начитанный, всегда делал все уроки, но не любил, чтобы у него списывали... Ах не любил?! — и поехал наш Вик-

тор Иванович в Туруханск, как раз в те места, где некогда пребывал и Сталин.

Прошло несколько лет. Однажды летом ехал я, студент, на каникулы в Барнаул, в Новосибирске была у меня пересадка, и вот смотрю — в зале ожидания сидит мой Виктор Иванович. Конечно он: седой уже, в пенсне со шнурком, с бородкой клинышком, в сапогах и в грубом таком плаще, которые в ту пору назывались дождевиками, наверное, потому, что ни один дождь промочить их не мог. Я подошел, мы поздоровались, и Виктор Иванович спросил, на каком факультете я учусь. Я сказал — на гидромелиоративном.

— Ну вот и жаль! — сказал Виктор Иванович. — Из тебя, Сережа, мог бы получиться неплохой агроном. А теперь получается, что я зря учил тебя ботанике...

Настала и моя очередь спросить о чем-нибудь Виктора Ивановича.

— А вы в Барнаул? — спросил я.

— Да... домой...

— А вы... отсюда?

— Ты что имеешь в виду — Туруханский край? Ну да, я оттуда.

— Наверное, очень соскучились? За все эти годы-то?

— Нет, Сережа, из тебя хорошего агронома не получилось бы... — вздохнул Виктор Иванович. — Нет, нет! Ты сообрази — сейчас какой месяц?

— Месяц? Июль...

— Вот видишь — июль. Какая половина июля?

— Конец месяца...

— Вот видишь — конец. Что в конце июля делают растения?

— Как что? Они — растут!

— Все-то ты забыл, Сережа, все, чему я тебя учил, ты забыл.

Растения сейчас уже почти и не растут, они — цветут.

— Я не о том, Виктор Иванович. Я о том, что вы, наверное, очень соскучились?

— Растения цветут — значит, время собирать гербарий. Самое время, а мне говорят: «У вас срок ссылки кончился, поезжайте домой». Я говорю: «Я собираю гербарий, оставьте меня до конца цветения, хотя бы недели на две-три!» Мне говорят: «Нельзя» — и грубо так говорят-то... Пришлось уезжать. А ты говоришь...

Напрасно уж так-то печалился Виктор Иванович: не знаю, по какой причине, но только года через три-четыре он снова оказался в Туруханском крае. И снова вернулся в Барнаул.

Ну а дальше такое стечение обстоятельств: в пятидесятые годы я в качестве гидролога принимал участие в лесной экспедиции Западно-Сибирского филиала АН СССР. Начальником экспедиции был профессор Г. В. Крылов. Мы шли примерно по тем же маршрутам Горного Алтая, которые проходил в свое время еще до революции и в двадцатые годы В. И. Верещагин, только он обследовал речные долины и прилегающие к ним склоны, а мы изучали верхнюю границу леса, шли по крошке снегов и смотрели на реки, поймы и долины сверху вниз, как бы с высоты птичьего полета. Смотреть сверху вниз было очень красиво, все это так, но как же мы рвались домой, когда наступали календарные сроки окончания экспедиционных работ! И красиво и интересно, а вот подожди ты...

Вспомнилась мне еще раз встреча с Виктором Ивановичем Верещагиным на новосибирском вокзале, когда мы с профессором Крыловым писали о нем некролог в «Ботанический журнал» АН СССР. В. И. Верещагин умер в возрасте девяноста шести лет.

Нет у нас надежного метода освоения собственного опыта. По своей значимости для нас и несколько лет — уже эпоха, мы так и говорим: эпоха «военного коммунизма», эпоха нэпа, — хотя это были

всего-то-навсего считанные годы. Уж из анализа эпох-то, казалось бы, можно и должно извлечь нечто полезное и необходимое. Но мы не извлекаем, не оцениваем кропотливо все составляющие каждого предшествующего периода, отвергая его в целом, хотя даже и части этого целого — тоже бесценный опыт.

Вот мы ведем разговоры прежде всего о том, чем был для нас нэп — временным или долговременным явлением, вовремя отказались от него или преждевременно, рассматривая нэп прежде всего как политику, но не как экономическую систему. Но в нэпе была еще одна на все времена бесспорная составляющая: нэп был объявлен одновременно с режимом строжайшей экономии, и государство уже тогда, вкладывая огромные средства в промышленность и отчасти в культуру, не гнушалось экономить не только рубли, но и копейки, умело определять эффективность своих вложений, умело привлекать к проблеме экономии массы. Я хорошо помню, как все это «сознательно» делалось.

Ну а если эта составляющая нэпа бесспорна, почему же она забыта теперь? Почему, живя бедно, мы так расточительны? Почему вся страна завалена ржавым железом и гнилой древесиной?

Оценить бы нам наши ресурсы, земли, воды, недра, леса в рублях за гектар, за кубометр — и богатства использовались бы гораздо разумнее.

Оценить горнорудные ресурсы — и горняки не снимали бы сливки с месторождений, разрабатывая только те пласты, на которых можно показать самую высокую производительность.

Пусть кубометр воды хоть что-нибудь, но будет стоить для Министерства водного хозяйства — и тогда оно не будет протаскивать проекты умопомрачительной стоимости.

Пусть каждый кубометр леса на корню будет иметь хорошую стоимость — и тогда в дело пойдет не 3—5 процентов от объема вырубок, как это имеет место сейчас, а гораздо больше.

У нас до сих пор не определена роль денег в нашем обществе. Как подорвали их значение в пору «военного коммунизма», так и до сего дня деньги имеют у нас двойственную роль. В личном, частном плане деньги для нас как деньги — мы знаем им цену, не швыряем на ветер, распределяем до полочки. В масштабе же государственном и производственном этого и в помине нет! Продажная цена продукта у нас запросто может быть в несколько раз ниже его себестоимости, а колхозу сплошь и рядом выгоднее получить низкий урожай, чем высокий, быть беднее, а не богаче — бедному положена дотация. Предприятие у нас получает задание на прибыль, но оно лишено реального права выпускать доходную продукцию и определять ее цену. Министерство отчитывается не в рублях проданных товаров и услуг, а по «освоению средств», по вводу в строй новых объектов. Какова их рентабельность и кто ее доказал, в каких единицах? Нет ответа.

Кто подсчитает природные ресурсы, израсходованные министерством, если они ничего не стоят? Опять — некому. Опять — нечем. Природные ресурсы расписаны у нас за ведомствами, они и становятся хозяевами природы, но ведь никому, даже самому себе не подотчетный хозяин — это такой браконьер, которого свет не видывал. Свет вообще еще не видел браконьерства от имени государства в подобных масштабах. Даже мы сами и не представляли, будто нечто подобное может иметь место. При социализме — и вдруг!

Идет, положим, рассмотрение некоего проекта природопользования, и в качестве заглавного лица выступает предсовмина одной из ССР или АССР или преодбл(край)исполкома, он говорит: а нам этот объект нужен, мы — за! Почему за? Очень часто только потому, что собственные-то средства на местах урезаны до минимума, ничего на них не построишь, а тут приходит богатый дядя-министр: а я сделаю!

А только прозвучал голос местной власти (его же принято считать и гласом народа) — и экспертов, ученых и инженеров, уже не слышно: если республика просит и даже требует, надо пойти ей навстречу, она-то знает свои нужды лучше, чем кто-то другой. И вот проект утвержден. Принято и так говорить: согласован. Для нас согласование (в инстанциях!) — это все. Если ты «согласован» — ты гражданин, который может быть куда-то и назначен, и выбран, и прикреплен. Наша экономическая система полностью согласована с системой социальной, а социальная, тоже полностью, — с бюрократической.

Бюрократичность же социалистической системы, по крайней мере в ее современном виде, — ее неперменный атрибут. Управлению придется ничуть не меньшее, если не большее, значение, чем производству. Кто поставит разумные пределы управлению и численности управленческого аппарата, если все принадлежит всем, а каждому — ничего, кроме определенной доли государственного расхода на зарплату рабочим и служащим аппарата? Значит, чем эти расходы будут больше, тем для аппарата лучше и способнее.

Мало того, в этих условиях проблематично становится определить и эффективность стратегических затрат, таких, например, как затраты на здравоохранение и просвещение, тем более таких нетрадиционных, как затраты на экологическую безопасность.

Бюрократизма не миновало ни одно не только развитое, но и весьма неразвитое социалистическое государство. Похоже, пока социализм не нашел средств борьбы с этим внутренним своим пороком, он не создаст здоровой экономики, конкурентоспособной с экономической капиталистической.

Чем больше потребляется нами полезных ископаемых, вообще природных ресурсов, тем большей прожорливостью и экстенсивностью отличается народное хозяйство страны, поскольку увеличение производства происходит именно за счет этих ресурсов, а не за счет внедрений новых технологий, новой организации труда и материалов-заменителей. Но аппетит этот не от здоровья, от болезни. Чем больше потребляется сырья, тем ниже производительность труда. Тем больше нужно механизмов для добывающей сырье промышленности, причем значительная часть сырья идет на производство именно этих механизмов. Тем больше расходы на транспорт, перевалки и складирование, тем больше потери. Тем скорее исчерпываются ресурсы. Тем больше возникает необходимость строительства все новых и новых объектов и добывающей и производящей промышленности при минимальной производительности последней, при максимальной стоимости единицы продукции.

Итак, круг замкнул: перемальвание ресурсов толкает народное хозяйство на путь прогрессирующей экстенсификации. Недаром промышленные страны наращивают производство за счет его собственной интенсификации, оставляя прирост использования ресурсов на неизменном (нулевом) уровне или допуская самое незначительное его повышение, не более 3—4 процентов в год. Дальнейшая интенсификация промышленности развитых стран ставит нас в тем более невыгодное положение, что они снижают закупки у нас нефти, газа, леса, руд, на продаже которых мы только и создаем свой валютный фонд, который в свою очередь предназначается прежде всего для закупок за рубежом современного промышленного оборудования.

Об экологических аспектах опять-таки и говорить нечего. Не зря ведь до сих пор скрывают у нас от населения масштабы надвигающейся катастрофы, не позволяют пользоваться счетчиками Гейгера (и не выпускают их), не пропускают в печать сведений о воздействии на сельхозпродукты гербицидов, о степени загрязнения атмосферы и вод. Уж мы-то в своей редакции знаем об этом не понаслышке!

Экологическое выживание, или проблема бессмертия, встает перед нами отнюдь не в перспективе, а в нашей повседневности. Именно по-

этому я всякий раз возвращаюсь к одной из таких жгучих проблем, к проблеме водного хозяйства, поскольку я занят ею давно, уже полвека.

В нашем бесхозяйственном, нелепом хозяйстве мы взрастили крупных деятелей безответственной ответственности, которая знает только два показателя: выполнение плана и невыполнение плана. Нужен ли кому-то этот план, разумный он или порочный, отпущены под него реальные средства или нет, помогает он выполнению планов непосредственными производителями материальных ценностей или мешает им — это интересует их только на словах. Весь интерес, хотя и обозначается «развитием отрасли», на самом деле сводится к «развитию ведомства».

Потеряв такой показатель, как результативность той или иной деятельности, отчитываясь по графе «Освоение средств», мы потеряли и способность предвидения реальных последствий этой деятельности. У нас первична политика. В результате экономика превратилась в закомплексованный, задерганный придаток политики. Притом не самой лучшей.

Капиталистический способ производства выигрывает перед нами еще и тем, что он не смешивает одно с другим (попробуй смешай!), так что если даже государство ведет не бог весть какую разумную политику, его экономика все равно может оставаться на высоком уровне эффективности. А наши ведомства свою отраслевую экономику (а вернее, полное отсутствие ее) заменяют трижды узаконенной прозатратностью, которую нет-нет (теперь уже реже), а тоже называют политикой, например мелиоративной или энергетической, и это до сих пор все еще возвышает прозатратность в глазах правительства и даже некоторой части населения, той, которая от этих ведомств кормится. Их влияние, их властное требование заставляют правительство отпускать, к примеру, Минводхозу больше 10 миллиардов рублей в год, притом что никто на свете не знает и принципиально знать не может, каков же приход в этой отрасли.

Подушный взнос каждого жителя Советского Союза на мелиорацию, считая младенцев и пенсионеров, достигает 40—50 рублей в год — это больше, чем государство вкладывает в здравоохранение каждого из нас.

Стараниями наших редакторов и издателей ставший великим писателем Рашидов крал миллионы, и чтобы кто-то это заметил, потребовались основательные перемены в составе Политбюро и правительства, другого способа борьбы с Рашидовым и рашидовщиной так и не нашлось. Не находится их до сих пор и для того, чтобы оценить работу Минводхоза по достоинству. И не надо закрывать глаза: наше общество породило если уж не целый класс, так значительный слой людей, которые и не хотят и не мыслят никакой другой экономики кроме прозатратной, а следовательно, безотчетной или же отчетной по явным и неявным припискам. И значит, утешение единственное: Минводхоз не одинок. Он всех переплюнул — это дело другое. Но вот утверждается программа гидроэнергетического строительства, рассчитанная на пятнадцать лет, она предусматривает сооружение 93-х новых ГЭС (при наличии круглым счетом 200). В перечне этих ГЭС площади затопления вообще не фигурируют. Не все ли равно, сколько будет затоплено, — земля же у нас ничего не стоит, ни копейки. Не все ли равно, сколько погибнет леса, — лес на корню почти ничего не стоит. Какие будут затоплены полезные ископаемые — о них и подавно никто ничего не знает. Тому назад двадцать пять лет чуть было не затопили тюменские месторождения газа и нефти, но гидроэнергетики и тут не смутились: а что? стали бы

добывать нефть и газ с воды! Какие при этом будут экологические убытки — никто не считал...

Существующие сибирские ГЭС то и дело загружены немногим более чем наполовину, но вот проектируется полное зарегулирование Енисея, а за ним и Лены и Колымы.

Строим не там, где нужно, где этого требует экономика, а где можно — где река все еще течет свободно.

Утверждаем программу строительства 93-х ГЭС, в то время как на них еще и проектов-то нет: сперва утвердим (неизвестно что), потом запроектируем. Бывает и так: сперва строим, потом проектируем. О строительстве АЭС нынче можно говорить кое-что, еще недавно можно было только прославлять. Результат: чернобыльская авария. Но что наша общественность знает об этой аварии? Очень немногое. За границей знают больше. А у нас все еще не может дойти до читателей повесть Г. Медведева «Чернобыльская тетрадь» с предисловием академика А. Д. Сахарова.

И Госплан такой порядок вещей не только санкционирует, он под него полностью подстроился. Планирует не он, планирует каждый свою отрасль с огромным запасом, с запросом, ничуть и никого не стесняясь, а Госплан только распределяет госбюджет между запросчиками. Так и есть: он закрытый распределитель, госраспред — вот его главная роль в нашем плановом-то хозяйстве. Это мы только думаем, что у нас хозяйство плановое и народное, на самом же деле оно ведомственное, построенное на безоглядном использовании природных и демографических ресурсов. И мы до сих пор заняты не столько делом перестройки, сколько все еще боремся с теми препятствиями, которые и сегодня не дают приступить к этому главному и решающему в нашей судьбе делу.

Пример (положительный) из истории отечественной мелиорации.

В конце прошлого — начале нынешнего века под начальством генерал-лейтенанта корпуса военных топографов Иосифа Ипполитовича Жилинского проводились одна вслед за другой огромные мелиоративные работы. Была осушена значительная часть Полесья и Барабинской низменности, обводнены территории Юго-Востока в бывших Саратовской, Царицынской и Астраханской губерниях на общей площади приблизительно миллион десятин. Это было действительное улучшение земель, без каких-то отрицательных последствий. О последствиях такого рода никто и не думал: деньги и труд затрачены, естественно, должен быть и соответствующий эффект. Если бы тогда кто-то сказал, что миллионы гектаров мелиорированных земель оказались испорченными, это, вероятно, сочли бы за сумасшествие.

Ну а в пятидесятые годы я побывал на местах работ экспедиции Жилинского, увидел нехитрые, но толково построенные сооружения, которые, наверное, работали бы и до сих пор, если бы были надлежащие эксплуатация и ремонт.

Итак, при минимальных затратах успех был достигнут полный, работы проводились только самые необходимые: расчищались тальвеги и к ним местами присоединялись осушители, а вся сеть была разрезанной, обязательно с аппаратом обратного действия, что исключало пересушку и переувлажнение; там, где пологие склоны были пригодны под лиманное орошение, строились лиманы и водохранилища, в других местах — правильная оросительная сеть с обязательными для каждого региона опытно-агронOMICескими участками. Одновременно велись лесомелиоративные и дорожные работы. В общем, так: Жилинский не покорял природу, не переделывал ее, а помогал ей, можно сказать — шел у нее на поводу.

Позже, особенно в послевоенные, не столь отдаленные от нас годы, дело приняло иной оборот.

Продолжая осушение Полесья, наши мелиораторы довели дело до переосушки, в Нижне-Волжском регионе списаны сотни тысяч гектаров орошенных земель, в Западной Сибири были созданы Бараббюро, Барабпроект, Барабстрой — огромные организации, они очень долго проектировали, очень долго строили, осушали уже осушенные Жилинским земли, и результаты его работ оказались сведенными на нет, обернулись убытками и потерями, был даже получен уникальный результат: засоление при осушении. Насколько мне известно, нечто подобное имело место еще и в Канаде, но там земли все-таки улучшили, производительность их не упала, а поднялась. Все это техническая сторона дела, самая существенная, но не только о ней я веду разговор.

Однажды я прочел годовой финансовый отчет генерала Жилинского по работам, проведенным в Барабе. Бухгалтерии у генерала не было, канцелярии не было, машинисток — ни одной, отчет занимал одну страницу и выглядел примерно так:

«Жалование начальнику экспедиции ген.-лейт. И. И. Жилинскому
500 руб. \times 12 = 6000 руб.

(Значительна была и часть расходов генерала по статье «На всем готовом», но в ней отчитывался не он, а кто-то другой. — С. 3.)

Жалование г-м инженерам (2 чел.) $400 \times 2 \times 12 = 9600$ руб.

Жалование г-м ст. техникам (2 чел.) $250 \times 2 \times 12 = 6000$ руб.

Жалование г-м мл. техникам (2 чел.) $150 \times 2 \times 12 = 3600$ руб.

Жалование г-м студентам-практикантам (2 чел. 4 месяца)

$90 \times 2 \times 4 = 720$ руб.

Итого выплачено жалования составу экспедиции 24 920 руб.

Грабарям и землекопам по распискам 95 243 руб.

Конному транспорту (грузовому и легковому) 8170 руб.

Итого израсходовано за отчетный год 128 333 руб.».

Любопытно, что штат экспедиции составлял... 9 человек. Любопытная «финансовая дисциплина», не правда ли?

Еще до войны мне довелось встретиться с инженером Смысловским, который, как мне помнится, некогда был одним из двух «господ мл. техников» в экспедиции Жилинского. Я спросил его: как понять отчет генерала? Ну а если бы имели место денежные злоупотребления? По такому отчету их ведь нельзя было бы установить?

— Злоупотреблений не могло быть! — был ответ.

— Что же, в ту пору не было в России казнокрадов?

— Конечно, были. Но у Жилинского была безупречная репутация, он должен был ею дорожить и дорожил.

— Ну а если бы случилась недостача — что тогда?

— Тогда... Жилинский или внес бы собственные деньги, или застрелился бы.

— А если бы в результате работ земли были бы не улучшены, а ухудшены — тогда?

— Не знаю... Тогда нам этого и в голову не могло прийти... Тогда уж, наверное бы...

Вот бы и нашим министрам подумать — что тогда? Но пока что не слышно, чтобы хоть один человек, повинный в списанных миллионах гектаров, в бесполезной растрате миллиардов на Кара-Богазе, в Каракалпакии, Астрахани и Новгороде, ушел бы в отставку. Нет таких.

Ну а что же происходит у нас внизу, на уровне колхозов и совхозов, которые благодетельствованы столь пристальным вниманием бесконечных ведомств и органов — советских, партийных и прочих? В частности, тем же Минводхозом? Приведу цитаты из статьи под многозначительным названием «Чтобы народ прокормил себя...» академика ВАСХНИЛ В. Тихонова, речь в которой ведется о социальном иждивенчестве, а проще говоря, о паразитизме, столь развитом в нашем обществе («Литературная газета», 1988, № 31). «Апогея своего это социальное иждивенчество достигло в системе Минводхоза СССР»,

которое приписывает себе не только тот урожай, который получен в результате мелиораций, а весь урожай, полученный с мелиорированной площади. И ведь этот обман, этот шантаж, эта приписка, которая есть не что иное, как крупнейшее государственное преступление, происходит на глазах Совмина и ЦК КПСС, Госплана и Агропрома — и ничего, все с нею соглашаются, а тот, кто это опровергает, тот бузотер и демагог, не надо его слушать. И что особенно страшно, что и народ наш это видит и понимает, но и понимая не обращает на это внимания, разве только вздыхает: «Вот до чего мы дошли...»

Капвложения в мелиорацию окупаются, по расчетам самого Минводхоза, через двадцать пять — двадцать шесть лет, по простейшим расчетам автора статьи — через... сто десять лет!

«А почему так получается? — спрашивает автор и отвечает: — ...добрый и богатый государственный дядя дает Минводхозу из бюджета миллиарды. А под них — материальные ресурсы. Минводхоз сам определяет, какие и где работы выгоднее. Затем сам у себя принимает их, оценивает качество. Сам же эти работы и оплачивает, сам себя премирует, к наградам представляет. Потом с миной благодетеля передает мелиорированные гектары колхозу, совхозу» (разрядка моя). О чем это говорит? Это же такая нелепость, которой, наверное, никогда и нигде на свете не было и не может быть, это уму непостижимо — и все-таки существует! Как? Почему? Ответа нет. Пресса пишет об этом чуть ли не изо дня в день — ответа нет. Поплевывал Минводхоз на прессу. Она пишет — он тратит миллиарды, у каждого свое дело.

Об этом и о других фактах я уже писал не раз. В журнале «Коммунист» № 13 за 1988 год я обратился к Минводхозу: поскольку я называю все эти факты государственными преступлениями, Минводхоз, по моему разумению, должен или подать на меня в суд за клевету, или признать себя виновным в государственных преступлениях. Третьего здесь нет. Но Минводхоз нашел выход: он молчит. Тогда возникает следующий вопрос: а что думает по этому поводу правительство? И ЦК КПСС?

Я окончил гидромелиоративный факультет Омского сельхозинститута в 1939 году... Немыслимо давно, а проходят годы, и вот появляется необходимость вспомнить, что и как было. Что за необходимость? Объяснять не стану, не сумею. А пока что скажу: так, как у нас в Омске, не было, кажется, нигде больше. Я встречался с выпускниками гидромелиораторами из Киева, Ташкента, Москвы — их, этих факультетов, было в ту пору никак не более десятка, а в каждом свои, нестандартные порядки. И это было и нужно, и хорошо, и, как теперь говорят, инициативно. Так вот у нас в Омске была такая инициатива. Набор происходил в две группы — обычную и производственную, куда поступали без экзаменов по рекомендации производства люди, окончившие техникумы и поработавшие на производстве. Срок обучения у производственников был пять и даже четыре года, у всех остальных шесть лет (за счет прежде всего ВВП — высшей вневойсковой подготовки с двумя лагерными сборами, нас выпускали младшими лейтенантами).

Я учился в непромышленной группе, хотя до вуза тоже окончил техникум, но по другой специальности, по агрономии, впрочем, и большинство моих товарищей были техниками разных специальностей: землеустроителями, машиностроителями, судоводителями и мелиораторами, — которые не хотели сокращать срок своего обучения в институте.

Была еще и такая категория студентов, как инженеры-практики. Пройдя краткосрочные курсы, они работали на производстве, и, если работали хорошо и выполняли объем работ на определенную сумму —

не помню, не то на 500 тысяч рублей, не то даже и на миллион,— им присваивалось звание инженера-практика.

Позже я работал в том же институте, заведовал кафедрой гидротехнических мелиораций, бывал и во многих других вузах, но никогда уже и нигде не встречал больше такой вот интересной и эффективной практики подготовки инженеров. Ее придумал наш декан, затем директор института, а еще позже замминистра высшего образования профессор И. И. Агроскин, гидравлик по специальности. Здорово придумал! Хорошо еще и то, что в ту пору бывало возможным хорошие придумки осуществить.

О нас в институте говорили: «Учатся как звери!» И в самом деле мы учились с восторгом, с упоением. Для нас понятие «инженер-гидротехник» было высочайшим понятием, и тому много причин. На производстве инженеров нашей специальности было очень мало, это отнюдь не расхожая была должность. Мы были еще студентами, а нас уже ценили как специалистов. Приходишь весной в деканат выбирать место практики, а там десятки, сотни писем и телеграмм — предлагают занять должности инженеров, старших инженеров, начальников изыскательских партий, главных инженеров проектов. В конторах и трестах так и говорили: это сложный расчет, отложим его до приезда студентов, они ребята грамотные. И приезжали «грамотные», и рассчитывали, и строили не бог весть какие сложные объекты, зато надежно и скоро. Приехал студент, открыл строительство, а возвращается в институт и везет с собой фото к отчету о практике: плотина небольшая, насосная станция, колхозная или совхозная оросительная сеть. Производств для нас было родным домом. Три месяца практики, два — каникулы, еще на месяц-другой опоздаешь на учебу — никто на это не обращал внимания, лишь бы сдал курсовые проекты и экзамены очередной сессии— и вот уже полгода мы на производстве и желанные там люди, не нас там учат, а мы учим. На дипломы не смотрели, на работу смотрели, на умение и способности.

Я окончил институт, поступил в омский трест Облмелиоводстрой, а главным инженером треста был наш же студент четвертого курса производственной группы Петр Агеевич Куликов. Спустя года полтора я стал ассистентом на своем факультете, а Петр Агеевич сдавал мне свой последний курсовой проект.

Я что всем этим хочу сказать: прекрасный был человеческий материал, кадры готовились самой высокой по тем временам квалификации.

Теперь вопрос: а как же с идеологией, с «идейной обстановкой»? Ведь это же были времена сталинского террора, самого жуткого, самого необузданного. Но и тут нам повезло: наш институт это как-то почти миновало, а что делалось по всей стране — мы об этом знали слишком мало, мы учились — вот было наше дело. У нас при этом еще и самостоятельность была какая-то особенная, даже и непонятная в общей обстановке того времени.

Такой случай. Отца моей будущей жены, профессора, объявили «врагом народа» и сняли с работы (правда, вскоре после того, как был отстранен нарком внутренних дел Ежов, профессор был восстановлен). И тут один из студентов нашего факультета, А., потребовал исключения из института дочери «врага народа!» И что же? Наша группа объявила: если студентка Б. будет исключена, мы все в один день тоже уходим из института. Прибежал И. И. Агроскин взволнованный, красный весь, долго-долго с нами разговаривал, но, по существу, не с нами, а со студентом А. и ведь уговорил его снять свое предложение. Все для всех закончилось благополучно. По тем временам случай прямо-таки невероятный.

А дальше было вот что. Студент А., окончив институт, сразу же получил высокую должность директора треста. Но началась война,

и его призвали в армию. Он испугался, дезертировал, его поймали, и он был расстрелян...

Еще случай. Когда я был студентом, на моем обеспечении оказались престарелые родители, поэтому я, зарабатывая летом на практике, зимой тоже работал: преподавал на вечернем рабфаке и служил корреспондентом в газете «Омская правда». И вот однажды редактор дал мне задание: написать отчет с межобластного совещания мелиораторов.

— Ты же как-никак тоже мелиоратор, вот и пиши.

И я написал, но не отчет, а двухподвальную статью (которую мне приятно считать первой своей работой по специальности) со своими соображениями.

Прошло какое-то время, и меня позвали на заседание президиума облисполкома, обсудили там статью, приняли по ней решение, и не только приняли, но и кое-что действительно изменили в порядке проектирования и договорных отношений с заказчиками. Вот так. Не так часто проявляем мы и нынче внимание к советам студентов. И ведь студент-то какой был на заседании президиума: в майке-безрукавке и в тубетейке с кисточкой, это модно в ту пору было.

Но я и еще припоминаю: а в моей-то инженерной практике был ли такой случай, такой факт, который уже тогда заставил бы меня задуматься — а все ли в порядке «в датском королевстве»? Да, такой случай был...

После института я только начал работать в проектно-изыскательском бюро, и вот начальник этого бюро, мой товарищ (окончивший институт на год-два раньше меня), инженер Музалевский, вызвал меня:

— Сергей, знакомься — это наш постоянный заказчик из горкомхоза. Быстренько сосчитай ему смету на буровую скважину. Условия он тебе скажет.

Я познакомился с Горкомхозом, а условие у него было только одно: чтобы скважина при заданной глубине стоила не больше и не меньше 90 тысяч рублей.

— Условия вполне реальные, — подтвердил Музалевский. — Больше у горкомхоза денег нет, а меньше нам невыгодно. Иди считай. Быстренько! Мы будем ждать. Вот тебе исходные данные, иди.

Я пошел, открыл технические и сметные справочники, стал считать, насчитал 50 с небольшим тысяч и довольный пришел к Музалевскому: оказывается, скважина стоит значительно дешевле.

— Вот чудак! — усмехнулся горкомхоз. — Есть у меня девяносто тысяч на это дело, берите их! До копейки. Мне-то экономия зачем? Деньги у меня целевые, их надо использовать по назначению, если останутся — куда я с ними денусь?

— Иди, Сергей, пересчитай. Быстренько! — подтвердил Музалевский. — А у нас тут еще дела, мы подождем.

— Не знаю, как это и сделать. Разве что категорию грунтов принять другую?

— Вот-вот! — обрадовался заказчик. — Прими какую хочешь категорию, а мы тебе потом в нашем заказе исходные данные переделаем! Мы согласуем.

Я пересчитал, получилось больше 100 тысяч, я пересчитал еще раз — 88! Ура! Я пошел сдавать свою работу и получил похвалу:

— Молодец. Да ведь и быстро-то как сообразил!

Вот это и была та практика, которую я распознал тогда впервые: дело не в том, что и сколько стоит, а в том, чтобы использовать деньги точно в тех пределах, в которых они где-то, когда-то и кем-то отпущены. При таком условии может ли в принципе развиваться техника? Тем более экономика? Никогда! Здесь теряются не только деньги, затраченные на данный объект, — теряется, исчезает сама шкала ценностей, мы не знаем истинной стоимости объектов, не можем выстроить

их в ценностный ряд, не знаем, что дороже, а что дешевле, что есть чистая прибыль, а что убыток, а значит, не можем и разработать варианты и выбрать из них лучший, «меченые» деньги, не будучи деньгами в полном смысле, определяют всю нашу экономику.

С земледельцем у нас иначе и не говорят, как только требуют от него — и план требуют, и сверх плана требуют, и утильсырье требуют, и лозунги с портретами в помещенциях правлений и управлений требуют. Вся жизнь селянина, вся его история вот уже в нескольких поколениях проходит под знаком бесконечных требований к нему. Рабочего или служащего хоть на ночь требователи оставляют в покое, а к колхознику и в полночь запросто постучится председатель или бригадир, а если постучится — значит, с требованием. Прочтите заново толстовское «Утро помещика» — у помещика не было и десятой доли тех требований к своим крестьянам, которые предъявляются к тем, кто еще в детстве провозглашал: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» Вот и ответ на вопрос о том, как и на что расходуется трудолюбие народа, его мыслительный потенциал, в частности способность к оценке результатов своего труда, способность к предвидению своего будущего. Хотя бы и самого ближайшего, завтрашнего. Уму непостижимо — каким образом оказалось возможным до такой степени исказить идеи социалистического земледелия да и социализма тоже?! Тем более что соцземледелие-то ведь не на пустом месте возникло, в ряде случаев оно могло опереться на опыт крестьянской общины. Был такой автор в дореволюционной Сибири — Швецов. Из его труда «История Алтайской крестьянской общины» можно узнать, что на Алтае колхозы, по существу, были еще... в начале века. Ну, конечно, они создавались не по «примерному» уставу сельхозартели, но устав ТОЗа (товарищества по совместной обработке земли) к ним подходил как нельзя лучше — машины они покупали в складчину и использовали сообща, стадо содержали и племенную работу вели сообща, газеты и журналы выписывали сообща, а маслоделием занимались уже в подлинных артелях.

Мне часто приходилось слышать, что общинное пользование земель — это архаизм, что крестьянская община — это пережиток крепостного права и недаром ее разрушал Столыпин. Где-то, наверное, это было и так, а где-то не так.

В Сибирь мужики переселялись охотно — там земли у них было сколько угодно, знай себе обрабатывай, — но селились они все-таки не хуторами и не заимками, а селами, да еще и огромными, и устраивали в этих селах общества, товарищества и артели, почти что колхозы. Значит, где-то и в чем-то выгоден был коллективный труд и трудовая взаимопомощь? Опять-таки не буду говорить за всю Россию и даже за всю Сибирь, но буду утверждать, что если бы не перегибы 1929—1931 годов, если бы мужика не загоняли в колхоз силой, не торопились, не устраивали кровавых истерик — многие, многие крестьяне пошли бы в колхозы добровольно и хозяйствовали бы прекрасно.

Год 1929 был переломным не только в смысле перегибов, но и в смысле полного разгрома перспектив кооперации деревни, психологического разгрома общественного сознания крестьянина, заметим — сознания исторического. Читайте Василия Белова, он пишет о Вологодчине, но и у него вы это тоже почувствуете. Нет и нет — нельзя переделять мир, и природу и человека, вопреки законам и естествознания и социологии. И как странно, что мы с таким упорством и с таким легким сердцем открываем эти законы не для того, чтобы им следовать, а чтобы их исказить. В России на какой-то срок это стало правилом — ведь какие у нас были умы, но каковы практические результаты их теоретических исследований? И так или иначе, а на практике оказывается, что от великих до малых, от руководящих до подчиненных, от верховных до рядовых дистанция не столь уж и велика.

Удивительное дело: чем больше создается разрыв между низами и верхами, разрыв материальный, должностной и престижный, тем ближе духовно эти «разорванные» становятся друг другу. В чем близость? Я думаю, прежде всего в искаженных представлениях об окружающем мире, в заблуждениях по поводу того, каков он настоящий, в настоящем и прошлом, тем более в будущем. В конце концов наступает такая «идиллия», при которой заблуждения одинаковы и однозначны для верхов и низов, однозначны еще и в том смысле, что они для всех одинаково губительны. Таково «единство». Потерять представления об окружающем мире — это потерять и самого себя, это даже хуже, чем не иметь их совсем.

В этой «идиллии» возродилась и та несправедливость, против которой крестьянин восстал в 1917 году, восстал и получил землю. Но вот он уже снова стоит с протянутой рукой и просит... просит ту же самую землю, чтобы быть на ней хоть немного хозяином. И даже не только для себя просит, но и ради того, кто ему не подает, кто от него требует и требует, кто без конца строит и организует для него все то, что ему совершенно не нужно и даже вредно. Ведь этот требователь и «строитель нового» тоже от него кормится. За что боролись, на то и напоролись — вот народная мудрость, страшная, но праведная пословица.

Революции еще и потому революции, что они обоюдоострое оружие, тем более в перспективе, в те сроки, когда революции так или иначе, а вписываются в эволюцию. Мы об этом забыли, и это опять-таки значит, что мы утратили объективное представление о реальном мире, но пытаемся усовершенствовать мир, нами выдуманный. Который никак не может быть ни социалистическим, ни бессмертным, потому что он — никакой.

Античеловечно положение, при котором человек честно выполняет свой служебный долг даже и тогда, когда этот долг сам по себе никому не приносит пользы, больше того — приносит вред. Эта честность, приложенная к бесчестности, есть величайшее из всех издевательств, которые люди сумели придумать для самих себя и своего здравого смысла.

XX век поставил перед человечеством, а перед техникой и техниками прежде всего, эту альтернативу: на пользу или во вред? Поставил с такой остротой, как никогда прежде, но дело-то еще и в том, что, живя в этом веке и действуя в нем, мы его не осознаем как время совершенно исключительное и ответственное. В нашем обществе эта неосознанность происходит еще и от убеждения, будто кто-кто, а мы-то самые сознательные, мы и родились самыми сознательными, а наши пионеры понимают все, что положено понимать человеку, гораздо лучше, чем выдающиеся ученые где-то там, во всем остальном и таком нехорошем, «заблуждающемся» мире. К тому же мы как-то уж очень приучены заботиться не о своих делах, а о чужих, о других за пределами своей страны, о других в ее пределах — тут уж и слов нет, чтобы сказать, насколько бескорыстно мы это делаем.

Я как себя помню, не помню года без тех или иных постановлений о колхозах и колхозном строительстве, и все это было проявлением забот о сельском труженике.

В бесконечной, а в какой-то мере даже и бескорыстной заботливости друг о друге мы перестали доверять заботам человека о самом себе, объявили это эгоизмом, иждивенчеством и еще бог знает чем. А что же в результате произошло? Тому же колхознику, ниже которого по нашей иерархической лестнице уже никого не было, и заботиться было не о ком, и вот он, наш поилец и кормилец, оказался на положении самого бесприютного человека. Нарушение психологии, прежде всего психологии труда и трудовой деятельности, и привело нас к нарушению основополагающих принципов существования чело-

века — принципов его отношений с природой. Там, на Западе, к этому привела страсть к обогащению, у нас — страсть к уравниванию всех, а может быть, даже и к обнищанию.

Кроме того, мы должны понять, что все неполадки и несоответствия в отношениях между людьми внутри общества неизбежно сказываются на отношении этого общества с природой.

Наша перестройка — революция еще небывалая, она должна совершаться без крови и при участии даже тех, кто против нее, тех, кто не видит в ней никаких перспектив. Нечто подобное, может быть, имело место в истории революции, когда в Красной Армии времен гражданской войны 75 процентов среднего командного состава были недавние офицеры царской армии. Почему они воевали за советскую власть, даже при том, что рядовые красноармейцы смотрели на них более чем недоверчиво, да и комиссары тоже? Потому что они убедились, что иного пути у России не было, что именно Советы бескомпромиссно воевали за Россию, в то время как белые главковерхи опирались на иностранных интервентов, продавали ее оптом и в розницу, заключали с ними союзы и договоры, по которым и на юге, и на западе, и на востоке, и на севере России должны были отойти ее территории в пользу все тех же союзников, не говоря уж об огромных материальных обязательствах, которые белые главковерхи брали на себя от имени России. И вот офицеры, в том числе и помещики и дети помещиков, у которых советская власть только что отняла землю и отдала ее тем самым солдатам, которые были у них под началом, теперь воевали за советскую власть. Значит, были убеждены, что другого решения нет.

Наша перестройка — революция, начатая сверху. Но нынче-то вся ставка именно на народ, на общественность и общественное мнение, на общественный здравый смысл. Только бы нам этот смысл не погубить...

Универсальный пафос американца — это его дело. Дело как таковое. Дело прошлое, дело настоящее и дело будущее. Если американец чем-то вдруг увлекся, тогда и это увлечение тоже станет его делом, если не его профессией.

Средний американец никогда никому и ни ради чего не приносил таких жертв, какие из поколения в поколение приносил русский человек ради некоего великого дела, которое именно как дело-то в конце концов и не получалось, не завершалось достижением деловой цели.

Деловитость ведь в том прежде всего, наверное, и заключается, чтобы соотносить затраты с приобретениями, а мы этого никогда не умели. Не знаю, научимся ли. Это неумение и есть утопизм на практике, чуждый всей американской истории и столь близкий истории нашей, отечественной. Вспомним хотя бы протопопа Аввакума и многих-многих монахов, декабристов, толстовцев да и лучших коммунистов тоже. Мы без утопизма не можем. Какой-то народ должен был пронести утопизм через всю предшествующую историю, чего бы это ни стоило, — эта судьба выпала России. Результат? Если нет результата — тогда для чего?

Один результат признан всем миром — это русская классическая литература. Не будь ее — каким бы был современный мир и современный человек? Наверное, на голову ниже? Бывая на Западе, я часто задавал там один и тот же, в общем-то, довольно банальный вопрос: чем привлекательна русская классика? В аудитории Миланского университета мне ответили так: специальность — это средство существования, а русская литература — это средство к тому, чтобы стать другим. Необязательно русским и русского мышления человеком, но

если ты сам себя не устраиваешь и хочешь стать каким-то другим, нужно читать Толстого и Достоевского.

(Вот я и думаю иной раз: а мы-то сами, народ, из которого вышла эта литература, мы-то, может быть, все время какие-то другие, а не такие? Но какие мы есть, мы и сами не знаем, а только верим Толстому, Достоевскому и Блоку. Но это к слову.)

Мы претерпели великие потери, а чтобы терять, надо было иметь. Сколько же мы имели — возможностей, идеалов, научных открытий! Вот и интеллигенцию потеряли, ту, предреволюционную, а отчасти послереволюционную. Впрочем, она, едва народившись, уже не была жильцом на этом свете. В революцию эмигрировали два миллиона человек, преимущественно интеллигенция. Сколько отраслей науки они развили на Западе — и органическую химию, и сопромат, и авиостроение, и философию XX века, всего не перечислишь.

А потери при коллективизации? В 1937 году? В Отечественную войну? В 1948 и в последующие годы все того же террора? А в давние века сколько мы потеряли, ну хотя бы в результате татаро-монгольского нашествия? И каждая потеря оставляет свой след, свои последствия, иной раз большие, чем приобретения.

А что теряли американцы? В истории ничего, потому что в европейском понимании у них ее и не было. В современности же они и потери умеют засчитывать за приобретения — это помогает жить.

И вот ведь как случилось, что мы — с такими разными судьбами — должны друг с другом договориться, друг друга понять.

Наше общество и общественность сегодня как бы даже и теряют свой начальный накал, свою масштабность, то и дело размениваются на мелочи, на столь мелочные групповые страсти, что стыдно становится. Не получает оно и той поддержки, которая обозначается как «действенность печатных материалов». Поначалу те, кого принялась критиковать печать, дрогнули: ну вот, кажется, и конец нашей деятельности; но потом осмотрелись: а ничего подобного — нас критикуют, а с нас как с гуся вода, мы какими были, такими и останемся. Остаемся! Бюрократизм — это еще и стойкое умение приспособливаться к обстановке. Бюрократы приспособились к гласности лучше и быстрее тех, кто обстановку гласности создает, кто вкладывает в нее душу.

Газеты сообщают: в результате мелиорации имеют место много-миллиардные убытки в Каракалпакии, на Кара-Богазе (по подсчетам специалистов, в перспективе убытки составят здесь 70 миллиардов рублей), Нижней Волге, Северо-Западе (в Новгородской, Псковской, Калининской, Ярославской и других областях), на Ленинградской дамбе, строительство которой признано-таки вредным и свертывается, и т. д. и т. д. — все это не в счет, зато в счет новый авантюрный проект переброски Обь — Чаны. Дело простое: новый проект — это новые минводхозовские деньги, сотни миллионов, миллиарды.

Неужели у нас нет другого социализма, кроме минводхозовского? Неужели допустимо списывать миллионы гектаров, губить природу, жить в долг за счет будущих поколений, а главной проблемой все равно будет досыта поесть?!

Обманутая общественность — это уже и не общественность, а только пассивное население, масса, которая перестает верить и самой себе и правительственным постановлениям точь-в-точь так же, как это было в период застоя. Перестает быть той активной силой перестройки, без которой и сама-то перестройка попросту невозможна и обречена на неуспех. Но вот один крупный работник объяснил мне дело кратко и ясно:

— Мы в инстанциях решили бы, что строить, а что не надо,

в два счета. Но уступать шелкоперам? Никогда! Нет, мы еще докажем, что такое мы и что — они!

Но кто же подлинный хозяин природы и природных ресурсов всей страны? Не отдельное какое-то лицо, не ведомство и не министерство и даже не государство, а народ.

И чем более чутко относится правительство любой из стран к проблемам экологии, тем ближе оно и к народу, и к осуществлению народовласти на деле. Чем ближе оно к народу, тем ближе ему такая проблема, как сохранение окружающей среды. Она — это ведь будущее народа.

Мы хотели переделать мир, причем очень быстро, силами всего двух-трех поколений, отвергая эволюцию, используя почти исключительно революционные методы. Нам это не удалось, не вышло. И ни у кого никогда не выходило так, как бывало в начале той или иной революции задумано. В конце концов революции — это мгновения, а история — это века, и если бы первые доминировали над вторыми — жизнь стала бы томительным ожиданием момента, и только. Так что всему свое и время и место. Это вовсе не значит, что с окончанием революции перестают существовать ее идеи. Идеи как раз и есть то главное и наиболее долговременное из всего того, что революции после себя оставляют, к чему послереволюционные эпохи возвращаются в поисках собственной мысли, хотя это заимствование очень часто и остается незамеченным и выдается за новые и даже новейшие открытия. Это тем более возможно, что шкала измерений всех и всяческих идей во время революций и спустя некоторое время после них отнюдь не одна и та же, шкалы эти разные.

История идей — едва ли не самое существенное в истории мысли. В истории идей едва ли не самое существенное — история социальных учений. И не потому, что в этих учениях уже многое достигнуто и осуществлено, а потому как раз, что, несмотря на столь долгое их существование, достигнуто немного. Казалось бы, раз так — нечего им и делать на этом свете, идеям, пожили тышчонку-другую лет, и хватит, толку от них мало.

Но в том-то и дело, что жизнь людей чем дальше, тем все больше и больше становится общественной. И вот уже мы говорим о мировом сообществе, и с полным основанием это говорим: теперь уже нельзя представить человечество, обеспеченное будущим без сообщества народов, объединенных хотя бы только общей для всех идеей-минимум — идеей выживания, из которой следует идея-максимум — бессмертие.

Теперь уже ясно, что если мы, человечество, выживем, так выживем все вместе, если погибнем — тоже вместе. И тем не менее нам все еще не ясно — что такое человечество? Отдельного человека мы представляем себе в том множестве вариантов, которое мы встречали в своей повседневной жизни, в искусстве и в литературе — и с Пьером Безуховым мы знакомы близко, и с королем Лиром. Те сообщества людей, которые — народ и народы, мы чем дальше, тем тоже узнаем все больше и глубже, но все-таки — что такое человечество? Более 5 миллиардов людей так же реальны, как один-единственный человек, но эту реальность мы до сих пор не умеем себе представить, все еще не умеем, хотя бы и с помощью передовой техники и самой обширной информации. Этому нужно учиться. Нужно разрабатывать методику этого обучения, если уж во всех критических историях мы всегда оказываемся «все вместе».

Конечно, бессмертие само по себе понятие утопическое, но разве утопизм не сыграл своей роли в развитии человечества? Разве он не играет ее и сейчас, после того как был в ряде случаев выброшен на свалку истории? Собственно, утопизм обладает одним-единственным недостатком: он слишком горячо желает рая на земле. Но какие бы

стихи, прославляющие человека и его разум, ни слагали поэты в свою любовную пору, теперь уже достаточно ясно: рай человечеству не видать никогда.

Другое дело — избежать ада. Вот с этой поправкой утопизм нынче необходим, может быть, больше чем когда-либо в прошлом. Социализм — альтернатива такой перспективы, кажется, единственная. Никто и нигде другой альтернативы такого рода пока что не выдвинул. И похоже на то, что ее, принципиально другой, и не может быть, что всякое размышление об усовершенствовании человеческого общества никогда социалистических идей не минует. Вот и религия тоже заговорила о христианском социализме, заметим — о социализме, но религий много, причем несовместимых между собой, а социализм — по крайней мере в теории — один, и это тот пункт, вокруг которого можно объединяться в поисках бессмертия всем, кто хочет и кто призван искать.

Да, история возложила на нас грандиозные задачи, одарила нас огромными возможностями, но не дала никому опыта социалистического строительства, способов и методов реализации его собственных возможностей. Ни одного совета не дала она нам, ни одной оргсхемы, ни одного плана, ни одного проекта постановления, все нужно было изобретать и латать самим на протяжении всех семидесяти лет. Единственно что мы знаем: что самые значительные наши возможности — в нас самих. Страна и ориентировалась на самое себя и никогда не рассчитывала на защитников и покровителей — их у нас попросту не было. Это, безусловно, наложило на нашу психологию свой отпечаток. Какую-нибудь статью какого-нибудь вождя мы легко принимали за «исторический документ», который исчерпывающе определяет дальнюю «историческую» перспективу, какой-то далеко еще не проверенный и ничем не подтвержденный тезис — за «историческую необходимость». Страна разучилась добросовестно подводить итоги своей деятельности, нередко полагая, что накачивание энтузиазма более важно, чем практические результаты, будь то в экономике, здравоохранении или в проблемах нашего благосостояния. Так мы потеряли способность сравнивать свои планы и замыслы с реальными результатами. Обвиняя — и не без основания — капитализм в стихийности и неуправляемости, мы проявили едва ли не детскую доверчивость к планам и к «методам планового хозяйства» в целом, мы первые стали объявлять наши планы законами, но это не мешало менять их несколько раз за пятилетку, исключая в то же время из них элементы той неизбежной непредсказуемости и даже стихийности, которых каждый из нас не может избежать при достижении любой цели. Мы законы не открываем, не доказываем, а постановляем.

Теперь-то наконец выделен психологический «человеческий фактор» из ряда других факторов нашего развития, но ведь еще совсем недавно его никак не выделяли, потому что он, по сути дела, заменял нам весь этот ряд. Мы полагали, что достаточно всем стать «сознательными» — и в тот же день наступит социализм.

И в то же самое время именно ориентация на собственные силы помогла нам сохранить себя как новое общество.

Если бы не она — нас давным-давно закупили бы, продали и перепродали из рук в руки если уж не оптом, так в розницу, по частям территориальным, экономическим и духовным.

Если бы не она — мы не выстояли бы в войнах гражданской и Великой Отечественной.

Если бы не она — мы уже потеряли бы свою собственную культуру, давно подменив ее поп-артом и боевиками американского образца, и наша судьба в этом отношении отнюдь не была бы исключением.

И если бы не она — мир не ведал бы никакого иного альтер-

нативного пути своего развития, кроме того, по которому он шел и который привел его на край ядерной катастрофы.

Предшествующие поколения исходили из того, что достижение обществом материального благополучия создаст ему и благополучие моральное, а это последнее — перспективу бессмертия, но время доказало несостоятельность такой гипотезы.

Мы же начали с создания такой «новой» морали, на основе которой должны были прийти и к материальному благополучию. Больше морали — больше всеобъемлющего благополучия: так мы думали. Мы жили ради будущего, в этом была высшая цель, главный приоритет. Но в достижении цели нужно успевать да успевать, покуда настоящее безоговорочно признает над собою право и приоритет будущего. Такое признание не может быть бесконечно долгим, настоящее тоже хочет жить и рано или поздно начинает жить своими собственными интересами. Если же цель не была достигнута за тот промежуток времени, в который настоящее еще готово было служить будущему, наступают обстоятельства, которые можно назвать особыми, исключительными и трагическими. В смысле трагичности всех этих обстоятельств наша действительность, конечно же, никем не была превзойдена в прошлом и вряд ли будет превзойдена когда-нибудь в будущем.

Возникает и такой вопрос: а может быть, жертвы, принесенные человечеством идее социального равенства, столь велики, что навсегда скомпрометировали и саму идею? Что в какой-то мере скомпрометировали — это так, что навсегда — это вряд ли, думаю я.

Да вот и в наше время — куда можно пойти социализму? Не станет же он вручать в вечную собственность частным лицам заводы и фабрики, леса и земли. Что это могли бы быть за частные лица? Не выбирать же нам из своей среды капиталистов! Путь один — не отказ от социализма, а совершенствование его, кропотливый поиск тех его качеств и свойств, которые соответствовали бы не только концу XX — началу XXI века, но и влекли бы в века последующие.

Вот так: и без идеала плохо, и с идеалом непросто, наверное, даже и труднее. Но человечество никогда ведь без идеала не жило, и нужно сказать, что он всегда в существе своем был коммунистическим: свобода, равенство и братство.

Вот и нынче, когда перед человечеством с небывалой остротой возник проклятый вопрос «быть или не быть?», вопрос этот может быть решен в пользу быть только тогда, когда он будет вписан в проблему будущего, причем будущего справедливого, иначе говоря — обладающего идеалом. Нет справедливости без ее идеала.

Нынешний мир может спасти мировоззрение, активного мировоззрения опять-таки не бывает без идеала.

Потери на каждую из наших жизней пришлось невероятные — миллионы погибших в войнах, тюрьмах, катастрофах, в отравленной атмосфере;

потери многих и многих нравственных начал, пусть и не всеобщих, но всякий раз давних, созданных и осознанных за века, иной раз за тысячелетия;

потери во всем том, что до сих пор мы считали вечным и бесконечным, — в природе.

Ну а все-таки в чем же состоит для меня потеря главная, философски наиболее общая, тяжело доминирующая в моей памяти, в восприятии мною окружающего мира?

Чтобы ответить, надо, наверное, вернуться в детство, в юность, в ту пору, когда человек познает мир сам по себе и в его естестве, помимо формул химии и математики, без гениальных изречений Сенеки, Аристотеля, Толстого, Гёте или Эйнштейна, без расчленения этого мира специальными инструментами знания на самые различ-

ные науки и направления, без программ и планов, когда само собою разумеется: если есть — значит, было, значит, и будет.

«Есть» — это ведь понятие изначальное, понятие рыцарское, без страха и сомнений, оно и сделало человека человеком. «Есть» — его суть, включенная в суть и в существование всего остального мира. «Есть» — это и то, что больше всего меняется в нашем представлении с возрастом.

В 1929 году весной я окончил семь классов 22-й барнаульской совшколы и решил осенью поступать в сельскохозяйственный техникум. Между весной и осенью предстояло то самое лето, о котором мы, выпускники седьмой «б» группы, так долго мечтали, к которому готовились, и не как-нибудь, а всерьез, зарабатывая деньги: в школе мыли полы, дежурили в платных гардеробах, а главное, самое главное, арендовали киносеансы. Это в ту пору можно было: надо было внести в кассу кино определенную сумму, а потом распространять билеты, и то, что набиралось сверх этой суммы, и было нашим заработком, в случае же недобора мы могли потерпеть и убыток. Но убытка мы не терпели, мы были активными распространителями билетов, а все другие школы нас поддерживали.

Так мы заработали деньги и пустились в довольно рискованное путешествие по Горному Алтаю. Рискованное, потому что маршрут мы выбрали трудный, отнюдь не туристический и потому что денег у нас все-таки было маловато, но мы решили, что еще подработаем в пути.

Мы делали ставку на пьесу «Стена» из времен гражданской войны — сплошная стрельба, сплошные подлости белых, сплошной героизм красных, финал же все-таки трагический. Догадался-таки я сделать его трагическим. Я был автором этой пьесы. Впрочем, я уже об этом писал где-то и когда-то, но вынужден повториться, чтобы объяснить, когда, как и в каких обстоятельствах мы, пятеро мальчишек и три девчонки, оказались в конечном пункте нашего путешествия — в большом старообрядческом и старожильческом селении Коргон в верховьях реки Чарыш, притока Верхней Оби.

Шестьдесят лет прошло с тех пор, почти шестьдесят, где я только не побывал за этот поистине грандиозный срок, чего не повидал в Европе и Азии, в Америке и Африке, но вот спросите: а что самое красивое из всего виденного мною? — и я без колебаний отвечаю: верховья Чарыша там, где расположены селения Коргон и Кумир. Господи, какие красоты! Какие горы, какие леса, поля какие среди гор и лесов, реки и ручьи какие среди гор и лесов, маральники какие с быстроногими маралами среди гор и лесов, тропы какие среди гор и лесов, — нет, невозможно обо всем этом сказать! Я атеист, но что-то мнится мне неизменно, лишь только вспомню этот совершенно реальный из реальных земной рай, будто не обошлось тут без некоего божественного участия. Во всяком случае, не обошлось без участия тех сил и законов природы, которые никогда так и не будут уяснены человеком. Нельзя уяснить такой красоты, не под силу это человеку, только и можно что чувствовать и переживать ее всем своим, без остатка, существом. Не будь я уже и тогда атеистом, я знал бы, кого благодарить, но вот не знал, а невыказанная благодарность слишком легко присваивается человеком самому себе, и эта легкость оборачивается глупостью.

Не назову точно дату, когда мы пришли в Коргон (где-то в конце июля), и не скажу, что я в тот удивительный день чувствовал. Конечно, переживания и сама жизнь были тогда совсем другими, не такими, как нынче, когда день этот стал и далеким-далеким и таким близким воспоминанием. Но вот в чем дело: уже тогда, в тот день, я знал, догадывался, что Коргон — это на всю жизнь и на всю па-

мать, которая мне предстоит. И даже на ту, которая мне не предстояла, а как бы данную мне тогда же сверх меня самого...

Итак, придя в Коргон, мы направились в сельсовет, чтобы нас назначили на квартиру. Это надо объяснить: какие еще квартиры нужны путешественникам? Но нам они были нужны, таков был способ нашего путешествия: мы нанимали одну подводку, которая везла весь наш багаж, а иногда и наших девчонок, сами же шли пешком, налегке, выбирая самые интересные, а значит, и трудные тропы. Подводчики нанимались везти наш груз от деревни до деревни, это во-первых, во-вторых, палатки у нас были уж очень плохонькие, ночевать в них высоко в горах — мука мученическая. Наконец, мы более чем охотно общались с населением, кроме всего прочего, нам ведь нужны были еще и зрители наших спектаклей. Вот и сейчас я в подробностях помню деревни, в которых мы останавливались, начиная с Кольванского гранильно-шлифовального завода: Бугрышиха, Андреевское, Ионыш, Березовка, Сентелек, Коргон.

В Коргонском сельсовете на наш квартирный запрос ответили так: — Станете на квартиру к Филиппу Медведёву. (Сказано было Медведёву.)

Идти улицей левой стороной до самого большого двухъярусного (то есть двухэтажного) дома, зеленого, под железом. Филиппов дом один такой. Еще было сказано: кулацкий дом.

А постройки в Коргоне были хороши, все больше крестовые, редко где встретится пятистенок, но медведёвские хоромы украшали и эту богатую улицу. И ограда была огромная, с несколькими воротами, внутри ограды бродили лошади, кое-какую травку щипали овцы и гуси, табунились здесь утки и куры, дымилась и постукивала кузня.

Из кузни и вышел к нам хозяин — мужик огромный, с огромной и в самом деле медвежьего цвета бородой, в кожаном фартуке. Ни о чем нас не спрашивая, негромко сказал:

— На квартиру? Ну и што — становитесь. — И тут же громко крикнул: — Ання!

Из дома выглянула немолодая уже женщина тоже в фартуке, в домашнем:

— Ась?

— Посчитай вот гостеванов-то к обеду.

— А сколько их?

— Посчитай.

— Нас восемь человек, — сказал кто-то из нас.

— А возница-то? Не считай, Ання. Ихних — девятеро...

Было очень теплое время, мы не пошли в дом, а разбили палатки в дальнем углу ограды, почти у самой реки.

Мы прожили на медведёвской ограде дней, наверное, десять, помогали хозяину косить, грести и метать сено в копны и в стога, в эти же дни коргонские мужики пантовали маралов, и мы помогали Медведёву загонять их в станки, мы дважды и с успехом ставили свой спектакль в коргонской избе-читальне и очень подружились с Филиппом Медведёвым. Он был человеком огромным, огромной физической силы, мрачноватым и добрым, держал человек пять-шесть работников, и когда все мы — вся его семья и все работники — садились за стол, получалось человек за двадцать. Перед обедом Филипп крестился на икону двумя перстами, жена его Анна тоже, потом они садились с торца стола, Медведёв говорил: «Ну а теперя — с богом!» — стучал по столу ложкой, и все начинали молча и активно хлебать щи с бараниной. Хозяин и хозяйка хлебали по старообрядческому обычаю — каждый из своей плошки, ребятишки и работники — из плошек общих, нам, городским, наливали тарелки — одну на двоих.

Прислуживали за столом хозяйские девчонки, прислуживали

бойко, бесперебойно: и щи, и мясо вареное, и каша пшенная либо гречневая, и кружки с холодным молоком — все подавалось вовремя. Успевали за едоками девчонки едва-едва, но старались и успевали. Старшей было лет тринадцать, младшенькой не больше, наверное, восьми.

И все было бы хорошо, все прекрасно, если бы в доме не стояла тоска, тяжелое предчувствие, о котором не раз и не два заговаривал с нами Медведёв.

— Вот, ребята, какой получился у меня в жизни страм,— говорил он,— страмят меня на каждом углу как богатея и кулака. Мало того — грозятся выселить с Коргона невесть куды. Грозится мне в том советская власть, и это в то время, когда я за ее кровь проливал. Вот я вам сейчас и покажу...— И Филипп поднялся в верхние комнаты, а возвратился оттуда в новом черном пиджаке с орденом Красного Знамени на лацкане.

Мы внимательно орден рассматривали, Филипп и пощупать и погладить его позволял. Это в ту пору была такая редкость, я за свою жизнь раза два-три видел на ком-то ордена, и то издалека, а вблизи никогда.

Так оно и было: в гражданскую войну Филипп был в Красной Армии, он еще в 1922 году воевал с бароном Унгерном в Монголии, отвоевав, вернулся домой и в несколько лет сладил свое хозяйство и зеленый дом под железом.

— Уж я-то повоевал-то,— говорил он.— Уж как меня подранят, я дома золотым корнем питаюсь — и обратно на войну. Так и раз и два. А теперя я лишенец. Без прав на избирательство. Как это может быть, а? — недоумевал он.— Учили меня люди писать Калинин. Писал. Ответу нету. Вы, мальцы, грамотные — может, напишете на повторный раз?

И мы писали, я писал, поскольку в школе у меня неплохо обстояло дело с сочинениями на тему «Как я провел каникулы» и на другие темы тоже.

И вот ведь что оказалось: Медведёв, которого я встретил в селе Коргон, конечно же, был героем моей пьесы «Стена». Но я не догадывался об этом. Только вот сейчас, с запозданием на шестьдесят лет, догадался. А тогда... тогда нам казалось — все обойдется в жизни Медведёва Филиппа, обойдется все, и писать никуда не надо, разве только потому, что человеку этого хочется. Ему хочется, а нам почему бы не написать? Мы люди грамотные! Кажется, только один из нас, Коля Дудкин¹, сын сельского фельдшера, понимал Филиппа Медведёва. А остальные только и делали что купались в окружающей нас природе, воспринимая ее в счастье и в радости.

Мы природу искали на каждом шагу и, по сибирскому выражению, бегали вчетвером в верховья реки Коргон, а я один — еще и в селение Кумир и дальше вверх по реке Кумиру. Я надышался в тот раз той самой красотой, которая и сейчас сжимает мне горло, как только вспомню о ней. Семьдесят — восемьдесят километров каждый из этих маршрутов, двести пятьдесят тысяч шагов среди гор и лесов, среди чудес и счастья — вот чем были эти одно-двухдневные маршруты.

Ну а денег-то нам все-таки не хватило, и мы ради экономии решили купить какие-никакие лодки и сплавиться вниз по Чарышу. Деревенские нас провожали, натащили шанежек, женщины плакали:

— Утонут ить, глупые!

Вышел на берег и Филипп Медведёв, помахал нам лапой и, не дождавшись, пока мы отчалим, ушел.

А Чарыш здесь, в верховьях, считался сплавным только для плотиков, а для лодок — ни в коем случае, но мы рассудили так: если

¹ В недавнем еще прошлом директор крупного московского завода, ныне пенсионер.

плавится плотик, почему бы не сплавиться и лодке? Мы все выросли на Оби, у нас были отличные рулевые. Нашим любимым занятием было плавать по Оби в бурю. Вот мы и поплыли весело и отчаянно через пороги и перекаты, раза два-три тонули, но не утонули. Был случай — Коля Дудкин спас меня из очень серьезного положения, он был у нас первым силачом.

А тем временем год великого перелома вступал в свои права, в свое надругательство над правами человека, и мужики в деревнях, мимо которых мы плыли, уже не проявляли к нам никакого интереса, скорее даже проявляли враждебность. И пьесу «Стена» из времен героической гражданской войны мы больше нигде не показывали, плыли голодные и холодные. Опять-таки одна только природа — горы и леса, а потом и равнины — не изменила к нам своего отношения, и сияло над нами сибирское безоблачное, иссиня-синее небо... И мы, городские дети, были и веселы и счастливы.

А через тридцать с небольшим лет я принимал участие в лесной экспедиции Академии наук по Горному Алтаю, я уже говорил об этом, и вот однажды попросил своего начальника профессора Г. В. Крылова сделать небольшой крюк, заглянуть в Коргон и Кумир. Георгий Васильевич согласился и нашел какое-то задание в той стороне, так нашел, чтобы и Коргон и Кумир были нам по пути.

— Ну правда,— сказал мой профессор,— ничего интересного там нет, года три-четыре назад я там бывал — ничего нет!

Ехали мы на «газике» и все время разговаривали: незадолго до того я вернулся из Китая, вот о Китае я и рассказывал. Дорога была — хуже некуда: рытвины, грязь, камни, сосновые и кедровые хлысты валяются вдоль дороги. Справа от нее — облысенные горы, слева — долина, тоже вырубленная-вытоптанная, вся в пеньках, с жилыми бараками вдоль реки, с неприглядными длинными и разбитыми улицами. «Ну,— думал я,— вот уж когда достигнем Коргона и Кумира...— А глядя на бараки: — Ну, дом-то Филиппа Медведёва, рубленный корабельно, конечно же, стоит как стоял — что ему может сделаться? Около него я и постою. И подумаю. И повспоминаю...»

Так мы ехали и ехали, тряслись по ухабам и тряслись, а я все рассказывал и рассказывал о Китае, пока не спросил:

— Да где же Коргон-то? Пора бы ему быть.

— Как где? — удивился водитель. — Вот бараки-то мы проехали, построечки на берегу — это и был Коргон. Теперь уже скоро и Кумир. Он точь-в-точь такой же. Может, не стоит и ехать?

Профессор смотрел на меня, молча спрашивал: стоит? не стоит? Я сказал:

1 — Не стоит... Едем обратно.

А ведь еще совсем недавно человек мог вернуться в ту самую природу, в которой он произошел, в природу своей юности тоже мог и в природу своей любви и счастья, потому что природа как никто другой счастье хранит. Это наша собственная жизнь всегда была временной и мимолетной, природа же — та вечность, которую человек мог искать и безошибочно найти, прислониться к ней, погрузиться в нее. Общение с ней и всегда ведь было не только необходимо, но и возможно и естественно. Вот и для Толстого оно было, это общение, возможным в Ясной Поляне, и для Пушкина в Михайловском и в Болдине, и для Тургенева в Спасском-Лутовинове, и для Есенина в Константинове. И не только для них, выдающихся поэтов и мыслителей, всегда существовало некое пространство, наполненное Вечностью, не только их наделила природа чувством родины, нет, — в этом все люди как ни в чем другом равны и равноправны, и каждому дано где-то прийти в мир, а где-то из него уйти, каждый может еще и еще найти себя среди лесов, гор и равнин Земли, на берегу какой-то реки, какого-то моря. А найдя, снова и снова приобщиться

к ней — к Вечности. Это, должно быть, потому, что Вечность — родина всего и всех. Нас, людей, тоже.

Так было всегда, а иначе, казалось, быть не может. Но вот уже перед глазами человека в течение его столь краткой жизни проходит даже и не один, а несколько обликов природы, изменчивых и непостоянных, им же, человеком, искалеченных. А где же и в чем же тогда заключена для него Вечность? Разве только в космических, беспредметных даях? Наверное, так оно и есть, если через тридцать лет уже не узнаешь свою любимую — природу? Свою родину. Я все тот же, она — уже другая!

Вот какое новшество произошло на этих днях, на наших глазах: Вечность канула в Лету. Вместо Вечности — Выживание (и оно тоже пишется нынче с большой буквы).

Вот что нам предстоит сохранять и восстанавливать: Вечность.

Вот какие остались у меня воспоминания о русском старожильческом селении по имени Коргон.

Всю жизнь я собирался вести дневники, аккуратно записывать день за днем — какое, скажем, за полвека составилось бы богатство! С энтузиазмом начинал я это дело лет шестьдесят пять тому назад, но вскоре же и бросил. А что же все-таки мешало это бесценное богатство приобрести? Лень? Конечно, и она. Но не только она. Дневник — это ведь дни, один, другой, сотый, тысячный, десятитысячный, дни — это время, но у времени есть антипод, который его пожирает, антипод этот — события. Чем больше событий, тем меньше времени.

Откроем сегодняшний номер любой нашей газеты — «Правды», «Известий», «Труда», «Московских новостей»; открыв, представим себе, что день сегодняшнего числа имеет место не в 1989 и не в 1988 году, а, скажем, в 1984-м. Да с ума можно сойти, прежде чем это себе представить: так изменилась за последние годы жизнь, такие произошли в ней перемены и события! Истинно, тут уж не до жиру, быть бы живу, иначе говоря — тут не до дневников. Безошибочно можно сказать только одно: то ли еще будет!

Девятый вал перестройки еще не подошел — так я слышал, так и сам понимаю.

Догадываешься, что из чего должно проистекать, — вот и все, и не более того. Ну, наверное, мы и дальше будем вписываться в тот окружающий нас мир народов, от которого мы на долгое время изолировались даже тогда, когда в этом не было ни малейшей необходимости...

В те семьдесят лет, когда мы не чувствовали себя Европой, она ведь тоже размышляла, искала, возносилась и падала, произвела на свет фашизм, не без нашей помощи избавилась от него, но не до конца. Когда бы до конца — откуда было бы взяться терроризму?

Если по большому счету, так по обе стороны железного занавеса человеческие трагедии разыгрывались чуть ли не одни и те же, но только в разных обстоятельствах и на разных языках, значит, надо искать общий язык, больше того — строить общий европейский дом. Столь необходимый и для всего мира. Логика? А какая другая логика еще может быть? Были другие, а к чему они привели?

Но прежде чем приступить к общему делу, нам нужно обогатить себя идеологически. Обогатить, прежде всего освободившись от всего выдуманного в нашем мировоззрении.

Выдуманные от начала до конца мировоззрения — это, наверное, самый большой грех и порок человечества. Мировоззрение должно проистекать из опыта и уж во всяком случае подтверждаться им, а опыт ведь нельзя ни выдумать, ни сконструировать. Мировоззрение не конструируется, оно определяется из действительности, определившись, призывает нас к себе. Мы пробовали сделать наоборот: призывать мировоззрение к нам, подчинять ему свой собственный

опыт,— не получилось. То есть на некоторое время что-то и получалось, но ведь всему положено не только свое время, но и своя собственная продолжительность. А то поесть толком нечего, зато — мировоззрение! Этого долго быть не могло.

Вот и нет у социализма большего врага, чем все лишнее в нем самом. И в любом деле так же.

Избавив социализм от всего лишнего и необоснованного, мы снова и снова раскроем его реальную необходимость в этом мире. Ведь никакой замены его идеям так и не возникло.

Да, мне представляется, будто в какой-то момент мы восприняли социализм не только как панацею от всех и всяческих бед человечества, но даже и как решение всех личностных проблем. Вот уж приедет барин, барин и рассудит каждого из нас и с историей, и с современностью, и с самими собою. И такой взгляд на вещи, такое мировоззрение приостекло вовсе не от бедности мысли.

В личности русского человека, каждого человека, воспитанного на русской культуре, уже к началу этого века столько было заменено всего на свете, столько возникло в голове и сердце его неразрешимых противоречий, малодоказуемых убеждений, мечтаний и сомнений, гипотез и догм, столько было в нем в ту пору Достоевского, Толстого, а несколько позже Блока, Маяковского и Демьяна Бедного тоже, что он невольно поверил в существование некоего универсального средства, пригодного для безотлагательного (терпеть и дальше не было уже никакой возможности) решения всех своих и национальных, и интернациональных, и сугубо личных проблем. Он доверился не столько даже делу своей жизни как таковому, сколько мечте о таком вот необычайном средстве.

Нет, нет — мыслью социализм никогда не был беден, и даже в самые тяжелые для нас времена я не замечал, чтобы мы уступали кому-то в нашей мыслительной деятельности. Может быть, не превосходили, но и не уступали.

Говорят — и говорят до сих пор упорно, — будто социализм безличностен. Нет, не верю! Не от педантизма он произошел и не от какого-то там стандарта, он шел от поиска, а поиском бедные души не занимаются. Не терпят бедные души и подполья, что дореволюционного времени, то и сталинского и брежневского времен.

В самой истории нашего отечественного социализма личностного начала не только не хватало, а было в избытке. Другое дело, что от этого избытка недалеко оказалось и до... культа личности. В стране монархической это не то чтобы естественно, но и отнюдь не вероятно. Сталин знал, что делал, когда создавал свою «когорту», выдвигал «выдвиженцев», не одно их поколение, и поручал им отделиться от старого мира, отряхнуть его прах со своих ног, а затем построить «наш» совершенно новый и безупречно справедливый мир, все это в самые сжатые сроки.

И «выдвиженцы» решительно искореняли тот самый капитализм, который они-то и в глаза не видели, полагая себя при этом ортодоксальными марксистами и не задумываясь над тем, что Маркс предупреждал: пролетарские революции обязательно должны созреть в горниле капитализма, империализма, а может быть, и сверхимпериализма.

Нет, такого разнообразия личностей, которое создала российская действительность с начала текущего века, поискать да поискать! Другое дело, что здесь может быть найдено с точки зрения дела общечеловеческого, с точки зрения того социализма, который — социализм, а не его паллиатив. Во всяком случае, мне доводилось наблюдать богатейшие и самые различные личности во все без исключения времена — и культа личности и застоя (об этом свидетельствует и наша литература), тем более время нынешнее ничуть не пугает нас каким-то личностным однообразием или стандартностью мышления.

Не знаю, кого бы могло это испугать и опечалить. Так что и в этом смысле нам есть чем поделиться с миром, с мировой литературой в частности, дело лишь за новым Толстым, и ни за чем другим! Надежда, правда, на Толстого немного. Толстые — это ведь явления национальные, а нынче наше национальное и размывается и нами же самими компрометируется так, как, наверное, ни в одной другой союзной республике; Толстые возникают из того или иного направления в развитии духовной жизни и культуры народа, а нынче культура у нас есть, но направлений в ней нет, все больше свары — тиражные и другие; Толстые — это выражение благородства нации, векового, если уж не тысячелетнего, но в то время как те же американцы из своей двухсотлетней истории извлекают и извлекают духовную (и благородную) пищу, нам наша тысячелетняя служит больше для всякого рода справок и опровержений.

Но так или иначе, а дело все-таки в нашем настоящем, второй половине восьмидесятых, они, как и всякие революционные годы, чреватые многими неожиданностями и ожиданиями, они момент решающий, подлинно исторический. Плохо, если мы за повседневностью не усвоим этой историчности.

Заметок из всего того, что было и прошло, можно написать множество, но для этого нужно видеть. Нельзя замечать не видя.

Если же и еще поживем, значит, и еще увидим.

Хотелось бы, да и нужно, увидеть вещи в их более конкретном, в том житейски-драматическом значении, в котором все они, все мы нынче существуем, не предаваясь при этом (или предаваясь лишь в меру) российской привычке порассуждать и поговорить вокруг, повспоминать, припрятывая за воспоминаниями мечты и надежды. Те самые, которых мы стали уже и стесняться.

Мы грешны перед природой по невосполнимому счету, по счету, который не оплатим никогда.

Чернобыль — это счет; Арал — это ужасный счет, там страдают целые народы; Кара-Богаз — счет; списанные миллионы гектаров в результате «коренных улучшений» (читай — мелиораций) — счет...

Счета, счета, счета...

Но тут еще и природа учинила землетрясение в Армении, как будто у нас и без этого в минувшем году не было бед и нерешенных проблем.

Пытаемся уладить отношения между нами, людьми, и вовне страны политика наша действительно обретает все большую поддержку и понимание, но вот внутренние отношения все усложняются, а это снова и снова отзывается и на той природе, которая дает жизнь нашему государству, которая к решениям Совета Безопасности не прислушивается, и нам остается одно — прислушиваться и считаться с ней да с умом строить в сейсмологически опасных районах. И — страдать, когда это становится неизбежным, так, как страдает нынче Армения, а вместе с нею и все мы, советские, и все человечество.

Почему братству и взаимопониманию нас больше всего другого учат трагедии?

Почему Армении выпало учить всех нас — слишком уж дорогая цена для небольшого народа, для столь трудной его истории.

Есть вопросы, на которые ответа нет. Ответ один — дело. Дело поддержки, помощи, соучастия. И хоть это-то дело нынче, слава богу, происходит.

Из фонда журнала на счет 700412 в помощь пострадавшим от землетрясения в Армении и на ликвидацию его последствий перечислено 6 тысяч рублей.

ГЕННАДИЙ СТУПИН



СВЕТ МОЙ БЕЗМЕРНЫЙ

* * *

Глаза закрою — поезд стучит...
Как будто среди степи
Один на песочке речном в ночи
Я сплю, а слух мой не спит.

Слушает землю и воду, где сом
Лопатой ударит вдруг...
А по небу катится колесом
Луны серебряный круг.

И черные тени скользят по земле,
Седой от луны и росы...
И кто-то крадется ко мне во мгле
Средь этой ночной красы.

И овладевает волшебный страх
Душой моей молодой...
Скорее бы птицы проснулись в кустах
И пар поплыл над водой!

И я цепенею комком земли,
Предчувствуя каждый звук...
Не возникает и канет вдали
Поезда ровный стук!..

И слыша, что в мире я не один,
Бедное сердце мое
Впадает в холодной моей груди
В сладкое забытье...

...А открою глаза — электричка гудит.
И, куда я ни повернусь,
Машины, дома, впереди, позади,
И люди повсюду... А я один,
Как будто никак не проснусь.

* * *

...свет мой безмерный!

В. Тредиаковский.

Свет мой безмерный, свет мой бессмертный,
Льющийся тихо и быстро летящий,
В ведро прямой, а в ненастье неверный,
Медом целящий, стрелою разящий.

Свет неизбывный, всесущий и вечный,
 Ветром взвевающий душу влюбленную,
 Свет всемогущий, и бесконечный,
 И усыпляющий жизнь изнуренную.

Утренний ясный и тусклый вечерний,
 Робкий сквозь тучи и солнечный ярый,
 В неуловимой космической черни,
 Призрачный, и сокровенный, и явный...

Мнутся за мреющей дымкой блестящею,
 Нет, не холмы, не леса, не долины —
 Звезды, кресты и могилы молчащие
 Всех безымянных, безвестных, безвинных...

Все ты бальзамом залил или золотом:
 Братоубийство, земли разорение,
 Села, как ветром сметенные голодом
 И увезенные на поселение...

Свет неменяемый, все превзошедший:
 Годы войны, небывало кровавой,
 Лесом бетонных деревьев взошедшей,
 Правду победы под властью неправой...

Все без различия позолотивший:
 Перевороты в тиши кабинетов,
 Чернь, пред народом все двери закрывшую,
 Горечь вопросов и лживость ответов...

Свет все терпения и все прощения,
 Блеском на бездны глаза закрывающий,
 Хмелем надежд и елеем забвения
 И опьяняющий, и усыпляющий...

О нестерпимый для взгляда открытого,
 Иль ослепи, иль до доньшка высвети!
 Но воскреси меня, трижды убитого,
 Из помрачения разум мой выведи!

Свет мой безмерный, свет мой бессмертный,
 Кровь моя, жизнь моя, слово и дело,
 Лейся, лети, мой родимый, мой верный...
 Испепели мою душу и тело! —
 Только свети. Без конца и предела.

* *
 *

На русских кладбищах могилы не найдешь,
 И ворон молчаливый не подскажет,
 Пока по стольким предкам не пройдешь...
 И всяк тебе костями под ноги ляжет.

На русских кладбищах забвения трава
 Хватает ноги-руки, рвет до крови.
 Безмолвствует здесь долг, молчат права,
 Незримы знаки родственной любви.

На русских кладбищах ни хода, ни рядов —
 Хаос оград, годов неразбериха.
 Как будто все колена всех родов
 Смешало здесь неведомое лихо.

Кладбища русские быстрее всех растут,
И всех быстрее они места меняют.
Вчера лишь было там, а нынче тут —
То ль умирают, то ли воскресают...

Везде, всю жизнь по русским кладбищам идешь!
Не оттого ль твоя падуча сила?
На них одной могилы не найдешь,
Но тьмы и тьмы — словно одна могила.

У нас вовеки ничего не разберешь!
У нас и плач и песня — голосные.
На русских кладбищах могилы не найдешь
Одной, родной — и будто все родные...

Но вот один идет, за ним идет другой —
На памятниках я видал их лица,
Где около — стакан, всегда пустой,
Хотя дожди не забывают литься...



ВЯЧЕСЛАВ ПЬЕЦУХ

★

НОВАЯ МОСКОВСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Повесть

Часть первая

ПЯТНИЦА

1

Это удивительно, но русская личность издавна находится под властью, даже игом родного слова. Датчане своего Кьеркегора сто лет не читали, французам Стендаль, пока не помер, был не указ, а у нас какой-нибудь саратовский учитель из поповичей напишет, что ради будущего нации хорошо было бы выучиться спать на гвоздях, и половина страны начинает спать на гвоздях. Такая покорность художественному слову вдвойне удивительна потому, что всем, кроме детей и сумасшедших, ясно как божий день: за этим самым словом стоит всего лишь бездыханное отражение действительности, модель. И это еще в лучшем случае; в худшем случае люди просто сидят и сочиняют всякие небылицы, самозабвенно играют в жизнь, заставляя никогда не существовавших мужчин и женщин совершать поступки, которые взаправду никогда и никем не были совершены, то есть фактически вводят в заблуждение миллионы честных читателей, пресерьезно выдавая свои выдумки за былое, да еще и покушаются на некоторые надчеловеческие прерогативы, потому что, бывает, пишут: «он подумал», «ему в голову пришла мысль»; но ведь это кем нужно быть, чтобы знать, о чем именно он подумал и какая именно ему в голову пришла мысль!

Действительно, в другой раз откроешь книжку и прочитаешь: «В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер один молодой человек вышел из своей каморки, которую нанимал от жильцов в С-м переулке, на улицу и медленно, как бы в нерешимости, отправился к К-ну мосту...» Так вот читаешь это и подумаешь: а ведь никогда не было ни жаркого июля, ни вечера, в который молодой человек вышел из своей каморки, ни каморки, ни С-го переулка, ни самого молодого человека, а все это придумал писатель такой-то, чтобы освободиться от своих грез и заработать на булку с маслом; ну хорошо, жаркий июль, предположим, был, возможно, и С-кий переулочек был, и каморка, нанимаемая от жильцов, но никакого молодого человека не было и в помине. А если даже и был, то он никогда не выходил со двора под вечер в направлении означенного моста, а если и выходил, то не «как бы в нерешимости» а, напротив, немецким шагом, и не из каморки, и не под вечер, и не в начале июля, а из квартиры в Измайловском полку рано утром 30 сентября.

Самое интересное, что в настоящих масштабах прозрения этого рода у нас почему-то исключены и мы так же безусловно верим в литературу, как наши прадеды в судный день. Возможно, этот культур-

ный феномен объясняется тем, что у нас, так сказать, евангелическая литература, но, с другой стороны, возможна еще и такая вещь — как описано, так и было; на самом деле был и жаркий июль, и вечер, и молодой человек, который именно «как бы в нерешимости» тронулся со двора; было если не в шестидесятых годах прошлого столетия, то в сороковых позапрошлого, или при Борисе Годунове, или два года тому назад, ибо человек живет так долго, богато и многообразно, что нет такого отчаянно-литературного, даже бредового положения, в котором когда-либо не оказывался действительный человек. Как еще не было такой фантазии, которая не стала бы реальностью, как нет такой причины, которая не выработала бы свои следствия, как не может быть такого сочетания согласных и гласных, которое что-нибудь да не обозначало бы на одном из человеческих языков, так не явилось еще такой художественной выдумки, которая настолько не пере-кликалась бы с действительными ситуациями и делами, чтобы ее невозможно было принять за правду. В том-то все и дело, что было все: и Евгений Онегин с Татьяной Лариной, и Акакий Акакиевич с его злосчастной шинелью, и капитан Лебядкин с фантастическими стихами, и Однороду; разве что носили они иные имена, окружены были иными обстоятельствами, жили не совсем тогда и не совсем там — но ведь это же сравнительно чепуха. Важно другое, именно то, что скорее всего литература есть, так сказать, корень из жизни, а то и сама жизнь, но только слегка сдвинутая по горизонтали, и, следовательно, нет решительно ничего удивительного в том, что у нас куда жизнь, туда и литература, а с другой стороны, куда литература, туда и жизнь, что у нас не только по-жизненному пишут, но частью и по-письменному живут, что духовная власть литературы у нас настолько значительна, что в некоторых романтических случаях вполне здравомыслящему человеку может прийти на ум: Алеша Карамазов так бы не поступил. И тут положительно не из чего совеститься, что в некоторых романтических случаях мы киваем и оглядываемся на наших святых толстовского, Достоевского или чеховского письма, ибо они суть не выдумка, а истинные святители русской жизни, в действительности примерно существовавшие, то есть страдавшие и мыслившие по образцу, достойному подражания, ибо в том-то все и дело, что было все. Уж на что, кажется, неповторимо дика следующая сцена: «Она вскрикнула, но очень слабо, и вдруг вся ослезла к полу, хотя и успела еще поднять обе руки к голове... Кровь хлынула, как из опрокинутого стакана, и тело повалилось навзничь... Она была уже мертвая. Глаза были вытаращены, как будто хотели выпрыгнуть, а лоб и все лицо сморщены и искажены судорогой... череп был раздроблен и даже сворочен чуть-чуть на сторону...»—сцена эта не только во всех указанных подробностях неоднократно случалась в жизни, но даже совсем недавно повторилась в который раз. Правда, обстоятельства ее были не столь кровавы: жертвенная старушка в темно-пегом пальто нынешней материи и покроя, в смешной меховой шапочке с напуском для ушей, в резиново-войлочных ботах, известных под прозвищем «прощай, молодость», просто-напросто сидела на скамейке в самом начале Покровского бульвара, закрыв глаза и сложив руки на животе,— все-таки нравы последней четверти двадцатого века внесли в классическую сцену свои смягчающие поправки.

Казалось, старушка дремала на солнышке, впервые проглянувшем за ту весну; двое мальчишек с ранцами, возвращавшиеся из школы, подсели к ней и, болтая ногами, немного поговорили, двое сизарей было приземлились у ее бот, но вдруг поднялись, панически хлопая крыльями, один прохожий в каракулевом пирожке спросил у старушки, как ему пройти на Солянку, и, не дождавшись ответа, сказал:

— Глухая тетеря!

Уже стало смеркаться, а старушка все сидела на скамейке и не думала уходить.

Появлению ее на Покровском бульваре предшествовала в некотором роде история, развернувшаяся в большом угловом доме по Петроверигскому переулку, в квартире № 12, где подобрался известный коммунальный народец, теперь уже мало-помалу уходящий в небытие. Подбирался он сложно и не враз, а по времени ровно столько, сколько существует сама двенадцатая квартира.

Сначала здесь поселился Сергей Владимирович Пумпянский, учитель латинского языка, преподававший в 6-й московской гимназии. У него была жена Зинаида Александровна, урожденная Саранцева, отдаленный потомок той самой Елены Ивановны Саранцевой, которая была капитаном единственного в своем роде кавалерийского подразделения, а именно роты амазонок, сформированной Потемкиным в Балаклаве по случаю приезда Екатерины II. У Сергея Владимировича было также четверо детей: Сергей, Владимир, Георгий и Александра. Сергей Сергеевич погиб еще в империалистическую войну во время летнего наступления семнадцатого года, Владимир Сергеевич в тридцать четвертом году угодил под пригородный поезд на станции Мамонтовка, что по Ярославской дороге, Георгий Сергеевич пропал без вести в ноябре сорок первого года, в пору сражения под Москвой, в котором он участвовал в качестве ополченца, а Александра Сергеевна дотянула до наших дней; в двенадцатой квартире она занимала самую дальнюю комнату, если считать от прихожей, расположенную рядом с кухней и черным ходом, в которой до девятнадцатого года жила кухарка Пумпянских Елизавета. Комнатка эта была маленькая и темная, так как одно ее окошко выходило на заднюю лестницу, а другое, над дверное, в кухню, и поэтому у Пумпянской практически всегда горел свет. Ближе к тем дням, о которых речь, Александра Сергеевна представляла собой махонькую интеллигентную старушку с худым лицом, очень опрятную, вообще источавшую впечатление приятно пахнущей белизны.

На второй год империалистической войны, когда только-только пошли бытовые трудности, учитель Пумпянский заболел водянкой и вынужден был напустить жильцов. В комнату, следовавшую наискосок за кухаркиным помещением, бывшую детскую, в пятнадцатом году въехал трамвайный кондуктор Фондервякин с женой Аграфеной и сыном Борисом, квелым, болезненным мальчуганом. Старшие Фондервякины долго не прожили, а сын их Борис через некоторое время после кончины родителей привел в квартиру жену и в двадцать восьмом году произвел на свет сына Льва, который здравствует до сих пор. Лев Борисович Фондервякин — крупный мужчина с обширной, как бы лакированной плешью, общительный, одинокий, так как отца с матерью он похоронил, а своей семьей почему-то не обзавелся, с легким дефектом речи — он немного пришепetyвает, например, вместо «даже» говорит «дазе». У Льва Борисовича есть одна забавная страсть — он обожает консервировать продовольствие, то есть сушить, солить, коптить, вялить, мариновать, и из его комнаты несет погребом.

Вскоре после Фондервякиных в двенадцатую квартиру въехал артиллерийский прапорщик Остроумов, занявший соседнюю комнату по левую сторону коридора; он застрелился в февральскую революцию. Вместо него в этой комнате поселилась семья Никанора Сидорова, приказчика из обувного магазина Алышванга на Кузнецком мосту, вдовца, у которого было двое великовозрастных сыновей. Потом Сидоровы начали умирать, жениться, плодиться, рассредоточиваться, и в конце концов в бывшей спальне Пумпянских осталась жить внучка обувного сидельца Вера Александровна Валенчик со своим мужем Генрихом Ивановичем Валенчиком; куда подевались остальные члены сидоровского клана — это покрыло время. На сегодняшний день Вера Александровна — сорокалетняя дама, впрочем, моложавая, крашеная блондинка, что называется, в положении, а Генрих Иванович — невы-

сокий такой крепыш с залысинами, тонко подстриженными усиками и бачками; на досуге он пишет стихи и прозу, умеет отлично готовить отдельные блюда, а в разговоре то и дело попихивает своего собеседника локтем, как это делают ёрники, когда глупо шутят или выдают тайны.

В самом начале двадцатых годов, в пору так называемого уплотнения московского барства и буржуазии, двенадцатую квартиру сплошь заселили рабочим людом, оставя Пумпянским только одну комнату, бывшую столовую, в которую они сволокли так много мебели, что в комнате было не протолкнуться. В бывшую гостиную, расположенную слева по коридору и примыкавшую к помещению Сидоровых, сначала въехал многосемейный кустарь Поповский, который занимался починкой керосинок и примусов, потом одинокий милиционер Коновалов, погибший при ликвидации банды Красавчика, знаменитого московского уркагана, потом один тихий работник Наркомата путей сообщений с женой, страдавшей эпилепсией, потом политрук РККА Горизонтов с матерью и сестрой, потом какой-то непонятный мужик, которого никогда не было дома, и, наконец, сразу после денежной реформы шестьдесят первого года в этой комнате поселился молодой инженер Владимир Леонидович Голова. Какое-то время он жил бобылем, а затем женился, дал жизнь двоим детям, развелся и переехал; таким образом, в бывшей гостиной осталась жить его соломенная вдова Юлия — женщина маленькая, изящная, точно игрушечная, дочь Любовь тринадцати лет и сын Петр — серьезный, как бы мыслящий карапуз.

Теперь о помещениях, расположенных по правую сторону коридора... Как уже было сказано, в начале двадцатых годов Пумпянских поселили в бывшей столовой, соседствовавшей с каморкой кухарки Елизаветы, где они и существовали, пока представляли собой семью, но со временем Пумпянские начали исчезать, и когда Александра Сергеевна осталась одна как перст, ее переместили в каморку кухарки Елизаветы, а население каморки, именно семью ткача Трехгорной мануфактуры Семена Тимофеевича Началова, переместили в бывшую столовую, где этот ткач и пустил разветвленный корень. Впрочем, к нашему времени в комнате обитали только его сноха Анна Олеговна Капитонова и внук Митя Началов, велеречивый девятиклассник, юноша русоволосый и умноглазый, аккуратист, чистюля, почти педант. Митин дед умер в пятьдесят четвертом году, мать давно развелась с отцом, вышла замуж за финна и уехала за границу, а отец завербовался на строительство Колымской гидроэлектростанции.

Бывший кабинет учителя Пумпянского, следовавший за бывшей столовой, разделили перегородкой. В ближней половине все жили работники коммунального хозяйства, как то: сантехники, техники-смотрители, электромонтеры — народ необременительный, одинокий, а в семьдесят девятом году здесь окончательно поселился дворник Василий Чинариков, который сначала работал дворником, потом воевал в Афганистане, потом учился на философском факультете Московского университета, но доучился только до третьего курса, бросил университет и снова поступил на дворницкую работу. Вася Чинариков — крепкий и, в общем, ладно сложенный парень, разве что он несколько колченог, волосы он стрижет коротко, одевается во что попало, лицо у него грубоватое, что называется, простонародное, но как бы освещенное изнутри некой игривой мыслью.

В дальней половине бывшего кабинета долго жил оперуполномоченный Кулаков, перед которым трепетала вся двенадцатая квартира, и это не мудрено: как-то он целую неделю продержал в допре политрука Горизонтова за то, что политрук нечаянно устроил короткое замыкание. После Кулакова тут поселились сестры преклонного возраста, которые существовали так кротко и незаметно, что никто из жильцов не знал их по именам, а почти одновременно с Чинарико-

вым сюда въехал Никита Иванович Белоцветов, мужчина лет сорока пяти, по профессии фармаколог; наружность его трудно поддается описанию, потому что это самая что ни на есть дюжинная наружность, скорее собирательная, нежели отличительная, а впрочем, у него необыкновенно крупная, какая-то монументальная голова, и поэтому собственно лица у Никиты Ивановича примерно столько же, сколько бывает государственного профиля на монете.

Теперь следует представить места общего пользования и вообще топографию квартиры № 12, поскольку без нее в дальнейшем не обойтись. Входная дверь в квартиру двойная, внешние створки выкрашены в подло-коричневое и открываются наружу, а внутренние обиты зеленым дерматином и открываются внутрь; над дверью есть небольшое запылившееся окошко. Прихожая довольно обширная; как войдешь, налево будет старинное зеркало высотой чуть ли не до потолка, замутившееся от времени, направо телефонный аппарат, в двух местах залатанный изолентой, который стоит на бамбуковой этажерке; среднюю ее полку занимает консервная банка из-под испанской спаржи, предназначенная для окурков, а на нижней помещаются телефонная книга, несколько справочников и счета; стена в районе этажерки вся испещрена номерами телефонов, невразумительными записями, какими-то именами. В прихожую выходят двери двух комнат, Белоцветова и Чинарикова, далее следует коридор.

Коридор в двенадцатой квартире узок, высок и темен, как расщелина в леднике. Слева он начинается дверью, за которой живет Юлия Голова со своим потомством, далее стоит беспризорный шкаф, где хранится разная бросовая одежда, точильные бруски, инструмент, гвозди, несколько подшивок журнала «Красная нива», два старых электрических счетчика и прохудившийся медный чайник, далее на стене висит фондервякинское оцинкованное корыто, и сразу за ним располагается помещение, занимаемое Валенчиками, то самое помещение, в котором когда-то застрелился прапорщик Остроумов; далее находится фондервякинский холодильник, после следует фондервякинская дверь, а там коридор под прямым углом делает поворот вправо, предъявляя ванную комнату с туалетом, снабженные наддверными окошками, и через этот отрезок впадает в кухню. На правую сторону коридора приходится только комната Мити Началова и его бабушки да торцовая стена комнаты Александры Сергеевны Пумпянской, которая другим торцом упирается в черный ход.

Кухня двенадцатой квартиры празднично просторна, хотя по стенам ее располагаются семь кухонных столов, столько же полок и две газовые плиты; справа находится раковина, дверь в комнату Пумпянской и дверь на черную лестницу, давным-давно пропахшую чем-то таким, что, например, может произвести смесь запахов сырости, жареного лука и керосина.

2

Александру Сергеевну Пумпянскую жильцы двенадцатой квартиры не жаловали искони и всегда по мере возможного притесняли. Оснований для этого у них не было никаких, если, конечно, не брать в расчет, что она была придиристая старушка, как говорится, с гонором да еще и аккуратная той немилрой нашему сердцу механической аккуратностью, которую мы на дух не переносим. Впрочем, и того нельзя выпускать из виду, что Александра Сергеевна могла возбуждать в соседях рудиментарную классовую неприязнь, поскольку, как ни крути, а она была природной хозяйкой двенадцатой квартиры, всех двухсот сорока квадратных метров жилья, и если никогда не подчеркивала этого обстоятельства на словах, то все же ходила по коридору, включала и выключала свет, снимала показания электрического счетчика и подметала кухню именно таким образом, как это делала бы безоговорочная хозяйка. Александра Сергеевна даже неко-

торым образом раздувала поприutihшую классовую неприязнь, так как Куйбышев она называла Самарой, по подозрениям, не признавала новую орфографию и однажды сказала про Николашку Кровавого: государь. В двадцатые годы, когда за такие штуки людей оттирали на задворки жизни безжалостно, просто и мимоходом, Александра Сергеевна была тише воды, ниже травы, то есть как бы и не была, в предвоенную пору она уже осторожно претендовала на равенство с жильцами пролетарского происхождения, а в новейшие времена последовательно вела себя так, словно она действительно безоговорочная хозяйка. Но в остальном Александра Сергеевна по всем показателям была по крайней мере приемлемая старушка, даже кое-чем выгодно отличавшаяся от соседей, особенно по утрам, когда население двенадцатой квартиры слонялось растрепанным, заспанным, в неглиже, а она появлялась в строгом домашнем платье из темного штапеля, хотя и бесформенном, но с кружевными манжетами на рукавах и ажурным вологодским воротничком, прилежно причесанная, слегка подуряненная, вообще чистая той старушечьей чистотой, которая вызывает сложное умиление. То же самое в разговоре: говорила она всегда на покойной ноте, как скучные люди читают вслух; словарь у нее был классический, орнаментированный вымершими словами вроде «манкировать» или «нужды нет» в смысле: нужды нет, что Иван Иванович глуп, зато он работоспособен.

И вот что интересно: стоило Александре Сергеевне исчезнуть, как вся квартира сразу почувствовала — чего-то недостает; вот если бы из прихожей убрали зеркало, или заколотили бы дверь на черную лестницу, или из комнаты Фондервякина перестал бы сочиться кислородной дух, точно так же квартира почувала бы: чего-то недостает. Еще не было известно, что Пумпянская исчезла на вековые времена, а в местах общего пользования уже зародился явственный знак нехватки чего-то насущного, как электричество, чего-то отдававшего в легкое движение и умильную чистоту.

Исчезла Александра Сергеевна в один из срединных дней марта, когда Большая Медведица повисает точно над головой, в пятницу, поздним вечером, около того времени, в какое заканчиваются телевизионные передачи. Утром этого дня она появилась на кухне по обыкновению раньше всех, в одной руке неся чайник со свистком, а в другой неправдоподобно маленькую алюминиевую кастрюльку, в которой перекатывалось яйцо. Как только она принялась готовить свой старушечий завтрак, на кухню пришел Лев Борисович Фондервякин, встал у окошка и засмотрелся на двор, ногтями нервно постукивая по стеклу, потом пришла Анна Олеговна, Митина бабушка, крепкая дама с фиолетовыми волосами, а следом за нею Петр Голова, который с сопением забрался на табуретку, стоявшую подле раковины, и начал болтать ногами. Некоторое время прошло в молчании, а затем Фондервякина прорвало.

— Ну хорошо, у меня отгул, а чего это Дмитрия-то не видать? — спросил он Анну Олеговну скуки ради. — В школу, поди, пора.

— Я Мите сегодня позволила пропустить два первых урока, — сообщила Анна Олеговна и поправила свои фиолетовые колечки.

Фондервякин сказал:

— Балуете вы внука:

— Без баловства в моем положении невозможно, — ответила Анна Олеговна. — Без баловства наша советская бабушка — это уже не бабушка, а я прямо не знаю что. Тем более что Митя целыми вечерами что-то там мастерит. Вчера, например, он до полуночи над какими-то стеклышками колдовал.

— У одного моего товарища по работе, — сказал Фондервякин, — сынок тоже все время по вечерам колдовал, а потом оказалось, что он фальшивомонетчик.

— Типун вам на язык! — сказала Анна Олеговна.

— Ну, ладно, — вступила Александра Сергеевна, — у одного отгул, у другого прогул, а у этого-то что? — И она мокрым пальцем указала на Петю, который по-прежнему болтал ногами, сидя на табурете.

Противно засвистел чайник, и Александра Сергеевна, переменив сердитое выражение лица на озабоченное, выключила плиту.

— У этого пока счастливое детство, — объяснил Фондервякин. — Хотя, конечно, удивительно, что он не посещает какое-либо дошкольное учреждение. Ты, Петр, почему не посещаешь дошкольное учреждение?

В ответ на этот вопрос Петя посуровел, задумчиво помолчал, а потом начал рассказывать о том, как ему неинтересно ходить в детский сад, где все по распорядку, все по часам и нужно делать то, что хочется воспитательнице, а не то, что хочется самому.

— Пошли мы, например, на прогулку в лес, — рассказывал он с каким-то прискорбным видом, — а воспитательница нам и говорит: «Ничего нельзя. Цветы рвать нельзя, ветки ломать нельзя, траву топтать тоже нельзя...»

— А что же тогда можно? — заинтересованно спросил его Фондервякин.

— Воспитательница сказала: «Только восхищаться».

Фондервякин символически сплюнул и произнес:

— Зарегламентировали жизнь, сукины дети! Ну что за народ: на каждый чих норовит резолюцию наложить! То не разрешается, се воспрещается, пятое не рекомендуется, о десятом думать не моги!..

— Тем не менее я считаю, — перебила его Анна Олеговна, — что прогуливать детский сад все-таки не годится.

— Тут спору нет, — согласился с ней Фондервякин. — Но вы помните, граждане, мужика из двадцать второй квартиры, который все в подъезде расклеивал возмутительные бумажки: «Не кричать», «Спички — не игрушка», «Рукопожатия отменяются»? Умер, подлец! Поехал в Улан-Удэ к свояченице — и умер! Сейчас, между прочим, в двадцать второй квартире из-за его комнаты разгорелась форменная война.

— Ничего удивительного, — сказала Анна Олеговна. — Во-первых, сейчас пошла такая жизнь, что за два квадратных метра зарезать могут, а во-вторых, без этих самых метров подчас как без воздуха — не житье.

— Это точно, — согласился с ней Фондервякин. — Мне, например, положительно некуда ставить шестнадцать банок моченых яблок, прямо хоть спи на них; Вера Валенчик на седьмом месяце ходит, это с другой стороны; Юлька Голова со своей ребятней ютится в крошечном помещении — это с третьей. Нет, все-таки повезло двадцать второй квартире: человек по-благородному жилплощадь освободил, за нее началась борьба, что во всяком случае интересно, а там, глядишь, кто-то получит лишние полезные метры, которые каждому лестно приобрести. — Тут Фондервякин сделал нарочитую паузу, потом юмористически посмотрел на Александру Сергеевну и продолжил: — А между тем некоторые граждане, которым давно пора на вечный покой, злостно занимают полезные метры и думают, так и надо!

Александра Сергеевна, впрочем, не отнесла на свой счет фондервякинские слова, так как в эту минуту она была озабочена тем, чтобы не переварилось ее яйцо.

— Нам с Митей, — сказала Анна Олеговна, — эти полезные метры тоже пришлось бы кстати. Ведь он у меня совсем уже взрослый парень, а все со старухой да со старухой.

— Помилуйте, Анна Олеговна, какая же вы старуха! — возразил Фондервякин. — Вы женщина в полном расцвете лет! Вот некоторые граждане — это да, некоторые граждане положительно зажились.

Как вы себя чувствуете-то, Александра Сергеевна, невозможный вы человек?

Пумпянская приняла этот вопрос за чистую монету и ответила откровенно:

— Плохо, Лев Борисович, совсем плохо. Прямо я какая-то ничемная стала, о чем ни подумаю, все болит. Иной раз, вы не поверите, мерещится всякая чепуха.

— Лечиться надо,— недоброжелательно посоветовала ей Анна Олеговна и в другой раз поправила свои фиолетовые колечки.

На этих словах в кухню зашел Митя Началов, еще не проснувшийся хорошенько, с махровым полотенцем через плечо.

— Лечиться мне уже поздно,— отозвалась Александра Сергеевна и подхватила свою посуду.— Израсходовала я все жизненные ресурсы. Мне как станет нехорошо, я сразу на свежий воздух — вот и все лечение. А на таблетки у меня уже здоровья нет. Мне, в сущности, для кончины не хватает одной хорошей простуды.

В эту минуту лицо Мити приобрело осмысленное выражение, точно тут только он и проснулся. А Александра Сергеевна, выговорившись, ушла в свою комнату с чайником и неправдоподобно маленькой кастрюлькой, которые слегка трепетали в ее руках. Вслед за ней ушла и Анна Олеговна, унеся с собой запах перловой каши.

— Слышь, Дим,— сказал Фондервякин,— старушка-то наша плохая стала, чего-то уже мерещится... Того и гляди убудет.

— Это когда еще она убудет,— заметил Митя.— А скорее всего, что она еще нас с вами переживет. Они знаете какие, эти старорезимные старики,— прямо из чугуна!

— Нет, Дмитрий, пришла пора думать, а то потом, как в двадцать второй квартире, начнется изнурительная война. Тебе чего, ты человек сугубо холостой, а у Валенчиков ожидается прибавление. Опять же мне некуда ставить шестнадцать банок моченых яблок...

— Значит, вам комната и достанется.

— Это почему ты так думаешь? — радостно спросил Фондервякин Митю.

— Да потому что Валенчик у нас гудок!

— Не понимаю я твоего дурацкого языка..:

— Ну лопух! Как же он не лопух, если ему жена изменяет даже в беременном состоянии?!

— Не болтай!

— Чего не болтай, когда я все видел собственными глазами! И не я один — их с Васькой Чинариком еще и Пумпянская засекала. Я-то смолчу, но Пумпянская наступит.

— Эх, сбегать бы старуху в дом престарелых!

— Вам троим нужно, вы и это... сбегивайте ее.

— А почему троим?

— Вам — потому что у вас шестнадцать банок моченых яблок, Валенчику, лопуху,— потому что у него ожидается прибавление, Ваське Чинарикову — потому что Пумпянская наступит.

— Логично,— сказал Фондервякин и призадумался.

Митя отправился в ванную комнату, напоследок ловко щелкнув высунутым языком, а Фондервякин опять застучал по стеклу ногтями. После некоторой паузы он сказал:

— Петька, спой что-нибудь...

Петр не заставил, как говорится, дважды повторять приглашение и немедленно затянул песню, начинавшуюся словами: «Шел отряд по берегу, шел издалека», — причем затянул ее с самым серьезным видом.

Когда он закончил, Фондервякин его спросил:

— Кто научил-то?

Петр сказал:

— Жизнь.

3

После того как Митя Началов отправился в школу, Пумпянская с Анной Олеговной в молчании помыли на кухне посуду, позвонил какому-то знакомому Фондервякин и несколько раз бесцельно прошелся по коридору Петр Голова, в двенадцатой квартире наступила полная тишина. Жильцы разобрались по своим комнатам и принялись кто за что: Петр подсел к окну и тупо уставился в переулок, Фондервякин разбирал «вечнозеленую» партию, время от времени позевывая в кулак, Анна Олеговна читала «Донские рассказы», Александра Сергеевна протирала бархоткой чайный кузнецовский сервиз, который приобрел еще сам Сергей Владимирович Пумпянский у Мюра и Мерилиза.

Около двух часов дня вернулась из школы Люба Голова, и почти сразу за ней появился Митя. Люба переоделась в бойкий халатик, покормила Петра, собрала его на прогулку и выставила за дверь, а сама пристроилась на кухне с учебником латинского языка.

— И на черта тебе это нужно? — спросил ее Митя.

Люба сказала:

— Нужно!

— В таком случае могла бы не демонстрировать тут свои возвышенные интересы — сидела бы у себя в комнате и учила.

Дмитрий походил-походил вокруг Любы и минуту спустя спросил:

— Как ты думаешь, Пумпянская по-латыни соображает?

— Представления не имею. Никита Иванович соображает — это я знаю точно.

— О Белоцветове сейчас разговора нет. Ты вот что, Любовь, сделай мне одно одолжение...

При этих словах на лице у Мити появилось тонко-задумчивое и одновременно жестокое выражение, такое значительное выражение, что у Любы глазки загорелись, и она даже от нетерпения чуть-чуть приоткрыла рот. Но договорить Мите не довелось: время было обеденное, и только он собрался изложить свою просьбу, как кухня почти в одну и ту же минуту наполнилась давешними действующими лицами плюс Василий Чинариков, который в третьем часу вернулся со своего дворницкого поста, минус Пумпянская, которая обедала поздно, по-европейски, и поэтому Митя с Любой ушли договаривать в коридор.

— Слышь, Василий, — обратился Фондервякин к Чинарикову, стараясь не впадать в едкую интонацию, — совсем наша Пумпянская захирела, не сегодня завтра отдаст концы. Тебе комнатушка-то ее, часом, не пригодится?

— Если строго смотреть на вещи, — ответил Чинариков, — то это будет чуланчик, а вовсе не комнатушка.

— А хоть бы и чуланчик, — вступила Анна Олеговна, — все равно дай сюда!

— Вы как хотите, — сказал Фондервякин, — а я вас, граждане, честно предупреждаю: я начинаю собирать документы с таким прицелом, чтобы комнатушка досталась мне.

— Да с чего вы взяли, что Пумпянская не сегодня завтра отдаст концы? — рассеянно спросил Чинариков и с этими словами покинул кухню.

Анна Олеговна сказала:

— А вы, Лев Борисович, вместо того чтобы болтать всякие глупости, занялись бы лучше своим произношением — в другой раз слушать тошно, как будто вы передразниваете кого.

Это замечание задело Фондервякина не на шутку; он еще немного потерялся на кухне, чтобы не выдать своей обиды, а затем отправился восвояси и с чувством захлопнул дверь.

Анна Олеговна решила заодно сделать выговор и Петру:

— Что ты взял за моду такую вечно сидеть на кухне и слушать взрослые разговоры?!

Петр слез с табуретки и стал бочком пятиться в сторону коридора.

— Нет, ты погоди! Ты мне ответь: тебе здесь что, медом намазано? И вообще, зачем ты вчера Александре Сергеевне насыпал в чай марганцовки?..

Но Петра уже не было; на том месте, где он только что стоял, образовалось пустое место.

После обеда двенадцатая квартира опять притихла. В пятом часу Пумпянская вышла на кухню и стала готовить себе обед, который состоял из винегрета под майонезом, лукового супа и маленькой бараньей котлетки, приготовленной на пару. В то время как старушка возилась с обедом, Митя Началов позвал ее к телефону, и она поспешила взять трубку, но на том конце провода раздумали говорить.

В седьмом часу вечера вернулся с работы Никита Иванович Белоцветов и начал слоняться по кухне с таким напряженно-тоскливым выражением лица, словно он кого-нибудь поджидал. Вышла из своей комнаты Пумпянская набрать воды в фарфоровую соусницу — Белоцветов ей поклонился; дважды на кухню заглянул Фондервякин в размышлении, с кем бы поговорить, — Белоцветов молчал, обозревал газовую плиту; Анна Олеговна Капитонова проследовала на черную лестницу — он по-прежнему ни гугу; наконец появилась Юлия Голова в непомерном махровом халате, в котором она была похожа на куколку шелкопряда, и Никита Иванович встрепенулся.

— Послушай, Юлия! — сказал он. — Хорошо бы вашего Петьку все-таки приструнить. А то он, чертенок, сегодня намазал мне дверную ручку какой-то дрянью!.. По-моему, горчицей или чем-нибудь в этом роде.

Юлия виновато заулыбалась, не зная, что отвечать, но тут на кухню забрел Василий Чинариков в неизмерно изношенных джинсах и майке, обнаружившей на левом его плече воздушно-десантную татуировку, и его пришествие избавило Юлию от приторных объяснений.

— Чего шумим? — спросил Чинариков и закурил грубую папиросу.

— Да вот, понимаешь, Петька Голова намазал мне ручку двери какой-то дрянью! По-моему, горчицей или чем-нибудь в этом роде...

— Брось, Никита, — сказал Чинариков. — Смешно кипятиться по пустякам.

— Да я не потому... это.. кипячусь, что Петька намазал мне ручку двери, а потому, что он гадости делать большой мастак!

Юлия воспользовалась случаем и улизнула.

— Понимаешь, какая ситуация, — продолжал Белоцветов, — ведь это страшно, когда человек с молодых ногтей способен на осмысленное злодейство.

— Опомнись, Никита, — сказал Чинариков, изобразив на лице веселое сожаление, — какое осмысленное злодейство? Глупость, шалость, невоспитанность — это да...

— Так ведь и самые дикие преступления имеют в своей основе глупость, шалость и невоспитанность — словом, эти самые пустяки! И ты знаешь, дикие преступления не так меня угнетают... то есть угнетают, конечно, но не так, как способность к осмысленному злодейству с молодых ногтей. Тут я чувую тайну и разрешение всех загадок, где-то тут и зреют семена зла!

— Да на кой тебе сдались эти самые семена?!

— Сейчас объясню: понимаешь, Василий, сил моих больше нет! Сорок пять лет жизни я соседствовал со злодейством более-менее спокойно, а теперь не могу! Что-то во мне такое перевернулось! Хари

с водяными знаками больше видеть не в состоянии, спинномозговые разговоры на разные животрепещущие темы типа «куда девалась узкая бельевая резинка?» слушать больше не в состоянии, избитых, обворованных, обманутых наблюдать больше не в состоянии, вообще оскорбления от жизни терпеть более не намерен! А знаешь, с чего все началось?..

Чинариков сделал внимательное лицо.

— Иду это я третьего дня мимо нашего гастронома и вижу: стоит у стены женщина довольно преклонных лет. Увидел я ее, и ты знаешь, ну как будто внутренности ошпарили кипятком: одежка такая, точно она ее на помойке подобрала, на ногах разные мужские ботинки, ты представляешь: разные мужские ботинки, один черный, другой коричневый, шляпка какая-то несуразная,— короче говоря, для советского города конца восьмидесятых годов невиданная, почти фантастическая картина! Но это еще сравнительно ничего; самое страшное в ней было то, что в довершение всего она была еще и избита: нижняя губа запеклась, под одним глазом махровый синяк, другой она прикрывала носовым платком, а платочек тот, заметь, братец ты мой, поразительной белизны. Хотя даже не следы от побоев показались мне тогда самым страшным, а то, что эта женщина была не каким-нибудь совершенно опустившимся существом, не помешанной, не пьянчужкой, а обыкновенной женщиной довольно преклонных лет, только издевательски разодетой. Мне про это платочек ее рассказал. И что, конечно, следует отметить особо, никто на нее внимания не обращает, словно это так и надо, чтобы среди белого дня в трех километрах от Красной площади, у гастронома стояла избитая женщина в разных мужских ботинках. Ну вот. Увидел я ее, и сердце оборвалось, встал напротив и стою, мешая движению пешеходов. И тут она ко мне обращается. «Головастик»,— говорит... нет, ты обрати внимание: сама еле живая, а обзывается...

— Между прочим, в самую точку она попала,— сказал Чинариков, улыбаясь,— очень правильная кликуха.

— «Головастик,— говорит,— проводи меня до дома, а то ноги от слабости не идут». Я, конечно, подхватил ее под руку и повел. Но куда вести — никак не могу понять, потому что она говорит то про Армянский переулок, то про Новогирево, то про воссоединение Украины с Россией. И вот тут-то произошло самое главное: я эту тетку возненавидел... Почему это самое главное — потому что, на мой взгляд, компонент ненависти-то и совершил во мне глубокий переворот. Нет, ты вникни в мое тогдашнее состояние: во-первых, мне ее жалко до такой степени, что я не плакал исключительно оттого, что плакать на улице невозможно, не так поймут; во-вторых, во мне говорило оскорбленное национальное чувство, поскольку внешний вид этой тетки — прямое оскорбление для народа; в-третьих, я был обязан ее вывести куда надо; в-четвертых, я ее ненавидел, ненавидел за то, что я ее ненавидел, за то, что идти рядом с ней было ужасно неловко, за то, что вывести куда надо ее было практически невозможно, за то, что она мне уже порядком поднадоела. Иду и говорю себе: «А ты, братец, оказывается, подлец! Впрочем, раз ты подлец, то по-подлому и поступай, брось эту тетку к чертовой матери и сигай в первую попавшуюся подворотню!» Так я и сделал, хотя ты знаешь, Вася, что никакой я, в сущности, не подлец. Вот уже три дня прошло, а я не могу ее забыть: в глазах стоит, как призрак какой-нибудь!.. Вообще чувство такое, точно я по-хорошему психически приболел. Главное дело — третьи сутки зреет в душе какая-то удушливая слеза...

— По-моему, Никита, ты действительно приболел.

— Может, и приболел, но только эта болезнь теперь дороже мне любого практического здоровья. Я теперь встал на точку кипения и намерен вгрызаться в любое зло!

— Ну и глупо,— сказал Чинариков, закуривая новую папиросу.— Ты просто, Никита, как дите малое, ей-богу! Добро и зло существуют — я бы даже сказал, сосуществуют — на тех же основаниях, что вода и огонь, земля и небо, мужчина и женщина... Не было бы зла, не было бы борьбы, движения, то есть жизни.

— Это все философия,— сказал Белоцветов.

— Нет, Никита, это еще не философия, а букварь. Философия — это вот что... По Дамаскину, зло есть небытие, то есть простое отсутствие добра, по Мендевилю — необходимый инструмент строительства мира, по Сократу — случайность, наличие которой объясняется тем, что людям невдомек, что хорошо и что плохо, по Фоме Аквинскому — все добро, а зло есть только его мелкая составная. Лейбниц вообще утверждает, что зло — это просто недоразвитое добро, что сколько-нибудь существенное зло — это когда человек не летает, а птицы не владеют членораздельной речью. Наконец, лично я считаю, что зла как такового не существует, а существует отношение к злу; если, например, меня мучает безденежье, дураки, оборванные тетки, то это зло, а если я отношусь ко всему этому равнодушно, то это не добро и не зло, а пустое место. В общем, сердать на зло — это глупо, а бороться с ним — это уже болезнь. Зло есть стихия, как цунами, землетрясение, и, рассуждая по-бытовому, к нему нужно выработать просто соответствующее отношение, как к цунами, землетрясению, как к стихии.

— Я с этим не могу согласиться, и вот по какой причине: ведь зло — это очень просто, это так просто, Вася, что поразительно, почему его творят далеко не все! Ведь по-настоящему его творят далеко не все, и даже не большинство, и даже не меньшинство, а ничтожное меньшинство. Значит, зло отнюдь не на равных сосуществует со своими противоположностями — я разумею добро и пустое место,— значит, оно противоестественно, незаконно!

— Так ведь и мыслят далеко не все, даже не большинство. Большинство соображает, а мыслят по два человека на каждое полушарие.

— Ну это, положим, не аргумент.

— Хорошо, вот тебе аргумент,— сказал Чинариков и сделал энергичное движение головой.— Независимо от того, какой процент людей убивает, ворует, насильничает и так далее, зло все же есть, всегда было и всегда будет, значит, оно неотторжимо от человеческой природы, значит, оно законно. Если за полтора миллиона лет люди ничего не смогли поделать со злом, несмотря на то, что они вроде бы только этим и занимались, то, значит, оно законно!..

— О чем это вы опять, ребята? — вкрадчиво спросил Фондервякин, который как-то неприметно проник на кухню.

— Это мы, Лев Борисович, секретничаем с Василием, вы уж нас, пожалуйста, извините...

Фондервякин подозрительно посмотрел на обоих, поиграл губами и удалился.

Чинариков продолжал:

— Ты понимаешь, Никита, люди от всего лекарство изобрели — от чумы, водобоязни, кризисов перепроизводства, засухи, саранчи, и только от зла по-прежнему нет лекарства!

— Ну почему же — есть... Откажись от личности, от собственно-го «я», и ты будешь безвреден, как черепаха. Потому что злом чревата только то, что исходит из «я», из личностных интересов, которые не всегда и необязательно сочленяются с правилами добра. Но этот отказ почему-то невозможен, хотя он сулит еще и бессмертие, а не только почти полную личную безопасность.

— В том-то все и дело, что такие лекарства годятся для единиц, преимущественно для тех, кто эти лекарства изобретает. И Христос предлагал, в общем, довольно-таки несложный путь исцеления человечества, и Толстой изобрел, казалось бы, общедоступный способ борьбы со злом через отказ от какой бы то ни было борьбы с этим самым

злом — только потакать, — но ведь они жизнь меряли по себе, а сами существовали в единственном экземпляре! Между тем лекарство нужно такое, как аспирин, чтобы годилось для миллионов.

— На этот счет у меня есть одна соблазнительная идея! Видишь ли, я полагаю, что главный объем злодейств объясняется не человеческими слабостями, не воспитанием и не обстоятельствами общественного порядка, а исходит от какого-то темного душевного заболевания, какой-то не классифицированной еще разновидности шизофрении, то есть что такие злодеи попросту сумасшедшие. И поэтому я предлагаю бороться с ними медикаментозно. Вот ты рассуди: разве можно называть психически здоровым такого человека, который избил пожилую тетку из-за того, что у него было плохое настроение, или который отправил десять тысяч солдат на смерть, в сущности, потому только, что он плохо учился в школе, или который послал на эшафот своего политического противника за то, что противник предпочитает староиндийское начало ферзевому гамбиту, — разве такой человек не умалишенный?! А его спрашивают эксперты: «Какое сегодня число? Сколько у вас всего пальцев?» — и если он отвечает, какое сегодня число и сколько всего у него пальцев, то эксперты совершенно спокойно за его психическое здоровье. Словом, решение всех проблем может состоять в том, чтобы вычислить соответствующее лекарство, содержащее катехоламины, которое расфасовывай потом хоть в ампулах, хоть в таблетках, как ацетилсалициловую кислоту.

— Ну это, брат, уже какой-то утопический идеализм, просто противно слушать!

— И никакой это не идеализм! — сказал Белоцветов с сердцем. — Если хочешь знать, у меня уже и расчеты кое-какие есть.

— Короче говоря, профессор, существует тьма учений насчет того, как сделать человека из человека, а Петька Голова тебе сегодня вымазал дверную ручку какой-то дрянью.. Да вот и он сам, легок на помине!

В кухню с пустой сковородкой в руках вошел Петр и, встретив назидательный взгляд Белоцветова, отступил к фондервякинскому столу.

— Петр, — обратился к нему Белоцветов, — ты чего безобразничаешь? Ты зачем мне испортил дверную ручку?!

Петр промолчал.

— Тебя спрашивают или нет? — поддержал Чинариков, делая уморительную мину вместо задуманной свирепой, но в отеческую меру.

— А вы видели, как я ее портил, — с ленцой сказал Петр, — свидетели-то у вас есть?

— Вот гад! — возмутился Чинариков. — Еще ни одной буквы не выучил, а уже знает основные юридические уловки!

На этих словах к компании прибавилась Александра Сергеевна Пумпянская, которая по старчеству сделала то никому не интересное сообщение, что не далее как сорок минут назад ее пригласили к телефону, а в трубке якобы тишина. Вслед за ней на кухню заявился Генрих Валенчик, потом пришел Фондервякин, и поэтому Белоцветов увел Чинарикова договаривать к себе, причем Василий продолжил спор, не дожидаясь благоприятствующей обстановки.

— Что, в сущности, стоит вся мировая философия, — говорил он, — если она не в состоянии ответить на простейший вопрос: почему в каком-нибудь Штутгарте невозможно получить по морде за просто так, а у нас — свободно?..

Спустя короткое время после того, как чинариковский голос затих в дальнем конце коридора, и немедленно после того, как Пумпянская ушла в свою комнату, Генрих Валенчик принял секретное выражение, то есть как-то по-заговорщицки напыжился, и сказал:

— Я имею точные сведения, что с часу на час наша старушка от-

даст концы. Предлагаю провести собрание на тему: кому достанется освободившаяся жилплощадь.

— Мне и достанется,— сказал Фондервякин,— я тебя об этом безо всяких собраний предупреждаю.

— А вот мы сейчас и рассмотрим коллегиально твою претензию на жилье! Или ты противопоставляешь себя общественному мнению? Имей в виду, такого оголтелого индивидуализма мы не потерпим — это я тебе искренне говорю!

Валенчик строго посмотрел на Фондервякина и пошел собирать жильцов. Минут через пять в кухню набилось все население двенадцатой квартиры за исключением Пумпянской и Чинарикова с Белоцветовым, которым было ни до чего.

— Вот это по-нашему, по-советски! — с огоньком в глазах сказала Анна Олеговна Капитонова.— И радости, и горе, и проблемы — все решается сообща! Прямо как было в Олимпиаду...

И все припомнили, как действительно во время Московской Олимпиады двенадцатая квартира столкнулась временно прекратить обширный скандал, который разгорелся из-за того, что фондервякинское корыто свалилось на голову Юлии Голове.

— Давайте, товарищи, без лирики,— попросил Валенчик,— давайте, товарищи, ближе к делу. Завтра, может быть, комната в квартире освободится, а у нас еще нет никакого коммюнике...

— Причем коммюнике должно быть такое,— вступила Юлия Голова,— мы вот прямо сейчас обязаны договориться, кто из нас имеет беспорное право на расширение метража.

— Больше всех прав у нас,— сразу решила Люба.— Потому что мы живем втроем да еще мать у нас — одиночка.

— Тем более что я разнополый,— добавил Петр.

— Грамотный ты больно, как я погляжу,— сказал ему Фондервякин.

— Нет, товарищи, это превратный, какой-то количественный подход,— сказала Анна Олеговна и гордо трянула своими фиолетовыми колечками.— Давайте посмотрим на качественную сторону дела: вот мой Дмитрий совсем уже стал молодой человек, а все со старухой да со старухой...— В этом месте Анна Олеговна сердито посмотрела на Фондервякина и заключила на всякий случай: — А вы, Лев Борисович, о своих моченых яблоках даже не заикайтесь!

— Конечно, надо решать по совести,— сказала Вера Валенчик.— Моченые яблоки — это смешно, вот я скоро рожу, так это, товарищи, не смешно.

— Так! — отозвался Митя.— Только давайте без демагогии! А то совесть какую-то приплели...

Дальнейшее развитие переговоров можно безболезненно опустить, поскольку ничего принципиально нового и значительного сказано больше не было и вообще совещание ни к какому решению не пришло. Единственный итог, который сложился помимо воли его участников, заключался в том, что всем стало ясно: даже если Александра Сергеевна Пумпянская совершенно здорова, к утру она обязана умереть.

В одиннадцатом часу вечера народ разошелся по своим комнатам и квартира угомонилась. Еще некоторое время из-за дверей доносились бубнение телевизоров, но затем окончилось и оно. Наступила пора вещей.

4

Впрочем, двенадцатая квартира еще не спала, а только-только собиралась на боковую. Юлия Голова сидела за туалетным столиком, пригатавливая себя на ночь, Любовь стелила постели, а Петр медленно, с отвращением раздевался. У Валенчиков было так: Вера уже лежала в постели, положив на лицо газету, а Генрих Иванович, низко-низко

склонясь над обеденным столом, слышно паропал пером бумагу Фондервякин сидел перед выключенным телевизором и вырезал из резинового коврика прокладки для своих банок. Чинариков читал у себя избранные речи Цицерона, Белоцветов у себя — «Вестник фармакологии», Анна Олеговна чем-то неприятно шуршала за старинной китайской ширмой, которой она на ночь отгораживалась от Мити, Митя же торчал за своим столом и опять колдовал над какими-то стеклышками, детальками и разноцветными проводками. Что касается Александры Сергеевны Пумпянской, то она просто сидела на стуле посреди комнаты, скуки ради припоминая один давний вечер: год то ли двенадцатый, то ли тринадцатый — довоенный, она еще юна, еще живы отец, мать, братья; вся семья собралась в столовой за чашкой чая; поздний вечер, столовая наполнена ровным зеленым светом, потому что электрическая лампочка оправлена в люстру аквамаринового стекла, сановито тикают напольные часы, поднесенные отцу на какой-то юбилей его педагогической деятельности, изредка позванивают в кузнецовских чашках серебряные ложечки, за окном воеет ветер; Сергей с Владимиром играют в ма-джонг, а Георгий читает вслух Тэффи, держа в левой руке подсвечник в виде выеденного яйца с полупрозрачным стеариновым огарком, и давится смехом через каждые десять слов... — господи, какое чудесное, какое родное воспоминание!

Около половины одиннадцатого Фондервякин кому-то звонил, чуть позже в коридоре немного пошумел Митя Началов, потом Белоцветов прошаркал в сторону туалета, но едва повернув направо, остолбенева, потому что ему открылась следующая картина: посреди темной кухни, в бледном параллелограмме, образованном светом с улицы и окном, сидел на горшке Петр Голова и держал перед собой развернутую газету. Собственно, в этой картине не было ничего удивительного, наверное, Петр просто подражал нашей мужской манере делать два этих дела одновременно, и тем не менее Белоцветов почему-то был ошарашен.

— Петь, ты чего? — неровным голосом спросил он.

— Ничего,— сказал Петр, спокойно посмотрев на Белоцветова из-за газеты, и как бы вновь углубился в чтение.

Словом, двенадцатая квартира еще не спала, но уже наступила пора вещей. Неведомо откуда и куда прошелся по полу сквознячок, задышали несколько квадратных сантиметров обоев, поотставших в том месте, где стоял беспризорный шкаф, и в районе этажерки что-то шепнулось само собой; потом вступили водопроводные трубы, которые начали приглушенно чрево вещать, но вдруг замолчали, как если бы их кто-нибудь оборвал; где-то посыпалась известка, что-то такое пискнуло, совсем уж неузнаваемое, таинственное, на кухне по собственному почину скрипнула половица. Тут из своей комнаты вышел Генрих Валенчик, и вещи временно притаились. Валенчик сунул в рот папиросу, несколько раз прошелся по коридору туда-сюда, немного постоял возле фондервякинского корыта, а затем вернулся к себе, оглушительно хлопнув дверью. И снова пусто, снова пора вещей, но пока не в полную силу, точно вещи были, как говорится, в курсе, что еще Пумпянская не проверяла по обыкновению, везде ли погашен свет.

Без четверти одиннадцать в коридоре раздался отвратительный женский крик; крик был дикий, какой-то зоологический, на который горловые связки способны, наверное, только в тех редких случаях, когда человек сталкивается с чем-либо слишком ужасным, пограничным возможностям восприятия. Квартира немедленно ожила: из-за дверей посыпалось движение, голоса, и в следующую минуту жильцы кто в чем высыпали из комнат. Посреди коридора в халате, застегнутом на одну пуговицу, из-под которого виднелась сбившаяся ситцевая рубашка, в бигуди, в золоченых индийских шлепанцах как вкопанная стояла Юлия Голова; лицо ее посерело, глаза были вытаращены, рот дрожал.

— Ты что орешь как резаная? — зло спросил ее Фондервякин.

В ответ Юлия только полуподняла руку в направлении входной двери.

— Что случилось-то? — взмолился Генрих Валенчик. — Ты толком можешь нам объяснить?

— Там... — начала Юлия и окончательно подняла руку в направлении входной двери, — там сейчас стояло привидение какого-то мужика...

Несмотря на то, что при этих словах у всех, как говорится, екнуло сердце, никто из жильцов Юлии не поверил. Разумеется, было бы удивительно, если бы кто-нибудь ей поверил, и все же несравненно удивительнее то, что ей никто решительно не поверил, поскольку привидения — это тайная страсть нашей литературы, которая поэтому и внедряет их в самые посконные ситуации, а мы народ крайне литературный и даже не так доверяем жизни, как романам и повестям. Наконец, то положение, в каком оказалась Юлия Голова, представляло собой не более как житейскую вариацию того положения, в каком сто двадцать лет тому назад оказалось одно якобы вымышленное лицо:

«— ...А, кстати, верите вы в привидения?

— В какие привидения?

— В обыкновенные привидения, в какие!

— А вы верите?

— Да, пожалуй, и нет, *pour vous plaire*¹. То есть не то что нет...

— Являются, что ли?

— ...Марфа Петровна посещать изволит, — проговорил он, скривя рот в какую-то странную улыбку.

— Как это посещать изволит?

— Да уж три раза приходила...

— Наяву?

— Совершенно. Все три раза наяву. Придет, поговорит с минуту и уйдет в дверь; всегда в дверь. Даже как будто слышно.

— ...Что же она вам говорит, когда приходит?

— Она-то? Вообразите себе, о самых ничтожных пустяках, и подитесь человеку: меня ведь это-то и сердит...»

— Померещилось, — успокоительно произнесла Анна Олеговна, которая вышла еще в довольно пристойном виде, то есть причесанная и в халате. — Это тебе, Юлия, просто-напросто померещилось. Не пей на ночь крепкого чая, а пей настой валерьянового корня или же тазепам: как рукой снимает потустороннее...

— Ну, вы тоже насоветуете, — заметил Белоцветов, одетый не по-домашнему: брюки, рубашка, галстук.

— Дожились! — сказала Вера Валенчик. — Уже привидения в квартире завелись! Тараканов мало, так давай теперь привидения! Нет, когда же наконец разнесут к чертовой матери этот многоэтажный клоповник и предоставят людям благоустроенное жилье?

— Этот вопрос я предлагаю адресовать президенту Рейгану, — сказал Генрих, на котором была сетчатая майка и черные сатиновые трусы. — А ты, Пенелопа, — это уже Вере, — давай-ка бегом в постель, ты посмотри, в каком ты эротическом виде — тут у нас все же не кабаре!..

Действительно, Вера Валенчик выскочила босой и в одной сорочке.

— Не пойму, — сказал Митя Началов, как-то презрительно сощурив глаза, — американцы-то тут при чем?

— А при том, — отозвался Генрих, — что по милости вашингтонской администрации мы вынуждены предпоследнюю рубашку жертвовать на гонку вооружений, вместо того чтобы строить благоустроенное жилье!

¹ Чтобы вам угодить (франц.).

— Борьба двух миров,— с многозначительным видом подтвердил Фондервякин, стоявший неподалеку от своего корыта завернутым в полосатую простыню.— Не мытьем, так катаньем норовит нас до-стать американский империализм. Но я так скажу: если ради мира на планете нужно будет как-то сосуществовать с привидениями — я ничего не имею против.

Чинариков спросил его, делая ёрническое лицо:

— А что, Лев Борисович, как вы думаете: нет ли в советском департаменте ЦРУ ответственных за картошку, то есть таких специальных агентов империализма, которые отвечают за то, чтобы в наших магазинах с картошкой были бы постоянные перебои?

— Есть! — ответил Фондервякин, насупив брови, и отправился в свою комнату.

— Так какая же все-таки будет резолюция этому случаю с привидением? — спросил, ни к кому отдельно не обращаясь, Генрих Валенчик и картинно сунул руки себе под мышки.

— А какая тут может быть резолюция... — сказал Белоцветов.— Не эпидемстанцию же против призраков вызывать. Как справедливо заметила твоя Вера, это все же не тараканы.

— Резолюция будет такая,— добавила Анна Олеговна,— крепко-го чая на ночь не надо пить!

Вслед за этими словами раздался голос Пумпянской, которая оказалась в дальнем конце коридора в своем вечном штапельном платье, при кружевах.

— Помилуйте,— сказала она,— на часах скоро полночь, а у вас тут целая демонстрация! Случилось чего-нибудь?

— Случилось,— ответил Митя.— Привидение завелось. Прямо шотландский замок, а не квартира...

И все начали расходиться.

Больше в этот вечер ничего интересного не случилось, только около полуночи Пумпянская отправилась проверять, везде ли потушен свет и хорошенько ли заперта дверь в прихожей.

А наутро она исчезла.

Часть вторая

СУББОТА

1

Несмотря на то, что с первого взгляда такая задача может показаться если не праздною, то во всяком случае умозрительной, было бы очень кстати как-то разобраться в тех отношениях, которые существуют между жизнью и тем, что мы называем литературой. Решить эту задачу, конечно, будет не просто, поскольку их отношения архиневразумительны, но заманчиво: во-первых, заманчиво выяснить, в какой степени изящная словесность есть игра, а в какой — книга судеб, учебник жизни; во-вторых, определившись в этих объяснительных степенях, в принципе можно выйти на разгадку кое-каких тайн духа и бытия, потому что, чем черт не шутит, может быть, литература в состоянии гораздо больше поведать о жизни, чем жизнь о самой себе; в-третьих, известно, что литература есть бытие превращенное, преломленное через художественный талант, и преломленное как-то так истинно, что в Татьяну Ларину веришь вернее, нежели в соседку по этажу; наконец, если совсем не жить, то есть жить, но совершенным пустынною и аскетом, а только читать величественные книги, то вот что чудно — это будет по крайней мере занимательная жизнь.

Как-то разобраться в отношениях, сложившихся между реальностью и ее художественной ипостасью, можно, например, при помощи простейшего уравнения: $\sqrt{\text{жизнь}} \times \text{талант} = \text{литература}$. Что та-

кое жизнь, мы вроде бы знаем — продолжительный праздник личного бытия; что такое корень из жизни, мы можем себе представить — удавшийся праздник личного бытия; что такое литература, мы вроде бы тоже знаем — тот же праздник, но только сдвинутый по горизонтали времени и пространства, тот же праздник, но только взятый таким образом, что он умножается на талант. Мы вот только не знаем, что есть талант. Это, конечно, всем иксам икс, такой безответный икс, что о нем ничего не скажешь вразумительнее того, что талант — это во всех отношениях глухая величина. Посему математический подход тут не годится, поскольку в уравнении $\sqrt{\text{жизнь}} \times \text{талант} = \text{литература}$ неизвестное так глубоко неизвестно, что оно оставляет слишком много загадочного пространства.

Кое-какие соображения навевают, например, то обстоятельство, что любая попытка воссоздания реальности средствами художественного слова, даже если она беспомощна, даже если она строго документальна, неизбежно превращается в ее противоположность, то есть в литературу. Следовательно, искомые отношения — это строго закономерные отношения, даже, может быть, роковые.

Еще такое любопытное наблюдение: жизнь в сравнении со словесностью гораздо пестрее, бестолковее, вариантнее, подробнее и нуднее. Отсюда вытекает одно причудливое предположение: может быть, литература-то и есть жизнь, то есть идеал ее построения, эталон всех мер и весов, а так называемая жизнь — набросок, подступы, заготовка, а в самых счастливых ситуациях — вариант. Нет, честное слово, больше всего похоже на то, что литература — это чистовик, а жизнь — черновик, да еще не из самых путных.

Иногда, правда, случается так, что жизнь человека некоторыми своими частностями прорастает в литературу, как это, например, бывало с Николаем Успенским, когда он в нетрезвом виде таскался по кабакам с интересной композицией на руках — двухлетней дочкой и чучелом крокодила. Но такое случается крайне редко; правило все же состоит в том, что принцип жизни — это одно, принцип литературы — совсем другое.

Ведь как делается дело в литературе:

«— Милостивый государь,— начал он почти с торжественностью,— бедность не порок, это истина. Знаю я, что и пьянство не добродетель, и это тем паче. Но нищета, милостивый государь, нищета — порок-с. В бедности вы еще сохраняете свое благородство врожденных чувств, в нищете же никогда и никто. За нищету даже и не палкой выгонят, а метлой выметают из компании человеческой, чтобы тем оскорбительнее было; и справедливо, ибо в нищете я первый сам готов оскорблять себя. И отсюда питейное!..»

А вот как бывает в жизни...

В субботу утром, в восьмом часу, Митя Началов пришел на кухню, еще пустую, за ночь как бы отвыкшую от человека, и принялся готовить завтрак, что было случаем редким, даже исключительным, и даже это было происшествие, а не случай. Вскоре после него появился Василий Чинариков, который с чувством пронес в ванную комнату свой обнаженный торс. Потом на кухню пришел Белоцветов с горлом, обмотанным, как шарфом, вафельным полотенцем. Потом к присутствующим на кухне прибавился Фондервякин и всех удивил, так как он был пьян, невзирая на ранний час.

— Где это вы, Лев Борисович, так назюзюкались? — спросил Митя.

— Да тут же, на кухне, и назюзюкался,— ответил Фондервякин и грузно уселся на табурет.— Открыл с горя одну трехлитровую банку моченых яблок, и вот вам, пожалуйста, результат. Но с утра, оказывается, выпить — самое то, тонизирует, и вообще...

Митя предположил:

— Наверное, у вас, Лев Борисович, вместо моченых яблок получился обыкновенный самогон.

— Пьяные яблочки, это точно.

— И как вы только не боитесь, отчаянный вы человек? — сказал Белоцветов и ухмыльнулся. — Ведь сейчас за самогон можно получить почти столько же, сколько за государственную измену!

— Я, ребята, свое отбоился, — сообщил Фондервякин и убедительно ударил ладонями по коленям.

— Этой публике хоть кол на голове теши! — вступил Василий Чинариков, входя в кухню; горс его блистал, словно его умастили, а на груди переливалось капельное ожерелье. — На эшафоте она не откажется от своих винно-водочных убеждений! Вот я вам сейчас расскажу анекдот. Говорят самогонщику: «Ты давай сворачивай свою деятельность, а то сядешь». Он говорит: «Я сяду, сын будет гнать». Ему говорят: «И сына посадят». Он: «Сына посадят, внук будет гнать». «И внука посадят». «Когда, — говорит, — внука посадят, я выйду».

— А ты молчи, парашютист! — сказал Фондервякин, но сказал это без злости, скорее юмористически.

— Я не парашютист, — тем не менее надулся Василий, — а бывший русский солдат Советской Армии и в случае чего могу это убедительно доказать!

— Ну ладно, будет, — в примирительной интонации сказал Белоцветов, — только ссоры нам не хватало. Василий никакой не парашютист, а вам, Лев Борисович, все же должно быть стыдно, что вы накачались в такую рань.

— Стыдно? — вскричал Фондервякин. — Да ты сначала спроси меня, в силу чего я выпил с утра пораньше, а потом срами!

— Ну, хорошо: в силу чего вы накачались в такую рань?

— А в силу того, что меня окончательно доконала моя персональная нищета! Ведь я не трутень какой-нибудь, а ведь всю жизнь вкалываю как лошадь — и что же я за это имею? Практически ничего!

— То есть как это ничего? — отчасти даже с обидой сказал Василий. — Да ведь у вас, наверное, на книжке несметные тысячи, так сказать, прозябают, а вы тут нам лапшу на уши вешаете, представляете из себя загорскую попрошайку!

— О тысячах сейчас разговора нет. Сейчас разговор о том, что за тридцать пять лет беспорочной службы мне вместо персонального благосостояния причитается персональная нищета. Вы поглядите, как я живу: диванчик, креслице, телевизор чуть ли не «КВН»! Дело доходит до того, что некуда приткнуть шестнадцать банок моченых яблок! Слава богу, что теперь пятнадцать, все-таки как-то легче...

— Ну, мне пора, — перебил его Митя, подхватывая посуду. — Вы тут еще посоветуйтесь, а мне пора.

— И ведь я не туарег какой-нибудь, — продолжал Фондервякин, как бы исходя чувством оскорбленного самолюбия, — для туарега нищета — нормальное состояние, у него душа не болит, что он ночует в шатре и катается на верблюде, потому что такая его кочевая участь. А ведь я, гражданин, европеец, и даже, может быть, более европеец, чем англичанин и француз, вместе взятые, а существую, как туарег! Вы понимаете: так сказать, европейского чувства, самосознания во мне под завязку, но реально я живу в условиях нищеты. И это, конечно, бесит! Одним словом, в такой ситуации только святой не нажрется с утра пораньше, а я, гражданин, не святой...

Вот так и бывает в жизни: путано, длинно, некомпозиционно, со множеством посторонних составных, которые не терпит литература, но терпит жизнь, так как у нее почему-то каждое лыко в строку и всякий червячок для чего-то да существует. Следовательно, описание происшествий, выпавших на субботу, нужно начинать никак не жизненным спором, который разыгрался на кухне с утра пораньше, а сообразно природным требованиям искусства.

Именно так: какое-то время исчезновение Александры Сергеевны Пумпянской оставалось незамеченным, но ближе к обеду двенадцатая квартира была уже слегка заинтригована тем, отчего это старушка, обычно появлявшаяся в местах общего пользования раньше всех, целое утро не попадает на глаза. Еще этот вопрос не дозрел до той стадии, когда вопросы сами собой срываются с языка, еще Василий Чинариков как ни в чем не бывало скалывал лед в подворотне дома № 2, еще Белоцветов преспокойно лежал на диване, почитывая кьеркегоровский «Страх и трепет», Юлия Голова с Петром ходила по магазинам, Фондервякин варил на кухне сливовый компот, Митя с Любой томилась в школе, Валенчики смотрели телевизор, Анна Олеговна прибиралась у себя в комнате — но в квартире уже поселилось торжественное и почему-то отчасти приятное беспокойство.

Около трех часов пополудни, когда по случаю обеденных хлопот почти все жильцы скопились на кухне, об отсутствии Пумпянской заговорили.

Фондервякин вслух спросил самого себя, чего это, дескать, не показывается Пумпянская. Генрих Валенчик предположил, что она отправилась в магазин, но Юлия Голова отвергла это предположение, сказав, что нельзя же таскаться по магазинам четыре часа подряд. Тогда Белоцветов выдвинул следующую версию: Пумпянская внезапно уехала к кому-нибудь из родных. Однако и эта версия не выдержала проверки, так как Анна Олеговна заявила, что на ее памяти Пумпянская никогда не отсутствовала больше часа, а Фондервякин засвидетельствовал, что в последний раз старуха уезжала в каком-то родственникам на Арбат в сорок восьмом году.

— Ну, тогда она умерла,— сказала Люба Голова.— В лучшем случае заболела.

И сразу наступила нехорошая тишина.

Когда первое впечатление от этих слов испарилось, мужчины решили, что в комнату Александры Сергеевны следует постучать. Чинариков постучал, но ответа не было; Белоцветов постучал — и он ответа не получил. Фондервякин подошел к двери, прильнул к замочной скважине и сказал:

— Ничего не видать, должно быть, ключ с той стороны торчит.

— Если ключ торчит,— сообщил Валенчик,— значит, старуха дома. Ты вот что, Василий, понюхай скважину, может, уже того...

— Да я курю,— отозвался Чинариков,— у меня обоняние на нуле. А потом в течение первых суток трупы не разлагаются даже в сорокаградусную жару.

— А ты почему знаешь? — спросил его Фондервякин.

Василий ответил:

— Знаю...

И опять наступила нехорошая тишина, которая, впрочем, сквозила не потерей, а скорее приобретением.

— Да,— сказал чуть спустя Валенчик,— дело пахнет керосином! Нужно звонить в милицию.

Чинариков поспешил к телефону и начал звонить в жилищно-эксплуатационную контору, в «скорую помощь» и участковому инспектору Рыбкину, с которым он был знаком. Прочие жильцы начали расходиться по своим комнатам, косясь на дверь Александры Сергеевны, точно это уже было решено, что за ней совершилась смерть. На кухне задержались только Митя Началов и Любовь Голова.

Митя спросил:

— Ну что, кума, страшно тебе небось?

— Не-а,— сказала Люба.

— Бесчувственная ты; вот я мужской пол, а и то мне что-то не по себе.

— Ты мне, Митька, лучше вот что скажи: телефонный звонок имеет к этому отношение?

— Ась?

— У тебя что, бананы в ушах? Я говорю, телефонный звонок имеет к этому отношение?

— Не-а,— ответил Митя и засмеялся.— Вот Фондервякин сегодня с утра был пьян как сапожник — вот это да...

Без четверти пять в прихожей раздался звонок, и из всех дверей повысовывались жильцы. Явился участковый инспектор Рыбкин, мужчина видный и моложавый, которому наверняка в очереди говорили «молодой человек», а отнюдь не «мужчина», как это у нас повелось из-за деградации обращений; из примечательных черт участкового Рыбкина нужно отметить небольшие пушистые усики, местами достигавшие нижней губы, то обстоятельство, что фуражку он постоянно носил несколько на затылке, и смиренно-усталое выражение глаз, которые, впрочем, временами смотрели и как стволы.

— Ну, что тут у вас стряслось? — спросил Рыбкин, сложив руки на животе.

— Да жиличка одна исчезла,— сказал Чинариков.— Пумпянская Александра Сергеевна. Вчера еще была здесь, а сегодня как корова ее языком слизнула!

— Ага! — молвил Рыбкин и пошел по коридору в сторону кухни.

В то время как он осматривал дверь в комнату Пумпянской, щупал дверную ручку, заглядывал в замочную скважину, Фондервякин поведал ему о том, что старушка была одинока, в последний раз уезжала к родственникам на Арбат в сорок восьмом году и никогда не отлучалась из дома более чем на час. Затем, из желания прислужиться, он даже приналег на левую створку двери, чтобы показать, что это дверь старинная, фундаментальная, как ворота.

В эту минуту в прихожей позвонили опять: на этот раз явились техник-смотритель из жилищно-эксплуатационной конторы, разбитая девочка по фамилии Вострякова, и один из мрачных жэковских слесарей.

— Будем ломать? — спросила Вострякова у инспектора Рыбкина, на что инспектор как-то печально кивнул, но кивнул не сразу, а после того, как он снял с головы фуражку, протер внутренность тульи носовым платком и снова нацепил ее на затылок.

Мрачный слесарь приступил к двери с невероятно богатым набором ключей, среди которых проглядывали и отмычки, но подобрать ничего не смог и поэтому вынужден был прибегнуть к посредству фомки. Рыбкин смотрел на слесаря... во всяком случае, не по-братски.

Наконец дверь издала неприятный треск и отворилась, обнажив темный-темный прямоугольник, пахнущий тяжелым духом. Присутствовавшие при открытии комнаты, а именно вся двенадцатая квартира, несколько отшатнулись, а Рыбкин, сказав: « Попрошу никого не входить », машинально тронул пальцами кобуру и ступил за порог, как в пропасть. Секунду о нем не было никаких вестей, но потом вспыхнул свет, и двенадцатая квартира прильнула к двери.

Комната Пумпянской была пуста; те, кому было видно, увидели большой буфет из карельской березы, старинный мраморный умывальник с зеркальцем и педалью, этакий мойдодыр, узкую металлическую кровать, столик, приспособленный под горшок, с карликовой сосной, большой круглый стол с четырех ножках, накрытый, кажется, простыней, какой-то пейзаж не нашего времени, массу фотографий в причудливых рамках, разные милые мелочи вроде часов в стеклянном футляре, или подсвечника в виде выеденного яйца, или длинной и узкой вазочки с крашеным ковылем,— но главное, те, кому было видно, увидели, что комната Пумпянской была пуста.

— Зачем же, товарищи, наводить тень на ясный день? — сказал Рыбкин.

— Да,— согласился с ним Фондервякин,— вышло, конечно, нехорошо. Просто вломились в чужое помещение, и будто бы так и надо...

— А гражданка Пумпянская,— предположила Анна Олеговна,— наверное, едет сейчас в троллейбусе к троюродной тетке по женской линии и прекрасно себя чувствует, не то что мы.

— Да нет у нее никакой тетки,— заявил Генрих Валенчик,— у нее вообще никого нет, одинокая была старушка, как тополек в степи...

— А почему «была»? — спросил его Рыбкин.— Вам что, точно известно, что гражданки Пумпянской больше не существует?

Валенчик смешался и, смешавшись, проговорил:

— Нет, этого, конечно, я знать не могу; мне только известно, что родственников у нее не имеется, даже таких, которые называются нашему попу двоюродный священник. Я даже удивляюсь, к кому это она в свое время ездила на Арбат.

— И даже не в этом дело,— вступила Юлия Голова,— а дело в том, что она по большому счету лет двадцать из дома не выходила. Сиднем сидела дома наша старушка, ну разве что иногда сходит на бульвар воздухом подышать.

— Двадцать лет не выходила,— сказала Люба,— а на двадцать первом взяла и вышла!

Митя ей возразил:

— Ну как она могла выйти, если комната заперта изнутри на ключ?

— Господи! — воскликнула Вера Валенчик.— Неужели Александру Сергеевну похитили через окно?

— А ты, Вера, шла бы отсюда,— сказал ей супруг.— Тебе волноваться вредно.

Вера покорно направилась в свою комнату и заодно прихватила с собой Петра, который, засунув в рот указательный палец, так сосредоточенно внимал разговорам взрослых, как если бы он все решительно понимал.

— Это дело разъясняется очень просто,— сказал мрачный слесарь, и все почему-то удивились тому, что слесарь заговорил.— Замок в данной двери английский, причем еще нэпманской фабрикации: хлопнул дверь, она и закрылась, а ключ ваша старушка могла по завычивости оставить с внутренней стороны.

— И все равно это как-то, знаете ли, подозрительно, нереально,— сказал Фондервякин и взялся рукою за подбородок.

— Вы бы сначала прожевали... ну, я не знаю, чего вы там жуете,— обратилась к нему техник-смотритель Вострякова,— а потом уже вступали бы в разговор.

— Ничего он не жует,— разъяснила Анна Олеговна,— это у него такое произношение.

Фондервякин побагровел, а Вострякова изобразила на лице что-то такое, что изображается на лице у женщин, когда они восклицают: «Господи боже мой!»

Митя заключил:

— Факт остается фактом: старуха исчезла, причем исчезла по-хичкоковски, при самых загадочных обстоятельствах.

— Это все домыслы,— сказал Рыбкин.— Для паники, товарищи, пока оснований нет. Вот выйдет положенный срок, тогда будем паниковать...

На слове «паниковать» Рыбкин запнулся, так как в прихожей пугающе зло зазвонил звонок. Василий Чинариков бросился открывать, послышалось лязганье замков, потом голоса, потом в коридоре по-хозяйски загремели шаги, и в кухню вторглись трое молодых в белых халатах и коротких черных шинелях, накинутых по-грушницки.

— Где тело? — строго спросил передний из молодых.

— Вот тела как раз и нет,— отозвался Чинариков и развел руками в подтверждение своих слов.

— Как это нет? — огорченно, почти разочарованно сказал передний из молодцов. — Зачем же тогда вы карету «скорой помощи» вызывали?

Фондервякин сердито ему сказал:

— Вы не переживайте, товарищ медицина, я вам гарантирую — тело будет!

2

Уже свечерело, и в двенадцатой квартире повсюду зажегся свет, когда Белоцветов, выведя инспектора Рыбкина на лестничную площадку, тронул его за рукав и поинтересовался:

— Ну и что вы намерены предпринять?

— А ничего, — простодушно ответил Рыбкин. — Состава преступления нет, даже происшествия и то нет. Вообще зря вы беспокоитесь, объявится ваша старушка, куда ей деться. А если не объявится, то, значит, она в какой-нибудь Козельск уехала помирать. Ведь нет никаких доводов против того, что ей могла прийти в голову такая опрометчивая идея.

— Есть! — возразил ему Белоцветов. — Совсе и не собиралась Пумпянская помирать. Она всегда вела себя так, словно в принципе не собирается помирать, — бывают у нас такие удивительные старушки.

— А вот некоторые ваши жильцы, — сказал Рыбкин, — придерживаются противоположной ориентации. Некоторые жильцы, например, показали, что накануне Пумпянская жалилась на здоровье.

— Вы им не верьте. Они все ждут не дождутся, чтобы комнатушка освободилась, и ради этой комнатушки что угодно наговорят. Дай им волю, они бы Пумпянскую живую похоронили. Словом, вы как хотите, а дело это нечисто; я голову даю на отсечение, что наши тут как-то подсуежились, я это чую, как ревматики непогоду!

— Вообще-то публика у вас непростая подобралась. Вот, например, один сегодня нам притащил жалобу на соседей. И не на кого-нибудь одного, а сразу на всех. И не просто жалобу, а маленькую поэму.

— Донос в стихах, что ли? — спросил Белоцветов. — Это ново, товарищ Рыбкин. Ну и что же доносчик пишет?

— Да всякую чепуху.

— Пожалуйста, вот вам еще одно доказательство того, что наши способны на что угодно! Как хотите, товарищ Рыбкин, а нужно что-то предпринимать.

— Ничего я не буду предпринимать, потому что еще ничего практически не случилось.

— Я, конечно, прошу прощения, но это, знаете, несерьезно. Ведь человек исчез, вы понимаете или нет? Тут надо немедленно объявлять всесоюзный розыск, а вы разводите саботаж!

— Если милиция по каждому случаю будет объявлять всесоюзный розыск, то ей некогда будет заниматься поддержанием общественного порядка, расследованием правонарушений, профилактикой преступности — то есть своими непосредственными делами. И так уже житья нет от неплательщиков алиментов, а вы еще хотите повесить на нас путешествующую старушку!..

С этими словами инспектор Рыбкин, подчеркнуто козырнув, засеменил вниз по лестнице, а Белоцветов вернулся в квартиру и заглянул в комнату Чинарикова, но хозяина не застал, потому что Чинариков по-прежнему торчал в кухне; на пару с Фондервякиным он молча обозревал старушкину дверь, которая была уже опечатана техникосмотрителем Востряковой.

— Вернется наша пропащая с какого-нибудь утренника, — говорил Фондервякин, — а комната опечатана. То-то потеха будет!

— Василий, — сказал Белоцветов, — загляни ко мне на минуту.

Комната Белоцветова была похожа на закуток провинциальной

библиотеки. Книги и разноцветные картонные папки помещались на стеллажах, на крохотном письменном столе, прямо на полу и даже на подоконнике. Только кожаный диван, несколько грязных стаканов да большой ломоть хлеба, лежавший на третьем томе Медицинской энциклопедии, указывали на то, что это помещение отнюдь не служебное, а жилое.

— Ну? — произнес Чинариков и устроился на диване.

— Я, собственно, только хотел сказать, — начал Белоцветов, разглагольствуя по комнате, — что Рыбкин наотрез отказался искать Пумпянскую.

— Этого и следовало ожидать.

— Да, но ведь идиоту ясно, что Пумпянская не ушла, не уехала, а исчезла! Даже Вера Валенчик, уж на что сама простота, и то сообразила, что без преступного умысла дело не обошлось.

— Тяжелый ты человек, Никита: в каждый горшок тебе надо плюнуть. Ну хорошо, а если преступление не совершено, если Пумпянская, скажем, взяла и легла в больницу?

— А если окажется, что ни в какой она не в больнице, а именно так оно и окажется, потому что я чую тут преступление, как ревматика непогоду, тогда позволь мне посмотреть в твои бессовестные глаза. Нет, Василий, ты как хочешь, а эта история непростая! Ты вспомни: какой-то странный ей был накануне телефонный звонок, потом появилось это дурацкое привидение...

— Вот только этого не надо, договорились?

— Хорошо, а почему Фондервякин был пьян на другое утро?

— Пьян он был потому, что ему захотелось выпить.

— У тебя на все найдется деструктивный ответ...

— А у тебя на все найдется идиотский вопрос! Так, брат, нельзя, надо держать себя в руках, я бы даже сказал: в ежовых рукавицах надо себя держать.

— Я только одного не могу понять: вот несколько миллионов мужчин и женщин в Советском Союзе бешутся оттого, что их жизнь не имеет смысла; понимают люди, на свое несчастье, что он должен быть, и даже, наверное, ищут, но не находят. А смысл жизни — вот он, на ладони, да еще и прост, как мычание: воинствующее неприятие зла! Это, понятно, тяжело, даже мучительно тяжело — не сходя стоять на такой платформе, но для желающих, то есть для тех, которые бешутся, это выход...

— Смысл жизни — выдумка чисто русская; мы его выдумали по той же самой причине, по какой азиаты выдумали буддизм, — надо полагать, от нехватки предметов первой необходимости. Вот одиннадцать двенадцатых населения земного шара ни о каком смысле жизни слыхом не слыхивали и, поверь мне, прекрасно себя чувствуют!

— Я даже на одну двенадцатую согласен. Так вот для нее воинствующее неприятие зла есть безусловный выход из положения, потому что каждый на своем месте будет в некотором роде Александром Македонским и ему покорится мир. Покорится же он по следующей причине: поскольку огромное большинство людей не делает зла, по крайней мере способно его не делать, поскольку какой-то части населения по силам воинствующее неприятие зла, да я еще разработаю медикаментозную методику лечения подлецов, то зло и неодушевленность в скором времени будут неизбежно истреблены!

— Идеалист ты, Никита, злостный идеалист!

— Ну хорошо, что идеалистического ты, например, видишь в медикаментозном лечении подлецов?

— О своих дурацких таблетках ты даже не заикайся! Мало того что это смешнее перпетуум-мобиле, ты еще себе таких неприятностей наживешь, что тебе будет ни до чего. Я же тебе, кажется, рассказывал историю про то, как одного гениального мужика сожрал один научно-исследовательский институт, сожрал, фигурально выражаясь,

прямо с ботинками и даже не поперхнулся, а все потому, что тот мужик в одиночку выполнил всю их научно-исследовательскую пятилетку.

— Нет, эту историю ты мне не рассказывал.

— Ну так пожалуйста, расскажу...

В дверь постучали, потом она приоткрылась наполовину, и в проеме показалась Митина голова.

— Никита Иванович,— сказал Митя,— давайте держать совет.

— А что такое? — спросил Белоцветов.

— Да вот только что принесли телеграмму для нашей Пумпянской, я уже и бумажку почтовую подписал.

— И что в телеграмме? — в один голос воскликнули Чинариков с Белоцветовым.

— Откуда же я знаю! Я поэтому и предлагаю держать совет: что нам делать-то с телеграммой, то есть открывать ее или не открывать?

Белоцветов взял у Дмитрия телеграмму, надорвал бумажный обренок, склеивавший бланк, развернул его и прочел: «Скорблю дорогой покойнице. Зинаида».

— Вот это да! — прошептал Чинариков.

— Час от часу не легче! — с чувством сказал Белоцветов.

— Стрёмный текст,— согласился Митя и помрачнел.

С полминуты все трое молчали, а затем Белоцветов предъявил кое-какие предположения.

— Я думаю,— сказал он,— что эту телеграмму можно трояким образом понимать. Либо убийца издевательски сообщает о свершившемся преступлении. Либо какой-то таинственный свидетель намекает на трагедию, которая произошла на его глазах. Либо некая простодушная родственница случайно узнала о смерти Пумпянской и не замедлила выразить свои чувства.

Митя добавил:

— Но главное, интересно ужасно: кто такая эта самая Зинаида? Чинариков ответил:

— Это покрыто мраком.

— Ну почему... — возразил ему Белоцветов.— Достаточно пойти на почту, выяснить адрес отправителя телеграммы, и мы по крайней мере выясним, кто такая эта самая Зинаида.

В общем, решили так: Митя с Чинариковым звонят в бюро несчастных случаев и в больницы, а Белоцветов отправляется на почту и выясняет адрес отправителя телеграммы.

Это решение было принято что-то часу в седьмом.

3

Если описывать дальнейшие события той субботы сообразно законам жизни, то нужно будет описать, как Белоцветов околачивался на почте, потом долго шел до станции метро «Площадь Ногина» и что за виды ему встретились по пути, какие попались ему на глаза одежды и физиономии, о чем он размышлял дорогой, притом что дорогой он размышлял, в частности, о таких легковесных вещах, как закономерности ценообразования, и, значит, в строгом смысле этого слова не размышлял; затем нужно описывать, как он менял пятиалтынный на пятаки, спускался на эскалаторе, опять же наблюдая одежды и физиономии, как потом он сел в голубой вагон, заметив про себя, что это бывший жандармский цвет, и кстат припомнил строки: «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ...» — как он ехал в вагоне до станции «Проспект Мира», с кем встречался глазами, сидел или стоял, а если стоял, то на проходе или же в уголке, и какие обрывки каких разговоров до него тем временем долетали...

Литература, как уже отмечалось, не любит этих подробностей. Она сразу, как говорится, берет быка за рога, предварительно просеи-

вая реальность и отметая все то, что не соответствует какому-то ее основному строительному закону, либо сообразно ему превращает всякое действие, предмет и фразу; скажем, литература не может принять вполне жизненную фразу: *«Зачем вы стулья-то ломаете, не пойму?! Вот, тоже, народ: придет и сразу начинает стулья ломать, как будто их для того и поставили, чтобы все, кому не лень, ломали их на дрова. И ведь ни одной собаке в голову не придет, что стул-то казенный и, значит, ломая его на дрова, ты причиняешь убыток своей отчизне. Нет: придет и принимаются ломать стулья, как будто больше заняться нечем...»* — а непременно выжмет ее до состояния образа: *«Да зачем же стулья-то ломать, господа, казне ведь убыток! — весело закричал Порфирий Петрович»*. То есть налицо некий закон, который укрощает жизнь или, может быть, усложняет жизнь до степени литературы, как народное чувство истины укрощает философские учения или, может быть, усложняет философские учения до степени поговорок.

Природа основного строительного закона литературы неизяснима, так как в основе его лежит художественный талант, а он — глухая величина, которая, возможно, не будет разгадана никогда, но даже если нащупать какие-то отдельные ее силы, то это уже будет приобретение, маленькая победа. Первое, что приходит на ум: поскольку литература — это то, что как ей угодно кромсает и переиначивает бытие, исходя исключительно из каприза художественного таланта, то, следовательно, художественный талант есть, в частности, способность как угодно кромсать и переиначивать бытие. Для начала из этого вытекает, что всякий, кто пером замахивается на жизнь, — уже в той или иной степени художественный талант, даже притом, что это у него получается, как у совсем маленьких детей, которые замахиваются деланно и неловко. Во-вторых, вытекает то, что если жизнь в чистом виде настырно переносится на бумагу, если вообще возникают трудности с укрощением ее до состояния литературы, то просто-напросто нужно как можно больше подробностей сокращать.

Посему опускаем подробности белоцветовских походов и берем быка за рога уже в тот момент, когда Белоцветов вошел в комнату Василия Чинарикова и сказал...

Нет, сначала нужно комнату описать. Комната Чинарикова была замечательна тем, что тут находилось множество полезных и красивых вещей, подобранных на помойке, а именно: канале с причудливой спинкой и подозрительными разводами по обивке, гипсовый бюст поэта Апухтина, несколько аккуратно склеенных фарфоровых чашек с портретами маршалов Бонапарта, бронзовый канделябр, изображавший три грации с факелами в руках, два кресла красного дерева, одно обитое кожей, другое вытершимся штофом голубоватого цвета, какая-то деталь, вероятно иконостаса, резная, покрытая позолотой, которая была прилажена на стене, ломберный стол с наборной столешницей, ковер, когда-то, видимо, дорогой, но совершенно побитый молю. На стенах, кроме детали иконостаса, висело несколько книжных полок, сплошь заставленных энциклопедией Брокгауза и Ефрона, вышивка под стеклом и ростовой портрет Эрнеста Хемингуэя.

Итак, Белоцветов вошел в эту комнату и сказал:

— Слушай, Василий, ты, случайно, по отчеству не Петрович?

— Петрович, — сказал Василий.

— Так! Великолепно! Просто великолепно!

— Что великолепно-то?

— Ничего. Ты звонил в бюро несчастных случаев и в больницы?

— Звонил. За весь вчерашний день в Москве произошло всего четыре несчастных случая: один мужик сгорел от собственной сигареты, один ребенок попал под автомобиль и две девушки выбросились из окошка; никогда бы не подумал, что в таком громадном городе

происходит так мало невыдуманных несчастий. В больницах нашей старухи нет.

— Значит, все-таки либо просто похищение, либо похищение и убийство.

— Похоже, что так и есть. Ну а тебя с чем можно поздравить?

Белоцветов внимательно-внимательно посмотрел Чинарикову в глаза и затем словно нехотя поведал ему о том, что на почте ему дали адрес некой Зинаиды Никитичны Кузнецовой, она оказалась крестной дочерью патриарха Сергея Владимировича Пумпянского, у которого как раз вчера была годовщина смерти, и по этому случаю Кузнецова послала его дочери телеграмму, что она вообще аккуратно делала последние сорок лет.

— Стало быть, пресловутая Зинаида,— сказал Чинариков,— положительно ни при чем. Это жаль.

— Почему жаль? — спросил Белоцветов немного зло.

— Потому что это была ниточка, а теперь мы по-прежнему на бобах.

— Вместо этой ниточки нашлась целая веревочка.

— Например? — спросил Чинариков с каким-то нервным, во всяком случае повышенным интересом.

— Например... — заговорил Белоцветов и вдруг сделал недобрую паузу.— Например, я вышел на некоего Алексея Саранцева, внучатого племянника нашей Пумпянской, а он в высшей степени подозрительный мужичок. Почему? Во-первых, потому, что он единственный и, так сказать, на безрыбье прямой наследник...— В этом месте Белоцветов опять сделал паузу и вперился в чинариковское лицо, но оно ничего такого не показало.— Во-вторых, он нигде не работает, и поэтому наследство ему было бы очень кстати. В-третьих, он большой, по-моему, хитрован. В-четвертых, он когда-то интересовался генеалогией, а это тоже ни о чем хорошем не говорит. Между прочим... хотя нет, между прочим — это потом.

— А пресловутая Зинаида, значит, чиста,— свернул Чинариков на свое.

— Да, если не брать в расчет, что она почему-то слишком, то есть подозрительно хорошо, информирована о ценностях, которые имеются в комнате Пумпянской. Но то, что она сорок лет посылала Пумпянской телеграммы насчет покойника — это факт.

— Стало быть, кто у нас остается на подозрении?

— А все!

— Как это все?

— Так, все,— со скучающим видом сказал ему Белоцветов.— Потому что, кого ни возьми, всем было выгодно переселение Пумпянской, что называется, в мир иной.

— Например?

— Например, Фондервякину, Валенчику, Капитоновой вместе с Митькой это было выгодно потому, что им на руку всякая освобождающаяся жилплощадь. Я даже Петьку Голову взял бы на подозрение, поскольку, во-первых, в ту самую ночь, когда исчезла наша старуха, он зачем-то сидел на горшке посреди кухни и демонстративно читал газету, а во-вторых, потому, что он способен на осмысленное злодейство.

Чинариков возразил:

— Осмысленное злодейство — это когда злодеяние чем-то выгодно, по крайней мере небесполезно. А какой Петьке прок от того, что он вымазал тебе дверную ручку какой-то дрянью?

— Сейчас ему делать мне пакости проку нет, а послезавтра из них может сложиться какой-то желаемый результат, то есть Петька мне гадил как бы трансцендентально, но, возможно, с самой материалистической сверхзадачей. И даже пускай будет так: налицо бессмысленное злодейство, но ведь это еще хуже, ибо загадочней, непо-

вятней. Хотя, наверное, всякое зло отчасти трансцендентально, потому что человек вышел из природы, а в природе зла и в заводе нет.

— Как это нет? — возмутился Чинариков. — А плотоядность, а закон джунглей, а вырождение видов?

— Так ведь это какое зло? Естественное, я бы даже сказал, механическое, как смерть. Такое зло в природе, конечно, есть, и его, конечно, унаследовал человек, но это как раз необходимое зло, которое через борьбу противоположностей обеспечивает вечное движение к идеалу. Но ведь мы знаем еще и противоестественное зло, которого не знает природа, зло, если можно так выразиться, выдуманное человечеством, какое-то нажитое! Согласись, что ворон ворону глаз не выклюет, что бодливой корове бог рог не дает, что, наконец, царь зверей — лев никогда не задушит ягненка, если он сыт. А человек задушит! Смерть, голод, супружеские измены — это еще туда-сюда, это нормально, ибо неизбежно и необходимо, но доносы, национал-социализм, дело студента Иванова — это-то чему прикажете приписать? Словом, я хочу сказать, что люди как-то нажили себе на голову то самое искусственное, самодельное зло, которое бессмысленно до трансцендентальности. Поэтому изжить его возможно и необходимо, как бубонную чуму или единовластие.

— Логика твоя, профессор, разумеется, брэнная, и брэнность ее объясняется тем, что танцуешь ты не от печки. Первая твоя ошибка: в природе добра нет, а не зла, потому что добро в строительном смысле неконструктивно, а зла, наоборот, девать некуда, причем зла самого, так сказать, праздного, неприкладного, даже декоративного. Вот тебе примеры: киты ни с того ни с сего выбрасываются на сушу, генетический код может нести в себе раковую составную, хотя он так и так ориентирован на смерть, страшными болезнями болеют обыкновенные сизари, про которых даже таксисты говорят, что они не дохнут, а умирают. Ну, раковая составная — это еще ладно, но сизари-то зачем болеют? Короче говоря, бессмысленного зла в природе предостаточно, а добра вообще никакого нет, в принципе нет, как в химической формуле воды нет китайского иероглифа... Между прочим, ты бы сел, чего стоишь как пень...

Белоцветов сел в кресло, обитое кожей; он сел и сказал:

— И все-таки ты не прав. Добро в природе есть, только диапазон его очень узок. Спенсер даже придумал понятие: этика животных, которая у высших млекопитающих выливается в то, что они, например, метят свою территорию, а самцу послабее достаточно всего-навсего дать понять, что он послабее, и он сразу уступит самку. Просто этика животных и добро в человеческом понимании этого слова соотносятся, как хорда и позвоночник.

— В том-то все и дело, что эта самая спенсеровская этика — антиэтика, потому что она просто-напросто обеспечивает исполнение закона джунглей; она есть формальное добро, посредством которого управляет совсем неформальное зло вроде того, как в свое время средневековое правосудие из лучших побуждений отправляло на костер всяких там ведьм, анатомов, черно книжников и так далее. Теперь вторая твоя ошибка: не зло трансцендентально — оно-то как раз очень даже нацелено и понятно, — а именно что добро. Это следует, в частности, из того, что добро бессмысленно с точки зрения личности, поскольку в лучшем случае оно бесполезно, а в худшем себе во вред. Вот, предположим, если человек отрубит себе кисти рук, чтобы не иметь возможности дать пощечину, — это будет трансцендентально? Конечно, трансцендентально! Что, собственно, и требовалось доказать. А доказать, как ты понимаешь, требовалось то, что зло в природе вещей, а добро — это выдумка побродяжек из Иудеи.

— Это все в какой-то степени справедливо, — согласился Белоцветов, — но ты не берешь в расчет, что человек вышел из природы, как

кура из яйца, точнее будет выразиться, ушел от природы, как курица от яйца. Отсюда такая аллегория: яйцо — это зло, а курица — то, что выдумали побродяжки из Иудеи.

— Я предлагаю другую аллегория: вот если бы среди волков завелся такой сумасшедший волк, который ел бы сено через «не могу», нарочито дружил с зайцами и шел бы с тоски под егерские стволы, то это и был бы так называемый хомо сапиенс. Человек есть особая, возвышенная форма сумасшествия природы и более ничего.

— Что-то запутались мы с тобой, — несколько смешавшись, сказал Белоцветов и прошелся по лбу ладонью. — Давай-ка сначала. Значит, так: человечество выросло из природы — это, кажется, не вопрос.

— Не вопрос, — согласился Чинариков, но как-то настороженно согласился.

— А теперь вопрос: человечество есть все-таки цель природы или оно такой же закономерно-случайный продукт эволюции, как все прочее живое и неживое?

— Спроси чего полегче, — с грустью ответил Чинариков и потянулся за папирсой. — С одной стороны, похоже, конечно, что человек был как-то запрограммирован изначально, то есть если он в конце концов родился, то, значит, он был запрограммирован изначально. Но с другой стороны, выходит, что человек — закономерно-случайный, а может быть, какой-то промежуточный результат, поскольку сомнительно, чтобы природа специально запрограммировала такое бестолковое и даже враждебное существо, которое способно запросто уничтожить ее самое, — это, конечно, бред.

— Промежуточный результат я беру на заметку, а пока делаю следующее заявление: видимо, род человеческий развивался не только программно, но и, так сказать, запрограммно, исходя уже собственно из себя. Ведь, положим, у четы Шикльгубер был запрограммирован обыкновенный немецкий Адольфик, а в конечном итоге реализовался исторический людоед. Словом, бестолковость и склонность к самоуничтожению — это еще не резон. Природа просто могла воспитывать человечество до определенного возраста, а потом с определенным багажом проводить его из гнезда. Другое дело, что если природа вывела человечество, то это зачем-то ей понадобилось — а зачем?!

Чинариков лениво пожал плечами.

— Скорее всего человек понадобился природе затем, — сам себе начал отвечать Белоцветов, — что природа не сознает собственное бытие, затем, что человек для нее есть единственная форма самосознания.

— Ну и что из этого вытекает?

— А черт его знает, что из этого вытекает! — признал Белоцветов самым добродушным образом, поднялся с кресла, несколько раз прошелся по комнате взад-вперед, потом уселся на канапе и положил ногу на ногу. — Просто природа в конце концов вылилась в человеческое сознание, вот и все. И если мы на вопрос, зачем она это сделала, найдем недвусмысленное «затем», мы вообще ответим на все вопросы. Хотя зачем, например, природе понадобилось великое оледенение? А затем! Понадобилось, и точка! Достаточно будет и того, что разуму очевидно: человек — это слишком стратегический результат, чтобы он мог вылиться из инфузории ни за чем.

— Ну хорошо, — сказал Чинариков, выпуская из ноздрей сизые струи дыма, — вот мы нашли, положим, недвусмысленное «затем» на твое «зачем», положим, мы решили, что человек, то есть совершенный человек, это конечная цель природы, — а где же ответы на все вопросы? Вообще какое отношение все это имеет к противоборству добра и зла?

— Самое прямое! — решительно сказал Белоцветов. — Если человек — закономерная случайность, то с него взятки гладки, а если он

конечная цель природы, то, спрашивается, на кой черт природе понадобилось столько лишних безобразий, злодейства, неразберихи? И неужели две мировые войны, например,— это обязательное условие совершенства? Разве что человек действительно какой-то промежуточный результат, собственно, не человек еще, а околочеловек. Это очень может быть, что так называемый хомо сапиенс — не более как звено, или, если угодно, полуфабрикат, а конечный продукт, задуманный природой,— это какой-нибудь хомо хуманис, то есть человек человеческий, действительно что-то возвышенное, прямо-таки неземное. Словом, то бедовое обстоятельство, что человечество сейчас состоит главным образом из прохиндеев и дураков, вовсе не отрицает предположения, что человек был задуман как именно венец, как именно совершенство. Если, конечно, он был задуман. Ну так как мы с тобой решим: задуман он был или же не задуман?

— Ну, пускай будет задуман,— нехотя согласился Чинариков и вздохнул.

— И пускай даже не задуман, пускай даже человечество — тупиковая ветвь развития, это все решительно чепуха, потому что последние две тысячи лет человек эволюционирует не по законам природы, а по законам своего рода, исходя из идеи личности. Если же миллионы разумных существ неукоснительно действуют целесообразно какой-то идее, пускай самой искусственной и вздорной, то она становится действительностью, законом природы, источником эволюции.

— Что еще за идея личности? — недовольным тоном спросил Чинариков.

— Это очень туманная идея, вот гляди сам... Сначала зверь, или, лучше сказать, проточеловек, был вооружен против мира только некоторым знанием, этикой животных и механическим злом, которые он аккуратно передал по наследству наряду с волосатостью и клыками, потому что на первых порах только зло обеспечивало выживание, то есть еду, безопасность, самку. Но потом количество «знаю» как-то выросло в качество «соображаю», а этика животных как-то трансформировалась в добро. Что касается равенства «знаю — соображаю», то тут все более или менее ясно, и уже потому хотя бы, что «ежели зайца бить, то он спички может зажигать». Но вот каким образом этика животных стала добром — это большой секрет. Впрочем, может быть, что добром она стала именно через «соображаю». Ведь не так уж мудрено было проточеловеку сообразить, что выживание ему обеспечивает не только механическое зло, которое представляет собой все-таки какое-то целенаправленное деление, но и добро, точнее будет сказать, преддобро, которое представляет собой выгодное неделение. Потому что ведь не убей, не изувечь, не укради у сородича последний кусок — это выгодное неделение, то есть нечто такое, что также обеспечивает выживание, но только без хлопот, совершенно даром. Вот примерно таким манером из абсолютного зла могло выделиться относительное добро.

— Это, профессор, уже какой-то оголтелый материализм,— сказал Чинариков,— а впрочем, вопрос не в том. Вопрос остается прежним: что же идея личности?

— Сейчас будет идея личности,— ответил Белоцветов и сделал предупредительный знак рукой.— Итак, похоже на то, что зло первично, как материя, добро же вторично, как сознание, а вовсе не наоборот. Именно что сначала было никакое не слово, а простейшее зло, которое лило воду на мельницу эволюции, прости за идольский оборот. Именно что не ангел опустился до дьявола, а дьявол ангелизировался, так сказано. Именно что, вкусив от древа познания, Адам с Евой возвысились, а не пали, хотя это возвышение дорого стоило их потомкам. Именно что не Каин был первоубийцей, но Авель первым альтруистом, причем альтруистом из самых простецких соображений, поскольку для того, чтобы предупредить покушение Каина, нужно бы-

ло искать дубину. Но сейчас не об этом речь; сейчас речь о том, что много тысяч лет тому назад из зла как-то вылупилось добро. Но вот тут начинается самое темное место: зверь полюбил добро. Наверное, он полюбил его потому, что изредка становился его объектом. А полюбив добро, наш зверь полюбил себя, ибо, будучи объектом неукротимого зла, себя можно только ненавидеть и презирать, в то время как, будучи объектом добра, не полюбить себя попросту невозможно. Вот тут-то в звере и проклюнулся человек, даже, точнее сказать, личность, поскольку любящее себя осознает себя во времени и в пространстве, чем мы, собственно, и отличаемся от прочих дыханий мира. Стало быть, человек — это дитя добра. Отсюда и та самая идея личности, которой руководствуется эволюция человека: идея личности есть добро...

Ближе к финалу этого монолога, то есть в течение последних полутора-двух минут Чинариков что-то пристально разглядывал правую белоцветовскую туфлю, и поэтому Белоцветов вынужден был прерваться; он прервался, немного помолчал, а затем спросил:

— Ты чего это, Вась, разглядываешь мою обувь?

Чинариков ответил:

— У тебя на правом ботинке дырка.

— Где? — до забавного живо заинтересовался Белоцветов и тоже начал разглядывать свою туфлю.

— Да не здесь, а на подошве,— подсказал ему Чинариков,— у носка!

— Действительно дырка,— произнес Белоцветов, слегка поковырял ее пальцем и стал продолжать.— Ну так вот, дело кончилось тем, что из природы вышло, так сказать, двоякое существо; с одной стороны, это существо было носителем рационального зла, которое досталось ему в наследство от зверя, а с другой стороны — добра, качества еще неслыханного, надприродного, которое вылупилось из зла только по той причине, что человек прямоходящий начал соображать. Тут-то все и началось! Поскольку образовалось противостояние качеств совершенно нового уровня, то и дальнейшее развитие пошло уже на уровне совершенно ином, на уровне человеческой жизни и истории человечества, то есть тут-то все и началось: индугенция, самопожертвования, войны, толстовство, национал-социализм, супружеские измены. Но это по крайней мере понятно, потому что в человеке и человечестве заложено все, потому что сегодня я могу подобрать на улице бродячую кошку, а завтра украду у соседа веник, потому что огромное большинство людей суть люди не добрые и не злые, а одновременно и недобрые и незлые.

— Слушай, профессор,— перебил его Чинариков,— а не пора ли нам спать?..

— Погоди ты со своим спаньем! Ты лучше посмотри, какая получается ерунда: если человек есть носитель рационального зла, то что же заставляет его мазать дверные ручки какой-то дрянью?

— Опять двадцать пять! — лениво возмутился Чинариков.

— Нет, наверное, трансцендентальный злодей все же попросту сумасшедший, и его следует лечить как заурядного психопата.

На этих словах в чинариковскую комнату постучали.

Чинариков с Белоцветовым переглянулись, как бы спрашивая друг друга, кого это несет в такой поздний час, затем Василий сказал «войдите», дверь отворилась, и на пороге показался участковый инспектор Рыбкин. Почему-то на Чинарикова его появление произвело такое сильное действие, что он резко поднялся из-за стола и при этом свалил на пол металлическую вазу с водой и совершенно высохшей веточкой иван-чая.

— Ну что, товарищи,— сказал Рыбкин,— теперь вы убедились, что торопиться нужно только при ловле блох?--

— Не понял,— с мрачным выражением сказал Белоцветов.

— А чего тут особенно понимать — нашлась ваша старушка, вы тут мне истерики закатывали, а она нашлась.

— Вот это да! — воскликнул Чинариков.— А мы уже не знали, что и подумать. Спасибо вам, товарищ Рыбкин, за приятную информацию...

— Погодите, погодите,— остановил его Рыбкин.— Разве вы сами гражданку Пумпянскую не видели?

— Не видели...— сказал Белоцветов.— И вообще, с чего вы взяли, что наша старушенция объявилась?

— Вот это да,— проговорил теперь уже Рыбкин.— А я иду сегодня по черной лестнице часов так около десяти — это я ходил в двадцать вторую квартиру, потому что там у них опять приключилась драка,— и вдруг гляжу: у Пумпянской в комнате горит свет!.. Ну я и подумал, что старушка нашлась и зря некоторые товарищи закатывали истерики.

— А что мы, в самом деле, гадаем: нашлась старушка, не нашлась старушка...— сказал Чинариков.— Пойдемте поглядим!

Все трое вышли в коридор, наполнив засыпающую квартиру тревожным гулом шагов, и, явившись на кухню, остановились напротив комнаты Пумпянской, которую давеча опечатала разбитная девочка Вострякова; бумажка с печатью была на месте.

— Гм... — задумчиво промычал Рыбкин.

Затем он отколупнул бумажку и толкнул створку двери: увиделся черный квадрат воздуха, от которого пахло уже чем-то мертвенным, во всяком случае нежилым.

— Чудные дела твои, господи,— заметил Чинариков.— Не иначе как опять нас привидение посетило.

— Насчет привидений это вы бросьте,— назидательно сказал Рыбкин.— Какой, понимаете, субъективный идеализм!..

С этими словами он вступил в комнату Пумпянской, зажег свет и внимательно огляделся: все здесь было по-прежнему и вроде бы ничего не указывало на противозаконного посетителя; вообще такое складывалось впечатление, что комната Пумпянской пустовала не один год.

— Послушайте, лейтенант,— сказал Белоцветов,— а вы, случаем, не ошиблись?

— Ошибаться на ровном месте я права не имею,— ответил Рыбкин.— Иначе медный грош мне цена.

— Глядите-ка, товарищи! — воскликнул вдруг Чинариков и ткнул пальцем в пол.— Какой-то следок!..

Действительно, сантиметрах в двадцати—тридцати от порога неясственно отпечатался след ботинка.

— Может быть, в прошлый раз кто-нибудь натоптал,— несмело предположил Рыбкин.

— Очень может быть,— согласился Чинариков и остро посмотрел в глаза Белоцветову, как смотрят в тех случаях, когда собираются уличить.

— Честно говоря, не нравится мне все это,— с каким-то недобрым выражением сказал Рыбкин.

— Да уж чего хорошего,— подтвердил Белоцветов.— Ни с того ни с сего исчезает пожилая женщина, причем исчезает при достаточно загадочных обстоятельствах...

— Например? — спросил Рыбкин.

— Например, накануне исчезновения Пумпянской ей кто-то позвонил, но разговаривать отказался. Например, Петька Голова той ночью сидел в темной кухне на горшке и демонстративно читал газету. Например, наш сосед Фондервякин наутро после исчезновения Пумпянской был пьян как сапожник, а потом сказал ребятам из «ско-

рой помощи», что без трупа не обойдется. В общем, скверная вырисовывается картина.

Все трое замолчали как бы в раздумье.

— Привет, ребята! — раздался вдруг голос у них за спиной, и все обернулись.

Посреди кухни стоял Лев Борисович Фондервякин, закутанный в полосатую простыню.

— Вы чего тут скопились-то на ночь глядя? — При этих словах Фондервякин игриво приклонил голову, и его лысина заблестала, как свежееотчеканенный пятак.

Никто ему не ответил.

— Я вот что думаю,— заговорил Фондервякин.— Это все не так просто, как может показаться с первого взгляда. Тут скорее всего какая-нибудь давняя история: положим, сотрудничество с нацистами или же связь с иностранной разведкой, которая решила аннулировать агентуру...

— Стыдитесь, поручик,— отозвался Чинариков.— Что вы несете-то, это уму непостижимо! Вы еще скажите, что у Пумпянской была связь с потусторонним миром!

— И скажу! Недаром Юлька Голова вчера видела привидение!

У кого-то в комнате радио пропикало полночь — это грянуло воскресенье.

Часть третья

ВОСКРЕСЕНЬЕ

1

В шесть часов утра на кухню заглянул Фондервякин; заглянул он, имея в виду с кем-то поговорить о втором пришествии привидения, но кухня была пуста, и он отправился досыпать.

Около восьми, когда на дворе только-только начало развидняться и двенадцатая квартира еще видела легкие воскресные сны, Василий Чинариков зашел в комнату Белоцветова, присел на край дивана, толкнул хозяина кулаком в бок и сказал:

— Давай потолкуем начистоту.

Белоцветов открыл давно проснувшиеся глаза.

Чинариков раскурил свою вечную грубую папиросу, напустил пропасть дыма, который в полумраке белел, как пар, и спросил с ленцой, отдававшей в неприятное электричество:

— Ты зачем вчера был в комнате Пумпянской?

— А ты откуда знаешь, что я там был?

— Ладно, не придуривайся...

— Нет, а все-таки?

Чинариков самодовольно вздохнул.

— Самым пошлым образом я узнал, что ты тайно побывал в комнате у Пумпянской. Помнишь, когда вчера сюда пришел Рыбкин, я нечаянно опрокинул вазочку с иван-чаем?

— Ну, помню.

— Так вот на полу образовалась лужица, и ты в нее наступил.

— Что же дальше?

— А дальше вот что: твой мокрый след и тот подсохший след, который мы нашли в комнате у Пумпянской,— это следы одной и той же ноги. Дырка на правом ботинке в обоих случаях отпечаталась, то есть не отпечаталась, это тебя и разоблачило. А теперь говори: что тебе понадобилось в комнате старухи?

— Что бы мне у нее ни понадобилось, я чист, как младенец,— с достоинством сказал Белоцветов.— А вот за тебя, Василий, я бы не поручился.

— Это еще почему?

— Да потому, что ты Петрович!

— Ну, полный вперед!.. Ты, профессор, наверное, еще не проснулся.

Белоцветов сел, свесил голые ноги на пол, нащупал ими шлепанцы, поднялся, прошел к окну, поправляя сатиновые трусы, одним словом, нарочно повел себя так, чтобы убедить Чинарикова в том, что он-то как раз проснулся. Затем он сказал:

— Если бы я тебя не знал как облупленного, то есть если бы я не знал, что ты вполне здоровый и порядочный человек, я с тобой и разговаривать бы не стал. Но поскольку я это знаю, то даю тебе шанс либо покаяться, либо как-нибудь оправдаться. А теперь крепись...

Чинариков насторожился, даже, можно сказать, струхнул.

— Вчера мне стало известно, что ты, Василий, косвенный наследник нашей старухи. Ты ей дальний родственник, гражданин Чинариков, и только попробуй сказать, что это для тебя новость!

— Новость! — сказал Чинариков и слегка поперхнулся на последнем слове. — И даже не то что новость, а просто ты меня, Никита, оглоушил!

Две-три секунды Белоцветов смотрел Чинарикову в глаза таким сверхпристальным образом, точно выискивал в них хрусталик.

— Я правда не знал.

— Покайся! — тяжело сказал Белоцветов.

— Клянусь...

— Нет, ты чем-нибудь покайся!

— Хорошо, — согласился Чинариков и несколько спал с лица. — Клянусь кровью, пролитой в окрестностях Кандагара.

Белоцветов потупился и сказал:

— Верю.

Некоторое время прошло в неловком молчании, и чтобы снять излишнее напряжение, Белоцветов принялся одеваться. Приведа себя, как говорится, в божеский вид, он сделал следующее заявление:

— В свою очередь должен тебе сказать, что в комнату Пумпянской я проник для того, чтобы выяснить, точно ли Кузнецова сорок лет посылала нашей старухе скорбные телеграммы. И дернул черт Рыбкина попасть на наш этаж именно в это время!

— Это ладно, — отозвался Чинариков, — ты мне лучше расскажи, каким образом ты узнал, что мы родственники с Пумпянской.

— Помнишь, я тебе давеча говорил про Алексея Саранцева, который занимается изучением своего родового древа? Так вот он мне поведал: от его прапрабабки Вержбицкой и какого-то потомка военного министра Милютина пошла ветвь, которую Саранцев потерял на Петре Васильевиче Чинарикове, надо думать, твоим отце.

— Мать честная! — воскликнул Чинариков. — Так я еще, значит, и дворянин!

— Это еще что! — сказал Белоцветов. — Самое интересное, что, похоже, мы все кровные родственники, и даже не по одному разу. Идея, правда, старинная, даже, можно сказать, обмусоленная идея, но все-таки в другой раз чудно: положим, сидит в магазине за кассой какая-нибудь мегера, а на самом деле она никакая не мегера, а твоя четвероюродная сестра!

— Нехорошо, Никита, ох нехорошо! — сказал Чинариков, помаывая головой.

— Ты это о чем?

— Я о том, что Александра Сергеевна мне, может быть, пятиюродная тетка, а я ей за всю дорогу слова приветного не сказал...

— И правда нехорошо, — согласился с ним Белоцветов.

— Если старуху действительно ухаживали, то я пить-есть не буду, а найду преступника и своими руками ему голову оторву!

— Только сначала нужно его найти,— сказал Белоцветов, выкатывая глаза.— А у нас пока ни одной зацепки.

— Ну почему? Таинственный телефонный звонок был? Был. Фондервякин обещал покойника? Обещал. Кто-то побывал у нас накануне исчезновения Александры Сергеевны? Побывал! А ты говоришь, ни одной зацепки...

— Могу добавить еще одну, хотя это опять же весьма двусмысленная зацепка. Я когда проник в комнату Пумпянской, то сначала нашел в буфетном ящике сорок телеграмм насчет дорогого покойника, а потом заметил одну странную вещь: справа от буфета, в том месте, где стена у Пумпянской увешана фотографиями, зияло пустое место; оно именно зияло, то есть среди фотографий бросался в глаза квадратик свежих, невыгоревших обоев. О чем это говорит? Это говорит о том, что одну фотографию увели.

— Гм! — промычал Чинариков и схватился рукой за челюсть.

— Что это была за фотография, кому она могла понадобиться, увели ее до или после исчезновения Пумпянской — это, разумеется, неизвестно.

— А заманчиво было бы выяснить, по крайней мере, что на этой фотографии было изображено.

Белоцветов сказал:

— Согласен.

— Ты как хочешь, а интуиция мне подсказывает, что в этой фотографии все и дело.

— Во всяком случае, ее нужно держать в виду. Только вот какая получается петрушка: все наши зацепки не цепляются друг за друга. Вот давай припомним, как события развивались: утром в пятницу Пумпянская жаловалась на здоровье; потом ей кто-то позвонил, но разговаривать отказался; потом Юлия Голова увидела это дурацкое привидение и взбудоражила всю квартиру...

— Причем Александра Сергеевна,— вставил Чинариков,— через некоторое время появилась в коридоре и спросила, что случилось, на что Митька ответил: «Привидение завелось».

— А минут за десять до этого,— продолжал Белоцветов,— я побывал на кухне и застал там Петьку Голову, который сидел на горшке и как бы читал газету.

— Кстати, нет ли какой-то связи между появлением призрака и Петькиным сидением на горшке?

— Это вряд ли. А впрочем, с Петькой нужно будет поговорить. Так... А что было дальше? Значит, Юлия увидела привидение...

— С ней тоже нужно будет поговорить,— вставил Чинариков.

— Обязательно. Увидела привидение, закричала, и весь наш муравейник высыпал в коридор.

— В заключение Александра Сергеевна ходила выключать свет— это я слышал собственными ушами.

— Все?

— Все...

Белоцветов в раздумье два раза прошелся от окна к двери, потом остановился посреди комнаты, взялся за переносицу и сказал:

— Ничего не понятно! Просто Пумпянская как в воздухе растворилась! Не знаю, как у тебя, Василий,— у меня версий нет.

— А что, если дело было так: кто-то из наших уколошил Александру Сергеевну, посреди ночи вывез потихоньку тело и где-нибудь закопал?.. Тогда остается только выяснить, кто из наших на такое способен, и дело в шляпе.

— А телефонный звонок? Ведь яснее ясного, что кто-то проверял, дома Пумпянская или нет.

— Хорошо, кто-то из чужих проник в квартиру посреди ночи, уколошил Александру Сергеевну, вывез тело и где-нибудь закопал.

— А привидение? Привидение-то к чему прикажете приобщить?

— Ну, привидение тут, может, и ни при чем. Ведь оно же Юльке одной явилось, да и явилось ли, или Юлька попросту полоумная — это еще вопрос. Короче говоря, профессор, у нас с тобой остается единственный ход, а именно: выясняем, кто из наших, а также известных нам не наших способен на кровавое преступление, и выжимаем из него явку с повинной.

— Это невозможно по двум причинам. Первая: из не наших мы знаем только Саранцева и Кузнецову, а может быть, есть какой-нибудь Иван Иванович Душкин, который нашу старуху и укокошил. Вторая: на кровавое преступление, по идее, способен каждый. Уж на что, кажется, я безвредное существо, а и то чувствую за собой, так сказать, убийственную потенцию. А какие в другой раз мысли приходят в голову!.. Если бы ты, Василий, знал, какие мне другой раз мысли приходят в голову, то бы со мной здороваться перестал.

— Мысли — это одно, а дело — совсем другое,— произнес Чинариков и застеснялся обиходности своих слов.

— А дело-то как раз в том, что сидит в нас зверь, ох сидит!

— Ну, не знаю,— сказал Чинариков.— Я, после того как побывал «за речкой» и посмотрел на войну, какие они бывают, муху и ту прибить не могу. Потому что, Никита, я такое видел, что в добрые времена человеку видеть не полагается.

— Нет, конечно, в ком-то зверь сидит, в ком-то посиживает, а в ком-то от него только дух остался. Но за редчайшими исключениями звериный дух присутствует во всяком здоровом теле, а иначе и быть не может, потому что родила нас фауна, даже флора, и два миллиона лет — это не срок, чтобы из инфузории-туфельки развилось богоподобное существо. Со временем звериный дух из нас выветрится, конечно, но нынешнее поколение советских людей до этого праздника много не доживет.

— Счастливый ты человек, Никита,— сказал Чинариков и протяжно вздохнул.— Тут в двух шагах от тебя злодейски убивают безвинных старушек, в трех шагах от Кремля можно встретить избитую женщину в разных ботинках, за стеной живет юный неандерталец в лице Митьки Началова, а ты развиваешь оптимистические теории...

— Да с чего ты взял, что Митька неандерталец? Ты с ним хоть раз по душам-то поговорил?

— Не о чем мне с ним говорить,— пробурчал Чинариков,— у него одни глупости на уме.

— Откуда мы с тобой знаем, что у него на уме; может быть, у него как раз марксистско-ленинская философия на уме?

Чинариков нехорошо улыбнулся и предложил:

— Это можно легко проверить. Давай пойдем к нему и спросим: «А скажи-ка, братец, что у тебя на уме?»

На лице у Белоцветова проскочила легкая нерешительность, но в следующее мгновение он согласно кивнул Чинарикову, и они вышли из комнаты в коридор.

Поскольку в двенадцатой квартире Пумпянская испокон веков отвечала за электричество, никто из жильцов не удосужился зажечь свет, и в коридоре было темно, как зимним утром, часу в девятом. Возле входной двери, ближе к старинному зеркалу, стояла тень, достаточно приметная в полумраке, потому что она была намного его темней.

Увидев тень, Чинариков с Белоцветовым оторопели и оба застыли в неловких позах. Прошло, может быть, с полминуты, прежде чем Чинариков взял себя в руки и спросил не то чтобы своим голосом:

— Вы кто будете-то, товарищ?..

— Я? — переспросила тень вполне по-земному.— Ну, положим, Душкин Иван Иванович. Еще вопросы есть?

Чинариков сказал:

— Есть.

Примерно в то время, как Белоцветов с Чинариковым договорились до идеи всечеловеческого родства, двенадцатая квартира мало-помалу начала просыпаться. Зашумела вода в ванной комнате и туалете, бодро загремела на кухне посуда, послышались шаги, кашель, поскрипывание дверей. Когда в стороне Солянки над кособокими крышами взошло солнце и ударило в окна светом нежно-розового оттенка, какой бывает на шляпках у сыроежек, в кухне уже присутствовали Лев Борисович Фондервякин, который, пристроившись у окна, пил молоко из синей кружки с золотым ободком, почему-то прозванной им бокалом, Генрих Валенчик, который лепил какие-то особенные пельмени, Вера Валенчик, которая за ним наблюдала, Анна Олеговна Капитонова, которая жарила яичницу у плиты, Митя Началов, который не делал решительно ничего, и Юлия Голова, которая курила, сидя на табурете.

Фондервякин ни с того ни с сего сказал:

— А чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов — филателист.

— Ну и что? — спросила его Юлия Голова.

— Ничего. Просто филателист.

— Я буду искренне говорить, — вступил в разговор Валенчик, — по мне, что филателия, что шахматы — все едино. Я что имею в виду? Я имею в виду, что чемпион мира по шахматам с гуманистической точки зрения — это то же самое, что чемпион мира по стоянию на башке. А с ним носятся как я не знаю с чем, как французы с Наполеоном. Вот, скажем, петух — тоже интересная игра, но вы представляете себе чемпиона мира по петуху, с которым все носились бы, как французы с Наполеоном?

— Все-таки, Генрих, дикий ты человек! — провозгласил Фондервякин. — Ведь шахматы — это не просто игра, это, так сказать, умственное искусство.

— Искусство я попрошу не трогать, — нервно сказал Валенчик.

— Ты, Генрих, только, ради бога, не волнуйся, — сказала Вера. — А то на тебе лица нет.

— Ну почему? — вступил Митя. — Очень даже есть, и не просто лицо, а лик. Вы, Генрих Иванович, когда сердитесь, то у вас делается прямо царственное лицо.

Генрих Валенчик расслабился и сказал:

— Ты знаешь, Дмитрий, мне тоже иногда кажется, что лицо у меня необычное, какое-то не такое. Особенно если сравнивать со старорежимными физиономиями, так сказать, царской еще чеканки. Вот видел я вчера у Петьки фотокарточку какого-то допотопного мужика — ну, олигофрен по сравнению со мною, заинтересованно сказал Митя, — о какой это фотокарточке вы говорите?

— Повторяю: обыкновенная фотокарточка, на ней — мужик в форме, а физиономия, как говорится, кирпича просит. Она еще была порвана на четыре части и скотчем склеена кое-как...

Как раз в эту минуту Чинариков с Белоцветовым увидели в темной прихожей тень.

Чинариков спросил странного посетителя:

— А как ты, Ваня, сюда попал?

— Так я же первостатейный слесарь, — лукаво ответил тот, — передо мной все двери открыты, как перед песней.

Глаз уже приноровился несколько к темноте, и Белоцветов узнал давешнего слесаря, который взламывал дверь Пумпянской.

— Я вам звонил, звонил, ни одна собака не отпирает! — добавил слесарь. — Пришлось употребить свсе редкостное искусство...

— А сколько ты раз звонил? — спросил его Чинариков и выразительно кивнул Белоцветову.

— Двадцать четыре раза по три звонка.

— Тогда понятно. Три звонка — это Пумпянской, у прочих на три звонка ухо не реагирует, как, скажем, на ультразвук.

— Будем иметь в виду. Ну, я пошел посмотреть освободившуюся жилплощадь.

— А на каких это основаниях? — остановил его Белоцветов.

— Официально оснований нет никаких, но если комната мне понравится, я с вами, товарищи, поживу. Еще вопросы есть?

Белоцветов с Чинариковым промолчали, а слесарь равнодушно прошел между ними и скрылся за поворотом.

— Фантастика какая-то, честное слово! — прошептал на одном выдохе Белоцветов. — И как только я этого слесаря вычислил, не пойму. Ведь я с полчаса тому назад так, помнится, и сказал: «...а может быть, есть какой-нибудь Иван Иванович Душкин, который нашу старуху и укокошил!» Ты тоже хорош, ну почему ты мне не открыл, что у вас в ЖЭКе имеется такой слесарь?

— А я и не знал, что он Душкин Иван Иванович! Его у нас все попросту называют: слесарь Ваня и слесарь Ваня...

— Нет, ну я-то каков провидец! — сказал Белоцветов, блестя глазами. — Прямо в самое яблочко угодил! И ты знаешь, что я тебе скажу: он нашу старушку и укокошил. Отпер отмычкой входную дверь, проник в комнату Александры Сергеевны, тюкнул ее по темечку чем-нибудь и через черную лестницу уволок...

— Только в тот вечер он приходил дважды, — поправил Чинариков. — Сначала он столкнулся с Юлькой и дал, наверное, стрекача, а чуть позже явился снова.

— В общем, если Юлия его разглядела и ее описание совпадет с приметам Душкина, то, значит, он Пумпянскую и убил!..

Чинариков постучал указательным пальцем в дверь Юлии Головы. Приглашения не последовало, но они вошли.

В комнате, убранной на современную ногу, то есть украшенной очень большим ковром, занимавшим почти всю торцовую стену, напольной лампой под шелковым абажуром, двумя низкими креслами на колесиках и того рода твердой мебелью, в которой есть что-то антигуманное, канцелярское, во всяком случае слишком геометрическое, хозяйки они не застали, а застали всю квартирную молодежь. Петр Голова был привязан бумажным кордом к ножке стола и смотрел исподобья, на шее у него почему-то висело легкое махровое полотенце. Напротив Петра спиной к двери сидели на стульях Любовь и Митя.

— Краснознаменное воспитание, — говорил Митя.

— И откуда что берется, — поддакивала Любовь. — Ну ты, давай отвечай, когда старшие тебя спрашивают!

Петр одухотворенно молчал.

— Чего это вы тут делаете, ребята? — спросил компанию Белоцветов.

Митя с Любовью обернулись на голос и одинаково улыбнулись.

— Они меня пытаются, — сердито объяснил Петр.

Чинариков попросил показать, как именно это делается, и Митя с готовностью показал: затянул рот Петру полотенцем, и у мальчишки сразу выкатились глаза.

— Это называется «воздух по карточкам», — прокомментировала Любовь.

— Ничего себе у вас игры! — проговорил Чинариков и помотал задумчиво головой.

— Послушай, Василий, — сказал ему Белоцветов, — а ведь мы с тобой собирались о чем-то Дмитрия расспросить.

— Мы собирались спросить, что у него на уме.

— Вот именно. А скажи-ка, брат Дмитрий, что у тебя на уме?

Этот вопрос произвел на Митю Началова неприятное впечатление — лицо его как-то осунулось, губы сжались, глаза загорелись было, но сразу начали затухать.

Чинариков попытался ответить вместо него:

— Судя по забавам, марксистско-ленинской философией тут не пахнет.

— Ну почему же, — возразил Митя, — я нашу теорию разделяю. Теоретически я совершенно согласен с тем, что наживаться на чужом труде — это безобразие, что бытие определяет сознание, что построение коммунистического общества — вопрос времени, что мир познаваем, а бога нет.

Белоцветов сказал:

— С теорией все в порядке. А с практикой как нам быть?

— На практике дело обстоит так, — ответил Митя, растягивая слова, — жизнь — это одно, а философия — это совсем другое.

— А ты, Митька, циник! — с чувством сказал Чинариков.

— Я не циник, я просто трезво смотрю на вещи.

— Погоди, Дмитрий, — заговорил Белоцветов. — А что же великая русская литература? Неужели и она тоже — это... совсем другое?

— Великая русская литература, Никита Иванович, — это просто-напросто вредное чтение, особенно в начале жизненного пути.

— Ну ты даешь! — воскликнул в изумлении Белоцветов.

— Понимаете, какое дело, — задумчиво сказал Митя, — великая русская литература — это великая обманщица молодежи, потому что она настраивает и мобилизует на такую жизнь, которой просто не может быть. В результате получается, что если я буду жить по примеру, скажем, Пьера Безухова, то мне в скором времени нечего будет есть.

— Да... — выговорил Белоцветов. — Невысокого ты, Дмитрий, мнения о нашей жизни.

— Ну почему, — как-то нехотя сказал Митя, — жизнь как жизнь, нормальная жизнь...

— Ты в нее еще попросту не врубился, — заметил Чинариков, — вот в чем дело.

— Вот именно, — подтвердил Белоцветов. — Нет, то прискорбное обстоятельство, что честь и совесть на Руси вот-вот изведут, как стеллерову корову, — это, как говорится, факт. И тем не менее, милый Митя, у нас такая удивительная страна, что в другой раз шагу нельзя ступить, чтобы с Пьером Безуховым не столкнуться. Я не знаю, почему у нас так сложилось, но это тоже факт, факт тонизирующий, бодрящий. Может быть, величайшая загадка нашей жизни состоит как раз в том, что она — прекрасная гадость, или, если угодно, мучительное наслаждение. То есть, с одной стороны, вроде бы жизни нет от случайных несчастий, мерзавцев и дураков, а глядь — за стенкой выдумывают теорию всеобщего благоденствия, кто-то последние штаны высылает в район стихийного бедствия, кто-то над стихами сидит и плачет, а то просто подойдет к тебе прекрасная женщина и скажет: «Милый, родной, ну чего ты хочешь? Хочешь, я повешусь, если тебе будет от этого хорошо?»

— Я не знаю, Никита Иванович, где вы сталкиваетесь с Пьерами Безуховыми, — сказал Митя, — мне все больше попадаются иудушки головлевы. Но я вам честное слово даю: покажите мне одного святого, покажите мне один благородный поступок — и я перейду в вашу блажную веру. Только ничего вы мне не покажете, потому что нечего показать. Да чего там далеко ходить: вот стоит Васька Чинариков, который интересен тем, что он не пропустит ни одной юбки. Ведь ты, Вася, ни одной юбки не пропустишь, ты даже беременными не брезгешь, ты даже к Любке подбираешься, скажешь, нет?

Любовь сжала губки и отвернулась, впрочем, показывая всем своим видом, что это так, а Чинариков, нахохлившись, произнес:

— Молод ты еще на меня критику наводить...

Петр по-прежнему ковырял в ухе, но это для отвода глаз, на самом деле он алчно вслушивался в разговор.

— Ладно, Митя, договорились,— сказал Белоцветов,— насчет святого не знаю, а поступок я тебе гарантирую. Мне, Митя, больно, что ты не веруешь в нашу литературу и холодно относишься к нашей жизни. Ради того, чтобы вернуть тебя в истинное лоно, я, если хочешь знать, последнего здоровья лишусь, но душу твою спасу. Ты только пойми одну элементарную вещь: ты потому недружественно настроен по отношению к нашей жизни, что ты ее просто не понимаешь. А не понимаешь ты ее, в частности, потому, что не веришь в великую русскую литературу. Ты думаешь, это сказки, но это, милый Митя, отнюдь не сказки, а самая русская жизнь в истинном ее виде, просто она у нас действительно сказочная немного... Вот тебе доказательство: в настоящей жизни и в настоящей литературе все держится на правде, совести и любви.

Митя снисходительно улыбнулся и незаметно подмигнул Любе. Люба сказала:

— А вот моя мама говорит, что главное в жизни — это знать, где что лежит.

— Кстати,— сказал Чинариков,— где твоя богоспасаемая мамаша?

— Она в ЖЭКе,— ответил за сестру Петр.— У них там какой-то кружок. Кройки и шитья, что ли...

Чинариков с Белоцветовым переглянулись и вышли вон. В прихожей Белоцветов сказал, взяв Чинарикова за рукав:

— Знаешь, что мне сейчас пришло в голову? Что, может быть, впервые за всю историю русского народа у нас явилось поколение людей, у которых нет никаких нравственных ориентиров, которые просто не знают, что хорошо, а что плохо, что нужно, а чего нельзя.

Чинариков промолчал.

— В общем, такое чувство, как будто со временем что-то произошло и они первые на земле. Библия, Христос, римское право, Спиноза, энциклопедисты, «свобода, равенство, братство» — это все впереди...

— Я же тебе говорил, что Митька Началов — неандерталец.

— Ты тоже хорош, как я погляжу! Неужели это правда, что ты, старый кобель, нацелился на Любовь?

— А что я могу с собой поделаться? Что я могу поделаться, если у меня не кровь, а жидкое электричество?

3

Жилищно-эксплуатационная контора занимала несколько соединенных квартир первого этажа. В отличие от санкт-петербургского варианта, где «лестница была узенькая, крутая и вся в помоях, все кухни всех квартир во всех четырех этажах отворялись на лестницу и стояли так почти целый день», лестница была очень пристойная, а кухонь не имелось, разумеется, никаких. Но зато именно что «духота была чрезвычайная и, кроме того, до тошноты било в нос свежую, еще не настоявшуюся краской на тухлой олифе вновь покрашенных комнат».

Белоцветов толкнулся в одну дверь, в другую и наконец нашел то, что искал: в небольшой комнате с голыми стенами за столиками, похожими на школьные парты, заседала компания женщин, на лицах у которых застыли одинаковые томные выражения. Сначала Белоцветов наткнулся взглядом на старуху в очках, потом на юницу в вельветовых джинсах, потом на какое-то крококовое манто и только после этого углядел Юлию Голову. Он кивнул ей, и она испуганно улыбнулась.

— Наконец-то хоть один мужчина к нам пожаловал,— сказала Белоцветову незнакомая дама в сером жакете, тонкая и бледная, как стеариновая свеча.— Присаживайтесь, товарищ!

Белоцветов смутился и присел на свободный стул.

— Таким образом, друзья,— продолжала дама, обращаясь уже ко всем,— треугольник Мережковский — Гиппиус — Философов — это треугольник необычный, поскольку его соединяла не только чувственная страсть, попригнувшая, к слову сказать, в эпоху реакции девятьсот седьмого — девятьсот девятого годов и наступившего затем экономического бума, но и общие эстетические взгляды, общественно-политические концепции. На сегодня все. В следующий раз мы обратимся к треугольнику Блок — Менделеева — Андрей Белый.

Загремели стулья, и в одну минуту комната опустела. В коридоре Юлия Голова подошла к Белоцветову и спросила:

— Случилось чего-нибудь?

— Да нет,— сказал Белоцветов.— Ничего, кажется, не случилось. Я просто хотел с вами поговорить относительно привидения.

— А-а,— то ли разочарованно, то ли с облегчением протянула Юлия Голова.

— А странный, между прочим, у вас кружок,— заметил ей Белоцветов.

— Ничего в нем нет странного, кружок как кружок.

— Нет, просто я не понял, что вы в нем изучаете.

— Великие любовные треугольники. Самый интересный был треугольник Чернышевский — Ольга Сократовна — весь Саратов.

Белоцветов на это было весело улыбнулся, но тут же попытался спрятать свою улыбку, потому что Юлия Голова говорила более чем серьезно.

— Собственно, я хотел поговорить с вами насчет вчерашнего привидения. Скажите вы мне, Христа ради, как оно выглядело-то, это самое привидение?

— Да я, честно говоря, его толком не разглядела. Напугалась я очень, выхожу из кухни, а он стоит...

— Мужчина?

— Мужчина, но только старый, точнее будет, если я скажу: дед.

— А где именно он стоял?

— В прихожей перед зеркалом, но он в зеркало не смотрелся, а стоял к нему спиной и глядел на меня, как памятник.

Юлия Голова грациозно вздохнула. В ту самую секунду, как она грациозно вздохнула, с Белоцветовым произошла странная перемена: он засмотрелся куда-то вдаль, причем на лице у него обозначились сразу боязнь, негодование и брезгливость. Какое-то время он, видимо, находился во внутреннем борении, которое ёрники иллюстрируют присказкой: и хочется, и колется, и мама не велит,— но потом глаза его как-то решительно потемнели.

— Извините, Юлия, я оставляю вас на минуту,— нехорошим голосом сказал он и бросился на противоположную сторону улицы.

На противоположной стороне улицы возле винного магазина совершалась неприятная сцена: двое парней в черных ватниках, надетых поверх черных сатиновых халатов, отнимали у престарелого идиота авоську пустых бутылок — скорее всего парням было не на что опохмелиться, и они с горя нацелились на бутылки. Идиот что-то лепетал, свирепо гримасничая, и размахивал свободной рукой, но, несмотря на такое резвое сопротивление, было очевидно, что он вот-вот лишится своей авоськи.

Белоцветов подоспел на помощь идиоту, как говорится, в самый кульминационный момент, когда тот удерживал авоську последними двумя пальцами, и неприятная сцена немедленно разрослась в целое уличное происшествие. Впрочем, исчерпано оно было в считанные секунды: идиот ни с того ни с сего упал, и его бутылки раскололись об

асфальт тротуара, а парни в ватниках и халатах согласно набросились на заступника, точно они только его и ждали, точно побить его было для них важнее, чем даже опохмелиться; они с молниеносной быстротой отлупили Белоцветова и бросились наутек.

Минуты две-три Белоцветов стоял еще возле винного магазина под неодобрительными взглядами прохожих, поскольку у нас если кому при любых обстоятельствах не сострадают, так это битым, а затем медленно, точно из последних сил вернулся к поджидавшей его Юлии Голове.

— Так на чем мы остановились? — нарочито серьезно сказал Белоцветов и, морщась от боли, потрогал бровь.

Юлия неприязненно пожала плечами.

— Мы с вами остановились на том, — ответил за нее Белоцветов, — что привидение стояло спиной к зеркалу и смотрело на вас, как памятник. Кстати, вы не разглядели, как оно было одето?

— Одет он был странно, — не сразу ответила Юлия Голова, — это я помню точно.

— Что значит странно? Не по моде, что ли?

— Да нет, не то чтобы не по моде. Просто странно, то есть не по современному. Вообще, по-моему, он был в форме, потому что я отлично помню светлые металлические пуговицы и еще то ли орден, то ли медаль...

— Чудные дела твои, господи! — проговорил Белоцветов и на некоторое время замолк.

На этих словах они тронулись в обратном направлении, так как за разговором пропустили свой поворот.

— А знаете, на кого смахивает нарисованный вами портрет? — спросил Белоцветов некоторое время спустя. — На прапорщика Остроумова, который застрелился у нас в квартире!..

Юлия от неожиданности даже сбавила шаг, а затем немного подумала и сказала:

— Послушайте, Никита, неужели вы серьезно верите в привидения?

— Да я бы рад в них не верить, но ведь вы-то видели что-то в этом роде, да еще в мундире старинного образца!..

— Это могло быть и не привидение вовсе, а просто чужой человек, который забрался в нашу квартиру. Даже это могло быть не привидение и не чужой человек, а обморок на ногах.

— Прежде чем забраться в квартиру, чужому человеку совсем необязательно было облачаться в старинный мундир. Что же касается обморока на ногах, то, думаю, видение ваше было слишком живописно для обморока на ногах.

— Что да, то да: я его прямо как сейчас вижу — стоит в надменной позе, смотрит, как памятник, и молчит.

— Вот этот момент я совсем выпустил из виду: он так ни одного слова и не сказал?

— Нет, — ответила Юлия и вздохнула. — Тишина в тот момент, когда я его увидела, была исключительная, но зато в этот самый момент я почувствовала какой-то противный запах...

— Час от часу не легче! А какой именно это был запах, вы, случайно, не разобрали?

— Вот если жарить яичницу из несвежих яиц, то будет очень похоже.

— Ну, конечно, как и следовало ожидать, это была жженая сера!

— Жженая сера, это к чему?

— Жженая сера к нечистой силе. Или вы, Юля, меня морочите, или привидения — это такая же горькая реальность, как пьяные наглецы.

— Кстати, зачем вы с ними полезли драться? Вам что, приключений недостает?

— Приключений как раз хватает,— сказал Белоцветов и снова потрогал бровь.— Чего действительно не хватает, так это дела. Я клоню к тому, что между убеждением и поступком у нас почему-то образовалась целая государственная граница.

— К чему вы все это говорите? — перебила его Юлия Голова.

— К тому, что я решил порвать все промежуточные связи между словом и делом и наладить прямую связь по принципу: слово — дело. Вот я решил третьего дня, что буду вгрызаться в любое зло, в каком бы виде оно мне ни встретилось,— и вгрызаюсь!..

К тому времени, когда были сказаны эти слова, они уже стояли возле своего дома. Юлия взялась за ручку двери, холодно посмотрела в глаза Белоцветову и сказала:

— Теперь я понимаю, почему вы живете холостяком.

Воротившись в двенадцатую квартиру, Белоцветов только на минуту заглянул к себе в комнату, чтобы скинуть пальто, и сразу направился к Чинарикову.

Чинариков лежал на своем канapé и читал «Феноменологию духа». Белоцветов несколько раз прошелся от окна к двери, то трогая разбитую бровь, то ероша волосы, то потирая руки. Василий сел, отложил книгу в сторону и спросил:

— Ну и с чем тебя можно поздравить?

— Можешь поздравить с тем, что меня избили возле нашего винного магазина. Двое пьяных наглецов обижали какого-то дурачка, я за него вступился, и мне надавали по физиономии, чего, конечно, и следовало ожидать.

— Завтра ты мне покажешь этих гадов — я им головы оторву!

— Ну вот еще! Нам только вендетты недоставало! Ты вот лучше послушай, что мне удалось узнать...

И Белоцветов коротко пересказал Василию то, что он вызнал о привидении, явившемся в пятницу Юлии Голове.

— Значит, это был все же не Ваня-слесарь... — с разочарованным видом сказал Чинариков в заключение белоцветовского рассказа.

— Во всяком случае, не похоже, чтобы это был он.

— Вообще-то любой дурак мог переодеться в прапорщика Остроумова, чтобы народу нервы пощекотать. Например, Митька Началов, который способен на что угодно...

— Нет, с прапорщиком я дал маху. Ведь в революцию он, по моему, был совсем молодой человек, а Юлия видела старика. Стало быть, Василий, ей кто-то другой явился...

— Ты, Никита, не взъищи, но версию с привидением я решительно отметаю. Ты что, осатанел?! Ну какие под занавес двадцатого века могут быть привидения?! Просто вечером в пятницу Юлька натолкнулась в прихожей на мужика, который проник в квартиру, чтобы нашу старушку кокнуть и уволочь. Я вот такую версию выдвигаю: кто-то, кому было угодно, чтобы Пумпянская исчезла с лица земли, сначала выяснил по телефону, что она дома, потом как-нибудь устранив ее, чтобы сразу вогнать ее в нервный шок, потом проник в квартиру, отперев дверь ключом, который не так уж мудрено подобрать, но тут натолкнулся на Юльку и был таков... А час спустя он явился снова.

— А запах жженой серы? — спросил Белоцветов.

— Да иди ты со своей серой! Ты, в конце концов, материалист или деревенская бабка?

— Я-то материалист. Но главное убеждение, которое я вынес из этой жизни, заключается в том, что возможно все. Боюсь, в нашей жизни нет ничего такого, что было бы в принципе невозможно...

— Значит, ты деревенская бабка, а не материалист,— твердо ска-

зал Чинариков и закурил свою грубую папиросу.— Впрочем, это сейчас не важно; сейчас важно как-то выйти на зловещего старика, а с твоей мировоззренческой ориентацией мы позже как-нибудь разберемся. Стало быть, похоже на то, что злоумышленник — человек преклонного возраста, можно сказать, старик.

— Или человек среднего возраста, который загримировался под старика.

— Или человек среднего возраста, который загримировался под старика... Да нет! Ну с какой стати убийца будет разыгрывать оперетку, если он идет на кровавое преступление? Это был именно что старик, а стариков у нас на всю квартиру, между прочим, один Лев Борисович Фондервякин!.. Он на другой день и вел себя как-то странно: нажрался с утра пораньше, тело ребятам из «скорой помощи» обещал...

— Я вот только сомневаюсь относительно кровавого преступления,— сказал Белоцветов и сел рядом с Чинариковым на диван.— Если бы убийство точно совершилось в комнате у Пумпянской, то должны были остаться следы борьбы, по крайней мере какой-нибудь непорядок. А у старушки, если ты помнишь, было прибрано, как накануне Октябрьских праздников. Разве что на стенке зияло пустое место да валялась на буфете початая коробочка седуксена...

— Во-первых, преступник мог Александру Сергеевну сначала чем-нибудь оглушить или выманить из квартиры и убить, скажем, на черной лестнице. Во-вторых, у него было достаточно времени для того, чтобы прибраться, вообще замести следы. В-третьих, ты мне про седуксен раньше не говорил.

— Да я на него и внимания-то сначала не обратил. Я только сегодня вспомнил, что на буфете лежала початая коробочка седуксена.

— Это деталь! Это деталь, которая говорит о том, что Александра Сергеевна сильно разволновалась. Или ее разволновало само появление зловещего старика, или он ей что-то такое сообщил, что ее сильно разволновало.

— Я, знаешь, что думаю,— сказал Белоцветов и вытер лицо ладонью,— как это вообще милиция обнаруживает преступников! Тут вроде бы и зацепки есть, и мотивы прощупываются, а кто, что, когда — это покрыто мраком. И не мудрено: все-таки восемь миллионов москвичей плюс гости столицы...

— Надо с Петькой поговорить,— предложил Чинариков.— Может быть, он, когда на горшке сидел, что-нибудь интересное заметил.

С этими словами он поднялся с канapé и отправился за Петром. Не прошло и минуты, как он ввел его в комнату, усадил в кресло, обитое штофом, и полез в джинсы за папиросой.

— Послушай, Петр,— сказал Белоцветов.— Ты когда в пятницу вечером на горшке в кухне сидел, случайно, ничего интересного не заметил?

— А это кто, дядя Вася? — спросил Петр, указывая пальцем на бюст поэта Апухтина.

— Вопросы задавать будешь потом,— строго сказал Чинариков.

— Ничего я интересного не заметил. Сидел себе и сидел. И кто был в ванной, я тоже не видел.

— А разве кто-то в это время был в ванной комнате? — изумился Белоцветов и посмотрел на Чинарикова, который от неожиданности даже сломал приготовленную папиросу.

— Не знаю,— лениво ответил Петр.— Просто Митька меня спрашивал, видел я, кто был в ванной, или не видел.

— Он когда тебе «воздух по карточкам» устраивал, именно этим интересовался? — спросил Чинариков и политично присел на корточки.

— Нет. Это он хотел, чтобы я ему одну фотографию показал.

— Какую еще фотографию? — спросил Белоцветов.

— Которую я вчера нашел во дворе. Только она порванная была. Я ее подобрал и склеил.

— А ну покажи,— потребовал Чинариков, и голос его дрогнул от нетерпения.

Петр было призадумался над тем, следует ли ему безропотно выполнить чинариковское требование, и даже по этому поводу сунул в рот указательный палец, но тут Белоцветов сказал:

— Я тебе разрешаю поджечь мою дверь, скормить собакам новые сапоги, разрисовать акварельными красками мою куртку, но фотокарточку ты, пожалуйста, покажи...

И Петр уступил, видимо всерьез загоревшись такой занимательной перспективой: он снял левую тапочку и вытащил из нее четверто сложенную фотокарточку.

На ней был запечатлен серьезного вида старец в штатском мундире, на котором виднелся крестик — вроде бы Станислав.

Чинариков сказал:

— Ну и какие будут соображения?

— Соображения на первых порах будут такие,— откликнулся Белоцветов.— Это та самая фотокарточка, которая висела в комнате у Пумпянской, а затем при загадочных обстоятельствах испарилась.

— Например,— добавил Чинариков,— Александра Сергеевна могла ее взять с собой, когда она в пятницу вечером навсегда покидала нашу квартиру. Пришел зловещий старик, велел ей собираться — тут-то она карточку и взяла. Между прочим, из этого следует, что Александра Сергеевна знала, что она покидает нашу квартиру именно навсегда.

— Хорошо, а зачем она тогда эту фотокарточку порвала?

— Да, это, конечно, нонсенс... Тогда, наверное, зловещий старик решил эту фотокарточку уничтожить, потому что она могла навести на след.

— Самое интересное то,— как-то проникновенно сказал Белоцветов,— что скорее всего этот старик в мундире и явился в пятницу Юлии Голове. Погоди, я сейчас...

И Белоцветов вышел из чинариковской комнаты, спрятав фотокарточку в нагрудный карман рубашки.

Петр попросил:

— Дядя Вася, расскажи что-нибудь про войну.

— Не.

— Ну расскажи, чего тебе стоит!..

— Ну ее! Лучше я тебе спою военную песню...

Петр весело кивнул в знак согласия, а Чинариков опечалился, подпер кулаком голову и запел:

Только эхо разнесется в горах,
И душа моя домой полетит,
У него за каждым камнем алах,
А меня кто, сироту, защитит...

— Так я и знал! — сказал по возвращении Белоцветов.— Она, бедняга, даже побледнела, когда я ей фотокарточку показал...

— Прекрасно! — воскликнул Чинариков.— Значит, мы, по сути дела, вышли на преступника, которого остается только найти и взять!..

— Интересно, как ты его возьмешь, когда он по меньшей мере лет сорок лежит в могиле?..

— Но ведь не с того же света он появился?

— В том-то все и дело..

Чинариков рассеянно замолчал, и на лице у него образовалось то огорченно-нелепое выражение, какое можно наблюдать у детей, нечаянно проникших в некоторые тайны взрослого бытия.

— А с чего ты, собственно, взял, что этот старик — покойник? — несмело возразил он.

— Давай посчитаем, — предложил Белоцветов. — Самое позднее эта фотокарточка была сделана в восемнадцатом году, потому что в девятнадцатом такие мундиры, да еще со Станиславом, уже не носили; в это время старику как минимум стукнуло пятьдесят, хотя он выглядит много старше; значит, к сегодняшнему дню ему было бы сто восемнадцать лет.

— Ну и что? Разве невозможно прожить сто восемнадцать лет?

— Прожить-то, конечно, можно, но на мокрое дело человек в таком возрасте не пойдет.

— Это еще бабушка надвое сказала.

— Послушай, Василий, ну ведь глухой получается разговор!

Чинариков посмурнел, но по всему было видно, что с этим определением он согласен.

— Тем не менее, — сказал он, — хорошо бы навести справки обо всех стариках, которым перевалило за сто двадцать лет, — это все-таки ниточка, как ты хочешь.

— По крайней мере нужно показать фотокарточку Кузнецовой и Алеше Саранцеву — вдруг они знают этого старика...

Чинариков уже собрался как-то откликнуться на предложение Белоцветова, но тут дверь комнаты приоткрылась и в проем просунулась Митина голова.

— Чего тебе? — недовольно спросил Чинариков.

— У меня чрезвычайное сообщение, — сказал Митя и не подобному скосил глаза на Петра. — Только я его не могу сделать в присутствии малолетних.

Чинариков бесцеремонно выпроводил Петра и с нетерпением в голосе произнес:

— Ну?

— Дело в том, что в нашем почтовом ящике я только что обнаружил письмо, адресованное Пумпянской.

И Митя протянул Чинарикову конверт.

Конверт был обычный: с четырехкопеечной маркой, портретом академика Вернадского и адресом, написанным почтовыми фиолетовыми чернилами.

Чинариков повертел конверт в пальцах и посмотрел на Белоцветова глазами, которые, кажется, говорили, что-де хотя и не пристало воспитанному человеку читать чужие письма, а делать нечего, надо конверт вскрывать, на что Белоцветов пожал плечами, как бы отвечая, что, дескать, спору нет, этика вещь хорошая, но в сложившихся обстоятельствах, конечно, не до нее. Тогда Чинариков вскрыл конверт.

Внутри его оказалась узкая полоска бумаги, вырезанная из школьной тетради в клетку. На ней были наклеены довольно крупные буквы, которые составляли следующую надпись: «Вернешь документы в среду. Иначе — смерть».

Чинариков передал записку Белоцветову и спросил:

— Ну и какие будут соображения?

Белоцветов передал записку Мите Началову и ответил:

— Я при таких крутых поворотах вообще теряю способность соображать.

— А ты, Дмитрий, что скажешь?

— По-моему, тут дело нечисто, — сказал Митя в раздумье. — Наверное, все-таки наша старуха была замешана в каких-нибудь махинациях. Или она ни в чем не была замешана, но хранила документы, изобличающие какое-то преступление.

— А по-моему, — сказал Чинариков, — для начала нужно хорошенько исследовать письмо. Берем конверт: так... штемпель с датой отправления смазан, но больше всего похоже на то, что письмо было отправлено в прошлый вторник; в нашем почтовом отделении письмо

было получено сегодня — штемпель с датой получения четкий; и последнее относительно конверта: поскольку адрес написан обыкновенным металлическим пером и фиолетовыми чернилами, писали его на почте.

— Почерк тебе о чем-нибудь говорит? — рассеянно спросил Белоцветов.

— Почерк скорее всего, как ни странно, женский. Что же касается записки, то вот что интересно: буквы, по-моему, вырезаны из какой-нибудь детской книжки. Больно они крупные, и уж больно тут насыщенная печать.

— А это о чем тебе говорит?

— Это говорит только о том, что буквы были вырезаны из какой-нибудь детской книжки.

Наступило молчание, Митя теребил в пальцах записку, Белоцветов невидящими глазами разглядывал чашки с портретами наполеоновских маршалов, Чинариков размышлял.

— А знаете, кто убил Александру Сергеевну? — заявил Чинариков примерно через минуту.

— Кто? — испуганно выдохнул Белоцветов, а Митя Началов изобразил уши на макушке глазами и особенным склонением головы.

— Почта! Точнее, какое-то почтовое отделение! Ведь, отправляя письмо по почте во вторник, убийца резонно предполагал, что Александра Сергеевна получит его в среду утром, потому что отправлял-то он его, возможно, даже с соседней улицы. Получи Александра Сергеевна письмо действительно в среду утром, она, наверное, со страху отдала бы таинственные документы убийце, но из-за наших почтовых безобразий письмо пришло не в среду, а в воскресенье, точно оно не из Москвы в Москву было писано, а из Лос-Анджелеса в Москву. Значит, почта и есть настоящий преступник, по крайней мере соучастник кровавого преступления!..

— Не до шуток сейчас, Василий! — перебил его Белоцветов. — Ох не до шуток! Потому что с этим письмом дело приобретает слишком значительный оборот. Тут уже такие открываются криминальные глубины и перспективы, что пора Рыбкина подключать.

— Ни в коем случае! — с жаром сказал Чинариков. — Мы это дело начали, мы его и закончим. А то — здравствуйте, я ваша тетя! Мы уже без малого на преступника вышли, несколько версий отработали, сто человек опросили — и все это Рыбкину подарить? Нет, ты как хочешь, а я своими руками ему строить карьеру не собираюсь..

— Ну что ты мелешь? Когда это мы на преступника выходили?

— Привет, а разве мы с тобой только что не пришли к заключению, что преступник — стовосемнадцатилетний старик, который состоял с Александрой Сергеевной в каких-то продолжительных отношениях?..

Белоцветов ничего не ответил и только посмотрел на Чинарикова, что называется, свысока.

— Разве мы с тобой не разработали оптимальную версию этого преступления? — продолжил Чинариков. — Стовосемнадцатилетний старик, на которого у нашей Александры Сергеевны имелся какой-то компрометирующий материал, пишет ей во вторник письмо с требованием отдать ему материал и угрожает смертельной карой; из-за тихого саботажа на почте ответа он не получает и поэтому в пятницу вечером сначала узнает по телефону, дома ли его жертва, а потом заявляется к нам в квартиру и натывается на Юлию Голову; некоторое время спустя он приходит вновь, пугает Александру Сергеевну до такой степени, что она вынуждена принять седуксен, затем отбирает какие-то документы, снимает со стены собственную фотокарточку, чтобы обрезать след, выводит несчастную женщину на улицу, убивает и прячет труп.

— А что? — сказал Митя Началов. — Очень похоже, что именно так и было.

— Для того чтобы это было именно так, — наставительно сказал Белоцветов, — в Москве должен завалиться хоть один стовосемнадцатилетний старец.

— Откуда такая географическая узость? — с деланной улыбкой спросил Чинариков. — Он мог завалиться и в Московской области, и в Сызрани, и даже в какой-нибудь Кзыл-Орде.

— Хорошо, а почему адрес на конверте написан женской рукой?

— Господи, да попросил первую попавшуюся старушку на почте, она адрес и написала!..

— Хорошо, а зачем исходящий штемпель преступник смазал?

— Чтобы скрыть собственный ареал.

— Хорошо, с какой стати он пошел на мокрое дело в мундире, да еще при крестике — к чему такой причудливый маскарад?

Чинариков грустно развел руками.

Тут раздался стук в дверь, и вошел Валенчик.

— Попрошу всех на кухню, — торжественно сказал он.

Было уже что-то около семи часов вечера.

4

В то время как Чинариков с Белоцветовым самозабвенно разгадывали тайну исчезновения Александры Сергеевны Пумпянской, жизнь двенадцатой квартиры, как говорится, шла своим чередом. Фондервякин несколько часов подряд играл с Душкиным в шахматы; сначала они немного поцапались, поскольку Душкин и Фондервякину объявил о своих претензиях на освободившуюся жилплощадь, но, слово за слово, они договорились до пешки, которая метит в ферзи, и немедленно выяснилось, что оба завязтые шахматисты. Анна Олеговна Капитонова после обеда легла соснуть. Митя Началов, прежде чем явиться к Чинарикову с письмом от убийцы, ходил на улицу прогуляться, а по возвращении прочел несколько страниц из «Войны и мира», именно сцену знакомства Пьера Безухова с Каратаевым. Юлия Голова, накормив свой выводок, принялась за выкройку из «Бурды» и в ту минуту, когда Белоцветов явился к ней с фотографией привидения, как раз перерисовывала в специальную тетрадочку вечерние туалеты. Любовь тем временем делала уроки на понедельник. Петр сначала слонялся по коридору, потом ходил гулять, потом опять слонялся по коридору. Генрих Валенчик что-то писал, Вера Валенчик просто сидела сиднем.

В седьмом часу вечера Фондервякин с Душкиным, оба несколько очумевшие от игры, вывалились в коридор.

— Послушай, Лева, — задумчиво сказал Душкин, — ты не знаешь, зачем я здесь?

— То есть? — переспросил его Фондервякин.

— То есть ты можешь сказать, зачем я забрел в вашу квартиру?

— Ты вроде хотел присмотреться к освободившейся комнате. Но это дудки, комнатки тебе не видать как своих ушей.

— Эх, Лева, Лева, плохо же ты меня знаешь! Я человек простой, даже прямолинейный: если я чего решил, то будет по-моему, хоть ты тресни.

Вышла из своей комнаты в коридор Анна Олеговна Капитонова, в ситцевом халате, со свалявшимися фиолетовыми колечками на голове, и, наткнувшись взглядом на Душкина, удивленно округлила заспанные глаза.

— Вот полюбуйте, Анна Олеговна, — сказал Фондервякин и отрекомендовал ей слесаря известным положением рук. — Еще один претендент на освободившуюся жилплощадь!

— Это возмутительно,— сказала Анна Олеговна, впрочем, без особого возмущения.— Только через мой труп! Постороннее лицо вселится в нашу квартиру только через мой труп! Одну старушку вы уже, товарищи, уходили, придется вам еще одну уходить...

— Помилосердствуйте,— взмолился сахарно Фондервякин,— ну какая же вы старушка?

Капитонова на его замечание довольно строго отозвалась.

— Спасибо, конечно, за комплимент,— сказала она,— но комнату я не отдам ни за какие благополучия!

— Вы так о ней говорите, как будто она уже ваша,— заметил пасмурно Фондервякин.

— Будет моя, никуда не денется!

— На каких это основаниях она будет ваша?

— Да на том хотя бы основании, что комната Пумпянской смежная с нашей комнатой. Остается только дверь прорубить, и получатся апартаменты в апартаментах..!

— Не спорьте, ребята,— перебил Душкин.— Не тратьте понапрасну слова и нервы, потому что все равно в эту комнату въеду я.

— Только через мой труп! — подтвердила Анна Олеговна.

На шум в коридор высунулся Валенчик.

— Опять что-нибудь стряслось? — испуганно спросил он.

— Стряслось,— ответил ему Фондервякин и отвернулся.— Как коршуны все слетелись на освободившуюся жилплощадь!

— А меня, конечно, побоку?

— Это само собой.

— В таком случае я вижу только один выход из положения: собраться всем миром, как в восьмидесятом году, и решить жилищный вопрос на демократических основах. Пусть народ решит, кому оставаться на своих местах, а кому в двух комнатах жировать. Пора, товарищи, осваивать демократию — все-таки на носу семьдесят вторая годовщина советской власти!

— Так ведь народ — это мы,— возразил ему Фондервякин.— Вот каждый из нас и решит, что именно ему полагается в двух комнатах жировать.

— А мы по-хитрому обделаем это дело... Мы выберем комитет и вменим ему в обязанность, всесторонне рассмотрев вопрос, принять соответствующее решение.

— Из ЖЭКа надо кого-нибудь пригласить,— предложил Фондервякин,— а то у нас своя демократия, а у них своя.

— Ничего не имею против. Вы, Лев Борисович, давайте звоните Востраковой, а я жильцов наших оповещу.

— Оповещай, оповещай...— согласился с ехидцей Душкин.— У вас своя демократия, у ЖЭКа своя, а я, ребята, буду действовать по простому, на основе пословицы: против лома нет приема.

— Что вы имеете в виду? — строго спросил Валенчик.

— Это пока секрет.

Минут через десять на кухне сошлось все население двенадцатой квартиры за исключением Белоцветова, который что-то подзадержался, и включая слесаря Душкина, бодро облокотившегося о газовую плиту. Вера Валенчик пришла со своим стулом, Генрих ради такого случая даже надел свежую рубашку в крупную коричневую клетку и причесался, Фондервякин стоял у кухонного стола и нервно стучал по стеклу ногтями, Анна Олеговна также нервничала и то разглаживала платье на животе, то поправляла свои фиолетовые колечки, Митя Началов был задумчив и тих, Чинариков, явившийся в вечных джинсах и в майке с короткими рукавами, скрывавшими воздушно-десантную татуировку, занял позицию возле двери на черную лестницу, Юлия Голова листала свою тетрадку мод, Любовь пришла с учебником латинского языка, Петр сидел на табурете и мелко болтал ногами.

— Товарищи соседи! — начал было Генрих Валенчик, но тут в прихожей раздался длинный звонок, и он вынужден был прерваться.

Послышался звук отпираемой двери, затем шаги, а затем в кухне появилась техник-смотритель Вострякова в белоснежной нейлоновой курточке и взвопила:

— Есть у вас совесть, граждане, или нет? Даже в воскресенье человеку расслабиться не дадите!..

— Расслабляться будем в могиле, — мрачно сказал Фондервякин, и это замечание почему-то утихомирило Вострякову.

Последним явился Белоцветов, на лице которого значилось что-то беспокойно-грустное, болевое.

— Ну, хорошо, — спросила примирительно Вострякова, — что тут у вас стряслось?

— Сейчас все узнаете, — сказал ей Валенчик и, поскольку дальнейшие его слова были обращены ко всему собранию, резко преобразился: выпрямился, посерьезнел, упер руку в бок и вроде бы даже с лица несколько похудел. — Товарищи соседи! — заговорил он. — Мы собрались здесь затем, чтобы избрать комитет жильцов. Прошли дремучие времена — это я искренне говорю, — сейчас на дворе такая эпоха, когда демократия и гласность решают все. Так вот и давайте демократическим путем выберем комитет, скажем, из трех человек, и пускай он решит в условиях гласности, кому въезжать в освободившуюся жилплощадь. Начнем с выдвижения кандидатуры..

Но никто выдвигать кандидатуры не собирался. Все молчали; все так глубоко молчали, что было слышно, как капает вода из крана.

Наконец Анна Олеговна заявила:

— Легко сказать — выдвигайте кандидатуры!.. А кого выдвигать-то — вот в чем вопрос! Ведь кого ни возьми, у всех на комнатку Пумпянской имеется интерес.

И опять молчание.

— Ну что же вы, товарищи? — взмолился Валенчик. — Активнее, активнее!

— Я предлагаю свою кандидатуру, — набычившись, сказал Фондервякин, так как он предвкушал энергичные возражения.

— Ну уж это дудки! — вскричала Юлия Голова. — Каждому дураку известно, что вы стремитесь захватить комнату Пумпянской под кладовую!..

— Вообще это какая-то несоветская постановка вопроса, — заметил Валенчик, и Вера по супружеству согласилась с ним неким преданным движением головы. — От такого самовыпячивания за версту несет буржуазным парламентаризмом..

И Генрих начал добросовестно разъяснять, почему от предложения Фондервякина несет буржуазным парламентаризмом.

— Ты чего задержался-то? — спросил Чинариков полупшепотом Белоцветова, который все это время пристально смотрел в пол.

Белоцветов сказал:

— Да вот, понимаешь, пришло вдруг на мысль книжки Петькины пролистать...

— Пролистал?

— Пролистал... В «Серебряном копытце» вырезано тридцать три буквы, две точки, одно тире. Следовательно, как это ни дико, письмо со смертной угрозой исходит из семьи Юлии Головы...

Чинариков взметнул брови, но тут на глаза ему попала большая эмалированная кастрюля, стоявшая на подоконнике, и он невольно слотнул слюну, поскольку от кастрюли прохладно припахивало борщом.

— Послушай, профессор, а ведь мы с тобой за этой криминалистической даже не завтракали сегодня!

Белоцветов рассеянно кивнул и опять засмотрелся в пол.

— ..И мы этим чуждым тенденциям потворствовать не желаем,— тем временем заканчивал свою речь Валенчик.— Так что, Лев Борисович, давайте своей кандидатуре самоотвод!

— Самоотвод,— громко повторил Петр, которому, видимо, понравилось это слово.

— Нет, товарищи соседи,— сказала Капитонова,— так мы далеко не уедем. С этой демократией получается ерунда, потому что Лев Борисович желает захватить комнату под кладовую, у Юлии двое разнополых детей, Генриху подавай кабинет, у меня, честно скажу, Дмитрий. Ну какая тут может быть демократия? Давайте уж решим это дело старинным народным способом — кинем жребий.

— Ну конечно! — сказала Люба.— Мы будем кидать жребий, а комната достанется, например, Никите Ивановичу, которому на фиг эта комната не нужна!

— А давайте поступим так,— предложил Фондервякин,— давайте, товарищи, безо всяких глупостей предоставим жилплощадь мне. Ведь я почти старик, едрена корень, я прошел через огонь, воду и борьбу с космополитизмом — так неужели же я у родины кладовки не заслужил?!

Генрих Валенчик оставил это предложение без внимания.

— Итак,— сказал он,— какие будут предложения в смысле кандидатур?

Против всякого ожидания слово взяла генриховская Вера.

— Я предлагаю выбрать в комитет таких людей,— сказала она,— которые не заинтересованы в расширении метража. То есть я выдвигаю кандидатуры Василия и Никиты.

— А третьего кого? — спросил ее Генрих.

— А третий кандидат пускай будет Вера,— предложил Фондервякин.— Она хоть и ожидает прибавления семейства, но на расширение метража ей, по-моему, наплевать.

— Ваша правда,— печально сказала Вера.

— Только пускай кандидаты вникнут в наше критическое положение,— пожелала Юлия Голова.

Фондервякин ответил:

— Это само собой.

— Так, еще у кого-нибудь имеются соображения по кандидатурам? — спросил Генрих Валенчик и после очень короткой паузы сам ответил на свой вопрос: — Соображений нет. Тогда приступаем к тайному голосованию. Вот спичечный коробок...

Вострякова его перебила:

— Погодите, граждане, это вы серьезно?

— Что «серьезно»? — спросил Валенчик.

— Вы серьезно собираетесь таким путем жилплощадь распределять?

Все, кроме Душкина, ответили утвердительно.

— Тогда я вам, граждане, официально заявляю: никаких жребиев! Как ЖЭК решит судьбу этой комнатки, так и будет!

— Ну уж нет, товарищ Вострякова! — сказал Фондервякин.— Это вам все-таки не тридцать седьмой год, и мы не потерпим никакого ведомственного диктата.

Валенчик примирительно сказал:

— Так, только давайте, товарищи, без этого... без личностей и угроз. Тем более что все равно наши коммунальщики против демократии и гласности не попрут. Побоятся они противопоставить себя народной стихии, потому что это уже будет деятельность самой враждебной пробы...

Вострякова призадумалась и, призадумавшись, потемнела.

— Итак,— продолжал Валенчик,— приступаем к тайному голосованию... Вот спичечный коробок — в нем ровным счетом семь спичек по числу избирателей, имеющих право голоса; кто голосует за выдви-

нутые кандидатуры, тот возвращает спичку в коробок в первоначальном виде; кто против Никиты, обламывает головку; кто против Васьки, тот кладет в коробок полспички; кто против Веры, тот оставляет огрызок с ногтей.

— Какая-то это невразумительная избирательная система,— сказала Анна Олеговна, туповато оглядывая собрание.— А если я, положим, захочу проголосовать против Веры, но за Никиту?

— Тогда головку вы оставляете, а от противоположного конца отгрызаете огрызок с ногтей.

— А если за Веру и Никиту, но против Василия?

— Тогда просто переламываете спичку на две равные части.

— Нет,— сердито произнес Фондервякин,— я таким причудливым путем голосовать не согласен! Запутаемся, к чертовой матери, или, чего доброго, начнутся всякие махинации...

— А ну их к дьяволу, эти выборы...— предложил Чинариков.— Давайте вообще сделаем из комнаты Александры Сергеевны Пумпянской мемориал. И не в обиду никому, и голову с этими дурацкими выборами не ломать...

— Меня другое интересует,— вставила Любовь Голова,— почему это вы все будете голосовать, а мы с Дмитрием не будем голосовать? Это, по-вашему, называется демократия?

— Цыц! — урезала ее мать.

Фондервякин подбоченился, люто посмотрел на Чинарикова и сказал:

— Я, Василий, даю твоему возмутительному предложению самую решительную отставку! Это же надо додуматься до такого: Вера на сносях, Юлия ютится с двумя детьми, заслуженному человеку некуда приткнуться шестнадцать банок...

— Уже пятнадцать,— поправил Митя.

— ...пятнадцать банок консервированного компота, а этот тип предлагает отдать вполне жилое помещение под какой-то мемориал!

— Не под какой-то мемориал,— пояснил Василий,— а под мемориал коммунальной жизни, вообще быта маленького советского человека. Чудаки, ведь еще лет пятнадцать пройдет, и подрастающее поколение понятия не будет иметь о том, как бедовали отцы и деды! Ведь Дмитрий с Любовью — это последние советские люди, которые будут помнить о тяжелом наследии «военного коммунизма»!..

— Век бы о нем не помнить,— вставила Юлия Голова.

— Ну, не скажи,— возразил Валенчик.— Как хотите, товарищи, а все же это были университеты конструктивно новых человеческих отношений. Спору нет, горькие это были университеты, но ведь от них остались не только кухонные драки и керосин в щаж, но и та, я бы ее даже назвал, семейственность, которая покамест еще теплится в наших людях. Скажете, не так?..

— Так,— сказал Фондервякин.— Всякое было: и хорошее и плохое. Только как вспомню, что мне довелось пережить хотя бы через банду Сизовых или оперуполномоченного Кулакова, прямо мороз по коже дерет!

— Но с другой стороны,— вступила Анна Олеговна,— вспомните, как мы дружили в Олимпиаду! То есть я хочу сказать, что в нашей богоспасаемой двенадцатой квартире не только не было добра без худа, но и худа не было без добра. Вот вам конкретный пример: вроде бы Петя с Любовью чужие дети, а вроде и как свои. Кстати, Любовь, ты бы открыла дверь на черную лестницу, а то уже прямо не продохнуть...

Любовь недовольно стронулась со своего места и отперла дверь черного хода, из которого сразу потянуло сырой прохладой.

— Я вообще полагаю,— сказал Белоцветов,— что коммунальный строй быта сыграл в развитии национального характера настолько большую роль, что историкам в этом деле предстоит еще разбираться

и разбираться. Нет, кроме шуток, некоторым образом семейственный стиль нашей жизни — это, как говорится, факт, и если он хотя бы отчасти следствие коммунальности, то мы должны ей сказать большое спасибо, несмотря на керосин в щях, драки и прочие безобразия.

— А по-моему, это все просто пещерный социализм,— сказала Юлия Голова.— И чему вы все умиляетесь, я, признаться, не понимаю...

— Я лично тому умиляюсь,— ответил ей Фондервякин,— что в коммунальной квартире все на людях, все на виду: тут уж невестку до самоубийства не доведешь, вообще не позволишь вести себя абы как, а все более или менее соответственно коллективному интересу. Отсюда, между прочим, и судьбы, так сказать, под копирку. А ну-ка, Петро, как там про Киську поется в высококой песне?

Петр пригладил русский хохолок, который выскочил у него на затылке, и с сосредоточенным певческим выражением затянул:

Вы тоже пострадавшие,
А значит, обрусевшие,
Мои без вести павшие,
Твои безвинно севшие...

На последнем слове в прихожей раздался звонок, и Митя Началов бросился открывать. Вернулся он в сопровождении странной пары, появление которой удивило всех, кроме Белоцветова, потому что это были Саранцев и Кузнецова.

— Это, товарищи, родственники нашей Пумпянской,— объяснил собранию Белоцветов.

— Чем, как говорится, обязаны? — на официальной ноте спросил Валенчик.

— Как это чем? — переспросила с легким возмущением Кузнецова.— Мы все-таки вашей соседке не что-нибудь, а родня, и кое-какое имущество после нее осталось, и в комнате, наверное, задним числом можно кого-нибудь прописать...

— Двенадцать человек на сундук мертвеца! — вставил Митя и саркастически улыбнулся.

— Имущество у старушки, положим, плачевное,— заявил Валенчик,— это я искренне говорю...

— Ну, не скажите,— остановила его Кузнецова.— Там одно японское деревце стоит, как «Жигули».

— Что же касается комнаты,— сказала Юлия Голова,— то и без вас на нее достаточно претендентов.

— Иисусе Христе! — воскликнула Капитонова.— Это что же делается: пол-Москвы слетелось на десять квадратных метров!

— Не беспокойтесь, Анна Олеговна,— успокоил ее Фондервякин,— комнатку мы посторонним лицам не отдадим, и плачевное имущество они получают не иначе как через суд.

— Ну к чему все эти бюрократические рогатки? — сказал Алеша Саранцев.— Неужели нельзя решить этот вопрос на каких-то гуманистических основах?..

— Действительно, товарищи,— поддержал его Чинариков и ласково улыбнулся.— Все-таки они не что-нибудь, а родня...

Анна Олеговна сказала:

— Шут их знает, какая они родня!

— И главное, что за выдающаяся наглость! — добавила Юлия Голова.— Это же надо додуматься: в совершенно чужой комнате задним числом кого-нибудь прописать!

— Кстати, ребята,— напомнил Душкин,— может быть, вы все-таки займетесь распределением освободившегося жилья?

— Да мы-то что,— сказал Генрих Валенчик и толкнул Душкина в бок локтем.— Мы с открытой душой; это просто являются всякие темные родственники и не дают заниматься делом. Значит, так, вот спичечный коробок...

— Погоди-ка, Генрих,— остановила его супруга.— Сначала давайте решим: принимаем мы претензию родственников Александры Сергеевны на освободившуюся комнатку или не принимаем?

Алеша Саранцев предупредил слишком очевидную реакцию на этот вопрос.

— Лично мне эта комнатка не нужна,— сказал он и приложил правую кисть к груди.— Но что касается имущества моей тетки, то я бы попросил предоставить его в наше распоряжение безо всяких бюрократических проволочек.

— Все, мое терпение лопнуло! — вмешался в спор Душкин.— Если вам, ребята, недосуг разбираться с освободившейся комнаткой, то я решу конкретный жилищный вопрос по собственному усмотрению.— Тут он повернулся к Востряковой, выдержал злую паузу и продолжил: — Так что, товарищ Вострякова, придется тебе предоставить эту комнатку мне! Я ее требую не потому, что она мне нужна, а из принципа, чтобы этой интеллигенции досадить! Иначе я подаю заявление по собственному желанию!

Видимо, это была основательная угроза, так как лицо Востряковой сразу приняло покорное, беззащитное выражение.

— Ну мерзавец! — прошипела Юлия Голова.

— Это и есть, товарищи, мой сюрприз. Хоть вы в ООН пишете жалобу на наш ЖЭК, а все равно в старушкину комнату въеду я!

— Это что же такое, товарищи, происходит? — с оскорбленным испугом заговорил Фондервякин.— Ведь это же чистой воды разбой!

— Ты отвечаешь за свои слова? — вкрадчиво спросил Душкин.

— Я за свои слова полностью отвечаю: жулик ты с подрывным уклоном! То-то я гляжу, товарищи, что у него давеча пешка с В4 сразу перепрыгнула на В6! Жулик ты, вот и все!

— А что, если я тебе сейчас за «жулика» в рог дам?

— Что-о! — взвопил Фондервякин, и его лысина страшно побагровела.— Ты еще угрожать?! Да я тебе, контра, вот этой гусятницей голову проломаю! — И Фондервякин действительно схватил со стола капитоновскую гусятницу.

Вслед за этим опасным жестом случилось то, что в драматургии зовется немой сценой: в отпертую накануне дверь черного хода неожиданно вошел участковый инспектор Рыбкин, и кухня сразу окаменела; Фондервякин так и остался стоять с гусятницей в правой руке, на лице у Душкина застыл боевой оскал, Чинариков замер в некой примирительной позе, поскольку он уже было собрался Фондервякина с Душкиным разнимать, и даже Петр, которому еще рано было побаиваться милиции, одну ножку опасно задержал под табуретом, а другую опасно же вытянул вперед как бы для маленького батмана.

Рыбкин вышел на середину кухни, притронулся к фуражке, по обыкновению сдвинутой на затылок, бесстрастно оглядел присутствующих и сказал:

— Явился я к вам, товарищи, с информацией невеселой. Сегодня утром тело вашей старушки обнаружили на скамейке в самом начале Покровского бульвара — так она, бедняга, сидя и умерла.

— Она сама умерла или ее убили? — не своим голосом спросил Белоцветов.

— Именно что сама. Экспертиза показала острую сердечную недостаточность вследствие переохлаждения организма.

Чинариков сказал:

— И что же, так она двое суток на скамейке и сидела?

— Смерть наступила в ночь с пятницы на субботу. Стало быть, в мертвом виде старушка просидела на скамейке часов так тридцать. Еще вопросы есть?

— Вопросов нет,— откликнулся Фондервякин,— но есть одно горькое примечание: это что же делается, куда мы с вами идем? Мертвая старуха сидит тридцать часов подряд в самом центре Москвы —

и будто бы так и надо! То есть за тридцать часов ни одна зараза не пошла и не поинтересовалась: дескать, ты чего, старая, тут расселась?..

Рыбкин строго посмотрел на Фондервякина и сказал:

— Раз вопросов нет, то давайте, товарищи, расходиться.

И все начали расходиться.

Белоцветов пристроился к Кузнецовой и, сделав из вежливости одно-другое праздное замечание, представил ей фотокарточку, которую давеча выклянчил у Петра.

— Вы, часом, не знаете этого человека? — с деланной ленцой в голосе спросил он.

Кузнецова печально посмотрела на фотокарточку и сказала:

— Как не знать, это покойный Сашин отец и есть! Собственной персоной Сергей Владимирович Пумпянский, коллежский советник и кавалер.

Часть четвертая

ПОНЕДЕЛЬНИК

1

Что представляется особенно интересным: как явствует из характера событий, развернувшихся в двенадцатой квартире большого углового дома по Петроверигскому переулку, настоящая история будет попроще и пожиже санкт-петербургского варианта. Вроде бы и народ все тот же, великорусский, и обстоятельство сходны, и между интригами много общего — все-таки тут и там в некотором роде горе от ума, вымученная драма, а вот поди ж ты, совсем другой накал жизни! Уже нет того надрыва в характерах и разгула личного чувства, той скрупулезности бытия и саднящей углубленности мысли, из которой рождаются величественные безобразия, — все как-то квело, несмело, обыкновенно. Но главное, характеры измельчали. Положим, Лев Борисович Фондервякин и баламут и, как говорится, не дурак выпить, а все же не Мармеладов, участковый инспектор Рыбкин тоже блюстититель порядка, не обделенный способностями к индуктивному образу мышления, но до Порфирия Петровича ему далеко, а Любовь Голова не только не Соня, но до такой степени в этой истории неприметна, то есть до полной бесплотности неприметна, точно ее и нет.

Конечно, многое зависит от проникаемости взгляда и градуса впечатлительности. Однако дело тут не только в том, что глубоко различны природные возможности повествователей, а еще и в том, что санкт-петербургский вариант драмы был исполнен в сугубом соответствии с законами искусства, а настоящая хроника есть попытка воспроизведения жизни в соответствии с законами самой жизни, еще предпринятая и затем, чтобы, буде можно, определиться: отчего это в живописи красное чаще всего отображается красным, а в литературе серо-буромалиновым, и выходит самое то, как выражается народ в своей пленительной простоте. Но поскольку попытки такого рода отягощаются тем, что жизнь изреченная все равно есть отчасти литература, только неосновательная, то в результате выходит ни то ни се, ни богу свечка ни черту кочерга, а именно нечто бескровное, так сказать, нежилое. И это неудивительно, потому что художественное есть правило, а жизненное — частные случаи из него, каковые только художник способен выстроить в осмысленное единство, чреватое высшей целью. В частном же случае этой идеи нет. Стало быть, суть художественного таланта заключается в темной способности такого преобразования частного в целое, какое в состоянии разразиться великой правдой, может быть, даже в способности созидания этой правды из материала, нарочью лишенного ее духа, вроде обожженной глины, из которой строятся прекрасные города.

С другой стороны, все же не исключено, что в наше время произошла заметная демократизация мысли, страдания и постушка. Произойти она могла и по причине благообразных условий жизни, с которыми дух состоит в обратно пропорциональных отношениях, или по причине всеобщего среднего образования, или по той причине, что человек попросту обмелел. Оттого-то у нашей жизни совершенно иной накал, и наполеоновские идеи уже не являются никому, и чиновник допьется разве что до дворника, но никак не до самоубийцы, и человек с незаконченным университетским образованием не пойдет по старушку, вооружившись украденным топором, и «в Америку» никто не отправится посредством дамского револьвера только из-за того, что просто-напросто — скукота.

Тем более странно, что в самых общих чертах классическая история повторилась в наши бесстрастные времена, как, бывает, повторяются в общих чертах судьбы, исторические события, катастрофы, точно есть в этой истории некая бытийная инвариантность. И вот даже до такой степени повторилась, что утром в понедельник как с неба свалился Лужин, и не просто Лужин, а именно Петр Петрович Лужин, который оказался старинным знакомым Юлии Головы по городу Ярославлю, где Юлия очень давно проходила практику на химическом комбинате; по законам литературы появление Лужина должно было бы иметь какую-нибудь драматическую нагрузку, что-то из этого обязано было последовать, а так — появился и появился.

Произошло это следующим образом: около восьми часов утра, когда Генрих и Вера уже уехали на работу, Анна Олеговна готовила Мите завтрак, Юлия Голова рисовала себе лицо, Чинариков собирался идти колоть лед возле дома № 8, Белоцветов, проснувшийся ни свет ни заря, лежал на своем диване и задумчиво рассматривал потолок, молодежь еще спала, а Фондервякин без дела отирался на кухне, в дверь позвонили весело-беспокойно, и через минуту в прихожей появился Петр Петрович Лужин, который первым делом провозгласил, что он пару дней поживет у Юлии Головы. Он оказался человеком шумным, простым и открытым до неприличия, например, через четверть часа после своего появления он уже рассказывал на кухне о том, что только-только развелся с женой по причине чисто физиологического порядка, что он приехал в Москву присмотреть невесту, что ему сильно приглянулась Любовь Голова и что, дождавшись совершеннолетия избранницы, он непременно добьется ее руки.

— Ну, это мы еще посмотрим,— неодобрительно сказал Митя.

В девятом часу утра квартира притихла, так как учащаяся и трудящаяся часть жильцов разошлась по своим делам, Петр отправился на прогулку, Лужин прилег соснуть, Анна Олеговна принялась за «Донские рассказы», которые она мусолила третий месяц, а Чинариков с Белоцветовым в это время приближались к дому № 8; поскольку многое нужно было договорить и поскольку так называемый библиотечный день у Белоцветова падал на понедельник, он вызвался помочь Чинарикову расчистить тротуар возле дома № 8.

Дойдя до места в сосредоточенном молчании, если не считать пары никчемных реплик, Чинариков вооружился ломом, к концу которого было приварено лезвие топора, а Белоцветов алюминиевой лопатой, и они принялись за работу. Как только они принялись за работу, сразу завязался давно предвкушаемый разговор.

— Ну и что ты обо всем этом думаешь? — спросил Белоцветов, примериваясь к лопате.

— То же самое, что и позавчера,— ответил Чинариков, сделав энергичный выдох на слове «позавчера». — Была старушка, да вся вышла.

Белоцветов сказал на печальной ноте:

— Завидую я тебе, Василий, хладнокровный ты человек.

— Я не хладнокровный, я психически приспособленный. Бери пример с меня: когда мне не хочется плакать, я стоик, когда хочется, дзэн-буддист. Вообще очень прав был тот азиатский умник, который сказал: спокойно сиди у порога своего дома, и твоего врага пронесут мимо тебя.

— Вот я и говорю: хладнокровный ты человек.

Несколько минут они работали молча; Чинариков откалывал своим причудливым инструментом куски грязного льда, а Белоцветов выбрасывал их лопатой на мостовую. Затем Белоцветов продолжил начатый разговор:

— А я вот что обо всем этом думаю: невероятная, мефистофельская какая-то вышла история, не нынешнего пошиба. Такие истории мыслимы в эпоху великого переселения народов или в булгаковское двадцатилетие, но в наши дни они невозможны, даже неуместны, как война Алой и Белой розы. Между тем налицо следующая картина: в пятницу вечером в самом центре Москвы является привидение коллежского советника Пумпянского, которое уводит собственную дочь на Покровский бульвар, и она там помирает от переохлаждения организма; предварительно возникает разорванная фотокарточка давно умершего старика, Фондервякин сулит труп ребятам из «скорой помощи», и в квартире раздается телефонный звонок — может быть, с того света. Вот какая, Василий, вырисовывается картина.

Чинариков сказал, преодолевая одышку:

— При таком романтическом взгляде на вещи чудо даже то, что у фармакологов бывают библиотечные дни.

Белоцветов поежился, но не от чинариковских слов, а оттого, что несколько капель талой воды ему попали за воротник. Вообще погода в тот понедельник выдалась волнующе неприятная: было пасмурно, зябко, даже попросту холодно, но при этом в воздухе стоял явственный привкус весны и так согласно капало с крыш, как будто дождичек начинался.

— Понимаешь, Никита, какое дело,— продолжил Чинариков, по-прежнему орудуя гибридом из лома и топора,— ты хоть и постарше меня, но все-таки ты помладше. То есть я что хочу сказать: я такого за свою жизнь не рассмотрел, что тебе не приснится в кошмарных снах, и поэтому романтизма во мне осталось на две копейки. Мы вот с тобой думаем, например, что человек есть непререкаемая и высшая ценность — по крайней мере нас так учили,— а я видел собственными глазами, как эта самая высшая ценность валяется без головы и с оголенной грудной клеткой, сквозь которую просматривается высохшее сердце, похожее на старушечий кошелек. И то, что я после этого муху не в состоянии прибить,— это тоже, конечно, чудо.

— Я что-то не понимаю, к чему ты клонишь.

— Я, Никита, в конечном итоге клоню к тому, что вечером в прошлую пятницу Юлия Голова просто-напросто перепила крепкого чаю, и ей померещился незнакомец, а старушка Пумпянская вышла на ночь глядя подышать свежим воздухом, присела на скамейку и померла.

— Может быть, ты и прав,— сказал Белоцветов,— но только я при своем мнении остаюсь: произошла трагедия новейшего образца. То есть я хочу сказать, что история с Пумпянской показательна в смысле новейшего тура противоборства добра и зла. Какая-то стоит за ней свежая темная сила, еще неизвестная человеку.

Чинариков сказал:

— Выдумываешь, профессор.

— Может быть, и выдумываю,— ответил с покорностью Белоцветов.— Но что меня толкает на эти выдумки? Глубочайшая уверенность в том, что с некоторых пор у нас и зло не как у людей, и добро не как у людей, превращенные они какие-то, пропущенные через семьдесят один год социалистического строительства. Отсюда одна идея...

Чинариков вздохнул и набросился на лед с такой страстью, как если бы он его издавна ненавидел.

— Так вот, идея заключается в том, что историческая задача нашей формации есть обеспечение нравственного строительства, обеспечение перехода от хомо сапиенс к человеческому человеку. И социализм будет этим заниматься вовсе не потому, что так ему хочется, а потому, что у него и выхода-то другого нет: во-первых, мы отказались от права сильного и прочих законов джунглей как регуляторов общественного порядка, во-вторых, у нас слишком многое держится на вере в лучшие возможности человека, точнее будет сказать, пока рассыпается, а не держится, поскольку наше общество скроено на вырост, с некоторым запасом, как детское пальтецо.

— В этом-то вся и штука,— на злобной ноте сказал Чинариков,— то-то и настораживает, что по прекраснодушию своему не учла система реального человека!

— Да нет в этом ничего страшного, как ты не понимаешь! Разрыв между возможностями общества и возможностями личности — это не трагедия, грозящая катастрофой, а стимулятор особой силы, который обеспечивает бурный рост! Вот в Америке социальные возможности совершенно впору возможностям человека, и поэтому Толстого там считают большевиком... Одним словом, это когда ботинки малы, ногу натираешь, а когда они велики, нужно только стелечку подложить. Отсюда, между прочим, и первоочередная тактическая задача — частичная ликвидация этого разрыва через уничтожение примитивного зла, того самого зла, которое имеет животное происхождение, которое мы унаследовали вместе с волосатостью и клыками. Причем сейчас наступает такой момент, когда этот разрыв необходимо ударными темпами ликвидировать, иначе мы рискуем как минимум вечно импортировать соленые огурцы. Причем я полагаю, что уничтожение простейшего зла — это не эпопея. Просто за всю историю человечества им никогда вплотную не занимались. Косвенно, через созидание нового зла и на словах — это, конечно, было, но непосредственно и вплотную — этого не было никогда. Какие соображения удерживают меня на той позиции, что ликвидация простейшего зла — это не эпопея?.. А вот какие: во-первых, не все зло — зло, то есть мы часто заблуждаемся относительно качества некоторых поступков и ошибочно принимаем за зло некоторые санитарные процедуры.

— Например?

— Например, вредить человеку нехорошо, но вывести негодя на чистую воду — святое дело. Во-вторых, многого можно достичь, если просто-напросто объяснить людям, что гадить ближнему — занятие трудоемкое и частенько себе дороже, а не гадить выгодно, весело и легко. В-третьих, ты забыл про таблетки от подлецов...

На этих словах Белоцветов вдруг замолчал, так как он заметил на противоположной стороне переулка двух прохожих и одну бездомную собачонку, которые разглядывали приятелей с опасливым любопытством. Впрочем, эту троицу можно было понять: волей-неволей остановишься, повстречав мужиков, вооруженных дворницким инструментом, которые, вместо того чтобы очищать ото льда панель, как сумасшедшие размахивают руками и в голос толкуют про таблетки от подлецов.

Еще минут пять после того, как прохожие удалились и собачонка меланхолично затрусилась в сторону Исторической библиотеки, Белоцветов с Чинариковым работали молча, а затем разговор продолжился своим чередом.

— Но, конечно, самый главный пункт,— сказал Белоцветов, облачиваясь на лопату,— заключается в том, что я не призываю злодеев и незлодеев творить добро, а призываю их просто не делать зла на том основании, что это очень удобно — просто не делать зла. Допустим, гипотетическому мерзавцу не приглянулся мой образ мыслей и он на-

строчил на меня донос; спрашивается: зачем? Человек корчился в муках творчества, бумагу марал, потратился на конверт с маркой — к чему все это, если мне плохо и без того?..

— Господи, какой же ты все-таки наивняк! — воскликнул Чинариков и, опершись на инструмент, принял позу как бы алебардиста.— Христос не тебе чега, а и то потерпел фиаско.

— Это и вправду странно: человеку обещают, даже гарантируют вечное бытие только за то, чтобы он не убивал, не крал и не совращал, то есть предлагают абсолютную выгоду и решение всех вопросов, а он все равно убивает, крадет и совращает — вот откуда такая стойкость?

— Да все оттуда же, профессор! — с чувством сказал Чинариков.— Зло, как материя,ечно и бесконечно.

— Если бы это было так, то жизнь никогда не продвинулась бы дальше дезоксирибонуклеиновой кислоты. Наверное, дело в том, что ад ведь тоже вечная жизнь, а между хорошей вечной жизнью и плохой вечной жизнью разница небольшая. Я хочу сказать, что расправиться с простейшим злом — сумасшедших я пока в расчет не беру — значит совершенно доказать обыкновенному слабому человеку: неделание зла сулит ему выгоду неизбежную и прямую. А как это доказать, если даже Христос потерпел фиаско?.. Единственное, что как-то успокаивает: возможно, добро воцарится само собой. Ведь жизнь человека — это модель истории человечества. Младенчество соответствует стадии дикости, недаром младенцы, например, так добродушны и непосредственно-агрессивны. Детство соответствует эпохе античности, в эту пору у человека режется душа, а у человечества — сознание того, что оно человечество; между прочим, это очень показательно, что наш Петька Голова обожает петь и ему ничего не стоит подсыпать в чай марганцовки или какой-нибудь дрянью намазать дверную ручку. Далее: средневековье — это отрочество, которому свойственны нелепые предрассудки, тупая жестокость, вероспособность, нетерпимость и острая чувствительность, которая идет от любви к самому себе. Соответственно юность — это новое время со всеми его порывами... Ну и так далее.

— Пусть так, но что из этого следует?

— Из этого много чего следует. Первое: что в преклонные годы человек становится безобидным, и, следовательно, мы никуда не денемся от царствия божьего на земле, оно неизбежно, как старение организма. Второе: что злодей — это просто-напросто человек, не выросший из подростков, и он так же нелеп и, в сущности, обречен, как, скажем, нацизм, который ни при какой погоде не мог вписаться в новейшие времена. Третье: что на сегодняшний день добро — безусловно норма, а зло — патология, и человека, способного ударить другого душевнобольного... Но главное, что из всего этого следует,— нашему обществу выпала миссия дальнейшего нравственного строительства. Вот такая, понимаешь, новая московская философия...

— А старая московская философия — это как?

— Старая — это чаадаевщина, в том смысле, что от России толку не было и не будет.

— Из всего сказанного тобой,— вставил Чинариков,— не следует самого главного, а именно ответа на вопрос, как сделать так, чтобы всем стало яснее ясного: добро — это выгодно и легко?

— Чудной ты, ей-богу! — сказал Белоцветов и свободной рукой что-то чудное изобразил.— Если бы это было так просто, то давно и духу не осталось бы от злодеев. Да чего там далеко ходить: вон Адам и Христос — родные братья, а какая разница! И самое страшное, что исходный материал один и тот же — плоть и закодированные в ней божественные возможности. Нет, дело, наверное, вот в чем: если становление человека—это процесс реализации родового кода через соп-

рикосновение с внешним миром, то, возможно, недочеловечность есть следствие недополучения какой-то очень важной информации, из-за чего код реализуется не вполне; как не весь металл выхолащивается из руды, если в печь недоложить катализатора или занизить температуру, так и не вся человечность вырабатывается в человеке, если жизнь ему что-то недодала. И я даже подозреваю, что она именно человеку недодала — несвободы, зависимости, ярма. Потому что, возможно, в идеале человек есть глубоко несвободное существо, существо, строго ограниченное правилами добра. Вот мы с тобой не свободны от форм своей оболочки, называемой телом; точно так же человек будущего будет не свободен от своей сути...

— Послушай, профессор! — сердито сказал Чинариков. — Ты мне помогать пришел? Вот, ядрен корень, и помогай!

Белоцветов послушно начал орудовать алюминиевой лопатой, но от своего монолога не отступил.

— Вообще это крупное недоразумение, что сегодня свобода имеет такую цену, — в другой раз хлеба не надо, а свободу подай сюда. Потому что на самом деле она прямой признак этапности, несовершенства и даже она в некоторой степени пережиток. Когда-то свобода действительно была единственным путем самостроительства человека, единственным выходом из зоологического состояния, но в наше время она помеха. Вот тебе доказательство: все жизнеспособное, то есть сообразное назначению, стремящееся воплотиться в своем идеале, соответствующим образом нацелено и, стало быть, несвободно.

— Ну, напустил туману! — сказал Чинариков.

— Хорошо, раз ты такой недотепа, то приведу тебе конкретный пример: если я как жизнеспособное и разумное существо поставил перед собой цель жениться, то я обязательно помоюсь, оденусь поприглядательнее и буду всячески обхаживать свою избранницу, виться вокруг нее мелким бесом, в то время как, будучи просто свободным существом, я на пути к этой цели могу еще поспорить с милиционером, украсть у соседа двадцать рублей, напиться, съездить в Архангельск и броситься из окошка. Теперь понятно? То есть тебе понятно, что свобода выбора изживает свою насущность и становится довеском из гвоздей к порции колбасы, как только человечество исчерпывает возможности выбора на основе здравого смысла, как только человечество подходит к вещам, которые не выбирают, — к единичному вследствие большего совершенства. В современных условиях это единичное есть такой образ жизни, который исключает злодеяние против личности. Стало быть, остается только подсказать человеку, что выбора у него нет, что быть действительно человеком значит не вредить ближнему, что действительно жить значит не делать зла. И, в частности, потому, что действительно жизнь есть наслаждение возможностью личного бытия, а оно доступно лишь чистым душам.

— Ты вот чего не хочешь принять в расчет, — сказал Чинариков, — ты преподобные особенности российской жизни не хочешь принять в расчет. Вот я завтра решу жениться и на пути к этой цели как раз напьюсь, украду у соседа деньги, поспору с милиционером, уеду в Архангельск — и там женюсь...

2

Тем временем жизнь в двенадцатой квартире шла своим чередом. До обеденного времени ее ход был малоприметен, потому что ярославец Лужин спал на диване Юлии Головы, Петр сидел на кухне и паялся в окошко, прилипнув к нему лицом, Анна Олеговна «Донские рассказы» одолевала. Но во втором часу дня пришла из школы Любовь, и жизнь квартиры несколько оживилась.

Первым делом Любовь накармила Петра ненавистными ему ку-

шаньями, потом выпроводила брата гулять, потом уселась напротив спящего Лужина и сказала как бы сама себе:

— А спать здесь нечего, у нас не богадельня для престарелых.

Скрипнула, отворяясь, дверь, и в комнату просунулась Митина голова. Несколько секунд Митя с неприязнью смотрел на Лужина, потом пристально — на Любовь и, точно припомнив что-то, поманил ее пальцем, приглашая выглянуть в коридор.

— Скажи, кума, похож я на подлеца? — убитым голосом спросил Митя, как только за Любовью закрылась дверь.

— По-моему, не похож.

— А вот выходит, что я подлец. Как это ни печально, а нужно признать, что я полный мерзавец и сукин сын!

— Почему?

— Этого я тебе пока сказать не могу. Пока поверь на слово: мерзавец и сукин сын. Самое интересное, что это, оказывается, ужасно — понимать, что ты гад паршивый. Такое чувство, точно все кончилось, точно уже ничего не будет... как будто тебе ноги отрезало электричкой!

— Ну, полный вперед! — с испугом сказала Любовь и приложила к щеке ладонь. — Да что случилось-то? Из школы за что-нибудь исключили?

— А? Нет...

— Тогда, может быть, ты заболел? Вон ты какой — бледный как полотно.

Митя посмотрел на Любовь таким образом, как смотрят на людей, которых силится узнать, но узнать не могут.

— Может, и заболел, — проговорил он, — это даже очень возможно, что заболел. То-то я сегодня на химии сижу — думаю, на истории сижу — думаю, на английском сижу — опять думаю!..

— И про что же ты думал?

— Про то, что я мерзавец и сукин сын.

— Если бы ты знал, какой мерзавец этот... ну, который приехал из Ярославля, ты перед ним святой. Ты представляешь, он мне такие пошлости говорил!..

Митино лицо из наивно-печального сделалось злым и озарилось нехорошей улыбкой.

Хлопнула входная дверь, и в прихожую ввалились Чинариков с Белоцветовым. Чинариков говорил:

— ...Между тем Жером Лежен давно доказал, что законы разума как-то соответственны законам мироздания, а вот законы нравственности — никак. Стало быть, разум развивался согласно природе, а нравственность — вопреки.

— С чего ты, собственно, взял, что нравственность — это одно, а разум — совсем другое? — спрашивал Белоцветов, вводя Чинарикова в свою комнату.

— Кое-какие основания для этого у меня есть. Положим, зло имеет массу причин самого эмпирического происхождения, от желания личной выгоды до желания выглядеть в глазах ближнего лучше, чем ты того заслужишь; добро же, то есть нравственность, всегда исходит из одного: из того, что зло душа не принимает...

С этими словами Чинариков сел на диван и полез в карман джинсов за папиросой.

— Да нет же, Василий, в том-то все и дело, что нравственность и разум нерасторжимы. Недаром, только вкусив от древа познания, Ева с Адамом увидели, что они наги. Недаром с нашим миром не гармонирует только лучшая, именно мыслящая часть человечества... Одним словом, все разумное нравственно, а все нравственное разумно.

— Я не понимаю, к чему ты клонишь, — сказал Чинариков и выпустил из ноздрей неестественно много дыма.

— Я клоню к тому, что в программу природы наверняка входила

задача ограждения человека — существа нежного и, в общем-то, беспомощного в первые полтора миллиона лет его истории, — задача ограждения человека некоей охранной грамотой, некоей иммунной системой от сонмища внешних бед, от жестоких законов диалектики, способных загубить его на корню. Этой охранной грамотой и стала нравственность личностного порядка. На практике она могла так работать, хотя это, конечно, в порядке бреда: разумно-нравственная моя суть никогда не занесет меня в компанию убийц, которые могут запросто проиграть меня в три листа.

Раздался властный стук в дверь, и Белоцветов сказал:

— Войдите!

Вошел участковый инспектор Рыбкин, он снял фуражку, протер внутренность тульи носовым платком, снова надел ее на затылок и сказал голосом крайне усталого человека:

— Я из-за вашей квартиры, наверное, скоро подам в отставку...

— Одну минуту, товарищ Рыбкин, — остановил его Белоцветов, — еще пару слов, и мы к вашим услугам. Так что, Василий, добродетель — это спасение. Быть нравственным человеком значит, возможно, даже прежде всего быть человеком настолько разумным, чтобы соображать: добро или по крайней мере неделание зла — это то, что хранит тебя от несчастий. Если тебе плевать на охранную грамоту, выданную природой, то ты живешь под законами диалектики — тебе и в морду походя дадут, и свинкой ты заболеешь на старости лет, и кирпич упадет тебе на голову с пятого этажа. А если ты нравствен хотя бы пассивно, то природа в этом случае освобождает тебя ото всех излишних, незаслуженных, праздных бед. И от некоторых заслуженных тоже.

— А по шее ни за что ни про что кто вчера получил? — ядовито спросил Чинариков и с чувством раздавил окурочек в голубом блюде, на котором лежал сахарный огрызок и ломтик высушенного лимона.

— Так что там у вас, товарищ Рыбкин? — сказал Белоцветов, состроив на лице нечто канцелярское, деловое.

— Да вот опять от вашего жильца поступил сигнал. И опять в стихах...

— Не берите в голову, — сказал Чинариков. — Тем более что имеется гораздо более серьезная тема для разговора. Как насчет дела Пумпянской, товарищ Рыбкин?

— Дело темное, — сказал Рыбкин.

— Да уж, темнее некуда, — печально согласился с ним Белоцветов. — И это вы еще не все знаете. Например, вы не знаете, что примерно через сутки после исчезновения Пумпянской на ее имя пришло загадочное письмо, буквами, вырезанными из книжки «Серебряное копытце», в нем была выклеена смертельная угроза и требование вернуть какие-то документы. Изрезанную книжку я обнаружил в комнате Юлии Головы. Как вам это нравится?

— Мне это совсем не нравится, — сказал Рыбкин.

— Мне тоже, — признался Белоцветов и заходил, что называется, из угла в угол. — Таким образом, у нас складывается в высшей степени диковинная картина: в день смерти коллежского советника Пумпянского в нашей квартире появляется его привидение, которое вогнало в ужас Юлию Голову...

— Вы дождетесь, — перебил его Рыбкин, — вы дождетесь, что в конце концов поступит сигнал и на ваше идеалистическое мировоззрение.

— Ну так вот, — переждав, продолжал Белоцветов, — значит, появилось привидение, которое вогнало в ужас Юлию Голову; вслед за этим Пумпянская приняла таблетку седуксена, прихватила с собой фотокарточку отца — или привидение прихватило собственную фотокарточку, которую оно потом зачем-то изорвало, — и отправилась на Покровский бульвар, где в скором времени и скончалась от переох-

лаждения организма; а на другой день является письмо, вырезанное из «Серебряного копытца».

— Если отмести гипотезу с привидением, то так оно все и было,— подтвердил Чинариков.

— К сожалению, это не гипотеза,— возразил Белоцветов,— а почти медицинский факт. Мало того что Юлия учуяла жженую серу, вчера еще и Кузнецова узнала по фотокарточке старика. Какие будут выводы? У меня как нарочно вывод один: мерещится мне за всем этим некая свежая темная сила, зло, так сказать, новейшего образца... Я его чувствую, как ревматики непогоду.

Рыбкин помрачнел и сравнительно надолго вперился в стену странно налившимися глазами. Затем он сказал:

— Главное, что нет состава преступления, происшествия и то нет. Есть просто-напросто смерть старушки, окруженная некоторыми загадочными обстоятельствами.

— Вам бы, ментам, только б ничего не делать! — со злобой сказал Чинариков.

— Слушай, ты возьми себя в руки,— отозвался инспектор Рыбкин,— ты не забывайся — я все-таки при исполнении!

Белоцветов заметил:

— Мне, как это ни странно, вот еще что не дает покоя: зачем Петька-то той ночью на горшке сидел и делал вид, что просматривает газету?

— Гораздо интереснее было бы узнать,— сказал Рыбкин,— похож Фондервякин на Пумпянского или же не похож.

У Чинарикова с Белоцветовым сразу сделались какие-то внимательные обоюдные физиономии.

— Ну, как похож... — проговорил Чинариков, шаря глазами по потолку.— Похож, конечно, как все лысые похожи меж собой...

— Ну почему? — сказал Белоцветов.— Они и ростом примерно одинаковые, и в сложении общее что-то есть. Вообще эта версия мне близка; очень может быть, что именно Фондервякина увидела Юлия в коридоре и с испугу потом узнала его в фотокарточке старика. То есть очень может быть, что именно Фондервякин как-то подвел нашу старушку под переохлаждение организма.

Чинариков предложил:

— Может быть, мы на него нажмем?

Белоцветов поинтересовался:

— А как ты на него собираешься нажимать?

— Очень просто! Сейчас вот заявимся к нему всей компанией и потребуем: давай сознавайся, гад, а то хуже будет!

— Можно попробовать,— сказал Рыбкин.

— Я вас, ребята, предупреждаю,— заявил Белоцветов,— что из этой затеи получится одна глупость. Тем более что угрозивое письмо исходит не от Льва Борисовича, а от семейства Юлии Головы.

— Ну, положим, кто угодно мог у Петьки книжку украсть,— сказал Чинариков.— А на привидение похож один Лев Борисович Фондервякин!

Внезапно дверь в комнату отворилась, и Фондервякин, выросший на пороге, жалобно произнес:

— Ну где же я похож на привидение, что ты мелешь?

Белоцветов, Чинариков, Рыбкин — все трое были неприятно удивлены.

— И никакой я старушки не убивал, вот честное слово, не убивал! Берьте слову, братцы, ну какой из меня убийца! Давайте я лучше в другом преступлении признаюсь: что хотите со мной делайте, граждане, а никакой я не Фондервякин!..

— Гм! — промычал Рыбкин.— А кто же вы, интересно?

— Фон дер Баккены мы испокон веков. От самой императрицы Елизаветы наша фамилия — фон дер Баккен. В сорок первом году,

когда уже началась война, папаша сунул кому-то в загсе, и мы из фон дер Баккенов сделали Фондверьякиными. Но вы тоже, граждане, согласитесь: немец прет на Москву, а в Петроверигском переулке существует семья, у которой фамилия никак не соответствует историческому моменту...

На этих словах опять отворилась дверь, и, как это ни удивительно, в комнату заглянул Алексей Саранцев.

— А, вот вы где! — сказал он. — Прошу пожаловать на поминки...

Все не сразу сообразили, что имеет в виду Саранцев, но, подчиняясь пригласительному выражению его лица, вышли в коридор и последовали за ним в кухню.

3

Как и нужно было ожидать, Саранцев со старухой Кузнецовой только что возвратились с Введенского кладбища, где в тот понедельник состоялось погребение Александры Сергеевны Пумпянской, и по этому случаю задают импровизированные поминки. Народу на кухню натолклось множество: тут была вся двенадцатая квартира плюс Душкин, техник-смотритель Вострякова, Петр Петрович Лужин, который присоединился по простоте душевной, и даже двое каких-то вовсе незнакомых мужчин в темных одеждах, притулившихся у окна.

Поминки вышли именно бестолковые, как сказано о таковых же в санкт-петербургском варианте этой истории. Но как там, так и тут «все было приготовлено на славу: стол был накрыт даже довольно чисто, посуда, вилки, ножи, рюмки, стаканы, чашки, все это, конечно, было сборное, разнофасонное и разнокалиберное, от разных жильцов, но все было к известному часу на своем месте», ну разве что столы были кухонные, хотя и покрытые разномастными скатертями. На столах помещалось множество демократической снеди, закупленной Саранцевым с Кузнецовой где-то в кулинарии; жильцы со своей стороны прибавили сюда некоторые домашние кушанья, например, Капитонова пожертвовала целое блюдо студня. Из вин, впрочем, был один право-славный кагор, только чуть позже, когда поминки, так сказать, разогрелись и даже несколько разошлись, Фондверьякин притащил две банки своих пьяно-моченых яблок.

Но в остальном сходство тех и этих поминок было разительное, во всяком случае необыкновенное: и Кузнецова Зинаида Петровна нервничала и задиралась — главным образом потому, что Пумпянская была похоронена за государственный счет и, так сказать, в одночасье, — и прорывались время от времени несусветные речи, и даже приключился настоящий скандал: Петр Петрович Лужин попытался было стянуть бутылку кагора, которую он засунул в пистолетный карман своих брюк, но был уличен Душкиным и опозорен словесно при всем народе. Однако с Лужина эта неприятность как с гуся вода, он тут же подцепил пирожок с капустой и начал уплетать его как ни в чем не бывало.

Такое сходство житейских сцен, разделенных полуторавековым интервалом, опять же наводит на размышления. А что, если Екклесиаст был прав и действительно нет ничего нового под луной, а все только суета сует и всяческая суета, что жизнь покоится, крепится на каком-то едином и неизменном каркасе, который допускает лишь мало-значительные отклонения в строении ее черт, а так она проистекает по раз заведенному и во веки веков нерушимому образцу? Что, если за этой неизменностью кроется разгадка каббалы: $\sqrt{\text{жизнь}} \times \text{талант} = \text{литература}$? Ведь не исключено, что литература родилась и существует единственно потому, что миллиарды жизней суть списки с первоисточника, что всякая жизнь выливается в определенные формы, во всяком случае событийная ее часть строится по извечным формулам и течет по руслам, заданным искони, недаром же истинное художест-

венное слово — это слово, прежде всего очищенное от своего времени...

Чем чревато это предположение?.. Во-первых, вот чем: возможно, литература изначально и органически сопричастна идее жизни, и если искать начало всему в истории человека, то еще неизвестно, что было вначале; не исключено, что слово-то и было вначале, что все впоследствии по писаному-то и пошло. Во-вторых, не исключено, что словесность — это далеко не просто такое отражение действительности, которое себе на уме, а запечатленная идея самой жизни со всем тем, что ей так или иначе принадлежит,— недаром вся мировая литература посвящена единственному положению: человек есть чудо; иными словами, жизнь в своей основе и литература в своей основе — это одно и то же. Тогда получается, что Фрэнсис Бэкон нисколько не лукавил, утверждая, будто его способности соответствуют истине, тогда получается, что художественный талант есть сопричастность души основному закону жизни,— возможно, даже более единоутробие, нежели сопричастность. В таком случае понятия «жизнь», «талант», «литература» составляют троицу, триединство, а вовсе не каббалу.

С этой позиции мыслящего человека не собьет даже то обстоятельство, что поминки в двенадцатой квартире начались не со слов: «Во всем эта кукушка виновата. Вы понимаете, о ком я говорю: об ней, об ней! — и Катерина Ивановна закивала ему на хозяйку...» — а с того, что Зинаида Петровна Кузнецова сделала несколько шагов по направлению к центру кухни и плаксиво провозгласила:

— Давайте, товарищи, помянем по русскому обычаю новопреставленную рабу божью Александру...

Все подняли свои рюмки, застыли, перевели дух, выпили и снова перевели дух. Единственно Рыбкин только подержал рюмку в руках и поставил ее на место.

— А вы что же, товарищ инспектор? — с фальшивым участием спросил его Фондервякин.

— Странный вопрос...— сказал Рыбкин.— Я же при исполнении...

— Добротный у вас характер,— одобрил его Белоцветов,— характер, так сказать, резко континентальный.

— Подумаешь, при исполнении! — вступила техник-смотритель Вострякова.— Я вот тоже практически при исполнении, а все-таки компанию поддержала. Как говорится, служба службой, а народные обычаи — это свято.

— Если я правильно понимаю,— сердито сказал Алексей Саранцев,— поминки придуманы для того, чтобы покойников поминать. Хотя, если честно, я покойницу вообще не помню.

— Нет, хорошая была старушка, чего там говорить,— сообщила Юлия Голова.— Интеллигентная, добродушная, хозяйственная да еще и титанического здоровья. Если бы не коммунальные условия, она бы нас с вами точно пережила.

— А при чем тут, собственно, коммунальные условия? — возразила Анна Олеговна Капитонова.— Мы в нашей квартире всегда душа в душу жили. И до войны, и в войну, и после войны, вплоть до разоблачения культа личности, когда все пошло сикось-накось.

Белоцветов сказал:

— Тем не менее Александру Сергеевну мы все-таки уходили. И за что уходили-то — за какую-то комнатку!

Инспектор Рыбкин нахмурил брови и заявил:

— Это еще нужно, граждане, доказать.

— И, возможно, даже вообще придется с этой версией распрощаться,— сказал Белоцветов, задумчиво глядя в пол.— Сначала мы действительно думали, что Александру Сергеевну исключительно из-за ее комнатки уходили, но вчера мы получили одно любопытное письмо...

— Вот это уже интересно! — сказал Генрих Валенчик и поблел:

— Интересно — это не то слово, — продолжал Белоцветов. — Если хотите, я оглашу вчерашнее письмецо; вдруг при таком скоплении заинтересованных лиц его смысл хоть как-нибудь прояснится. Василий, сходи, пожалуйста, за письмом, я его в твоей комнате под бюст Апухтина положил.

Чинариков отправился за письмом, а Душкин воспользовался паузой и предложил пропустить еще по одной; Саранцев разлил остатки вина, Кузнецова провозгласила вечную память, и все прильнули губами к рюмкам.

Через минуту вернулся Чинариков, он вплотную приблизился к Белоцветову и вплотную произнес:

— Знаешь, какая странная вещь: кто-то украл у меня портрет Хемингуэя. Я сейчас случайно поглядел на стену, как будто меня под локоть толкнули, а вместо портрета пустое место!..

Белоцветов с оторопью посмотрел на Чинарикова, пожал плечами, потом прокашлялся и громко зачитал текст.

— Вот такие, товарищи, пироги, — в заключение сказал он. — Какие будут соображения?

В кухне установился тот род молчания, который у нас называется гробовым. Наконец Алексей Саранцев сказал:

— Что касается меня, то я, как говорится, ни сном ни духом!

— Я тоже ничего не поняла, — призналась Анна Олеговна и поправила свои фиолетовые колечки.

Фондервякин сделал шаг вперед и торжественно заявил:

— Я еще когда предупреждал, что это дело нечисто! Я еще когда говорил, что тут пахнет связью с вражеской агентурой!

— Успокойтесь, Лев Борисович, — сказал Белоцветов. — Вражеская агентура здесь ни при чем. История с письмецом скорее пахнет наветом. Честно говоря, мне это только сейчас пришло в голову: кому-то понадобилось, наверное, нашу старушку ошельмовать. Дело в том, что текст письма составляют буквы, вырезанные из книжки «Серебряное копытце», и как раз такую книжку, искромсанную вдоль и поперек, я обнаружил в комнате Юлии Головы..

С этими словами Белоцветов вопросительно посмотрел на Юлию Голову, но она встретила его взгляд не только спокойно, но даже и с наглостью.

Митя Началов насунился и сказал:

— Так, значит, Никита Иванович, вы рылись в чужих вещах? Это что, тот самый поступок, который вы обещали?..

— То есть? — не понял его Белоцветов.

— Помните, вы мне недавно обещали поступок, доказывающий, что не все взрослые подлецы?

— Да, действительно обещал... — проговорил Белоцветов, смешался и замолчал.

Тем временем явились две банки моченых яблок, которые пожертвовал Фондервякин, Рыбкин почему-то отнесся к их появлению снисходительно, и разговор сделался куда смурнее, горячее.

Чинариков, обращаясь к Генриху Валенчику, говорил:

— Слушай, писатель, а это, случайно, не ты сочини подметное письмецо? Как стало известно, ты у нас большой специалист по доносителству с уклоном в литературу.

— Вера, уйди отсюда, — распорядился Генрих и, повернувшись к Чинарикову, сказал: — Ты, Василий, говори, да не заговаривайся! Я не подметные сочинения пишу, а разоблачаю жизнь средствами художественного слова. Если ты не понимаешь ни хрена в этом деле, то и не лезь своим рылом в калашный ряд!

— Вот именно! — сказала Вера из коридора.

— Я, конечно, могу что-то недопонимать,— признался Чинариков,— но ты все-таки аккуратнее подыскивай выражения.

— Вы еще подеритесь! — посоветовала Юлия Голова.— Как раз есть кому без проволочек посадить вас на хлеб и воду.

Душкин сказал:

— Да хоть вы, ребята, обпишитесь, все равно в старушкину комнату въеду я.

— А вот это ты видел? — воскликнул Фондервякин и сделал кукиш.

— Ты мне фигуры не показывай,— молвил Душкин,— ты лучше спроси у Востряковой, кого она предполагает сюда вселить.

— Я только одно могу сказать,— откликнулась Вострякова,— кадрами в наше время разбрасываться не приходится...

Белоцветов толкнул Чинарикова в бок и приглушенным голосом произнес:

— Ты не находишь, что вон тот тип,— тут он кивнул головой в сторону одного из незнакомец в темных одеждах, притулившегося у окна,— поразительно похож на наше преподабное привидение?

— Ты знаешь, действительно что-то есть,— шепотом ответил ему Чинариков.— Только на вид этому мужику не сто восемнадцать лет, а максимум шестьдесят.

— Понимаешь, какое дело: совсем не обязательно, чтобы под видом старика Пумпянского к нам заявился старик Пумпянский; это мог быть, например, его сын Георгий Сергеевич, который якобы погиб в сражении под Москвой...

— Гм... — промычал Чинариков.— Это мысль...

Тем временем распря между Душкиным и Фондервякиным дошла уже до того критического градуса, когда впору было вооружаться первыми подвернувшимися под руку предметами и переходить непосредственно к потасовке. Надо полагать, потасовка вышла бы непременно, если бы не участковый инспектор Рыбкин.

— Вы, граждане, давайте это... — сказал он,— держите себя в руках. Не надо распоясываться, вы все-таки не в пивной...

— Совсем уже очертенели! — добавила Анна Олеговна и возмущенно тряхнула своими фиолетовыми колечками.— Из-за какой-то паршивой пешки готовы друг другу головы проломить!

— Если бы из-за пешки! — поправил ее Фондервякин.— А то ведь речь идет о жизни и смерти, можно сказать, то есть о расширении метража!

— Это другое дело,— согласилась Анна Олеговна то ли серьезно, то ли шутя.— Ради расширения метража можно и голову проломить. Генрих взмолился:

— Давайте же наконец решим этот вопрос по-человечески, на демократических основах. Ведь четвертые сутки не можем поделить между собой несчастные десять квадратных метров! И главное, откровенно саботируются все мирные инициативы!.. Прямо не квартира, а сборище отщепенцев, это я искренне говорю!

— Товарищ Рыбкин,— пожаловался Фондервякин,— вы уж как-нибудь приструните этого наглеца...

Рыбкин смолчал; он снял с головы фуражку, протер внутренность тульи носовым платком, снова нацепил ее на затылок и показал было глазами, что он сейчас скажет нечто интересное, но — смолчал.

— А то я за себя не отвечаю,— продолжил Фондервякин.— А то я возьму сейчас эту гусятницу,— тут он движением головы указал на капитоновскую гусятницу,— и этого змея попросту замочу!

Белоцветов протер руками лицо, потом обвел глазами собравшихся и сказал:

— Слушаю я вас, дорогие соотечественники, и волосы встают дыбом. Все мы с вами и каждый из нас в отдельности, между прочим, имеем честь принадлежать к народу, которому в силу кое-каких осо-

бенностей его исторического пути выпала миссия нравственного строительства; вы, разлюбезные мои современники, вы, единокровные мои братья и сестры, между прочим, отвечаете перед миром и историей за дальнейшую духовную эволюцию человека, а послушаешь ваши речи — и хочется удавиться...

— Это что еще за буддизм? — с некоторым возмущением спросил ярославец Лужин.

Никто ему не ответил.

Вообще поскутнел народ, поскутнел и начал потихоньку расходиться. Когда уже в кухне не осталось почти никого, Белоцветов пошел к Алексею Саранцеву и спросил:

— Послушайте, что это с вами были за мужики?

— Какие мужики? — удивился Саранцев.

— Ну, эти двое в темных костюмах, с панихидными рожами — случаем, не родня?

— Да что вы, батенька, какая родня! — отвечал Саранцев. — Один похоронный агент, а другой — водитель этого самого... катафалка.

— Гм... — промычал Белоцветов. — Интересно, а с какой стати они пожаловали на поминки?

— А я почему знаю? Может быть, им скучно стало от их скорбных дел, а может быть, просто захотелось перекусить...

Чинариков заметил:

— Удивительно, что вы еще могильщиков не позвали.

После того как и Саранцев ушел, в кухне остались только Чинариков с Белоцветовым да еще Петр Голова, который по обыкновению болтал ногами, сидя на табурете. На лице у него светилась какая-то радостно-пакостная гримаса.

— Ну что скажешь, Петро? — обратился к нему Чинариков с праздным вопросом и задумчиво подмигнул.

— Я вот что могу сказать, — отозвался Петр, — вы ничего не знаете, а я знаю...

Чинариков с Белоцветовым насторожились и с нервным вниманием уставились на Петра. Петр молчал и издевательски улыбался:

— И что же ты, интересно, знаешь? — спросил Белоцветов. — Ну давай говори, не тяни резину!

Петр из вредности еще немного помедлил и сообщил:

— Я знаю, кто тогда сидел в ванной.

— Кто? — вскричали Чинариков с Белоцветовым.

— Да Митька Началов, кто же еще!

— Что же ты раньше-то молчал? — с досадой спросил Чинариков.

— Просто не хотел говорить, и все.

— А сейчас захотел?

— А сейчас захотел.

Белоцветов сказал:

— Ну тип!..

— Еще я знаю, кто испортил книжку про серебряное копытце. Любка, дурында такая, испортила мою книжку.

— Во дает подрастающее поколение! — возмутился Чинариков. — Родную сестру заложить — раз плюнуть!

— Слушай, Василий, — сказал Белоцветов. — Нужно идти разбираться с нашей золотой молодежью. Уж если мы с тобой взялись за это дело, нужно его довести до победной точки.

Чинариков сказал:

— Ну!

В кухне появился Петр Петрович Лужин.

— Кто меня звал? — спросил с неприязнью он. — Кому я понадобился на ночь глядя?

В ответ Белоцветов пожал плечами и молча увлек Чинарикова в коридор. Но только они миновали колено, соединявшее кухню с жилым пространством, как им открылось жуткое зрелище: неподалеку от входной двери матово светилось привидение Эрнеста Хемингуэя.

4

В коридоре чувствительно припахивало паленым. С полминуты приятели стояли, пошевеливая ноздрями, и хранили трепетное молчание. Первым пришел в себя Чинариков, как и положено записному материалисту: деланно твердым шагом он двинулся в сторону привидения, дошел почти до самой двери на лестничную площадку, взял вправо, приблизился к старинному зеркалу, зачем-то пощупал его ладонью и весело закричал:

— Иди сюда, не будь чем щи наливают!

Белоцветов явился на зов и нарочито засунул руки в карманы брюк.

— Смотри, идеалист несчастный! Никакое это не привидение, а просто-напросто спроецированная фотокарточка Эрнеста Хемингуэя, которой кто-то сегодня приделал ноги.

Действительно, при ближайшем рассмотрении призрак Хемингуэя вовсе призраком не казался: изображение было плоским, а кроме того, передавало несколько мелких царапин на заднем плане и один отпечаток пальца.

— А Митька-то опять в ванной сидит,— вдруг раздалось у них за спиной, и Чинариков с Белоцветовым обернулись: посреди прихожей стоял Петр Голова, зловредно покусывавший ноготь большого пальца, а из наддверного окошка ванной комнаты струился ослепительный белый свет.

— Теперь все понятно! — с горькой усмешкой сказал Чинариков и направился в сторону ванной комнаты. Он постучал в дверь кулаком и прислушался — тишина.— Дмитрий, это ты там засел? — крикнул Чинариков в щель между дверью и косяком.

— Ну я... — неохотно откликнулся Митя, и в ту же секунду наддверное окошко перестало струить ослепительный белый свет.

— Ты что же, поганец, нам цирк здесь устраиваешь, а?

— А чего этот ярославский гудок охотится за Любовью? Ему, что ли, не хватает своих ярославских телок?..

— Так ты хотел приезжего попугать?

— Ну конечно! — донеслось из-за двери.— А то приезжают тут всякие с периферии и ради московской прописки начинают окучивать зеленую молодежь!..

Чинариков сказал, люто напрягши ноздри:

— А знаешь ли ты, сукин сын ламанчский, что ты через свои дурацкие привидения Александру Сергеевну уходил? Она, наверное, как увидела покойного-то отца, так сразу, поди, черной лестницей вон из дома. Да на ту самую скамеечку, где она потом скончалась от переохлаждения организма! Понимаешь ты это, я тебя спрашиваю, или нет?!

— Понимаю... — тихо ответил Митя.

Белоцветов его спросил:

— Это, значит, и фотокарточку старика Пумпянского ты украл?

— И фотокарточку украл я, и выбросил ее я, чтобы уничтожить единственную улику, и письмо про документы для отвода глаз написал я, и аппарат для показывания привидений тоже изобрел я. Я еще хотел старухе что-нибудь по-латыни страшное сказать, но потом подумал, что это слишком.

Чинариков предложил:

— Слушай! Ты бы вылез из ванной, а то idiotский какой-то получается разговор.

— Ни за что! — на нервно-высокой ноте ответил Митя.

Между тем сцена у двери в ванную комнату уже начала привлекать нежелательное внимание. Ярославец Лужин было попытался еклиниться в разговор, Фондервякин высунулся из своей комнаты, Вера Валенчик выглянула на шум. Однако Чинариков всех их успокоил и удалил.

— Я только одного не могу понять,— сказал Белоцветов.— Ведь спроецировать изображение на зеркальной поверхности невозможно, а ты, Дмитрий, проецируешь, черт такой!

— Это совсем не сложно,— сообщил Митя.— Система компактных линз, особо мощный источник света, плюс я еще намазал зеркало желатином — и получается настоящее привидение, если смотреть, конечно, издалека.

— И при этом немного пованивает, не так ли?

— Это немного есть. Да... еще я звонил из автомата по телефону, чтобы выманить старушку из комнаты и выкрасть у нее фотокарточку старика.

— Не надо врать! — раздался вдруг голос Любви, и Чинариков с Белоцветовым обернулись.— Не надо врать; по телефону звонила я...

— Если честно,— сказал из-за двери Митя,— то я на нашей старухе просто хотел испытать свой аппарат для показывания привидений. Я же не знал, что она со страху уйдет из дома и ни с того ни с сего померет...

— Так... — произнес Чинариков, опустил подбородок на грудь и печально посмотрел в пол.— Ну и как вы собираетесь дальше жить? Как вы, спрашивается, собираетесь жить после того, что вы, паскудники, натворили?!

— Не знаю...— откровенно ответил Митя и добавил, несколько помолчав: — Хотите — верьте, хотите — нет, а я сам весь измучился, второй день себе места не нахожу. Как до меня доперло, что старушка по моей милости померла, так себе места не нахожу. Нет, пускай уж лучше меня посадят!

— И посадят! — заверил его Чинариков.— Обязательно посадят, можешь не сомневаться!

— Мить, а Мить! — сказала Любовь, прильнув лицом к двери в ванную комнату.— Ты не переживай, что тебя посадят. Я все равно за тобой пойду. Поселюсь рядом с тюрьмой в хибарке и буду там жить, чтобы ты только знал, что ты в своем горе не одинок.

— А как же учеба? — по-взрослому спросил Митя.

— Ну, наверное, там тоже школы есть, куда тюремщиков посылают. Ты будешь работать на рудниках, а я утром буду в школу ходить, а по вечерам стану носить тебе передачи.

— И даже если меня не посадят,— задумчиво сказал Митя,— то я все равно завербуюсь на Крайний Север и буду жить так, чтобы это было вроде законное наказание. Тем более что я его не боюсь. Я его не только не боюсь, а даже я его требую, потому что я имею право на наказание, вот как больные на лечение и уход.

Белоцветов сказал:

— В этом смысле можешь не беспокоиться: так и так тебя ожидает не жизнь, а сплошное законное наказание. Или незаконное, я не знаю.

Чинариков прильнул к двери и сказал Мите:

— Ну ладно, хорош дурочку валять! Давай вылезай! А то ты там чего-нибудь натворишь, а нам с Никитой всю жизнь казниться.

— Не вылезу я, Вась,— отозвался Дмитрий,— ты об этом даже не заикайся. Считаю, что пока то да се, я себя приговорил к одиночному тюремному заключению.

— Ну и черт с тобой! — сказал Чинариков.— Сиди себе на здоровье, а мы пошли.

С этими словами Чинариков направился на кухню, Петр поплелся следом за ним, Белоцветов пошел к себе, а Любовь присела на корточки подле двери в ванную комнату и подперла голову кулачком.

Было около одиннадцати часов вечера. Анна Олеговна давно уже спала у себя за ширмой, Юлия Голова, уложив Лужина на полу, сидела перед зеркалом, сооружая ночную маску, Фондервякину не спалось, и он ворочался с боку на бок, Вера Валенчик что-то вязала, а Генрих с пером в руке уже битый час как смотрел сквозь стену.

Белоцветов некоторое время ходил у себя в комнате от двери к окну и пытался размышлять об особенностях нынешней нравственности в свете Митино поступка. Что-то не думалось, не гадалось. Белоцветов вышел из комнаты в коридор, приблизился к старинному зеркалу и потрогал его рукой. Потом он направился в кухню и по пути, наклонившись, потрепал Любу по голове.

Света в кухне не было, однако луна, стоявшая высоко, давала достаточное освещение, и Белоцветов сразу увидел Василия Чинарикова, сидевшего у окна, а также Петра, который примостился у него на коленях. Оба смотрели на луну, слегка задрав головы, и вполголоса напевали:

У него за каждым камнем алах,
А меня кто, сироту, защитит,—

причем Петр сильно фальшивил по малолетству.

Белоцветов возвратился к ванной комнате, постучал в дверь и сказал:

— Поимей совесть, Дмитрий! Ночь на дворе, а Любовь из-за тебя сидит возле двери, как собачонка!

— Пускай идет спать,— отозвался Митя,— я ее не держу.

— Нахал ты, вот что я тебе скажу! Люба себя ведет прямо как Сося Мармеладова, а ты над ней изгиляешься, сукин сын!

— Что это еще за Сося Мармеладова? — в злом недоумении спросил Митя.

— Ну ты даешь! — сказал Белоцветов.— Ты что, «Преступление и наказание» не читал?

— Ну не читал... что мне теперь — повеситься?

— Вешаться не надо, а вот «Преступление и наказание» надо бы прочитать.

Митя ничего не ответил. Белоцветов в раздумье еще немного постоял напротив двери в ванную комнату и траурно-медленным шагом пошел к себе. Войдя в свою комнату, он сел за стол, отодвинул локтем горбушку ржаного хлеба и яичную скорлупу, взял в руки перо, отыскал какой-то клочок бумаги и стал заносить соображения, навеянные ему Митей, чтобы не забыть их завтра с Чинариковым обсудить. Мысли эти сводились к тому, что в процессе нравственного развития человечества литературе отведено даже в некотором роде генетическое значение, потому что литература — это духовный опыт человечества в концентрированном виде и, стало быть, она существеннейшая присадка к генетическому коду разумного существа, что помимо литературы человек не может вполне сделаться человеком — что-то передается из поколения в поколение с кровью предков, а что-то только посредством книг; из этого вытекало, что люди обязаны жить с оглядкой на литературу, как христиане на «Отче наш»...



АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ



ГРАНЬ

* *
* *

Когда я когда-нибудь сдохну,
не мучай травы и грибниц,
на эту последнюю хохму,
поняв меня,— улыбнись.

Когда пойдешь ночью с покупками —
то я впереди пробегал
и длинные ртутные трубки
на черных стволах зажигал.

Узнай меня через пустошь,
приметы замашек моих...
А если ты в городе будешь —
то я тебе вызову лифт.

Бриллиантовая легенда

Помилуй, боже, рабов своих
непросчитанные варианты!
Носится дух, забывший,
он — дворник или Генсек?
Транзитный орден Победы
с выковырянными бриллиантами,
как будто вставная челюсть
легла
в буфетный отсек.

Кому принадлежат бриллианты?
Павшим за них миллионам?
Зомби больной эпохи,
он соблюдал режим.
Ходил он,
к сигнализации,
наверное, подключенный.
Кому мы принадлежим?

А женщину обхаживали
генерал-бриллианты.
Тот, кто ее улещивал, —
теперь обличать здоров.
Замученная игрушка
блистательных шулеров,
она с пустыми ушами
бродит по бильярдной,
где больше не слышно
шаров.

Пропали ее брильянты,
 салютами отпылали.
 Ведом генерал-бриллиантом,
 на «красный» шел «мерседес»...
 Лежит на снегах
 столица
 с выковырянными
 куполами.
 И выковырянные таланты
 с чужих
 взирают
 небес.

1986.

* * *

Моей жизни часть эмигрировала.
 Здесь жила. Пустила корни.
 С интересом сейчас игривым
 рассматривает меня.

Ты алмазно сияешь — краешком
 глаза, носа — как в нашу рань.
 Но сейчас ты — граненый камушек.
 Как далась тебе эта грань!

Расшибалась всмятку, в восьмерки.
 Пропасть пробовала на боках.
 Держишь русский кабак в Нью-Йорке
 на отчаянных каблучках.

В этой темной шикарной яме
 я узнаю — тебя потом —
 неполоманное твоё сиянье,
 словно малый алмазный фонд.

Якиманкой бежала шибко,
 в мировой провал сорвалась.
 И сияешь. И не расшиблась.
 Доказала, что ты алмаз.

* * *

Мозг умирает. Душа-эмигрантка
 быстро, как женщина, вещи свои соберет.
 Разум умрет. Но инстинкты
 тело за час покидают, как крысы бегут с корабля.
 Страхи ютятся в обоях настенных,
 пузырясь газетой под ними.
 Подлянка в сад улизнет.
 Это не бесы в лесу — бессонное подсознание.
 Зависть ползет,
 тщеславие свищет на ветках.
 Похоть охотится в балке. Тоска
 в ряске болотной живет,
 норовит заразить простодушную крякву
 или волка с нарушенной иммунной системой.
 Плачут, скитальцы, темнят.
 Вот почему так агрессивны погоды.
 Бойтесь ходить по грибы.

В ком же ты жил? Что за грешника мучил?
 Красный, белый, квадратный, раздирающий душу!
 Синий, винтообразный, засасывающий виной?
 Желтый, сферический, как противотуманная фара,
 съедающий белое дух?
 Это я понял, когда умирал Виктор Платонович.
 В кухню петух безголовый вбежал
 и рассвет прокричал.

Аксиома стрекозы

На левосторонних трассах,
 на путях правосторонних,
 на путях потусторонних,
 там, где аксиома власти
 машет огненной палкой,
 в аксиомах «влево», «вправо»
 жизнь я прожил не без риска.
 Есть единственная правда —
 аксиома самоиска.

Умирая, мне татарин,
 высланный из Симеиза,
 впившись в полумесяц миски
 алюминиевой, в замызге
 подарил это заклатье.

Но сказал: «Не будешь счастлив».

Это пишут на вершинах
 снежный человек и Ницше,
 на левосторонних книгах,
 на правосторонних книгах,
 на броске самоубийства,
 на самопознание наций
 и на аксиоме Бога,
 на губах авантюристики —
 аксиома самоиска.

Но распяты ладони
 аксиомы человека
 путь указывали людям
 то ли — влево, то ли — вправо...

Я искал на перекрестке
 трассы духа с трассой Минской.
 Слезничек сверкал лиловый
 женщины самофракийской —
 с крыльями, но безголовой.

В небе, как над рестораном,
 букв горел порядок странный,
 и в глазах сырые искры
 я читал необоротно:

А
 К
 С
 И
 О
 М
 А

С
 А
 М
 О
 И
 С
 К
 А

И она сказала: «Кисик!»
 Современная мадонна
 опровергла аксиомы
 постбрижитбардовских сисек.
 Что считалось аксиомой
 групп повышенного риска,
 стало нормой в каждом доме
 и в номенклатурных списках.
 На любви односторонней,
 на любви наоборотной,
 и на голубом пороке,
 и на ненависти белой,
 и на золотой разлуке
 лишь — не высказать без виски! —
 аксиома самоиска.

И сказал идущий мимо
 в маскировочных болотах
 с трупом музыки в футляре:
 «Что написано на майках?
 Что написано на лейблах
 наших лейблгвардейских задниц?
 Что написано на бунте
 в стиле рока или диска?
 Преодолевайте дисгармонию,
 как учит Дзига». В каждом самодоказуема
 и законом наказуема —
 чур, не путать с самосыском! —
 аксиома самоиска!

Мухой полз Буонарроти,
 крася на плафоне Сикста
 Рай и Ад наоборотный —
 аксиому самоиска.
 Жил я в аксиоме Рая,
 чуя аксиому Ада,
 жизнью, а не самопиской,
 и потерей самых близких
 оборачивалась наша
 аксиома самоиска.

Как я поздно слишком понял —
утаил татарин с миской —
смысл не только в самопоиске,
а к себе открытым иске!

Прости господи стояла
у машинного потока,
морща лобик новой мыслью.
Хмуро вглядывалась в диски.
Замирала вместо лейбла
изумрудная стрекозка
на малиновой скуле.

Прости господи, машины,
прости господи, летели.
Что ты в них искала? Прынца
в «Волге» папы? Или папу
с пачкой зелени искала?

Почему не подошел я?
С полчаса ты столбенела
в напряженье. Вдруг, зажмурясь —
мол, ищите меня в волгах! —
Молча бросилась под тачку.
Среди тормозного визга
я ее не видел дрызга.
Прости, Господи, таксиста!
Срок мотать за проститутку?
Прости, Господи, эпоху.
Прости, Господи, страну.

Голова в крови скакала
по шоссе, сверкнув стрекозкой.
Что кричал открытый ротик
рядом с отскочившим диском?

Ни молитвы. Ни записки.
Прости, Господи, тебя.
Изумрудная стрекозка
рядом в воздухе стоит.

Прокрути обратно, Дзига!
Выпрыгни, скула, к стрекозке!
За ней — лобик, за ним — тело.
Встань с асфальта!
Дыши. Брысь в гараж, машина!
Жизнь, крути обратно диски!
«Как зовут тебя?» — «Лариска.
Долго задом на игле торчала...»
Жизнь — лишь поиск воскресенья.
Мы стоим на перекрестке
трассы духа с трассой Минской —
вгиковский студент. Стрекозка.
Тени. Женщина с заминкой
в речи. Пес с ухом Мефисто.
И татарин симеизский.
Ужас от пережитого,
духа грязные поминки —
оглянусь — полно народу.
Все глядели в небо.

Где горит, как над воротами
перед выходом по списку, —
жизни крест наоборотный

А

К

С

И

О

М

А

А К С И О М А С А М О И С К А

А

М

О

И

С

К

А



ВАЛЕРИЙ РУБИН



РЕПОРТАЖ

1

Поравнялись — и мимо прошли,
пели тонкие ломкие горла...
Вертолеты их ждали вдали.
Шли они зеленее, чем форма.

— Мы отсюда бросаем десант,
эти парни нацелены драться.
Их еще, — пояснил лейтенант, —
называют в полку камикадзе.

Так спокойно он это сказал,
будто справил простую работу...
Я стоял и не верил глазам —
это вывели смертников роту.

Это шли — маскхалат, автомат...
Это бросил мне мальчик шагавший
свой прощальный просительный взгляд
перед ждавшей его рукопашной.

Это вот они пели о чем,
малым ростом ряды замыкая...
А убьют, мол, родная, — о том
будет почта тебе полевая.

Вот один — автомат на ремне! —
вдруг споткнулся о выступ кирпичный...
Это как же он так на войне? —
Ты скажи, лейтенант пограничный!

Может, просто их учат в песках
облачаться в военную шляпу
и на крытых грузовиках
подъезжать к вертолетному трапу.

Вот приедут, вернуться в свой дом
и покажут соседям, как надо
защищаться армейским ножом
или бить по затылку прикладом.

Или, взявшись за сердце свое,
вдруг очнутся, в спасенье не веря,
и охотничье чье-то ружье
не поднимется даже на зверя.

2

Постепенно в войсках перестали курить,
стоит ночью кому-то зажечь сигарету,
как противник использует эту примету,
начинает немедля ракетами бить.

И шутить постепенно не стали в войсках.
Здесь, на этой войне, неестественен Теркин,
стоит лишь отойти от машин на задворки,
как подходит опять притаившийся страх.

Постепенно в войсках воцарилась судьба,
и легенды пошли о ночных муджахидах...
Стало раненых меньше, но больше убитых,
вот такую прицельную стала стрельба.

3

А гроб-то закрытый...
А гроб-то забитый...
Сынок мой, сынок мой,
да ты ли убитый?

А гроб-то из цинка...
Да ты ли в нем, сынка?
Собралась вся школа,
пришла твоя Инка.

Пустите — пройду я...
На лоб не подую.
Хотя бы на крышку
твою упаду я,

чтоб все же добиться —
о, что же творится?!
Кому это надо?
И кто же убийца?..

Тахтабазар — Кушка.
Апрель 1988 г.



ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА



ПЕРВАЯ ПОПЫТКА

Рассказ

Моя записная книжка перенаселена, как послевоенная коммуналка. Некоторые страницы выпали, на одной разлилась вода, размыла чернила. Книжку надо переписать, а заодно провести ревизию прошлого. Кого-то взять в дальнейшую жизнь, кого-то захоронить в глубинах памяти.

Мне подарили новую записную книжку, и в один прекрасный день я села переписывать. Старая книжка — это шифр жизни, закодированный в буквах и цифрах, в именах и телефонах. Расставаться с ней жаль. Но надо. Потому что на этом настаивает время, которое вяжет свой сюжет.

Я открываю первую страницу.

«А». Александрова Мара...

Полное ее имя было Марла. Но люди за свои имена не отвечают, они их получают. Ее беременная мама гуляла по зоопарку и вычитала это имя на клетке с тигрицей. Тигрица была молодая, гибкая, еще не замученная неволей. Ей шло дикое, непостижимое имя — Марла. Романтичная мама решила назвать так будущего ребенка. А если родится мальчик, будет Марленом.

Родилась девочка. Неудобное и неорганичное для русского слуха «л» вылетело из ее имени в самый первый ясельный период, и, начиная с яслей, она всю жизнь была Марой. Марлой Петровной значилась только в паспорте.

Отца убили на третьем годе войны. Они с матерью жили тогда в эвакуации, в сибирской деревне. Из всей эвакуации запомнился большой бежевый зад лошади за окном. Это к матери приехал милиционер, а она ему вышивала рубашку. Еще помнила рыжего врача — мать и ему тоже вышивала рубашку. Мара все время болела, не одним, так другим. Врач приходил и лечил. Мать склонялась над Марой и просила: «Развяжи мне руки!»

Мара не понимала, чего она хочет. Руки и так были развязаны и плавали по воздуху во все стороны.

Потом война кончилась. Мара и мама вернулись в Ленинград. Из того времени запомнились пленные немцы, они строили баню. Дети подходили к ним, молча смотрели. У немцев были нормальные человеческие лица. Люди как люди. Один, круглолицый, в круглых очках, все время плакал. Мара принесла ему хлеба и банку крабов. Тогда, после войны, эти банки пирамидами высились на прилавках. Сейчас все исчезло. Куда? Может быть, крабы уплыли к другим берегам? Но речь не про сейчас, а про тогда. Тогда Мара ходила в школу, пела в школьном хоре:

Сталин — наша слава боевая,
Сталин — нашей юности полет.
С песнями борясь и побеждая,
Наш народ за Сталиным идет!

Мать была занята своей жизнью. Ей исполнилось тридцать лет. В этом возрасте женщине нужен муж, и не какой-нибудь, а любимый. Его нужно найти, а поиск — дело серьезное, забирающее человека целиком.

Мара была предоставлена сама себе. Однажды стояла в очереди за билетом в кино. Не хватило пяти копеек. Билет не дали. А кино уже начиналось. Мара бежала по улицам к дому и громко рыдала. Прохожие останавливались, потрясенные ее отчаянием.

Случались и радости. Однажды в пионерском лагере ее выбрали членом совета дружины. Она носила на рукаве нашивку: две полоски, а сверху звездочка. Большое начальство. У нее даже завелись свои подхалимы. Мара впервые познала вкус власти. Сладше этого нет ничего.

Дома не переводились крысы. Мать отлавливала их крысоловкой, а потом вместе с клеткой топила в ведре с водой. Мара запомнила крысиные лапки с пятью промытыми розовыми пальчиками, которыми она цеплялась за прутья, карабкалась по клетке вверх, спасаясь от неумолимо подступавшей воды. У матери не хватало ума освобождать дочь от этого зрелища.

Училась Мара на крепкое «три», но дружила исключительно с отличницами. Приближение к избранным кидало отсвет избранности и на нее. Так удовлетворялся ее комплекс власти. Но, надо сказать, и отличницы охотно дружили с Марой и даже устраивали друг другу сцены ревности за право владеть ее душой.

Весной пятьдесят третьего года умер Сталин. По радио с утра и до вечера передавали замечательную траурную музыку. Время было хорошее, потому что в школе почти не учились. Учителя плакали понастоящему. Мара собралась в едином порыве с Риткой Носиковой поехать в Москву на похороны вождя, но мать не дала денег...

Время в этом возрасте тянется долго-долго, а проходит быстро. Мара росла, росла и выросла. И на вечере в Доме офицеров познакомилась с красавцем журналистом Женькой Смолиным. Он пригласил ее на вальс. Кружились по залу. Платье развевалось. Центробежная сила оттягивала их друг от друга, но они крепко держались молодыми руками и смотрели глаза в глаза, не отрываясь. С ума можно было сойти.

В восемнадцать лет она вышла за него замуж.

Это был стремительный брак, брак-экспресс. Они расписались в загсе и тут же разругались, а потом продолжали ругаться утром, днем, вечером и ночью... Ругались страстно и потом с той же страстью мирились. Их жизнь состояла из ссор и объятий. Шла непрерывная борьба за власть. Мара обнаружила, что беременна, непонятно от чего, от ссор или от объятий. К пяти месяцам вырос живот, а потом вдруг стал как будто уменьшаться. Оказывается, бывает такое патологическое течение беременности, когда плод, дожив до определенного срока, получает обратное развитие, уменьшается и погибает. Охраняя мать от заражения, природа известкует плод. Он рождается через девять месяцев, как бы в срок, но крошечный и мертвый и в собственном саркофаге. Чего только не бывает на свете. И надо же, чтобы такое случилось именно с Марой. Врачи искали причину, но Мара знала: это ее любовь приняла обратное развитие и, не дозрев до конца, стала деградировать, пока не умерла.

После больницы Мара поехала на юг, чтобы войти в соленое упругое море, вымыть из себя прошлую жизнь, а потом лечь на берегу и закрыть глаза. И чтобы не трогали. И не надо ничего.

В этом состоянии к ней подошел и стал безмолвно служить тихий, бессловесный Дима Палатников, она называла его Димычкой. Димычка хронически молчал, но все понимал, как собака. И, как от собаки, от него веяло преданностью и теплом. Молчать можно по двум причинам: от большого ума и от беспросветной глупости. Мара пыталась

разобраться в Димычкином случае. Иногда он что-то произносил, готовую мысль или наблюдение. Это вовсе не было глупостью, хотя можно было бы обойтись. Когда Димычке что-то не нравилось, он закрывал глаза: не вижу, не слышу. Видимо, это осталось у него с детства. Потом он их открывал, но от этого в лице ничего не менялось. Что с глазами, что без. Они были невыразительные, никак не отражали работу ума. Такой вот — безглазый и бессловесный, он единственный из всех совпадал с ее издерганными нервами, поруганным телом.

Мара и Димычка вместе вернулись в Ленинград. Димычка — человек традиционный. Раз погулял — надо жениться. Они поженились, вступили в кооператив и купили машину.

Димычка был врач: ухо, горло, нос, — что с него возьмешь. Основной материально несущей балкой явилась Мара. В ней открылся талант: она шила и брала за шитье большие деньги. Цена явно не соответствовала выпускаемой продукции и превосходила здравый смысл. Однако все строилось на добровольных началах: не хочешь — не плати. А если платишь — значит, дурак. Мара брала деньги за глупость.

Дураков во все времена хватает, деньги текли рекой. Одного недоставало: престижности. Тогда, в шестидесятые годы, были модны космонавты. Их было мало, все на слуху, как кинозвезды. А портниха — что-то архаичное, несовременное, вроде чеховской белошвейки. Скажи кому-нибудь: «Портниха», — засмеют. Да и донесут. Мара просила своих заказчиц не называть ее квартиры лифтерше, сидящей внизу и сверлящей всех урочливым глазом. Мара строчила и вздрагивала от каждого звонка в дверь, как подпольщица.

Сегодня, в конце восьмидесятых годов, многое изменилось. Космонавтов развелось столько, что и не упомнишь всех. А талантливый модельер гремит, как кинозвезда. Но это теперь, а тогда...

Устав вздрагивать и унижаться, а заодно скопив на движимое и недвижимое, Мара забросила шитье и пошла работать на телевидение. Вот уж где человек обезличивается, как в метро. Зато на вопрос: «Чем вы занимаетесь?» — можно ответить: «Ассистент режиссера». Это тебе не портниха. Хотя ассистент на телевидении что-то вроде официанта: подай, принеси, поди вон.

В этот период жизни я и пересеклась с Марой, именно тогда в моей записной книжке было воздвигнуто ее имя.

Познакомились мы под Ленинградом, в Комарове. Мы с мужем приехали отдыхать по путевке в Дом творчества ВТО. Был не сезон, дом пустовал, и ВТО предлагало места нетворческим организациям. В том числе и нам, геологам.

В один из дней, когда мы с мужем прогуливались неподалеку от корпуса, к нам подошла молодая женщина в дорогой шубе до пят, спросила, не из этого ли мы дома. Услышав «да», начала выяснять, какие здесь условия, нельзя ли посмотреть номер и стоит ли сюда приезжать. Мне не хотелось возвращаться, но отказать было невозможно, потому что на ней была настоящая шуба, а на мне синтетическое бархатло, и еще потому, что она д а в и л а. Как-то само собой разумеется, что я должна подчиниться. Я покорно сказала: «Пожалуйста» — и повела незнакомку в свой триста пятнадцатый номер. Там она все оглядела, включая шкафы, открывая их бесцеремонно. Одновременно с этим представилась: ее зовут Мара, а мужа Димычка.

Димычка безмолвно переживал с никаким выражением, время от времени подавал голос:

— Мара, пошли...

Мы отправились проводить гостей. Димычка шел рядом как бы ни при чем, но от него веяло покоем и порядком. Они гармонично смотрелись в паре, как в клоунском альянсе: комик и резонер. Димычка молчал, а Мара постоянно работала: парила, хохотала, блестя наряд-

ными белыми зубами, золотисто-рыжими волосами, самоутверждалась, утверждала себя, свою шубу, свою суть, просто вырабатывала в космос бесполезную энергию. Я догадывалась: она пристала к нам на тропе из-за скуки. Ей было скучно с одним только Димычкой, был нужен зритель. Этим зрителем в данный момент оказалась я, жалкая геологиня, живущая на зарплату, — обычная, серийная, тринадцать на дюжину.

Вечером после ужина они уехали. Мара обещала мне шить юбку, а взамен потребовала дружбу. Я согласилась. Была в ней какая-то магнетическая власть, не хочешь, а делаешь. Как семечки: противно, а не оторвешься.

Когда они уехали, я сказала:

— В гости звали.

— Только без меня, — отрезал муж.

Мужа она отталкивала, а меня притягивала. В ней была та мера «пре» — превосходства, преступления каких-то норм, в плену которых я существовала, опутанная «неудобно» и «нельзя». Я была элементарна и пресна, как еврейская маца, которую хорошо есть с чем-то острым. Этим острым стала для меня Мара.

Влекомая юбкой, обещанной дружбой и потребностью «пре», я созвонилась с Марой и поехала в Ленинград.

Она открыла мне дверь. Я вздрогнула, как будто в меня плеснули холодной водой. Мара была совершенно голая. Ее груди глядели безбожно, как купола без крестов. Я ожидала, что она смутится, замечется в поисках халата, но Мара стояла спокойно и даже надменно, как в вечернем платье.

— Что это ты, — растерялась я, — голая?

— А что? — удивилась Мара. — Тело. У тебя другое, что ли?

Я подумала, что в общих чертах то же самое. Смирилась. Шагнула в дом. Мара пошла в глубь квартиры, унося в перспективу свой голый зад.

— Ты моешься? — догадалась я.

— Я принимаю воздушные ванны. Кожа должна дышать.

Мара села за машинку и стала строчить мне юбку. Подбородок она подвязала жесткой тряпкой. Так подвязывают челюсть у покойников.

— А это зачем? — спросила я.

— Чтобы второй подбородок не набегал. Голова же вниз.

Мара за сорок минут справилась с работой, кинула мне юбку, назвала цену. Цена оказалась на десять рублей выше условленной. Так не делают. Мне стало стыдно за нее, я смутилась и мелко закивала головой: дескать, все в порядке. Расплатившись, я поняла, что на билет до Москвы хватит, а на постель — уже нет. Наверное, проводник удивится.

— «Молнию» сама вошьешь, — сказала Мара. — У меня сейчас нет черной.

Значит, она взяла с меня лишнюю десятку за то, что не вшила «молнию».

Сеанс воздушных ванн окончился. Мара сняла с лица тряпку, накинула японский халат с драконами. Халат был из тончайшего шелка, сербристо-серый, перламутровый.

— Сама сшила? — поразилась я.

— Да ты что, это настоящее кимоно, — оскорбилась Мара. — Фирма.

Я поняла: шьет она другим, себе же на эти деньги покупает «фирму».

Освободив челюсть, Мара получила возможность есть и разговаривать. Она сварила кофе и стала рассказывать о своих соседях из пятидесятой квартиры: Саше и Соше. Саша — это Александр, а Соша — Софья. Соша — маленькая, беленькая, обесцвеченная, как будто

ее вытащили из перекиси водорода. Но что-то в ней есть. Хочется задержаться глазами, всмотреться. А начнешь всматриваться, то открываешь и открываешь... В неярких северных женщинах, как в северных цветах, гораздо больше прелести, чем в откровенно роскошных южных георгинах. Там ударит по глазам, стой и качайся. Но долго не прстоишь. Надоест. А в незабудку всматриваешься, втягиваешься... Однако дело не в северных цветах и не в Соше. Дело в том, что Мара влюбилась в Сашу и ей требовалось кому-то рассказать, иначе душа перегружена, нечем дышать.

Этим «кем-то» Мара назначила меня. Я человек неопасный, из другого города, случайна, как шофер такси. Можно исповедоваться, потом выйти и тут же забыть. Вместо того чтобы вовремя попрощаться и уйти, я как бобик просидела до двух часов ночи. А родной муж в это время стоял на платформе Комарово во мраке и холоде, встречал электрички и не знал, что думать.

Ночь мы положили на выяснение отношений. День — на досыпание. Из отдыха вылетели сутки. И все из-за чего? Из-за Саши и Соши. А точнее, из-за Мары. Позднее я установила закономерность: где Мара — там для меня яма. Если она звонит, то в тот момент, когда я мою голову. Я бегу к телефону, объясняю, что не могу говорить, но почему-то разговариваю, шампунь течет в глаза, вода по спине, кончается тем, что я простужаюсь и заболеваю. А если звонок раздается в нормальных условиях и я, завершив разговор с Марой, благополучно кладу трубку, то, отходя от аппарата, почему-то цепляюсь ногой за телефонный шнур, падаю, разбиваю колено, а заодно и аппарат. Оказываюсь охромевшей и отрезанной от всего мира. Как будто господь трясет пальцем перед моим носом и предупреждает: не связывайся. Но бес подмигивает мне глазом, и я ничего не могу поделать.

Комарово закончилось тем, что мы с мужем вернулись в Москву на пыльных матрацах без простыней, зато с юбкой без «молнии», с осадком ссоры и испорченного отпуска.

Мара осталась в Ленинграде. Работала на телевидении, подрабатывала дома на машинке. Вернее, наоборот. На швейной машинке она работала, а на телевидении подрабатывала. Но и дома и на работе, днем и ночью она бесменно думала о Саше. Димычка не старше Саши, но все равно старший. Он и в три года был пожилым человеком. В альбоме есть его фотокарточка: трехлетний, со свисающими щеками, важным выражением лица — как у зубного врача с солидной практикой. А Саша и в сорок лет — трехлетний, беспомощный, как гений, все в нем кричит: люби меня... Какая счастливая Соша...

Димычка ни с того ни с сего ударился в знахарство, отстаивал мочу в банках — новый метод лечения: возвращать организму его собственные отходы. А рядом за стенкой — такой чистый после бассейна, такой духовный после симфонии Калининкова, такой чужой, как инопланетянин... Все лучшее в жизни проходило мимо Мары. Ей оставались телевизионная мельтешня, капризные заказчицы и моча в трехлитровых банках.

Однажды Мара возвращалась домой. Ее подманила лифтерша, та самая, с урочливым глазом, и по большому секрету сообщила, что из пятидесятой квартиры жена ушла к другому. Этот другой приехал днем на машине «Жигули» желтого цвета, и они вынесли белье и одежду в тюках, а из мебели — кресло-качалку. Новый мужчина, в смысле хахаль, из себя видный, чернявый и с усами. Очень модный. На летних ботинках написаны буквы, такие же буквы на куртке.

— Может быть, он сам их пишет,— предположила Мара, чтобы отвлечь лифтершу от своего изменившегося лица.

Вечером, после концерта, в черном костюме с бабочкой пришел Саша и спросил, когда надо мыть картошку: до того, как почистить, или после? Мара сказала, что два раза — и до и после. Саша

стоял и не уходил. Мара пригласила его пройти. Она сама поджарила ему картошку, а Саша в это время сидел возле Димычки, и они оба молчали. Димычка вообще был неразговорчивым человеком, а Саше не хотелось ни с кем разговаривать и страшно было оставаться одному. Ему именно так и хотелось: с кем-то помолчать, и не с кем попало, а с живым, наполненным смыслом человеком.

Мара поджарила картошку в кипящем масле, как в ресторане. Мяса не было, она поджарила сыр сулугуни, обмакнув его предварительно в яйцо и муку. Накормила мужчин. Саша впервые в жизни ел горячий сыр. Он ел и плакал, но слезы не вытекали из глаз, а копились в сердце. Мара любила Сашу, поэтому ее сердце становилось тяжелым от Сашиных слез. Она молчала.

Это было в одиннадцать вечера. А в четыре утра Мара выскользнула из широкой супружеской постели от спящего и сопящего Димычки, сунула ноги в тапки, надела халат с драконами, вышла на лестничную площадку и позвонила к Саше.

Тотчас раздалися шаги — Саша не спал. Тотчас распахнулась дверь — Саша не заперся. Он ждал Сошу, он был уверен: она передумает и вернется. Ей нужна была встряска, чтобы все стало на свои места. И теперь все на местах. Соша вернулась и звонит в дверь. Он ее простил. Он не скажет ни одного слова упрека, а просто встанет на колени. Черт с ним, с мужским самолюбием. Самолюбие — это любить себя. А он любит ее, Сошу.

Саша открыл дверь. На пороге стояла соседка. Чужая женщина, при этом глубоко ему несимпатичная. Саша не переносил ее категоричности, ее смеха. Не женщина, а фельдфебель.

Мара увидела, как по Сашину лицу прошла стрелка всех его чувств: от бешеного счастья в сто градусов до недоумения, дальше вниз до нуля и ниже нуля — до минуса. Маре стало все ясно.

— Ты извини,— виновато попросила она.— Но я испугалась. Мне показалось, ты хочешь выкинуться из окна. Чушь какая-то... Ты извини, конечно...

Человек думает о человеке. Не спит. Прибегает. Тревожится. Значит, не так уж он, Саша, одинок на этом свете. Пусть один человек. Пусть даже ни за чем не нужный. И то спасибо.

— Проходи,— пригласил Саша.

— Поздно уже,— слабо возразила Мара.

— Скорее рано,— уточнил Саша и пошел варить кофе.

Что еще делать с гостьей, явившейся в четыре утра.

Мара села за стол. Смотрела в Сашину спину и чувствовала себя виноватой. В чем? В том, что она его любит, а он ее нет. Она только что прочитала это на Сашинем лице. Чем она хуже Соши, этой бесцветной моли, предательницы? Вот этим и хуже. Мужчин надо мучить, а не дребезжать перед ними хвостом. Мара прислушивалась к себе и себя не узнавала. В принципе она была замыслена и выполнена природой как потребительница. Она готова была потребить все, что движется и не движется, затолкать в себя через все щели: глаза, уши, рот и так далее. А здесь, с этим человеком, наоборот, хотелось всем делиться, оторвать от себя последний кусок, снять последнюю рубашку. Так просто, задаром подарить душу и тело, только бы взял. Только бы пригодилось. Оказывается, в ней, в Маре, скопилось так много неизрасходованных чувств, слов, нежности, ума, энергии — намело целый плодородный слой. Упадет зерно в благодатную почву — и сразу, как в мультфильме, возрастет волшебный куст любви.

Первый муж, Женька Смолин, тоже потребитель. Его главный вопрос был: «А почему я должен?» Он считал, что никому ничего не должен, все должны ему. А Мара считала, что все должны ей. Пошел эгоизм на эгоизм. Они ругались до крови, и в результате два гроба: души и плоти. На Димычке Мара отдыхала от прежней опустошительной войны. Но это была не любовь, а выживание. Само-

сохранение. А любовь — вот она. И вот она — вспаханная душа. Но сеятель Саша берег свои зерна для другого поля.

Маре стало зябко, захотелось пожаловаться. Но кому? Жаловаться надо заинтересованному в тебе человеку. Например, матери. Но мать забыла, как страдала сама. Теперь у нее на все случаи жизни — насмешка. Димычке? Но что она ему скажет? Что любит соседа Сашу, а с ним живет из страха одиночества?

Мара поникла и перестала быть похожей на фельдфебеля. Саша разлил кофе по чашкам. Сел рядом. Положил голову ей на плечо и сказал:

— Мара, у тебя есть хороший врач? Покажи меня врачу.

— А что с тобой?

— Я.. ну, в общем, я не мужчина.

— В каком смысле? — не поняла Мара.

— В прямом. От меня из-за этого Сонька ушла.

— А может быть, дело не в тебе, а в Соньке?

Мара чувствовала людей кожей. Она была убеждена, что сексуальная энергия, как и всякая другая, имеет свою плотность и свой радиус. От некоторых мужчин вообще ничего не исходит. Нуль. От других — хоть скафандр надевай, не то облучишься. Сашу она чувствовала даже сквозь бетонные стены своей квартиры.

— При чем тут Сонька? — Саша поднял голову с ее плеча. — Ты, наверное, не понимаешь, о чем идет речь.

— Прекрасно понимаю. Идем. — Мара поднялась из-за стола.

— Куда? — не понял Саша.

— Я тебе докажу.

Саша подчинился. Пошел вслед за Марой. Они легли на широкую арабскую постель. Мара спорила с Сошей. Доказывала. И доказала. Она доказала Саше не только его мужскую состоятельность, но более того — гениальность. Принадлежность к касте избранных. Только биологические феномены могут так тонко и так мощно слышать жизнь, ее спрессованную суть. Таких, как Саша, больше нет. Ну, может быть, еще есть один, где-нибудь в Индии или в Китае. А в Советском Союзе точно нет. Во всяком случае она, Мара, не слышала.

Саша улыбался блаженно, наполненный легкостью. Мара смотрела на него, приподнявшись на локте. Он был таким ее, будто вызрел в ней, она его родила, у них до сих пор общее кровообращение.

— Хочешь, я тебе расскажу, как я тебя люблю? — спросила Мара.

Он едва заметно кивнул. Для глубокого кивка не было сил. Мара долго подыскивала слова, но слова пришли самые простые, даже бедноватые.

— Ты хороший, — сказала она. — Ты лучше всех. Ты единственный. Саша хотел спать, но было жалко тратить время на сон.

Они проговорили до шести утра.

Мара, как заправский психоаналитик, заставила Сашу вернуться в точку аварии, вспомнить, как все началось.

И Саша вспомнил. Два года назад они отдыхали с Сошей на море. Он пошел купаться в шторм и не мог выйти на берег. В какую-то минуту понял, что не выплывет, утонет возле берега.

Когда вернулся в номер, его качало. Он лег, закрыл глаза и видел перед собой мутно-зеленые пласты воды. У Соши было совсем другое состояние души и тела. Она тянулась к мужу, но казалась ему волной. Хотелось из нее вынырнуть. Соша обиделась и сказала неожиданно грубо:

— Импотент.

Саша попытался тут же опровергнуть обвинение, но ничего не вышло. Вечером он вспомнил, что ничего не вышло, испугался, и

уже страх, а не усталость, помешал ему. Далее страх закрепился, в мозгу что-то заклинило. Мозг посылал неверные сигналы, и случайно брошенное слово превратилось в диагноз.

Соша перестала верить в него. И он перестал верить в себя. Потом ему стало казаться, что это заметно. Все видят и хихикают в кулак. Саша стал плохо играть свои партии в оркестре. Дирижер потерял к нему интерес. Надвигался конкурс. Саша понимал, что его переиграют. Соня ушла. Из оркестра — уйдут. Он — пустая, бессмысленная, бесполоая оболочка. Весь город, весь мир хохочет ему в спину. Этой ночью он вышел на балкон, смотрел вниз и уже видел себя летящим враскорячку, с отдуваемыми руками и ногами. А потом нелепым плевком лежащим на асфальте. Саша испытывал к себе не жалость, а брезгливость. Он не любил себя ни живого, ни мертвого. А уж если сам себя не любишь, то чего требовать от других. И в этот момент раздался звонок в дверь, вошла женщина, чужая жена, и сказала: «Ты лучше всех. Ты единственный».

Он поцеловал ей руку. Как еще благодарить, когда тебе возвращают тебя? Иди живи. Ты лучше всех. Ты единственный.

Мара вернула Сашу в точку аварии. Устранила поломку в мозгу. И жизнь встала на все четыре колеса.

Утром Мара вернулась к спящему, ни о чем не подозревавшему Димычке. А Саша спать не мог. Он начинал новую жизнь.

Вечером был концерт. Дирижер сказал, что Сашин си-бемоль сделал всю симфонию. Коллеги-оркестранты заметили, что из Сашиных глаз летят звезды, как во время первомайского салюта. Он помолодел, похорошел и попрекраснел. А Саша, в свою очередь, увидел, какие замечательные таланты вокруг него, одушевляющие железки и деревяшки. Ведь что такое тромбон или скрипка? Это железка и деревяшка. А когда человек вдыхает в них свою душу — они живые. И наоборот. Если в человеке погасить душу, он становится деревяшкой или железкой. Вот ведь как бывает.

Саша после концерта не шел, не брел, как прежде, а прорезал пространство. Он устремлялся домой. Дома его ждала Мара. Она открыла Сашу, как материк, и собиралась учредить на этом материке свое государство.

А Саша не смотрел далеко вперед. Он просто ликовал, утверждал себя. Утверждал и подтверждал.

Так прошел месяц.

Соша этот месяц вила новое гнездо с новым мужем Ираклием. Одно дело встречаться, другое — жить одним домом. Ираклий набивал дом гостями, это входило в национальные традиции, а Соша безмолвно подавала на стол и убирала со стола. Это тоже входило в традиции: женщина должна знать свое место.

Ираклий работал в строительной науке, писал диссертацию на тему «Ликвидация последствий атомного взрыва». Соше казалось, что после атомного взрыва уже не кому будет ликвидировать последствия. Она ничего в этом не понимала, да и не хотела понимать. И так по телевизору с утра до вечера талдычат об этом, жить страшно. А вот в Сашиной музыке Соша понимала все. За семь лет совместной жизни она научилась читать дирижерскую сетку, отличала главную партию от побочной, знала всех оркестрантов, слышала, как они вплетают свои голоса. Могла узнать с закрытыми глазами: это Фима... это Додик... это Андрей... А теперь все вместе: Фима, Додик и Андрей.

Хорошее было время.

Соша ностальгировала о прежней жизни, хотя была вполне счастлива с Ираклием. Она готовила ему хинкали вместо пельменей и в этот момент думала о том, что Саша — голодный и заброшенный, тогда как Ираклий окружен гостями, хинкалями и Сошей. Она взды-

хала и набирала Сашин номер. А когда слышала его голос, опускала трубку. Что она ему скажет?

Саша понимал происхождение звонков, и когда Мара тянула руку, он падал на телефон, как коршун с неба. Скрывал Мару. А однажды сказал озабоченно:

- Слушай, собери свои шпильки-брошки, сегодня Сошка придет.
- Зачем? — неприятно удивилась Мара.
- Хочет мне обед сготовить. Думает, я голодный.

Мара собрала шпильки-брошки, отнесла их к Димычке. Она жила на два дома, благо до второго дома было, как до смерти, — четыре шага.

Димычка ни о чем не подозревал. Он был занят. К нему валил народ, поскольку знахарям во все времена верили больше, чем врачам. Ему было даже удобнее, когда Мара у соседней.

Сашу тоже устраивала такая жизнь: работа — праздник. Мара — праздник. Но самые большие праздники — Сошины появления. Она приходила в середине дня с виноватым лицом, тихо двигалась, перебирала ручками, варила, пылесосила. Хороший человек — Соша. Мара — сама страсть. Он ее желал. А любил — Сошу. Оказывается, это не одно и то же. Кто-то умный сказал, что плоть — это конь. А дух — это всадник. И если слушать одного только коня, он завезет в хлев. Слушать надо всадника.

Мара один раз унесла свои шпильки, другой. А в третий раз — оставила на самом видном месте. Соша не заметила. Тогда Мара позвонила к ней на работу в НИИ и назначила свидание в Таврическом саду. Соша удивилась, но пришла. Она заранее догадывалась о теме предстоящего разговора. Мара прилетит ангелом-хранителем семейного очага. Будет уговаривать вернуться к Саше. Она ведь не знает причины. А со стороны все выглядит так славно, почти идеально, как всегда бывает со стороны. Мара опаздывала. Соша тоскливо смотрела на дворец, который Потемкин построил, чтобы принять в нем Екатерину Вторую. А у Екатерины уже был другой, Потемкина она уже исчерпала. Почему Екатерине можно, а ей, Соше, нельзя? Она, конечно, не царица, но ведь ей дворцов не строят. Однокомнатная квартира в новостройке.

Появилась Мара и сказала с ходу:

- Больше к Саше не ходи. Ушла — и с концами.
- А твое какое дело? — удивилась Соша.
- Самое прямое. Он — мой. (Соша подвытаращила глаза.) Да, мой, — подтвердила Мара. — И душой и телом. И нечего тебе у него делать. Обойдемся без твоих жлобских супчиков.

Димычка высчитал, что, когда коров забивают, они испытывают смертный ужас, этот ужас передается в кровь, через кровь — в мышцы. И человечество поголовно отравляется чужим ужасом... Отсюда агрессия, преступность, болезни, раннее старение. Есть надо дары моря и леса, а питаться живыми разумными существами — все равно что поедать себе подобных.

Сошу поразили не «жлобские супчики», а Сашино двурушничество. Двуликий Янус. Ну что ж. Зато теперь все ясно. Можно не угрызаться и не разрываться. Можно спокойно развестись и нормально расписаться. А Сашу отдать Маре.

— Вот тебе! — Соша протянула Маре изысканную фигу, сложенную из бледных породистых пальцев.

— Он мой! — повторила Мара, игнорируя фигу.

— Посмотрим...

В этот же вечер Соша вернулась к Саше, и лифтерша видела, как в лифт втаскивали кресло-качалку.

И в тот же вечер Мара позвонила к ним в квартиру. Открыла Соша. Она была в переднике. Видимо, восточный человек приучил к круглосуточному трудолюбию.

— Я забыла у Саши малахитовое кольцо,— сказала Мара.

— Где? — спросила Соша.

— В кухне. А может, в спальне.— Мара пометила места своего обитания.

Соша не пригласила пройти. Отошла. Потом вернулась.

— Кольца нет,— сказала она.— Ты у кого-то другого забыла. И закрыла дверь.

Кольцо действительно было дома, лежало в шкатулке, и Мара это знала. Просто она хотела бросить какой-нибудь камень в их семейную гладь. Но большого камня у нее не было — так, маленький малахитик овальной формы. Саша виноватым себя не считал. Он ее не звал. Она сама пришла в ночи. Он ее не соблазнял. Она сама уложила его рядом с собой. Он ничего не обещал. Она сама надеялась. Правда, она его любила. Так ведь она, а не он.

Через неделю Саша вошел в раскрытый лифт. Там стояла Мара. Если бы знал, что она внутри,— пошел бы пешком на шестнадцатый этаж. Поднимались вместе и молча. Саша старался смотреть мимо, а Мара смотрела в упор. Искала его глаза. Потом спросила, тоже в упор:

— Так бывает?

— Значит, бывает,— ответил Саша.

Вот и все.

Через полгода Соша вернулась к Ираклию. Мара не стала доискиваться причин. Она к Саше не вернулась. Да он и не звал. Он надеялся встретить женщину, которая соединит воедино плоть и дух, когда конь и всадник будут думать одинаково и двигаться в одном направлении.

Для Мары прекратился челночный образ жизни. Она осела, притихла возле Димычки, говорила всем, что ей очень хорошо. Что семья — это лаборатория на прочность, а ее дом — ее крепость. Лабораторию придумала сама, а крепость — англичане. Но иногда на ровном месте с Марой в ее крепости случалась истерика, она кидала посуду в окно, и Димычка был в ужасе, поскольку чашки и тарелки могли упасть кому-нибудь на голову.

На фоне личных событий граждан протекала общественная жизнь страны. К власти пришел Никита Сергеевич Хрущев и первым делом отменил Сталина. «Сталин — наша слава боевая, Сталин — нашей юности полет» оказался тираном и убийцей. Оттепель коснулась всех своим весенним дыханием. Напечатали «Один день Ивана Денисовича», все прочитали и поняли: наступили другие времена.

Никита Сергеевич был живой, его можно было не бояться и даже дразнить «кукурузником». Кончилось все тем, что его сняли с работы. Это был первый и пока единственный глава государства, которого убрали при жизни и он умер на пенсии. Скульптор, которого Хрущев природно разругал, сочинил ему памятник, составленный из черного и белого. Света и тени. Трагедии и фарса.

Потом началось время, которое сегодня определяют как «полоса застоя». Появился новый термин «диссидент» и производные от него: «задиссидил», «диссидá махровая» и т. д. Застой наблюдался в политике и в экономике, но в Мариной жизни семидесятые годы — это период бури и натиска.

Мара встретила Мырзика. У него были имя, фамилия, занятие: ассистент оператора. Но она назвала его Мырзик. Так и осталось.

Познакомились на телевидении. Вместе вышли однажды с работы. Мара пожаловалась, что телевидение сжирает все время, не остается на личную жизнь.

— А сколько вам лет? — удивился Мырзик.

— Тридцать семь,— ответила Мара.

— Ну так какая личная жизнь в тридцать семь лет? — искренне удивился Мырзик. — Все. Поезд ушел, и рельсы разобрали.

Мара с удивлением посмотрела на этого командировочного идиота, приехавшего из Москвы. А тот, в свою очередь, рассматривал Мару своими детдомовскими глазами.

Впоследствии оба они отметили, что этот взгляд решил все.

Была ли то любовь с первого, вернее, со второго взгляда? Все сложнее и проще.

Кончилась ее жизнь на этаже, где Саша, где Димычка. Там она умерла. Оттуда надо было уходить. Куда угодно. Мара даже подумывала найти стоящего еврея и уехать с ним за синие моря, подальше от дома. Но стоящего не подвернулось. Подвернулся Мырзик. Мара видела, что он молод для нее, жидковат, вообще — Мырзик. Но нужно было кончать со старой жизнью.

Когда Мара объявила Димычке о своей любви, Димычка не понял, чего она от него хочет.

— Я люблю, — растолковала Мара.

— Ну так и люби. Кто тебе запрещает?

— Я хочу уйти от тебя.

— А зачем?

— Чтобы любить.

— А я что, мешаю?

Мара опустила голову. Ей показалось в эту минуту, что Димычка больше Мырзика. Мырзик хочет ее всю для себя, чтобы больше никому. А Димычка, если он не смог стать для нее всем, согласен отойти в сторону, оберегать издали. А она, Мара, сталкивала его со своей орбиты. И он боялся не за себя. За нее.

Мара заплакала.

Разговор происходил в кафе. Мырзик сидел за соседним столиком, как посторонний. Он следил со своей позиции, чтобы Димычка не увел Мару, чтобы не было никаких накладок, чтобы все окончилось его, Мырзиковой, победой.

Потом он сказал Маре:

— У тебя голова моталась, как у раненой птицы. Мне было тебя очень жалко.

Мара тогда подумала: где это он видел раненую птицу? Небось сам и подбил. Детдомовец.

Мара и Мырзик переехали в Москву. Перебравшись в столицу, Мара вспомнила обо мне, появилась в нашем доме и привела Мырзика. Она повсюду водила его за собой как подтверждение своей женской власти, живой знак почета. Мырзик обожал, обожествлял Мару. Все, что она говорила и делала, казалось ему гениальным, единственно возможным. Он как будто забыл на ней свои глаза, смотрел не отрываясь.

У нас с мужем только что родилась дочь, и нам казалось, что за нами стоит самая большая правота и правда жизни. Но при вспышке их счастья моя жизнь, увешанная пеленками, показалась мне обесцвеченной. Я почувствовала: из моей правоты вытащили затычку, как из резиновой игрушки, и правота со свистом стала выходить из меня.

Мы сидели на кухне, пили чай. Мара демонстрировала нам Мырзика.

— Смотрите, рука. — Она захватывала его кисть и протягивала для обозрения. Рука была как рука, но Мара хохотала, блестя крупными яркими зубами. — Смотрите, ухо. — Она принималась разгребать его есенинские кудри. Мырзик выдирался. Мара покатывалась со смеху. От них так и веяло счастьем. Счастье Мырзика было солнечным, а у Мары — лунным, отраженным. Но все равно счастье.

Внезапно Мара сдернула Мырзика с места, и они засобирались домой. Наш ребенок спал. Мы пошли их проводить. Мара увела меня вперед и стала уговаривать, чтобы я бросила мужа. Это так хорошо, когда бросаешь мужа. Такое обновление, будто заново родишься и заново живешь.

Я слушала Мару и думала о своей любви. Мы познакомились с мужем в геологической партии, оба были свободны, и все произошло само собой. Палатки были на четверых, мы пошли обниматься ночью в тайгу и долго искали место, чтобы не болото и не муравьи. Наконец нашли ровную твердь, постелили плащ — и нас тут же осветили фары грузовика. Оказывается, мы устроились на дороге. Я шастнула, как коза, в кусты и потеряла лифчик. Утром ребята-геологи нашли, но не отдали. И когда я проводила комсомольские собрания, взывала к их комсомольской чести и совести, они с задних рядов коварно показывали мне мой лифчик.

Хорошее было время, но оно ушло. За десять лет наша любовь устала, пообчужилась, как бы надела рабочую робу. Но я знала, что не начну новую жизнь, и мое будущее представилось мне долгим и одинаковым, как степь.

Наверное, и муж думал о том же самом. Мы возвращались молча, как чужие. Наш ребенок проснулся и плакал. И мне показалось, что и он оплакивает мою жизнь.

Вот тебе и Мара. Как свеча: посветила, почадила, накапала воском... Она раскачала во мне тоску по роковым-страстям, по горячему дыханию жизни. А зачем?

Итак, Мара и Мырзик в Москве. В его однокомнатной квартире в Бибиреве. Бибирево — то ли Москва, то ли Калуга. Одинаковые дома наводили тоску, как дождливое лето.

Мара позвала плотника Гену. Гена обшил лоджию деревом, утеплил стены и потолок, провел паровое отопление. Образовалась еще одна комната, узкая и длинная, как кусок коридора, но все же комната. Мара поставила туда столик, на столик швейную машинку «Зингер», вдоль стены гладильную доску. И — вперед... Этот путь ей был знаком и мил. Шила только тем, кто ей нравился внешне и внутренне. Кидалась в дружбу, приближала вплотную, так, что листка бумаги не просунуть, а потом так же в одночасье отшивала, ссорилась. У нее была потребность в конфликте. Бесовское начало так и хлестало из нее. Все-таки она была прописана в аду.

Через год Мара обменяла Бибирево на Кутузовский проспект, купила подержанный «Москвич» и японскую фотоаппаратуру «Сейка». Аппаратура предназначалась Мырзику. Мара решила сделать из него фотокорреспондента, чтобы тот останавливал мгновения — прекрасные или безобразные, в зависимости от того, что в данный момент требуется стране. Горящий грузовик, передовик производства, первый раз в первый класс.

В новой квартире Мара разломала стены, выкроила темную комнату — получилась фотолаборатория. Мара помогала Мырзику не только проявлять, но и выбирать сюжеты. Она оказалась талантлива в этой сфере, как и во всех прочих. Мырзика пригласили работать в агентство печати «Новости», пропагандировать советский образ жизни. Мара добилась его выставки, потом добилась, что он со всеми разругался. Мырзика выгнали с работы.

Мара была как сильное лекарство с побочными действиями. С одной стороны — исцеление, с другой — слабость и рвота. Неизвестно, что лучше.

Сначала Мырзику казалось, что иначе быть не может, но однажды вдруг выяснилось, что может и иначе. Он бросил Мару и ушел к другой, молодой и нежной и от него беременной, для которой он был не Мырзик, а Леонид Николаевич. С Марой он забыл, как его зовут.

Если вернуться назад, в исходную точку их любви, то чувство к Маре было несравненно ярче и мощнее, чем эта новая любовь. Но с Марой у него не было перспектив. Ну, еще одна машина, дача, парники на даче. А кому? Мырзику скучно было жить для себя одного. Хотелось сына, подарить ему счастливое детство. Мырзик был домоводец, знал, что такое детство.

Мара попыталась остановить Мырзика, отобрав у него материальное благосостояние. Но Мырзик изловчился и не отдал. Как это ему удалось — уму непостижимо. И «Сейку» унес, и из дома выгнал, как лиса зайца. Вот тебе и Мырзик.

На работу он вернулся и завоевал мир. Ну, не весь мир, а только тот, который сумел постичь своим умом. Мырзик не пропал без Мары, а даже возвысился, и это было обиднее всего.

В этот переломный момент своей жизни Мара снова появилась у меня в доме и поселилась на несколько дней. Ей было негде преклонить голову — в буквальном смысле слова негде ночевать. Пол-Москвы знакомых, а никому не нужна. Нужна была та, победная и благополучная, а не эта — ограбленная и выгнанная. И ей в свою очередь не понадобились те, с обложек журналов. Захотелось прислониться к нам, обычным и прочным. Мы геологи, земля нас держит, не плывет из-под ног.

Мой муж ушел ночевать к родителям, они жили ниже этажом, Мара легла на его место. Трагедия делает человека выше, но Мара и тут сумела остаться собой. Она засунула в нос чеснок — у нее был насморк, а чеснок обладает антисептическим действием — и захрапела, поскольку нос был забит. Непривычные звуки и запахи выбили меня из сна. Я заснула под утро. Но тут проснулась Мара. Она нуждалась в сочувствии, а сочувствовать может только бодрствующий человек, а не спящий.

Мара растолкала меня и поведала, чем она жертвовала ради Мырзика: Димычкой, домом, архитектурой Ленинграда... Призвала мою память: чем был Мырзик, когда она его встретила, — шестерка, подай-принеси, поди вон. А чем стал?.. И вот когда он чем-то стал, ему оказались не нужны свидетели прежней жизни. И какая она была дура, что поверила ему, — ведь у него было все написано на лице. Он использовал ее, выжал, как лимон, и выбросил. Одну, в чужом городе.

— Вернись обратно, — посоветовала я. — Димычка будет счастлив. Мара замолчала. Раздумывала.

Возвращаться обратно на шестнадцатый этаж, где ходит желтоглазый Саша — такой близкий, стоит только руку протянуть, и такой далекий. Как из другого времени. Из двадцать первого века. Ах, Саша, Саша, звезда-мерцанье, где поют твои соловьи? Раньше помыслить не могла: как, бросить мужа, дом, нажитое? А после Саши — все по ветру и ничего не жаль. Чем хуже, тем лучше. Мырзик так Мырзик. Она выживала Мырзиком. Но он тоже оказался сильным лекарством с побочными действиями. Вылечил, но и покалечил. Вот и сиди теперь в чужом доме с чесноком в носу. И что за участь: из одного сделала мужика, из другого фотокорреспондента, а какова плата?

— Я их создала, а они предали...

— Ты же их для себя создавала, чтобы тебе хорошо было, — уточнила я.

— А какая разница? — не поняла Мара.

— Не бескорыстно. И замкнуто. Когда человек замкнут, он, как консервы в банке, теряет витамины и становится не полезен.

— А ты что делаешь бескорыстно? — поинтересовалась Мара. — Ребенка растишь для чужого дяди?

Воспоминание о дочери, независимо от контекста, умывало мое лицо нежностью.

— Она говорит «бва» вместо «два» и «побвинься» вместо «подвинься». Я научу ее говорить правильно, научу ходить на горшок. Подго-

товлю в детский садик. В коллектив. А потом обеспечу ей светлое будущее.

— А почему светлым должно быть будущее, а не настоящее? — спросила Мара. — Когда общество ничего не может предложить сегодня, оно вешает лапшу на уши. А ты и уши развесила.

Значит, мое поколение в лапше. А старшее, которое верило в Сталина, — оно в чем?

— А ты поезжай туда, — посоветовала я. — Там все такие, как ты.

— Зачем они мне? И я им — зачем? В сорок лет. На антиквариат спрос только в комиссионках. Все. Поезд ушел, и рельсы разобрали, как сказал светлой памяти Ленечка.

— Кто это Ленечка? — не вспомнила я.

— Мырзик.

Мара включила настольную лампу. Я слышала, что она не спит, и тоже не спала. Мара снова что-то во мне раскачала.

Я подумала, что она к сорока годам уже два раза сделала себе светлое настоящее: с Димычкой в Ленинграде и с Мырзиком в Москве. А мы с мужем пять лет не могли позволить себе ребенка, не было жилья. Жили у его родителей на голове. Теперь десять лет положим, чтобы из однокомнатной перебраться в двухкомнатную. Только где-то к пятидесяти начинаешь жить по-человечески, а в пятьдесят пять тебя списывают на пенсию. Вот и считай...

Когда Мары нет, я живу хорошо. У меня, как пишут в телеграммах, здоровье, успехи в работе и счастье в личной жизни. Но едва появляется Мара, я — раба. Я опутана, зависима и зашорена. И мое счастье в одном: я не знаю, как плохо я живу.

Потом Мара исчезает, и опять ничего. Можно жить.

На этот раз она исчезла в Крым. Море всегда выручало ее. Смывала морем слезы, уходила далеко и загорала голая, ящерицей лежа на камне, восстанавливая оторванный хвост.

Мырзик сказал, что поезд ушел и рельсы разобрали. Это не так. Мырзик ушел, но рельсы не разобрали. Значит, должен прийти новый состав. И не какой-нибудь там товарняк, а роскошный экспресс, идущий в долгую счастливую жизнь. Можно, конечно, не суетиться, сидеть себе на полустанке, ждать, рассчитывая на случай. Но случай подкидывает Женек, Димычек и Мырзиков. Случай слеп. Надо вмешаться в судьбу и самой подготовить случай.

Саша, Мырзик — это стебли, которые качаются на ветру. Им нужна подпорка. В сорок лет самой хочется опереться на сильного. Кто нынче держит руль? Какой-нибудь знаменитый Мойдодыр. Умывальников начальник и мочалок командир. Но где его взять? К Мойдодыру так просто не попадешь. Надо, чтобы пропуск был выписан. А потом этот пропуск милиционер с паспортом сличает, наизусть учит: номер, серия, прописка, когда выдан, кем. А кто тебя знает, еще войдешь да стрельнешь в Мойдодыра, хотя Москва не Италия да и Мойдодыру семьдесят годиков, кому нужен? У него уже кровь свернулась в жилах, как простокваша.

Однако цель намечена. И Мара пошла к цели, как ракета дальнего действия. Набрал в себя солнца, полностью восстановив оторванный хвост, Мара вернулась в Москву, сдернула с Мырзиковой шеи «Сейку», чуть не сорвав при этом голову. Взяла нужную бумагу и вошла в кабинет к Мойдодыру.

Он уже знал, что его придут фотографировать.

Мара села перед ним нога на ногу, стала изучать лицо. Мойдодыр был старенький, бесплотный, высушенный кузнечик. Очки увеличивали глаза. На спине что-то топырилось под пиджаком — может, горб, может, кислородная подушка, а может, летательный аппарат. Лицо абстрактное, без выражения.

— Вы не могли бы снять очки? — попросила Мара.

Он снял. Положил на стол. Мара щелкнула несколько раз, хотя понимала: не то.

— Сделайте живое лицо,— попросила Мара.

Но где взять то, чего нет? Мара не могла поменять лицо, решила поменять ракурс. Сначала встала на стул. Потом легла на пол. Потом присела на корточки. Кофта разомкнула кнопки, и Мойдодыр увидел ее груди — ровно загорелые, бежевые, торчащие, как два поросенка.

Мойдодыр забыл, когда он это видел и видел ли вообще. Он был хоть и начальник, но все же обычный человек, и его реакция была обычной: удивление. Он так удивился, что даже застоявшаяся кровь толкнулась и пошла по сосудам. Мойдодыр вспомнил, какого он пола, а раньше догадывался только по имени и отчеству.

Лицо сделалось живым. Фотография получилась на уровне, который прежде не достигался.

Шар судьбы пошел в лузу. Только бы ничего не помешало. Но Мара позаботилась, чтобы не помешало. Она закупила души двух секретарш, тем самым взяла подступы к крепости. А потом уж и саму крепость.

Мара приучала Мойдодыра к себе, и через очень короткое время ему показалось: она была всегда. Такое чувство испытываешь к грудному ребенку. Странно, что совсем недавно его не было. Вообще. Нигде. Но вот он родился, и кажется, что он был всегда.

У Мойдодыра в этой жизни существовало большое неудобство: возраст. И как осложнение — безразличие. Ничего не можешь, но и не хочется. Мара своей магнитной бурей разметала безразличие, как разгоняют тучи ко дню открытия Олимпиады. Очнувшись от безразличия, Мойдодыр энергично задействовал, и через четыре месяца Мара жила в отдельной двухкомнатной квартире в кирпичном доме, в тихом центре, куда Мойдодыр мог приходиться как к себе домой.

Мара не переносила грязь, поэтому встречала его возле лифта с домашними тапочками. Переобувала. Потом закладывала Мойдодыра в ванную, отмачивала и смывала с него весь день и всю прошлую жизнь. Мойдодыр лежал в нежной пене и чувствовал: счастье, вот оно! На семидесятом году жизни. Одно только плохо — мысли о смерти. С такой жизнью, неожиданно открывшейся на склоне лет, тяжело расставаться. Но он старался не думать. Как говорила мать Наполеона: «Пусть это продолжается как можно дольше», — имея в виду императорство сына. И при этом вязала ему шерстяные носки на случай острова Святой Елены.

После ванной садились за стол. Стол из карельской березы, тарелки — синие с белым, английский фарфор, и на фарфоре паровые фрикадельки из телятины, фарш взбивала миксером с добавлением сливок. В хрустальном стакане свекольный сок с лимоном. Свекла чистит кровь, выгоняет канцероген. А сама Мара — в халате с драконами, как японка. Гейша. Японцы понимают толк в жизни. Обед, чайная церемония. Потом еще одна церемония.

В конце жизни Мойдодыр обрел дом и женщину. Его жена — общественный деятель, для нее общественное всегда было выше личного, домом занималась неработница Валя, себе на уме. Сыну пятьдесят лет, сам внуков нянчит. Чтобы забыть одиночество, Мойдодыр работал с утра до ночи, служил отечеству на вверенном ему участке. И вдруг Мара. Она оказалась для него не менее важна, чем все отечество. На равных. А иногда и больше.

Мара, в свою очередь, была благодарна Мойдодыру. Благодарность — хорошая почва. На ней можно вырастить пусть не волшебный куст любви, но вполне хорошее дерево со съедобными плодами.

Мара оказалась талантлива не только в шитье и фотографии, но и в государственной деятельности. Она была чем-то вроде маркизы Помпадур. Помпадурила.

Предыдущих — Сашу и Мырзика — Мара создавала, лепила, делала. Пусть для себя. Создавала и потребляла. Но ведь и им перепало. Саша укрепился духом, плотью и надеждой, Мырзик — делом и деньгами.

Мойдодыр создавал ее самое. Как созидатель Мара простаивала, как потребитель — торжествовала. Мойдодыра можно было потреблять горстями, не надо на охоту выходить.

Маре захотелось самостоятельной общественной деятельности. У нее было заочное педагогическое образование.

Мойдодыр устроил Мару в институт при Академии педагогических наук. Мара стала писать диссертацию, чтобы возглавить отдел, а там и весь институт. А может, и всю академию. А что? Поезд движется. Путь свободен. Машинист — виртуоз.

В выходные дни Мойдодыр уезжал с семьей на дачу. У Мары появлялись паузы.

В ближайшую из таких пауз она позвала меня к себе в гости — продемонстрировать новую мощь. Чтобы я походила по ее квартире, покачала лапшой на ухах.

Больше всего меня поразили просторные коридоры и светильники под потолком и на стенах. Казалось, что они из Таврического дворца. Потемкин повесил, а Мара вывезла, поскольку царицей на сегодняшний день была она. Светильники тускло бронзовели, от них веяло временем, тайной и талантом неведомого мастера. Это был богатый дом дорогой содержанки.

Я вспомнила свою квартиру, где потолок отстоит от пола на два с половиной метра, лежит почти на голове, я называла свою квартиру блиндажом, туда бы патефон и пластинку «На позицию девушка...». Вспомнила квартиру родителей моего мужа: комсомольцы двадцатых годов, они строили это общество жертвенно и бескорыстно, и где они живут? В коммуналке, в одной комнате, разгороженной перегородкой. И не рошсут. Они знают: Москва задыхается от нехватки жилплощади. Люди еще не выселены из подвалов. Значит, они потерпят. Подождут. А Мара получила все сразу только потому, что вовремя показала загар. Значит, для одних светлое будущее. А для других светлое настоящее.

Мара увидела, что я сникла, и решила, что завидую. Я тоже хочу быть маркизой Помпадур при Людовике.

— В тебе знаешь чего нет? — посочувствовала Мара.

— Чего?

Мара стала подбирать слово, но оно одно. Аналога нет.

— Ты очень порядочная, — сформулировала Мара, обойдя это слово.

— Мне так удобнее, — сказала я.

— Тебе так удобнее, потому что ты прячешь за порядочностью отсутствие жизненных инициатив.

— Зато я никому не делаю плохо.

— Ни плохо, ни хорошо. Тебя нет.

Я задохнулась. Мара приняла мою паузу за точку, решила, что тема исчерпана. Перешла к следующей.

— А у меня диссертация почти готова. Скоро защита.

Мой муж шесть лет продирался к диссертации как через колючую проволоку.

— Какая тема? — спросила я, пряча под заинтересованностью истинные чувства.

— Сексуальное воспитание старшеклассников.

Я уважительно промолчала. В этом вопросе Мара специалист, и почему бы ей не поделиться опытом с подрастающим поколением.

Мара сообщила, что работает над главой «Культура общения» — общения не в сексуальном смысле, а в общечеловеческом. В школе

ничему такому не учат. Рассчитывают на семью. Но и семья не учит. Народ поголовно невоспитан. Мара собрала и обобщила опыт других стран, религий. Она рассказывала очень интересно. Я отвлеклась от развешивающего чувства классового неравенства. От Мары наплывали на меня гипнотические волны. Я, как рыба, шла на ее крючок.

Безо всякого перехода Мара спросила:

— А может, и тебе поменять квартиру? На двухкомнатную. Вас же трое.

Я онемела. Это была моя мечта. Мое пространство. Мое светлое настоящее.

— А можно? — спросила я, робея от одной только надежды.

— Он сейчас в Перу, — сказала Мара о Мойдодыре. — Через неделю вернется, я с ним поговорю.

Итак, червяк был заглотан. Вместе с крючком. Теперь Мара могла дергать меня за губу и водить в любом направлении. Так она и сделала.

В течение недели Мара несколько раз приезжала ко мне домой. Она хорошо почистила мою библиотеку. Библиотека — сильно сказано, но любимые книги у нас с мужем были.

Помимо духовных ценностей, Мара вынесла из дома покой. Муж ненавидел ее, нервничал, замыкался. Мара как будто не замечала этого и всякий раз бросалась его целовать. Муж цепенел, переживая ее объятия с той же брезгливостью, как если бы на него навалился крокодил — скользкий, мерзкий и небезопасный. Он ни на секунду не верил в успех предприятия, презирал меня за мой конформизм. Я боялась, Мара заметит — и все рухнет. Ей нужен был преданный собачий глаз, а не глаз волка, которого сколько ни корми, он все равно в лес смотрит. Я норовила увести Мару из дома. Мы жили на краю Москвы, рядом с прекрасным первозданным лесом. Когда-то здесь были дачные места.

На земле происходила весна. При входе в лес, обособленно, стояла тоненькая верба. Почки ее были нежно-желтые, пушистые, крупные, как цыплята. Верба была похожа на девушку, принарядившуюся перед танцами.

Мара не могла вынести, если красота существует сама по себе. Она решила взять часть этой красоты в свой дом, поставить в вазу. Пусть служит. Я полагала, что она сорвет одну-две ветки. Ну, три. Дереву, конечно, будет больно, но оно зальет раны соком. Забинтует корой. Восстановится.

То, что сделала Мара, до сих пор стоит у меня перед глазами. Она не обломала ветку, а потянула вниз и к себе, содрав ремень кожи со ствола. Потом другую, третью, четвертую. Она пластала бедную вербу, заживо сдирая с нее кожу. Догола. Мы отошли. Я оглянулась. Верба как будто вышла из гестапо, стояла растерзанная, обесцвеченная, потерявшая свое растительное сознание.

Мне бы повернуться и уйти тогда, и черт с ней, с квартирой, с лишней комнатой. Но я знала, что если не я — то никто. Значит, надо терпеть. И я стерпела. Только спросила:

— За что ты ее так?

— Как со мной, так и я, — ответила Мара.

Женька Смолин. Потом вежливый, духовный Саша. Потом детдомовец Мырзик. Теперь старик Мойдодыр, годящийся в дедушки, со своей любовью, похожей на кровосмешение. И если можно так с ней, то почему нельзя с другими — с людьми и деревьями, со всем, что попадет под руку?

Мы удалялись. Я спиной чувствовала, как верба смотрит мне вслед и думает: «Эх ты...» И я сама о себе тоже думала: «Эх ты!»

Прошла неделя. Мойдодыр вернулся. Мара молчала. Я ждала. Я не просто ждала, а существовала под высоким напряжением ожидания. Я уставала, звенел каждый нерв. Спасти меня могла только

определенность. Я позвонила Маре и спросила, как будто прыгнула с парашютом в черную бездну:

— Приехал?

— Приехал,— спокойно и с достоинством сказала Мара.

— Говорила?

— Говорила.

Она замолчала, как бы не понимаемая темы моего звонка.

— И чего? — не выдержала я.

— Ничего,— спокойно и с тем же самым достоинством проговорила Мара.— Он сказал: ты мне надоела со своими бесчисленными поручениями. То я должен класть в больницу твоего татарина Усманова, то устраивать твою идиотку Артамонову. Отстань от меня. Дай мне спокойно умереть. И в самом деле, он же не резиновый,— доверительно закончила Мара.

Кто такой татарин Усманов, я не знала, а идиотка Артамонова — это я. Я бросила трубку и на полдня сошла с ума. Мой муж ликовал. Я получила урок. Если не уважаешь человека, не проси. Попросила, снизила нравственный критерий, унизилась — получи, что стоишь. Это твое. Все правильно. Жизнь логична.

Я выучила данный мне урок, сделала далеко идущие выводы. А именно: не общаться с Марой. Никогда. Ни по какому поводу. Она звонила, я тут же опускала трубку. Раздавался повторный звонок, я не подходила. В какой-то мере я трусила. Знала, что, если отзовусь, скажу: «Да», она выгасит меня за это «да» из норы, напустит гипнотические волны, засосет своим электромагнитом, и я снова, как кролик, поползу в ее пасть.

Пусть она живет своей жизнью. А я своей. Поэт Вознесенский однажды написал: «Мы учились не выживать, а спидометры выжимать». Так вот, я ничего не выжимаю. Я — по принципу: тише едешь, дальше будешь. Вот только вопрос: дальше от чего?

Прошло пять лет.

В стране ничего не происходило. Напуганный пражской весной, Леонид Ильич постарался сделать так, чтобы ничего не менялось. Чтобы все оставалось как есть. Никаких свежих струй. Жизнь постепенно заболачивалась, покрывалась ряской.

В моей личной жизни тоже ничего не происходило. Мы по-прежнему обитали в однокомнатной квартире, хотя в нашем кооперативном доме все время шло движение: кто-то умирал, кто-то разводился, кто-то отплывал к иным берегам. Квартиры освобождались, но не для нас. Надо было дать взятку председателю кооператива, но мы не знали, сколько и как это делается. Боялись обидеть.

С Марой я не общалась, но до меня доходили отзвуки ее жизни.

Мара работала в каком-то престижном учреждении при Академии наук. Это был полигон ее деятельности. Здесь она делала все, что хотела: снимала с работы, назначала на должность, продвигала или останавливала диссертации. Шло непрерывное сражение, мешались в кучу кони, люди.

Мару следовало убрать, но для начала — обезвредить. На этот подвиг пошла заведующая лабораторией Карцева. Карцева была уверена: Мойдодыр ничего не знает. Его именем нагло пользуются и тем самым ставят под удар. Карцева позвонила Мойдодыру по «вертушке», представилась, раскрыла ему глаза и повесила трубку с сознанием восстановленной справедливости.

Далее действие развивалось, как в сказке с плохим концом. Через неделю лаборатории Карцевой не существовало. А раз нет лаборатории, значит, нет и должности и зарплаты в триста шестьдесят рублей. И красная книжечка — недействительна. И вахтер в проходной не пускает на территорию. Мара хохотала, сверкая нарядными белыми зубами.

Куда делась профессор, коммунист Карцева? Боролась она или сдалась, осознав бесполезность борьбы? Обиделась ли на Мару или почувствовала уважение перед силой? Никто не знает. Говорят, она оформилась дворником, чтобы никогда больше не иметь с государственной машиной никаких отношений. Зима — чистишь снег. Осень — подметаешь листья. Все.

Жертва самоустранилась. Сотрудники притихли, забились в свои кабинеты, как в норы. Взошли подхалимы, как васильки в поле. Мара почувствовала вкус большой и полной власти. Две полоски и звездочка сверху...

Димычка тем временем встретил другую женщину, погулял с ней немного и, как порядочный человек, решил жениться. Узнав об этом, Мара сделала пару телефонных звонков, и Димычку поместили в сумасшедший дом. Там его напичкали какими-то лекарствами, отчего он располнел, отупел и не хотел уже ничего.

Знакомые подарили ему сиамскую кошку. Он назвал ее Мара. Мара через какое-то время родила котенка Кузю. Это и была Димычкина семья: он, Мара и Кузя. Оставлять кошек было не с кем, и когда Димычка ездил в командировки или в отпуск, то складывал их в корзину и путешествовал вместе с ними.

Мара не пожелала отдать его другой женщине. Хватит, наотдавалась. Димычка не бунтовал. Смирился, как Карцева.

Но в природе существует баланс. Если суровая зима — значит, жаркое лето. И наоборот. Возмездие пришло к Маре с неожиданной стороны — в виде младшего научного сотрудника лимитчицы Ломеевой.

Лимитчики — это не солдаты наполеоновской армии: пришли, ушли. Это серьезная гвардия.

Ломеева приехала с Урала. Способностей у нее было маловато, приходилось рассчитывать не на голову, а на зад. Зад прочный, высидит хоть три диссертации. И еще — на рот, за щеками — по шаровой молнии. Выплюнет — спалит дотла. Чужого ей не надо, но и своего не отдаст. Анкетные данные: пятидесятого года рождения, прадед и дед умерли от водки, один дома, другой в канаве. Отец продолжает славную традицию. Муж — военнослужащий. Ребенок — пионер. Сама Ломеева — член партии, морально устойчива, целеустремленна.

Если в Маре — звезды и бездны, то в Ломеевой серость и напор. Серость и напор удобно расселись в науке. Брежневское время было их время, их звездный час.

Мара, оголтевшая от вседозволенности, допустила роковой просчет. Она бесцеремонно высмеяла ломеевскую диссертацию, размазала по стене, так что ложкой не отскребешь. Диссертацию не утвердили. Ломеева, в свою очередь, дыхнула, как Змей Горыныч, выпустила дюжину шаровых молний. Диссертация Мары тоже была остановлена в высшей аттестационной комиссии.

Все в ужасе разбежались по углам, освобождая площадку для битвы. Мара и Ломеева сошлись, как барс и Мцыри. И вот, «сплетясь, как пара змей, обнявшись крепче двух друзей, упали разом, и во мгле бой продолжался на земле».

Умер Брежнев. Его хоронили на Красной площади. Крепкие парни, опуская гроб, разладили движение, и гроб неловко хлопнул на всю страну. Этот удар был началом нового времени.

Андропов разбудил в людях надежды, но это начало совпало с концом его жизни. Черненко на похоронах грел руки об уши. Или, наоборот, — согревал уши руками. Было немного непонятно — зачем его, больного и задыхающегося, похожего на кадровика в исполкоме, загнали на такой тяжелый и ответственный пост. Через год его хоронили у той же самой стены, и телевизионщики тактично отворачивали камеры от могилы. Как бы опять не грохнуло. Но колесо истории уже нельзя было повернуть вспять. Началась новая оттепель.

Мойдодыра отправили на пенсию. Тылы оголились. Ломеева прижала Мару к земле. Звезды на небе выстроились в неблагоприятный для Мары квадрат. Ее магнитная буря не могла, как прежде, разметать все вокруг и, не находя выхода, переместилась внутрь самой Мары. В ней взмыл рак-факел. Злокачественная опухоль взорвалась в организме на стрессовой основе. А может, возымел значение тот факт, что она загорала без лифчика.

Мара попала в больницу. Над ней работали два хирурга. Один стоял возле груди, другой у ног, и они в четыре руки вырезали из Мары женщину.

После операции в ней убивали человека. Ее химили, лучили. Она ослабла. Выпали волосы. Но Мара выжила. Ненависть и жажда мести оказались сильнее, чем рак. Мара была похожа на «Першинг», рвущийся к цели, который задержали на ремонт.

Через месяц выписалась из больницы полуживая, как верба. Надела парик и ринулась в борьбу.

Знакомые привезли из Франции протез груди. Во Франции — культ женщины, там умеют думать о ней в любой ситуации. Протез, сделанный из мягкого пластика и заполненный глицерином, выглядел весьма изящно. Полная имитация живого тела.

Мара завязала эту скорбную поделку в батистовый носовой платочек, взяла на руки Сомса, который достался ей от мамы. Сомс был уже старый, но выглядел щенком, как всякая маленькая собачка. Последнее время Мара избегала людей и могла общаться только с любящим, благородным Сомсом. И вот так — с узелком в руке и с Сомсом на плече — Мара вошла в знакомый кабинет. Кабинет был прежний. Мойдодыр новый. Да и Мара не та. Грудь уже не покажешь. На месте груди — рубцы, один в другой, как будто рак сжал свои челюсти.

Мара развязала перед Мойдодыром узелок и сказала:

— Вот что сделали со мной мои сотрудники.

Мойдодыр, естественно, ничего не понял и спросил:

— Что это?

Мара кратко поведала свою историю: конфликт с Ломеевой, рак-факел на стрессовой основе, а в результате потеря здоровья, возможно, и жизни. Мара отдала свою жизнь в борьбе за справедливость.

Новый Мойдодыр, как и прежний, тоже был человек. Он со скрытым ужасом смотрел на Мару, на ее дрожащую собачку, на глицериновую грудь, обособленно лежащую перед ним. Его пронзила мысль о бренности всего земного. А после мысли о бренности явилось желание, чтобы Мара забрала свои части тела и ушла. И больше не появлялась.

Но человек уходит и больше не появляется лишь в том случае, когда, выражаясь казенным языком, решают его вопрос.

Вопрос Мары был решен. В течение месяца диссертация прошла все инстанции. Мара защитилась с блеском.

Она стояла на защите стройная и элегантная, как манекен, с ярким искусственным румянцем, искусственными волосами и грудью. Искусственные бриллианты, как люстры, качались под ушами. Но настоящим был блеск в глазах. Никому и в голову не пришло видеть жертву в этой победной талантливой женщине.

После защиты Мара позвонила ко мне домой. Я шла к телефону, не подозревая, что это она. Видимо, ее электромагнитные свойства ослабли и перестали воздействовать на расстоянии.

— Поздравь меня, я кандидат!

Я уже знала о ее болезни. Знала, какую цену она заплатила за эту диссертацию. Да и зачем она ей? Сорок пять лет — возраст докторских, а не кандидатских. Видимо, в Маре сидел комплекс: она не

родила, не оставила после себя плоть, так пусть останется мысль, заключенная в диссертации. Она хотела оставить часть себя.

Я тяжело вздохнула. Сказала:

— Поздравляю...

Мара уловила вымученность в моем поздравлении и бросила трубку. Наверное, я ее раздражала.

Одержав победу, Мара утратила цель и остановилась. Рак тут же поднял голову и пополз по костям, по позвоночнику. Было все невыносимее начинать день. Мара лежала в пустой квартире и представляла себе, как в дверь раздастся звонок. Она откроет. Войдет Саша. И скажет: «Как я устал без тебя. Я хотел обмануть судьбу, но судьбу не обманешь». А она ответит: «Я теперь калека». А он скажет: «Ты — это ты. Какая бы ты ни была. А со всеми остальными я сам калека».

Но в дверь никто не звонил.

Мара поднималась. Брала такси. Ехала на работу. У нее был теперь отдельный кабинет, а на двери табличка с надписью: «Кандидат педагогических наук Александрова М. П.». Рядом с ней располагался кабинет Ломеевой, и там была такая же табличка. Их борьба окончилась со счетом 1:1. Ломеева не уступила ни пяди своей территории. Да, она не хватает звезд с неба. Но разве в науке одни только гении? Скажем, взять женьшеневый крем, который продается в галантерее. Сколько там женьшеня? Одна десятитысячная процента. Остальное вазелин. Так и в науке. Гений один, остальные — вазелин. Их, остальных, — армия. Почему Ломеева не может стать в строй? Чем она хуже?

Ломеева ходила мимо кабинета Мары — молодая, вся целая, с двумя грудями пятого размера, цокала каблуками. Цокала нарочито громко, каждый удар отдавался в голове, Маре казалось, что в ее мозги заколачивают гвозди. Мара засовывала в рот платок, чтобы не стонать от боли.

В этот период я старалась навещать ее звонками. Но Мара не любила мои звонки.

— Чего ты звонишь? — спрашивала она. — Думаешь, я не знаю, чего ты звонишь? Тебе интересно: умерла я или нет. Жива, представь себе. И работаю. И люблю. И прекрасно выгляжу. Я еще новую моду введу: с одной грудью. Как амазонки. Хотя ты серая. Про амазонок не слышала...

Я молчала. Я действительно мало что знаю про амазонок, кроме того, что они скакали на лошадях, стреляли из лука и для удобства снимали одну грудь.

— И еще знаешь, почему ты звонишь? — продолжала Мара. — Ты боишься рака. И тебе интересно знать, как это бывает. Как это у других. Что, нет? Ну что ты молчишь?

Я не люблю, когда обо мне думают хуже, чем я есть. У каждого человека имеется свой идеал «я». И когда мой идеал занижают, я теряюсь. Но Маре сейчас хуже, чем мне, и если ей хочется походить по мне ногами, пусть ходит.

— Ну ладно, — сказала я. — Голос у тебя хороший.

Мара помолчала. Потом проговорила спокойно:

— Я умираю, Лариса.

Прошел год, Саша не приехал к Маре, а приехал Димычка. Он привез себя со своей загадочной душой, деньги, обезболивающие снадобья, которые сам сочинил в своих колбах. И двух котов в корзине, Мару и Кузю. Кузя вырос, и они с матерью смотрелись как ровесники. Димычка гордился Кузей. Это было единственное существо, которое он вырастил и поставил на ноги.

Мара нуждалась в заботе, но привыкла жить одна, и присутствие второго человека ее раздражало. Это был живой пример диалек-

тики: единство и борьба противоположностей. Она не могла без него и не могла с ним. Срывала на нем свою безнадежность. А Димычка закрывал глаза: не вижу, не слышу.

Сомс ладил с котами, что наводило на мысль: а собака ли он вообще?

Когда наступали улучшения, начинало казаться, что все обойдется. В глубине души Мара знала, что она не умрет. Взрываются звезды, уходят под воду материки, но она, Мара, будет всегда.

В такие дни они ходили в театр. Однажды отправились в «Современник». Мара заснула от слабости в середине первого действия. В антракте люди задвигались, и пришлось проснуться. Вышли в фойе. Мара увидела себя в зеркале. Она увидела, как на нее цинично и землисто глянул рак. И именно в этот момент она поняла, что умрет. Умрет скоро. И навсегда. И это единственная правда, которую она должна себе сказать. А может, и не должна, но все равно: это — единственная правда.

На второе действие не остались. Вернулись домой. В комнате посреди ковра темнел сырой кружок.

— Это твои коты! — закричала Мара и стала лупить котов полотенцем.

— Не трогай моих котов, это твоя собака, — заступился Димычка, загораживая своих зверей.

— Убирайся вместе с ними! Чтобы вами тут больше не пахло!

— Я уезжаю со «стрелой», — обиделся Димычка.

Он сложил котов в корзину и ушел, хлопнув дверью.

Сомс подбежал к двери и сиротливо заскулил.

Мара пошла в спальню. Легла. Ни с того ни с сего в памяти всплыла та крыса из далекого детства, которая карабкалась по прутьям клетки, спасаясь от неумолимо подступающей воды. Всему живому свойственно карабкаться. Кто-то стоит над Марой с ведром. Вода у подбородка. Сопротивляться бессмысленно. Единственный выход: полюбить свою смерть.

Вдруг Мара увидела снотворное, которое Димычка оставил на туалетном столике. Без него он не засыпал. Мара схватила пузырек с лекарством и побежала из дома. По дороге вспомнила, что забыла надеть парик и туфли. Стояло жаркое лето. Ногам и голове было тепло. Мара бежала босая, с голой головой, в халате с драконами. Прохожие оборачивались, думали, что это бежит японец.

Вокзал находился в десяти минутах от дома.

Состав был уже подан, но еще пуст. Мара пробежала по всему составу, не пропустив ни одного вагона. Димычки нигде не было. Она медленно побрела по перрону и вдруг увидела Димычку. Он стоял против одиннадцатого вагона и смотрел в никуда. При Маре он не позволял себе такого лица. При ней он держался. А сейчас, оставшись один, расслабился и погрузился на самое дно вселенского одиночества. Горе делало его тяжелым. Не всплыть. Да и зачем? Что его жизнь без Мары? Она была ему нужна любая: с предательством, подлостью, получеловек, — но только она. Из корзины выглядывали круглоголовые коты.

Мара хотела позвать его, но горло забила жалость. Мара проралась сквозь жалость, получился взрыв.

— Димычка! — взрыдала Мара.

Димычка обернулся. Увидел Мару. Удивился. Брови его поднялись, и лицо стало глуповатым, как все удивленные лица.

— Ты забыл лекарство!

Мара бросила флакон в корзину с котами и тут же пошла прочь, шатаясь от рыданий, как в детстве, когда не хватило пяти копеек на билет в кино. Теперь ей не хватило жизни. Не досталось почти половины. Первые сорок пять лет — только разминка, первая попытка

перед прыжком. Впереди главная жизнь, в которой у нее будет только один мужчина — желанный, как Саша, верный, как Димычка, и всемогущий, как Мойдодыр. С этим одним она родит здорового красивого ребенка и воспитает его для светлого настоящего и будущего. Сейчас это уже можно. Время другое. И она другая. А надо уходить. Все кончилось, не успев начаться. А там — что? А если ничего?..

Могилу после себя Мара не оставила. Она подозревала, что к ней никто не придет, и решила последнее слово оставить за собой. Это я не хочу, чтобы вы приходили. Я так решила, а не вы.

Мара завещала Димычке развеять ее прах в Ленинграде. Димычка не знал, как это делается. Мой муж объяснил: лучше всего с вертолета. Но где взять вертолет?

Димычка увез с собой урну, похожую на футбольный кубок. В один прекрасный день он ссыпал прах в полиэтиленовый пакет. Сел в речной трамвайчик и поплыл по Неве.

Осень стояла теплая, ласковая. Солнце работало без летнего молодого максимализма. Легкий ветерок отдувал волосы со лба. И пепел, как казалось Димычке, летел легко и беззлобно.

Димычка рассеивал Мару, ее любовь, и талант, и электромагнитные бури. А люди на палубе стояли и думали, что он солит, вернее, перчит воду.

Но все это было позже.

А тогда она шла по перрону и плакала, провожая меня, вербу, Ломееву, Женьку Смолина, Мырзика, все свои беды, потому что даже это — жизнь.

Мара вышла в город. Перед вокзалом росла липа. Ее листья были тяжелые от пыли и казались серебряными. По площади ходили трамваи, на такси выстраивались часовые очереди. Липа стояла среди лязга, машинной гари, человеческого нетерпения.

А такая же, ну пусть чуть-чуть другая, но тоже липа растет в лесу. Под ней травка, зверьки, земляника. Над ней чистое небо. Рядом другие деревья, себе подобные, шумят ветками на вольном ветру. Переговариваются.

Почему так бывает? Одна тут, другая там. Ну почему? Почему?

«А»...

Чистый лист. Я пишу: Александра Марла Петровна. И обвожу рамкой. Памятника у нее нет. Пусть будет здесь. В моей записной книжке. Среди живых.

Иногда она мне снится, и тогда я думаю о ней целый день, мысленно с ней разговариваю, и у меня странное чувство, будто мы не доспорили и продолжаем наш спор. И еще одно чувство: вины. Я перед ней виновата. В чем? Не знаю. А может, и знаю.

Я живу дальше, но все время оборачиваюсь назад, и мне кажется, что я иду с вывороченной шеей.



ГЛЕБ СЕМЕНОВ
(1918—1982)



ОСТАНОВИСЬ В ПОТОКЕ

Наперекор диктату толпы и власти, верный внутреннему слуху и голосу, жил он среди нас, словно отступив от слишком резкого света, слишком дешевого размена, сохраняя свою человеческую суверенность. Жизнь внешне бедная, но драгоценная внутри, чреватая чудом, праздником. Простая прогулка, случайная встреча, дождь, ветер, снегопад — все может стать событием. Основные факты биографии — книги. Их немного: пять при жизни и одна посмертная. Но каждая — рубеж. Стихи — и история души и окно в мироздание. Они растут, как дерево, — перерастая сами себя, но не изменяя корням. Свой «почерк свободного парения». Полифонический слух, разносторонний, воспитанный вкус. Дух истинной ленинградской интеллигенции с ее «готической тягой ввысь». Пережил вместе с городом и «кандалы цепочек дверных», и блокаду, и времена удушья...

А с течением лет скапливалось все больше горечи: ведь каждое чувство оставляет после себя горсточку пепла и когда-нибудь кончится это горячее — сердце. Читая его последние стихи, физически ощущаешь это нарастание боли, как все тяжелее становится поэту бороться за свободу духа, не отрекаясь при этом от сочувствия людям, причастности их делам, как трудно жить красотой в мире, все более уродливом и уродующем. «Но, — сказал однажды Глеб Сергеевич, — никакие глобальные причины не спасают нас от необходимости сделать свое дело». Сам он сумел высказаться при жизни — здесь, сейчас, — не дожидаясь лучших времен.

Редчайший дар, еще более редкий, чем непосредственно творческий, — вырастить учеников и тем самым прорасти, продолжиться в них. А учил Глеб Сергеевич не моралью и проповедью, а поэтическим делом своим и жизненным примером. Если быть выше других — только душой, сильнее — только своим слогом, держаться поэзии, даже в тени собственного слова. В мире, где добро в вечном дефиците, высший дар — умение быть человеком. Думаю, что щедрость самоотдачи ученикам у Семенова тоже от избытка доброты.

Помню, как сходились по вечерам в каком-то Доме культуры на Крюковом канале за Мариинкой...

В добровольном ученичестве у него перебивали едва ли не все молодые ленинградские поэты той поры: Александр Кушнер и Татьяна Галушко, Владимир Британишский и Леонид Агеев, так или иначе его человеческое и поэтическое присутствие ощутили и Иосиф Бродский, и Виктор Соснора, и Глеб Горбовский, как бы потом они ни разошлись.

Чему же он нас учил, вернее, за что мы его любили?

Он давал знать нам — тогда еще совсем желторотым юнцам — о подлинной системе ценностей в поэзии, нет, ничего не навязывал, но мы видели, слышали его и понимали, что есть настоящее, что правда не справа, среди чиновного хамства, торжествующего, громяющего, как пустопорожняя бочка, литературного официоза, и не слева — в суетливой эстрадной конъюнктуре, желании погделаться, пографить произволу толпы, что правда — в глубине, таинственной и трудной глубине, и это новое измерение жизни дает интуиция художника, талант.

Глебушка Сергеевич — так называли мы его иногда — не терпел благодушия, расслабленности, он умело поднимал температуру заседаний нашего литобъединения, но в момент, когда страсти чересчур накалялись, гасил их шуткой, переводил в продуктивное русло или просто начинал читать стихи, обычно не свои, чужие, каждый раз неожиданные. Давал понять, в какое общество мы попали!

А может быть, думаю я еще, самое важное из уроков ленинградского Мастера все же, что наряду с отзывчивостью на настоящее он нес в себе то гармонизирующее, уравновешивающее начало, которое можно назвать в отличие от злобы дня добром дня, а оно куда нужнее измученному человечеству.

...Друг милый. Луг нежный. Лес темный.
Звон дальний. Свет чудный. Мир божий.

Мечта

Когда враг скиснет...
Четырехлетняя гочка.

Мне хочется домой, в огромность
Квартиры...

Б. Пастернак.

Ждет скитальцев давний дом.
О разошедшийся скворешник!
Дверь, открытая с трудом,
в перескрипываньях прежних.
Затемненья полумрак,
недобитая посуда...
Свистнет рак ли, скиснет враг —
мы вернемся, мы отсюда!

Кран с опаской повернем,
обомлеем, что закапал.
Праха с ног не отряхнем —
как вернемся, сядем на пол.
На состарившийся пол —
разбирать свой пыльный почерк...
Кто сказал, что нужен стол
для хранения слов и строчек!

И опомнимся не вдруг,
и припомним, как любили...
И — блаженнейший испуг:
чайник выключить забыли!
Потеряем всякий стыд,
и — воистину мажорный —
о победе возвестит
водопада шум в уборной.

1943.

Затемнение

Я ночной предъявляю пропуск,
луч в лицо — и фонарь погас.
И — безвременнейшая пропасть
разворачивается у глаз.

Ни предметов, ни расстояний,
никаких четырех сторон.
Сгинуть заживо в этой яме
я ни за што приговорен.

Как шагнуть — и не оступиться,
не наткнуться на темноту?

Затемнение — как темница:
рвись, доказывай правоту!

Стулки тьмы на ногах по пуду.
Не ракетчик, не лиходея,
если выживу, добрым буду —
безо всяких таких идей.

Если выживу!.. А сегодня,
веком вышколенный не зря,
сам пырну я кого угодно
узким лезвием фонаря.

1942.

* * *

По всей эпохе высятся кресты,
и на небо взглянуть — уже заслуга!
Живешь — и столбенеешь от испуга
перед лицом разнузданной тщеты.

И горестней душевной глухоты
на свете нет, наверное, недуга:
жгут истину, в тюрьму сажают друга,
а ты живешь, поплеываешь ты.

Но вот — еще: живешь не так, как все!
Все крутятся, как белки в колесе,
а он поверх голов глядит куда-то.
Ату его, родимого, ату:
пнуть и распнуть — пусть знает высоту!..
...О Господи, спаси слепое стадо...

1965.

* * *

Чем старше, тем ревнивей эпоха.
Как ветреная женщина, она
была в себя настолько влюблена,
что не ждала от зеркала подвоха.

Лгут зеркала, и все же дело плохо —
морщины, злые губы, седина.
Она теперь — как верная жена —
тебе не позволяет ни полвздоха.

И хоть в кабак — проклятьем заклеимен! —
от ласк ее, румян ее, знамен,
ветшающих, как ленты на могилах.
Ребром ладони режешь свой кадык:
вот так уже! И стыдно, что любил их,
и вчетверо стыднее, что привык...

1965.

Ольге Берггольц

Говорят, было с хлебом плохо:
революция, наше детство!
Мы любили тебя, эпоха,
но куда нам, эпоха, деться
от твоих похотливых женщин,
похохатывающих мужчин?!
Разлинован и раскрещен
сытым пафосом годовщин
твой — всю душу продувший — ветер,
и, зачатые в ночь войны,
мы — исчадия лихолетий —
на бездетность обречены.

Чтобы выпить, не ждем субботы,
в карты дуемся вечерами.
Мы — российские донкихоты,
мельниц ветряных ветераны.
Мы в музеях ржавеем, рыцари,
поистрепаны наши панцири,

прямо в душу нам лезут рыльцами,
и мальчишки в нас тычут пальцами.
Говорят, жили очень худо,
только молодость сверх пайка...
...Хорошо, что еще покуда
есть над родиной облака!..

1955.

Плакат

Боюсь тебя, счастливый сын плаката!
Кудрявый, белозубый, голубой —
глодала ли тебя моя блокада,
захлебывался ль ты моей судьбой?

Ты жил, не опасаясь ни расстрела,
ни даже приглашенья в спецотдел.
Чем больше революция старела,
тем ты невозмутимей молодец.

И ежели вопрос поставить здраво:
свою судьбу ни разу не кляня,
какое — ты скажи — имеешь право
работу проводить среди меня?

Мол, состою ли вкладчиком сберкассы?
Застраховал ли жизнь свою, поэт?
Вступил ли в Досааф? И книгу в массы
несу — глядишь с улыбкой — или нет?

Нет, не несу, нет, не являюсь членом,
нет, не шагаю гордо к торжеству.
Мне некогда, я занят — пусть презренным,
но неотложным делом: я живу.

Они придут, наемники Госстраха,
проверят личность — вот я, имярек.
А ты безлик, ты даже горстью праха
не можешь стать, ты — античеловек!

1956.

* * *

За руки белые меня
берут, как хулигана.
Две гимнастерки, два ремня,
два вежливых нагана.

На все четыре сапога
подкована свобода.
Я сразу вырос во врага
перед лицом народа.

Меня сгибают пополам,
пихают в черный «ворон».
А вся Россия по углам
за нищим разговором.

Толкует про жите-бытье,
пьет мертвую со скуки,
пока мне именем ее
выкручивают руки.

1966.

Одно из посланий на Неву

Мы обменялись городами.
Не обманулись: плен на плен.
Мы наши судьбы скоротали.
Что делать? —

Только встать с колен.
Такая малость — встать над бездной,
найти себя и город свой!
Сияет облако над бедной,
безумной нашей головой.

Опомниться... Еще не поздно,
еще не подло...

Знаешь сам,
пока врагами не опознан,
безликим кажешься друзьям.

И нас убьют еще...

Будь весел!
Не так, так эдак... Просто — будь!
Есть одиночество и ветер,
от рифмы к рифме крестный путь.

Кому еще нужны мы, кроме
любимых женщин по ночам?
А запах нашей трудной крови
щекочет ноздри палачам.

1964.

Дворцовая

Конечно, Росси не имел в виду,
развертывая циркульную оду,
намек на Колизей! Страна во льду,
достаточно обычаям в угоду
пить водку и ловить свою звезду.

Что это гений — поняли потом,
а игрища последовали сразу.
Ареной стала площадь. В золотом
глумленье труб заученную фразу
рабы провозглашают мертвым ртом.

Ликует плебс, беспамятен и лют!
Не на песок, где завтра будет сухо,
но — сквернослова — кровь они прольют
и на асфальт; для площадного слуха
нет разницы, расстрел или салют.

О циркулярный пафос площадей,
язычества глухонемое эхо!
А сам потомок римлян — не злодей:
на розвальнях катался ради смеха
и даже, говорят, любил людей.

1972.

* * *

Вижу яростный лик небосвода,
знать не знаю лица своего.
Сколь ничтожна моя несвобода
перед явленной волей Его!
О раскованность, о торжество!
А еще говорят — непогода...

1976.

Родине

Иду, столбы считаю,
ни встречи, ни привала.
Взметни воронью стаю,
чтоб даль не пустовала.

Швырни проселок в ноги
от большака налево.
Да трактор у дороги
поставь ржаветь без гнева.

Да в час похмельной злобы
каблук в грязи оттисни.
Как мало нужно, чтобы
своим прослыть в отчизне!

Как много нужно, дабы
мою судьбу сыновью
пронзило навсегда бы
той странною любовью!

1980.



АНАТОЛИЙ НАЙМАН

★

РАССКАЗЫ О АННЕ АХМАТОВОЙ

...если попадется на глаза или на мысль знакомый человек и мы припоминаем его забытое имя, то всякое другое припоминаемое имя не вяжется, потому что нам непривычно мыслить его в сочетании с этим человеком, и дотоле отвергается, пока не представится настоящее имя, при появлении которого мы тотчас замечаем привычную связь представлений и успокаиваемся.

Блаженный Августин, «Исповедь», X, 19.

Мне приснился сон: белый, высокий ленинградский потолок надо мной мгновенно набухает кровью и алый ее поток обрушивается на меня. Через несколько часов я встретился с Ахматовой; память о сновидении была неотвязчива, я рассказал его.

— Нехудо, — отозвалась она. — Вообще самое скучное на свете — чужие сны и чужой блуд. Но вы заслужили. Мой сон я видела в ночь на первое октября. После мировой катастрофы я, одна-одинешенька, стою на земле, на слякоти, на грязи, скользю, не могу удержаться на ногах, почву размывает. И откуда-то сверху, расширяясь по мере приближенья и поэтому все более мне угрожая, низвергается поток, в который соединились все великие реки мира: Нил, Ганга, Волга, Миссисипи... Только этого не хватало.

* * *

Я познакомился с Ахматовой осенью 1959-го, мне исполнилось двадцать три года. Были общие знакомые, повод нашелся. К тому времени я уже несколько лет писал стихи, мне хотелось, чтобы Ахматова услышала их. И мне хотелось, чтобы они ей понравились.

Она жила тогда в Ленинграде на улице Красной Конницы, прежде Кавалергардской, дом 3, квартира 4. Это район Смольного, бывшая Рождественская часть. «Если такие живут на Четвертой Рождественской люди, странник, ответствуй, молю, кто же живет на Восьмой!» — так дурачился Мандельштам, обращаясь к Шилейко, впоследствии мужу Ахматовой. Недалеко, на Таврической, — Башня Вячеслава Иванова, его квартира, где она бывала в молодости. Недалеко Таврический сад, во вьюжных аллеях прячущий призраки тринадцатого года. Недалеко Шпалерная, ныне улица Воинова, с тюрьмой, знаменитой многими знаменитыми арестантами, в разное время заключавшей в себе первого ее мужа, ее сына, последнего ее мужа... В Ленинграде на всяком месте уже что-то было, кто-то жил, с кем-то встречался. «Помните наши разговоры в феврале 14 года на Кавалергардской?» — писал своей — и ахматовской — приятельнице Николай Владимирович Недоброво, человек, сыгравший исключительную роль в поэтической и личной судьбе Ахматовой. Когда мне случалось проезжать с ней по городу и Ахматова указывала на какой-нибудь дом, и на другой, и на следующий, она обрывала себя: «Велите мне замолчать, я превращаюсь в профессионала». Она

Из книги «Конец первой половины XX века», журнальный вариант. Все письма и ряд биографических документов публикуются впервые. Необходимый комментарий к письмам дается по ходу повествования.

прожила долгую жизнь и видела ничем не связанные между собою события, происходившие в одном и том же месте, и видела одну и ту же пьесу, идущую в самых разных декорациях. К тому же она еще и притягивала к себе самые невероятные совпадения, самых неожиданных двойников. Повторение события, отражение его в новом зеркале проявляло его по-новому. Если не случалась встреча, случалась невстреча, обе были для нее одинаково реальны и закодированы, вещественны и бесплотны. Дни ее жизни, помимо слов, дел, минут, из которых они состояли, были еще годовщинами, юбилеями — десятилетними, четвертьвековыми, полувековыми. Все было — «как тогда», когда-то. Время, в которое я ее узнал и до конца ее жизни, было время пятидесятилетних дат: начала публикации стихов, вступления в «Цех поэтов», венчания с Гумилевым, рождения сына, выхода в свет «Вечера», «Четок», «Белой стая». Соответственно вело себя Пространство, прихотливо подбирая для нее дома, улицы. В раннем детстве, четырехлетней, она жила в Царском Селе, на Широкой; местом последней ее прописки была улица Ленина в Ленинграде, бывшая Широкая. Больше тридцати лет провела она в стенах Фонтанного дома, дворца графов Шереметевых; гроб с ее телом стоял в Москве в морге института Склифосовского, бывшего странноприимного шереметевского дома, с тем же гербом и тем же девизом «Deus conservat omnia» («Бог сохраняет все»).

Женщина, открывшая мне дверь, и гостя, в эту минуту уходившая от нее, и седой улыбающийся господин, встретившийся в коридоре, и девушка, промелькнувшая в глубине квартиры, показались мне необыкновенными, необыкновенной внешности, носящей печать и тайну причастности к ее жизни. А сама она была ошеломительно — скажу неловкое, но наиболее подходящее слово — грандиозна, неприступна, далека от всего, что рядом, от людей, от мира, безмолвна, неподвижна. Первое впечатление было, что она выше меня, потом оказалось, что одного со мной роста, может быть, чуть пониже. Держалась очень прямо, голову как бы несла, шла медленно и, даже двигаясь, была похожа на скульптуру, массивную, точно вылепленную — мгновениями казалось, высеченную, — классическую и как будто уже виденную как образец скульптуры. И то, что было на ней надето, что-то ветхое и длинное, возможно, шаль или старое кимоно, напоминало легкие тряпки, накинутые в мастерской ваятеля на уже готовую вещь. Много лет спустя это впечатление отчетливо всплыло передо мной, соединившись с записью Ахматовой о Модильяни, считавшем, что женщины, которых стоит лепить и писать, кажутся неуклюжими в платьях.

Она спросила, пишу ли я стихи, и предложила прочесть. В одном стихотворении была строчка «Как черной рыбой пляшет мой ботинок». Когда я кончил читать, она сказала: «Мы говорили — ботинка» (то есть женского рода). Через несколько лет я читал стихи о Павловске, и там было такое место: «И ходят листья колесом вокруг туфля». Она произнесла: «Мы бы сказали — туфли». Я напомнил про ботинку, что-то costрил насчет моих сапожных просчетов, ей не понравилось.

Женщина, впустившая меня в квартиру, внесла блюдечко, на котором лежала одинокая вареная морковка, неаккуратно очищенная и уже немного подсохшая. Может быть, такова была диета, может быть, просто желание Ахматовой или следствие запущенного хозяйства, но для меня в этой морковке выразилось в ту минуту ее бесконечное равнодушие — к еде, к быту, — чуть ли не аскетичность, и одновременно ее неухоженность и даже ее бедность.

Я застал ее в сравнительно благополучные годы. Литфонд выделил ей дачу в Комарове, дощатый домик, который она скорее добродушно, чем осуждающе, называла Будкой, как хатку под Одессой, где она родилась. Его и сейчас можно видеть, один из четырех на мысочке между улицами Осипенко и Озерной. Как-то раз она сказала, что нужно быть незаурядным архитектором, чтобы в таком доме устроить только одну жилую комнату. В самом деле: кухня, комната средних размеров, притом довольно темная, а все остальное — коридоры, веранда, второе крыльцо. Один угол топчана, на котором она спала, был без ножки, туда подкладывались кирпичи. Когда в 1964 году она поехала в Италию получать литературную премию, некоторые носильные вещи пришлось брать взаймы; по возвращении я отнес шерстяной свалывшийся шарф вдове Алексея Толстого. Те, с кем она жила в Ленинграде в одной квартире, Ирина Николаевна Пунина (это она открыла мне дверь), дочь последнего мужа Ахматовой, и Аня Каминская, его внучка, не могли уделить ей достаточно внимания, у них были свои семьи, заботы, дела, а тут требовалась самоотверженность. Нина Антоновна Ольшевская, у которой она чаще всего останавливалась в Москве,

Мария Сергеевна Петровых, Ника Николаевна Глен, в разное время дававшие ей пристанище, были самоотверженны, были по-настоящему добры к ней, предупредительны. Однако это были приюты, не свой дом.

Бездомность, неустроенность, скитальчество. Готовность к утратам, пренебрежение к утратам, память о них. Неблагополучие, как бы само собой разумеющееся, не напоказ, но бьющее в глаза. Не культивируемое, не — спутанные волосы, не — намеренное занашивание платья до дыр. Не поддельное — «три месяца уже не дают визу в Париж». Неблагополучие как норма жизни. И сиюминутный счастливый поворот какого-то дела, как вспышка, лишь освещал несчастную общую картину. «Выгодный» перевод, который ей предлагали, означал недели или месяцы утомительной работы, напоминал о семидесятирублевой пенсии. Переезд на лето в Комарово начинался с поисков дальней родственницы, знакомой, приятельницы, которая ухаживала бы за ней, помогала бы ей. Вручение итальянской премии или оксфордской мантии подчеркивало, как она больна, стара. Точно так же ее улыбка, смех, живой монолог, шутка подчеркивали, как скорбно ее лицо, глаза, рот.

В последние годы двое-трое из близких к ней людей очень осторожно, невпрямую заходили с ней разговор о завещании. Дело заключалось в том, что, когда ее сын Л. Н. Гумилев был в лагере, Ахматова, чтобы после смерти, как она выражалась, «за бараклом не явилось домоуправление», составила завещание в пользу Пуниной. После освобождения сына она сделала запись (в одной из своих тетрадей и на отдельном листе бумаги) об отмене прежнего завещания, что автоматически означало, что ее единственным наследником становится сын. Эта запись, однако, не была заверена нотариусом. Она спросила меня, что я об этом думаю. Я ответил, что, по-моему, она не должна оставлять в каком бы то ни было виде завещания, направленного против сына. Она тотчас взорвалась, закричала о лжедрузьях, о нищей старухе. Через несколько дней опять заговорила на эту тему: сцена повторилась. И еще раз. 29 апреля 1965 года, в конце дня, она вдруг сказала: «Давайте вызовем такси, поедем в нотариальную контору». Тогда она жила уже на Ленина, контора находилась на Моисеенко, недалеко от Красной Конницы. Оказался очень высокий третий этаж, крутая лестница. Такие подъемы были противопоказаны ее послепаралитическому сердцу, я предложил вернуться и вызвать нотариуса домой на час, когда никого в квартире не будет. Она начала медленно подниматься. В конторе было пусто, кажется, еще один посетитель. Она грузно опустилась на стул. Я попросил нотариуса выйти из-за перегородки. У него оказалось обожженное лицо и руки, блестящая натянутая кожа. Ахматова сказала: «Я разрушаю прежнее свое завещание». Он объяснил, что это надо сделать письменно. Она почти простонала: «У меня нет сил много писать». Договорились, что он продиктует, я напишу, а она подпишет. Так и сделали. На лестнице она или я что-то сказали про Диккенса. А когда вышли на улицу, она с тоской произнесла: «О каком наследстве можно говорить? Взять под мышку рисунок Модя и уйти». (Замечу в скобках, что после ее смерти те, кто не имел на архив Ахматовой никакого права, но в чьих руках он оказался, устроили позорную борьбу за него, состоялось позорное судебное разбирательство, в результате рукописи распозлились по трем разным хранилищам, и при этом неизвестно, сколько и каких разрозненных листов прилипло к чьим рукам.)

Неблагополучие — необходимая компонента судьбы поэта, во всяком случае поэта нового времени. Ахматова считала, что настоящему артисту, да и вообще стоящему человеку, не годится жить в роскоши. «Что это он фотографируется только рядом с дорогими вещами? — заметила она, рассматривая в журнале цветные фотографии Пикассо. — Как банкир». Вернувшись из Англии, она рассказала о встрече с человеком, занимавшим в ее жизни особенное место. Сейчас он жил, по ее словам, в прекрасном замке, окруженном цветниками, слуги, серебро. «Я подумала, что мужчине не следует забираться в золотую клетку». Когда Бродского судили и отправили в ссылку на Север, она сказала: «Какую биографию делают нашему рыжему! Как будто он кого-то нарочно нанял». А на мой вопрос о поэтической судьбе Мандельштама, не заслонена ли она гражданской, общей для миллионов, ответила: «Идеальная».

Она притягивала к себе не только своими стихами, не только умом, знаниями, памятью, но и подлинностью судьбы. В первую очередь подлинностью судьбы. Я окончил школу через три месяца после смерти Сталина, через два после освобождения еврейских врачей. Неизбежное для юности недовольство старшими, «отцами», попытки

через бунт освободиться от их влияния получили пищу во внезапно открывшихся их трусости, слепоте, лицемерии, бессилии, не говоря уж о подлости, раболепии: в углубленное понимание причин прямолинейный ум не хотел вдаваться, эгоистичная душа не была готова к сочувствию. Одновременно неизбежные для юности поиски авторитета приводили к разочарованиям: при близком рассмотрении авторитет официальный оказывался дутым, подпольный — ущербным.

В московском «Дне поэзии» пятьдесят шестого года была напечатана элегия Ахматовой «Есть три эпохи у воспоминаний». Я не мог отдать себе отчета в том, чем это поразило меня больше: тем ли, что она еще жива, или содержанием и красотой. За тридцать лет, что прошли с тех пор, эти белые стихи, тотчас запомненные, много раз всплывали в сознании по поводу и без повода, наполняясь содержанием, прежде не прочитанным, упущенным, ахматовским, равно как и вчитанным, пережитым, своим. Это была новая Ахматова и вместе с тем узнаваемая, выглядывающая из «Эпических мотивов». В следующий раз я увидел «Есть три эпохи» в сборнике 1961 года, так называемой лягушке — по зеленому цвету переплета, — в цикле с «Так вот он, тот осенний пейзаж» (читается *пейзаж*, как привыкла произносить Ахматова) и четверостишием «И голос тот уже не отзовется». Впечатление от четверостишия было ослепительное, на время оно полностью затмило элегию. «Ликуя и скорбя...», «Все кончено...» — все было обязательно, интонация неотменима, власть каждого слова несомненна. Но главное — звук. Несколько поэтов, чьи стихи соседствовали с этими в альманахе, казалось, могли «договориться» между собой. Можно было представить себе, что вот Пастернак продекламировал «Свеча горела», затем Цветаева — «Читателей газет», Заболоцкий — «Прощание с друзьями» и та же Ахматова — «Есть три эпохи». Но что-то в женщине, которой принесли морковку, выходило за край и этого нового, и всех прежних известных мне стихотворений; присутствовал в словах, которые она изредка произносила, звук, вообще, как я тогда подумал, не вмещавшийся в стихи. Ни в каком поэтическом хоре не звучал, не мог звучать такой голос, словно выхваченный из хора плачущих над тем, кто сам уже безмолвен. «Где больше нет тебя». В то же время эти несколько прощальных слов не скрывали, что они составлены с искусством, в стихах был «эффект», строка обрывалась на «И песнь моя несется...», то есть все кончено, а песнь все-таки несетя.

Школьный учитель литературы, он же директор школы, невысокий, физически сильный, с монгольским разрезом глаз и твердым подбородком сорокалетний орденосец, не вел о своем предмете пустых разговоров, не занимался тонкостями. Про Ахматову, когда речь пошла о постановлении ЦК 1946 года, он сказал: «С ней просто. Она сама была некрасивая, а всю жизнь любила очень красивого человека. Он на нее не обращал внимания, отсюда упадничество». Центром урока был план темы, сочинения на тему. Любую. Возможную на экзамене. Мы писали только малую часть планируемых. Вступление. Содержание. Заключение. Римские цифры, арабские цифры. Строчные буквы: а), б), в)... Пункт четвертый: «Близость Онегина к декабристам: а) «Ярем он барщины старинной оброком легким заменил»; б) «Зато читал Адама Смита»; в) черновой вариант «Судьба царей, в свою чреду, все подвергалось их суду». Его подход к литературе был честным. Он требовал знания изучаемых произведений, задавая на лето конспектировать «Войну и мир», я с удовольствием делал это по главам, получилась толстая тетрадь. Он не требовал любви к литературе, которая почему-то считается более обязательной, чем любовь к химии. Не требовал, чтобы мы любили «Мать» Горького так же, как «Войну и мир». Он диктовал планы. «Образ Пьера Безухова». Его значение в романе. Отношение с другими героями. Внешность, поступки, качества характера. «Образ Павла Власова». Его значение в романе. Отношения с другими героями. Внешность, поступки, качества характера. Он выводил литературу на уровень, на котором книги были равны друг другу. Собственно говоря, то же самое было на уроках физики: падающий человек имел такое же ускорение, что и падающий камень. И на биологии: у паука тоже было сердце, только система кровообращения незамкнутая. Нам преподавали не изящную словесность, не заставляли сопереживать положительным персонажам, зато и не говорили, как через тридцать лет моим детям: «Евгений Онегин был одет во все не наше». Нравились тебе поэма «Двенадцать», не нравились — ты должен был знать, что она обличает царизм и воспекает революцию. Мысль гнулась, но чувство оставалось нетронутым. Ты мог быть очарован «Сероглазым королем» — и, разбуженный ночью, отрапортовать, что стихотворение упадочно и порочно.

Ахматова говорила, что, сколько она ни встречала людей, каждый запомнил 14 августа 1946 года, день постановления ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград», так же отчетливо, как день объявления войны. Это был первый послевоенный год, и меня отправили к родственникам в маленький латвийский город Лудзу (Люцин) подкормиться. Дом тетушки стоял на площади, прямо против него, через тротуар, располагалась деревянная трибуна, мимо которой по праздникам проходила демонстрация. Мне было десять лет, я лежал на горячих от солнца крашеных досках трибуны и что-то читал, когда с газетой в руках появился двоюродный брат, рижанин, старшекласник, и, изображая строгость, проговорил: «Что это у вас в Ленинграде за безобразие творится, распустились!» Я стал читать газету и даже в такой специфической подаче уловил пленительность и, как я сейчас бы сказал, драматизм, а потому и правду стихов, приведенных обрывками, почувствовал притягательность фигуры, в которую летели камни. И конечно же, у меня не было никаких сомнений в том, что после постановления Ахматова навеки сгинула.

Словом, идя на Красную Конницу, я ждал встречи с великой, несдавшейся, таинственной, легендарной женщиной, с Данте, с поэзией, с правдой и красотой — встречи, которой «не может быть», — и эта встреча случилась. Разочарования не было.

Неожиданной, но сразу же узнанной и словно бы само собой разумеющейся была обреченность во всем ее облике, словах, жестах, обреченность окончательная и признанная ею, так что уже излучавшая силу. Как и все, чьи первые визиты к ней я наблюдал потом, я, по позднему определению Марии Сергеевны Петровых, «вышел шатаясь», плохо соображая что к чему, что-то бормоча и мыча. Я уходил, ошеломленный тем, что провел час в присутствии человека, с которым не то чтобы у меня не было никаких общих тем (ведь о чем-то мы этот час говорили), но и ни у кого на свете не может быть ничего общего. Я поймал себя на том, что мне уже не важно, понравились ей мои стихи или нет, а важно, что они ею просто услышаны.

* * *

«Смирная, одетая убого, но видом величаява жена». Стоя на троллейбусной остановке после очередного визита к ней, я поймал себя на том, что уже некоторое время машинально повторяю эти строчки, и тотчас усмехнулся тому, что слишком уж она похожа на эту пушкинскую «школьную надзирательницу», как будто нарочито похожа. Я тут же одернул себя, подумав, что своей усмешкой тоже толкую превратным образом «понятный смысл правдивых разговоров».

Однажды она обронила: «Мы вспоминаем не то, что было, а то, что однажды вспомнили». После ее смерти я стал вспоминать ее и с тех пор вспоминаю свои воспоминания. Но она оставляла о себе воспоминания с секретом. Например, как-то раз рассказывая про свой роман с Блоком, она с брезгливостью отозвалась о глубинах и изобретательности человеческой пошлости: некто, прочитав в «Поэме без героя»: «А теперь бы домой скорее Камероновой галереей», — стал делать намеки на возможные ее связи, чуть ли не адюльтер, с кем-то из обитателей царского дворца. Она сделала упор именно на изощренности безнравственного ума, и с расставленными таким образом ударениями это замечание много лет хранилось в моей памяти вместе с другими в этом духе. Но также и вместе с разрозненными, произнесенными в разное время упоминаниями конкретно о Царском Селе.

В другой раз она продекламировала шуточные царскосельские стихи, связанные с приездом в Россию французского министра Люббе: он не знал про недавний морганатический брак великого князя Павла Александровича и княгини Палей, бывшей прежде женой Пистолькорса, и обратился с вопросом о нем к императрице.

— Où est Prince Paul, dites-moi, Madame? ¹ —

спросил Люббе, согнувши торс.

— Il est parti avec ma femme! ² —

из свиты брякнул Пистолькорс.

Она рассказывала о княгине Палей как о царскоселке, хотя не помню наверное, говорила ли, что была с нею знакома. Сказала, что читала ее мемуары: «Мало-

¹ Где князь Павел, скажите, государыня?

² Он уехал с моей женой!

интересные — ненаблюдательной, неодаренной дамы». После революции ее мужа держали в Петропавловской крепости. «Она возила в санях ему передачи. Потом его расстреляли, ночью, во дворе крепости. Она уехала в Швецию. Дочери, увидев ее, все поняли и заплакали. В книге две фотографии: молодой петербургской красавицы — и глубокой старухи, а разница несколько лет». Затем коротко передала подробности смерти ее двадцатилетнего сына Владимира, поэта, сброшенного в шахту в Алапаевске через полгода после расстрела мужа.

В подаренном мне экземпляре «Anno Domini» она сделала несколько помет и исправлений, над стихотворением «Зажженных рано фонарей» напечатала название «Призрак» и исправила «ты глядишь» на «царь глядит» и «светлыми» на «темными»: «И странно царь глядит вокруг пустыми темными глазами».

В заметках к «Поэме без героя» она написала о подруге молодости, Глебовой-Судейкиной: «Ольга танцевала la danse russe rêvée par Debussy, как сказал о ней в 13 г. К. В.» (русский танец в грезах Дебюсси). И еще раз: «La danse russe в царскосельском дворце». В воспоминаниях другой, еще более давней подруги, В. С. Срезневской, отрецензированной, если отчасти не продиктованных ей Ахматовой, описывается такой эпизод: «Отошли в область прошлого версальские и английские кущи Ц. С. и Павловска, лунные ночи с тоненькой девочкой в белом платьице на крыше зеленого углового дома («Какой ужас! она лунатик!») и все причуды этого вольнолюбивого ребенка, купанье в ручейке у Тярлева беленьких (негде было загореть!) стройных ножек, и ласковый голос вел. кн. Владимира Александровича, совершавшего пешком с адъютантом утреннюю прогулку: «А если вы простудитесь, барышни?» — и ужас узнавшей о наших проказах все той же m-me Винтер, обещавшей рассказать «все» нашим родителям, и наше смущение перед красивым стариком, так мило сделавшим нам замечание». И на плане Царского Села, сделанном рукой Ахматовой, ею обозначен дворец великого князя Владимира Александровича (отца К. В., Кирилла Владимировича).

В списке «Даты и адреса» Ахматова после заметки «С 2-х до 16 лет Царское Село» перечисляет:

«Царское Село.

Так называемый «Холодный дом» (1893?), Широкая ул., первый дом от вокзала. (Левая сторона. Сгорел в 1919 г. от «белой» бомбы.)

Дом купца Сергеева, Малая ул. (четная сторона, второй этаж).

Дом Бернаскони, Безымянный пер. (1894 г.).

Дом купчихи Евдокии Ивановны Шухардиной. (Не вдова ли лесковской Шухарды — на Литейной, см. восп. сына Лескова. Сначала первый этаж, наверху Антоновские (Юрий Михайлович, переводчик Ницше и мировой судья).

Потом второй этаж, а внизу Тюльпановы. Там у брата Андрея бывал Н. С. Гумилев.

Широкая ул. — второй дом от вокзала, правая сторона, угол Безымянного пер. Мое окно выходило на Безымянный пер Жили до мая 1905.

Лето 1905 г. Бульварная, дом Соколовского. Оттуда в начале августа в Евпаторию (отставка отца и расхождение родителей)».

«Безымянный переулок» первоначально стоял в подзаголовке «Царскосельской оды», написанной в конце жизни. За ним следовали два эпитафия: гумилевский: «А в переулке забор дощатый» — и пунинский: «Ты поэт местного, царскосельского значения».

Постепенно, с течением лет сознание исподволь сопоставляло эти воспоминания, обрывочные сведения, случайные замечания, записи, пока они не образовали пусть ущербную, но общую картину. И тот давний выпад против чьих-то грязных — и донимательского характера — предположений о Камероновой галерее стал звучать по-другому. Не в том, разумеется, смысле, что «что-то» все-таки было, нет! И в ее словах об обладателях испорченного, злонамеренного ума, esprit mal tourné, поворачивающих стихи в любезную им сторону, я слышу то же негодование и брезгливость. Но в том, что не так все просто, как кажется по первому впечатлению; что место действия Царское Село, где находился двор; что, дескать, хотя наш дом стоял на Малой улице, но Царское — городок игрушечный, там все рядом; что, помните, я когда-то рассказывала вам еще, как поэта Клюева прочили на место Распутина, так это тоже цар-

скосельский слух; и что вот я вам говорю сейчас про Блока и про галерею, чтобы вы именно в такой связи запомнили, а потом когда-нибудь сопоставили с Палей, Ольгой и стихотворением «Призрак» и посмотрели, что выйдет.

И когда она делала в дневнике запись: «Все каменные циркули и лиры — мне всю жизнь кажется, что П-н это про Царское сказал...» — думаю, что она не сомнительнее других знала, что Пушкин это про Царское сказал. Но имела в виду напомнить про «величавую жену»; про рецензию Мандельштама на «Альманах муз», где он писал о «гиператической важности, религиозной простоте и торжественности ее стихов: ...после женщины настал черед жены. Помните: „смирненная, одетая убого, но видом величавая жена“»; наконец, про лиры, развешенные на ветках чужого сада.

Тонкий яд литературных реплик, произносимых между прочим.

* * *

И еще была причина, почему молодые люди вроде меня тянулись к ней. Она являла собой живой и в тогдашнем представлении безызынный символ связи времен. Молодой человек по природе футурист, он недоволен устройством жизни, которое застал, и желает, во всяком случае, отменить, упразднить неудобные, мешающие ему запреты и разрешения. В том случае, если его поприщем оказалось искусство, он еще и предлагает взамен их новые, единственно правильные, по его мнению, и необходимые. Но получая одобрение единомышленников, которые в подавляющем большинстве сверстники, он интуитивно чувствует, что его позиция недостаточно основательна и непрочна, и ищет поддержки у «чужих», особенно у старших. Ему нужно, чтобы его позицию одобрил не только «текущий момент», но и «века». Так действует механизм преемственности.

Ахматова встретила революцию совершенно сложившимся человеком, с устоями и критериями, которых впоследствии не меняла. Этим, а не только строгой и уверенной манерой поведения объясняется, в частности, то, что тридцатилетних ее и Мандельштама считали, называли и видели стариками. Ее воспитала петербургская двухсотлетняя и — шире — русская нескольковековая культура. Усвоенные ею ценности были обеспечены содержанием огромного периода истории, нравственная оценка происходящего была та же, что, скажем, у княгини Анны Кашиной, или княгини Анны — жены Ярослава Мудрого, или у пророчицы Анны. Она рассказала про свою приятельницу: через несколько лет после революции та стирала в тазу белье на коммунальной кухне уплотненной квартиры. Прибежала дочка из школы и, проходя мимо, легко, хотя и не без вызова, произнесла: «Мам, а Бога нет». Мать, не прекращая стирать, устало ответила: «Куда ж Он девался?» Ахматова не соглашалась сбрасывать с «корабля современности» объявленный ненужным культурный балласт, не отказывалась от проверенного старого ради рекламируемого нового. Поэтому когда она отзывалась на твое «ау», звук каждого ее слова будил эхо в уходящей неизвестно куда перспективе эпох, а не ударялся об недалекую стенку нового времени.

Она была невысокого мнения об эстрадной поэзии конца 50-х — начала 60-х годов. При этом качество стихов, как я заметил, играло не главную роль, она могла простить ложную находку, если видела за ней честные поиски. Неприемлемым был в первую очередь душевный строй их авторов, моральные принципы, соотносимые лишь с сиюминутной реальностью, испорченный вкус.

Молодой московский поэт, мой знакомый, попросил договориться о встрече с ней. Я сказал ей об этом, рекомендовал его, она спросила, не помню ли я каких-то его стихов. Я прочел две строчки из юношеского стихотворения: «Ко всем по-разному приходит осекь — стихами, женщинами, вином». «Слишком много женщин», — произнесла она. Но принять не отказалась.

Или о входившем тогда в моду поэте, которого условно назову Альбертом Богоявленским: «Как может называть себя поэтом человек, выступающий под таким именем? Не слышащий, что русская поповская фамилия несовместима с заморским опереточным именем!» И когда я попытался защитить его, мол, спрос с родителей, последовало: «На то ты и поэт, чтобы придумать пристойный псевдоним».

Как-то раз принесла почту, она стала читать письмо от Ханны Горенко, ее золовки, я — просматривать «Новый мир». Через некоторое время она подняла голову и спросила, что я там обнаружил. «Евтушенко». Она попросила прочесть стихотворение на выбор: «А то я его ругаю, а почти не читала». Стихи были про то, что когда человеку изменит память и еще какая-то память, вторая (кажется, сердца), то с

ним останется третья: «Пусть руки вспомнят то-то и то-то, пусть кожа вспомнит, пусть ноги вспомнят пыль дорог, пусть губы...» В стихотворении было строф десять, я заметил, что после третьей она стала слушать невнимательно и заглядывать в недочитанное письмо. Когда я кончил, она сказала: «В какой-то мере Ханнино письмо скрасило впечатление... Какие у него чувствительные ноги!»

В других стихах, которые я прочел в электричке по пути в Комарово, модный в то время ленинградский поэт вымученно и не очень изобретательно варьировал такую тему: дескать, в грядущем веке появится возможность искусственно воссоздавать людей, живших прежде. И тогда *плохие*, так сказать, *реакционеры*, будут воспроизведены во многих экземплярах, чтобы служить наглядным пособием в школах, а хороших, *прогрессивных* — более чем в одном вылепить не удастся. Я запомнил только, что Магометов будет чуть не полтора десятка, а вот Маяковский — один. «Позвольте,— сказала Ахматова,— это не только пошло, это еще и выгодно».

Вскоре после революции у нее на глазах произошло то, что гордо и глубокомысленно стало называть себя переориентацией интересов поэзии. Однако внешняя убедительность формулы, апломб, с которым она произносилась, были призваны в первую очередь обмануть читателя, внушить ему законность измены тому, отказа от того, что делает стихи поэзией. Только частное мнение, особый взгляд — словом, личные стихи наделены правами представлять «за всех», говорить «от имени всех», точнее каждого. То есть: и я помню чудное мгновенье, и от меня вечор Леила, и вообще он все это «про меня сказал».

Новая установка говорить «от имени народа», «за всех людей» разворачивала взгляд поэта, теперь он должен был направляться не внутрь, а вовне. Допускалось (и поощрялось) совпадение обоих направлений с непреходящим первенством нового. «Мы» вытесняли из поэзии «я», напрямую и прикровенно: скажем, «я разный, я натруженный и праздный», несмотря на индивидуальность опыта и переживания, годилось, потому что предполагается, что «как и многие», «вместе с другими»; а что-нибудь вроде «все мы бражники здесь, блудницы» — по понятным причинам нет. Множество предметов и тем, так называемых изжитых или камерных и потому осмеянных, стали официально и, что несравненно существенней, по велению сердца запретными. Не свое по возможности обобщалось, а общее, по замыслу, усваивалось. Автор в самом деле шел навстречу читателю, умело вербовал его, получал многотысячную аудиторию, но спекулируя на поэзии, давая читателю все, что тот хочет, а не то, что он, автор, имеет. Ахматова сказала о В—ском, в 60-е годы быстро набравшем популярности: «Я говорю со всей ответственностью: ни одно слово своих стихов он не пропустил через сердце».

Между тем «мы» в лирической поэзии имеет вполне конкретное — и никакого другого — содержание: я и ты, он и она, группа близких или друзей, которых поэт может назвать поименно. Только так ограниченное «мы» становится большим, общим. Друзья мои, прекрасен наш союз, наш, лицейстов, Дельвига, Пушкина и других и потому всех, кто «лицейст», постольку поскольку «лицейст». Мы живем торжественно и трудно, мы, петербуржцы, узнающие друг друга на улицах в лицо, и потому всех, кто отравлен и пленен этим — или таким же своим — городом, постольку поскольку отравлен и пленен. В стихах военного времени «А вы, мои друзья последнего призыва» Ахматова говорит о своем долге «крикнуть на весь мир все ваши имена», а в «Победителях» и называет их: Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки — внуки, братики, сыновья.

В 1961 году, в больнице, она написала стихотворение «Родная земля». Оно состоит в немалой степени из клишированных формул, разве что взятых с обратным знаком: «о ней стихи навзрыд не сочиняем», «о ней не вспоминаем» и т. д. В них нет присущей ее стихам остроты, многие строчки кажутся прежде читанными, и уж совсем не ахматовски звучит «мы», неопределенно, без конкретного адреса. Если бы не две строчки, а точнее два слова в них, которые ставят все на свое место. «Но мы мелем, и месим, и крошим тот ни в чем не замешанный прах». Месим и крошим — это посланный через четверть века отзыв на пароль Мандельштама: «Аравийское месиво, крошево» (в «Стихах о неизвестном солдате»). Это их прах, может быть, товарищей по «Цеху поэтов», Гумилева, Мандельштама, «ни в чем не замешанных», может быть, шире: друзей молодости, которых «оплакивать мне жизнь сохранена». Еще отчетливее именно такая адресованность этого стихотворения проявляется в напрашивающемся сопоставлении с другим, написанным меньше чем через три года, «Земля

хотя и не родная». Оно тоже содержит, особенно концентрированно в последнем четверостишии, штампы-образчики, представляющие, однако, «не родную, но памятную навсегда» поэтику символистов: «А сам закат в волнах эфира такой, что мне не разобрать, конец ли дня, конец ли мира, иль тайна тайн во мне опять». Здесь и ставшая общим местом критика символизма: «Когда символист говорит — закат, он имеет в виду — смерть»; и насмешливое ахматовское воспоминание: «Если символисту говорили: «Вот это место в ваших стихах слабое», — он высокомерно отвечал: «Здесь тайна!» Любопытно, что предыдущие две строчки как бы демонстрируют акмеистическую обработку символистских по преимуществу угодий — «закатных»: «И сосен розовое тело в закатный час обнажено».

«Мы шли в гору. Мы были дерзкие, удачливые, беспастушные», — говорила она. Символизм, метров которого они и в начале пути и в продолжении жизни, несмотря на все претензии к ним, почитали, переживал кризис. «Мы пошли в акмеизм, другие — в футуризм». Однажды, к слову, я сказал, что если оставить в стороне организационные мотивы и принципы объединения, то поэтическая платформа — и программа — символистов во всяком случае грандиозней акмеистической, утверждавшей главным образом на противопоставлении символизму. Ахматова — глуше, чем до сих пор, и потому значительней — произнесла: «А вы думаете, я не знаю, что символизм, может быть, вообще последнее великое направление в поэзии». Возможно, она сказала даже «в искусстве».)

«Не должно быть забыто, — делает она ударение в «Листках из дневника», вспоминая воронежский доклад Мандельштама об акмеизме, — что он сказал в 1937 году: „Я не отрекаюсь ни от живых, ни от мертвых“». Она дышала новым воздухом, но легкие ее полны были прежнего, который она вдохнула в юные и молодые годы. Она рассказывала, что оказалась на вокзале — кого-то, кажется Мандельштама, провожала — в тот день, когда из Ленинграда выселяли дворян, они толпились на перроне и все здоровались с ней, пока она проходила. «Я никогда не думала, что у меня столько знакомых дворян». Через нее я познакомился с несколькими ее приятельницами, «младшими современницами». Тогда я считал, что эти шестидесяти-семидесятилетние женщины — естественная константа любого общества, что такие пожилые дамы и такие старухи, измученные, но не ожесточенные, исстрадавшиеся, но не отчаявшиеся, с бескровными лицами, скорбными глазами, но самоотверженные, прощающие, идущие навстречу, были всегда и всегда будут. Оказалось же, что это последние экземпляры вымирающего племени. Нынешние семидесятилетние могут быть их воспитанницами, но они с самого рождения живут в атмосфере качественно иного состава, это не прошло бесследно не только для их психосоматики, как сказали бы современные врачи, но и для формулы крови. Любовь Давыдовна Стенич-Большинцова сказала мне, когда умер Чаплин: «Я была рядовой той армии, которой он был генералом». Какая сейчас старуха может сказать про какую армию и про себя подобное?

Ахматова наследовала царственное слово, Дантову музу, царскосельских лебедей, Россию Достоевского, доброту матери. Из этого она «сделала, пожалуй, все что можно», перестроив по-своему дом поэзии из камней дома, доставшегося ей, и оставив его в наследство будущему. Эти камни вечны и, как всегда, как испокон веку, годны для следующего строительства. Годны, но пока не нужны, неупотребительны: новый быт, новые функции архитектуры, новые материалы, в ходу пластмасса — «бессмертная фанера», как называла ее Ахматова.

* * *

В декабре 1962 года я прочитал ей только что законченную мною поэму. Это было в Москве, стояла бесснежная стужа. Она жила тогда у Ники Николаевны Глен на Садовой-Каретной и в теплоте и уюте этой семьи выглядела мягче, домашнее. «Тоже Матрена», — говорила она о матери Ники Николаевны, имея в виду солженицынский рассказ «Матренин двор». К тому времени между нею и мною установились уже достаточно дружеские отношения, но еще без будущей доверительности, без той — «после некоторого сомнения я решаюсь написать» — сердечности, которая возникла через несколько месяцев. Она сказала, что понравилось, что «это безусловно поэма, хотя по-настоящему размер не найден», и: «Я не люблю шестистопный ямб при пятистопном». Об определяющей, конструирующей роли размера для поэмы, о том, чуть ли не что «поэма — это размер», она говорила не однажды и до и после этого разговора, настаивая на том, что размер (и строфа), скажем пушкинский ямб

(и «Онегин» по преимуществу), — это не раскрытая дверь, а шлагбаум, об который разбились многие поэмы, начиная с «Пиров» Баратынского и кончая блоковским «Возмездием»: он «съел» русскую поэму; и, наоборот, только новый размер определил удачу «Мороза, Красного носа» и «Двенадцати». Что же до смешения пятистопника с шестистопником, то возражала она, насколько я понял, не против приема как такового, которым сама широко пользовалась, а против необязательности этого смешения, вызванного, возможно, не замыслом, а неаккуратностью или даже отсутствием слуха. Еще она сказала погодя: «Это вещь новая», что я понял не как одобрение, а главным образом как — не наша. И наконец, как бы мимоходом бросив в придаточном предложении: «...эта единая скоита», дала мне почувствовать разницу между ее пониманием того, что такое поэма, и моим тогдашним о поэме представлением.

Тогда, двадцать пять лет назад, я хотел слышать, и слышал, похвалу в ее отзыве об этой «юношеской» поэме, как и в других случаях о других стихах. Сейчас я на этот счет не обольщаюсь, я только отмечаю, что ее оценка была деловая, профессиональная и что в ней не было и тени «старика Державина». Но сейчас я знаю также, что это была не обычная ахматовская «пластинка».

Пластинками она называла особый жанр устного рассказа, обкатанного на многих слушателях, с раз навсегда выверенными деталями, поворотами и острыми местами, и вместе с тем хранящего — в интонации, в соотносении с сиюминутными обстоятельствами — свою импровизационную первооснову. «Я вам еще не ставила пластинку про Бальмонта?.. про Достоевского?.. про паровозные искры?» — дальше следовал блестящий короткий этюд, живой анекдот наподобие пушкинских table-talk с афоризмом, применимым и применявшимся впоследствии к сходным или обратным ситуациям. Будучи записанными ею — а большинство она записала, — они приобретали внушительность, непреложность, зато, как мне кажется, теряли непосредственность.

Так вот, иногда — кстати сказать, не так часто, как можно предположить, — люди, пишущие стихи, обращались к ней затем, чтобы услышать ее оценку. Она просила оставить стихи, начинала читать и, если они оставляли ее равнодушной — а редко так не бывало, — ограничивалась чтением нескольких строчек, реже — стихотворения целиком. При этом, когда автор приходил за ответом, она старалась не обидеть и говорила что-нибудь необязательное, что из ее уст могло быть воспринято как похвала. И тут тоже были «пластинки», две-три сентенции, которые успешно употреблялись в зависимости от обстоятельств.

Если в том, что она прочла, было описание пейзажа, Ахматова говорила: «В ваших стихах есть чувство природы». Если встречался диалог — «Мне нравится, когда в стихи вводят прямую речь». Если стихи без рифм — «Белые стихи писать труднее, чем в рифму». Тот, кто после этого просил посмотреть «несколько новых стихотворений», мог услышать: «Это очень ваше». И наконец, в запасе всегда было универсальное: «В ваших стихах слова стоят на своих местах».

В конце того вечера, когда я прочитал ей поэму, она рассказала, как Инна Эрамовна, ее мать, прочитав какие-то стихи Ахматовой (или даже выслушала их от нее?), неожиданно заплакала и проговорила: «Я не знаю, я вижу только, что моей дочке — плохо». «Вот и я сейчас вижу, что вам — плохо». Собственно говоря, с этого дня мы и стали видаться часто и разговаривать подолгу.

Вообще же она была в то время невысокого мнения даже о поэзии тех молодых, чьи стихи как-то выделяла. Это все было дикарство, в лучшем случае «пройденный ликбез», как однажды припечатала она. Как-то раз мы сидели на веранде, глядели на сосны, траву, вереск, и она с насмешливым выражением лица говорила: «Коля стоял высокий и прямой против высокого же, но сутулившегося Горького и менторским тоном назидал: «Вы стихов писать не умеете и заниматься этим не должны. Вы не знаете основ стихосложения, не различаете размера, не чувствуете ритма, стиха. Словом, не ваше это дело». И тот слушал покорно. А я наблюдала эту сцену, и мне было скучно».

Тут уместно привести целиком одно ее письмо 1960 года. Я получил его из ее рук, хотя написано оно не мне, вернее не именно мне. Это одно из «писем к NN», которые наиболее основательный исследователь ахматовской поэзии Тименчик назвал посланиями «на предъявителя». В последнее десятилетие жизни она написала их несколько, и несколько человек, один из них я, могли бы с достаточным основанием, ссыла-

ясь на ту или иную конкретную фразу, считать себя их адресатами. То, о котором идет речь, лежало в старом итальянском сундуке, credenце, стоявшем в ее комнате и полном рукописями, папками, тетрадами, старыми корректурами и т. п. В один из зимних дней 1964 года, прервав беседу, коснувшуюся тогдашнего поэтического бума и поворота в ее судьбе (публикация на Западе «Реквиема», итальянская премия и т. д.), она сказала: «Откройте credenцу и найдите там-то такое-то письмо». Я нашел, в него был вложен еще один исписанный лист, о котором разговор дальше. «Это вам». Я прочел оба и положил листки на стол. «Это вам». Я поблагодарил и спрятал их в карман, она заговорила на другую тему.

«На целый ряд Ваших писем мне хочется ответить следующее.

Последнее время я замечаю решительный отход читателя от моих стихов. То, что я могу печатать, не удовлетворяет читателя. Мое имя не будет среди имен, которые сейчас молодежь (стихами всегда ведает молодежь) подымет на щит³.

Хотя сотня хороших стихотворений существует, они ничего не спасут. Их забудут.

Останется книга посредственных, однообразных и уж конечно старомодных стихов. Люди будут удивляться, что когда-то в юности увлекались этими стихами, не замечая, что они увлекались совсем не этими стихами, а теми, которые в книгу не вошли.

Эта книга будет концом моего пути. В тот подъем и интерес к поэзии, который так бурно намечается сейчас,— я не войду, совершенно так же, как Солугуб не переступил порог 1917 года и навсегда остался замураванным в 1916. Я не знаю, в какой год замуруют меня,— но это не так уж важно. Я слишком долго была на авансцене, мне пора за кулисы.

Вчера я сама в первый раз прочла эту роковую книгу. Это хороший добротный третий сорт. Все сливается — много садов и парков, под конец чуточку лучше, но до конца никто не дочитает. Да и потом насколько приятнее самому констатировать «полное падение» (chute complète) поэта. Мы это знаем еще по Пушкину, от которого все отшатнулись (включая друзей, см. Карамз.).

Между прочим (хотя это уже другая тема), я уверена, что сейчас вообще нет читателей стихов. Есть переписчики, есть запоминатели наизусть. Бумажки со стихами прячут за пазуху, стихи шепчут на ухо, беря честное слово тут же все навсегда забыть, и т. д.

Напечатанные стихи одним своим видом возбуждают зевоту и тошноту — людей перекормили дурными стихами. Стихи превратились в свою противоположность. Вместо: Глаголом жги сердца людей — рифмованные строки вызывають скуку.

Но со мной дело обстоит несколько сложнее. Кроме всех трудностей и бед по официальной линии (два постановления ЦК'а), и по творческой линии со мной всегда было сплошное неблагополучие, и даже, м. б., официальное неблагополучие отчасти скрывало или скрашивало то главное. Я оказалась довольно скоро на крайней правой (не политич.). Левее, следовательно новее, моднее, были все: Маяковский, Пастернак, Цветаева. Я уже не говорю о Хлебникове, который до сих пор новатор par excellence. Оттого идущие за нами «молодые» были всегда так остро и непримиримо враждебны ко мне, напр. Заболоцкий и, конечно, другие берегуты. Салон Бриков планомерно боролся со мной, выдвинув слегка припахивающее доносом обвинение во внутренней эмиграции. Книга обо мне Эйхенбаума полна пуга и тревоги, как бы из-за меня не очутиться в лит. обозе. Через несколько десятилетий все это переехало за границу. Там, для удобства и чтобы иметь развязанные руки, начали с того, что объявили меня ничтожным поэтом (Харкинс), после чего стало очень легко со мною расправиться, что не без грации делает, напр., в своей антологии Ripolino. Не зная, что я пишу, не понимая, в каком положении я очутилась, он просто кричит, что я исписалась, всем надоела, сама поняла это в 1922 и так далее.

³ Так было уже один (а м. б., и не один) раз в 20-х годах, когда еще были живы мои читатели 10-х годов. Тогдашняя молодежь жадно ждала появления какой-то новой великой революционной поэзии и в ее честь топтала все кругом (всп. Гаспара, 1929). Тогда все ждали чудес от Джена Алтаузуна (Прим. А. Ахматовой.)

Вот, примерно, все, что я хотела Вам сказать по этому поводу. Разумеется, у меня в запасе множество примеров, подтверждающих мои мысли. Впрочем, Вам они едва ли интересны.

1960. 22 янв.— 29 фев.

Ленингр.— Москва».

* * *

Большинство ахматовских дневниковых записей последних лет посвящено «началу»: серебряному веку, тогдашним отношениям, акмеизму. Она объясняла причины, разоблачала клевету и ложь, исправляла то одну, то другую черточку ушедшей действительности — не для того, чтобы приукрасить, не ради будущей выгоды, а скорее *mutatis mutandis*, применительно к изменяющимся обстоятельствам. Слишком многое стало звучать и выглядеть по-другому, иногда прямо противоположно тому, как звучало и выглядело в момент события. Она обращала на это внимание, говорила, что XX век отменил некоторые слова вроде «тишины», придав другим новое значение, например «космосу» или «бесконечности», отнял у третьих их прежние качества: «Когда произносят слово «сосед», никто не воображает ничего приятного, все вспоминают коммунальную кухню». Из исправлений самых крайних, и самых наивных, было сделанное в моем экземпляре «Четок»: она зачеркнула в стихе «Все мы бражники здесь, блудницы» «бражников» и «блудниц» и вписала «вышли из небылицы» — «Все мы вышли из небылицы». Над этим можно было бы посмеяться, если бы не миллионные тиражи газет в августе 1946-го со словами Жданова о ней, «полумонахине, полублуднице», повторенными потом в тысячах докладов, на тысячах собраний.

В какой степени Ахматова оставалась «человеком своего времени», то есть что отличало ее от того, что было до 10-х годов, и от того, что стало после? Помимо социально-политического перелома и вызванных им сдвигов в самых разных плоскостях жизни, время претерпело — претерпевало у нее на глазах — и ряд эволюций, так сказать, естественных, меняющих не лицо, а выражение лица эпохи. Менялись вкусы, эстетика, моды. Во-первых, на Анненском кончались те поэты, слова которых обесценивались простым фактом прежнего их употребления, а не биографией стихослагателя; и на Блоке — те, которые преследовали цель служить поэзией красоте, а не культуре. Во-вторых, искусство — как ремесло, как священнодействие, как средство преобразования мира — было сущностью, определяющей характеристикой круга, в который вошла, чтобы занять свое место, Ахматова.

Она рассказывала, что, когда Анненский увлекся какой-то дамой, жена продавала очередную березовую рощу и отправляла его в Швейцарию, откуда он возвращался «исцеленный». Она говорила и писала, что «ослепленные дети» в «Моей тоске» — это его стихи, выброшенные из второго номера журнала «Аполлон». Но это сведения и объяснения, возможно, помогающие понять психологию его творчества, но более навязанные его поэзии, чем его поэзией. Судьба чиновника, судьба педагога ничего не прибавляет его стихам, не становится судьбой поэта в позднейшем, в ахматовском, смысле этого слова. «Считается, что в поэзии двадцатого века испанцы — боги, а русские — полубоги, слишком много у нас самоубийц», — сказала она в день, когда прочла «Дознание» Леона Фелипе. (Непосредственная реакция была: «Каков старик!» — и: «Завидую, что не я» — и восхищение переводом Гелескула.) В таком случае Анненский, разрыв сердца у которого она связывала с переносом публикации стихов в следующий номер, «бог» или «полубог»?

Однажды ослепительным летним ленинградским вечером 1963 года вдруг решили ехать в Комарово. Анна Андреевна, Нина Антоновна Ольшевская, ее сын Борис и я. Пока бегали за коньяком, пока вызывали такси, пока выехали из города, выяснилось, что одиннадцатый час, но солнце стояло высоко и всю дорогу било в глаза. Настроение было приподнятое, поездка отдавала авантюристкой, без подготовки, без обычных сборов, неизвестно, в Будке ли старики Аренсы, ухаживавшие в то лето за Ахматовой. Все по пути доставляло радость, последовательного разговора не было, случайные реплики произносились быстро и весело — в расчете на расположенных и веселых слушателей. Нина Антоновна прикинула, как нам в каком случае разместиться. Я сказал: «Вот приедем, выпьем, а там и разместимся». Анна Андреевна отозвалась: «Вы уверены, что то, что вы говорите, вполне прилично?.. Боря, разве так я воспитывала в детстве вас с братом?» Борис посмотрел на меня с сочувствием. Когда приехали, начало темнеть. Зажгли свечи, ночь была теплая, сосны стояли у одного открытого окна. Возникло странное ощущение, что мы сидим среди них, и одно-

временно свет, как на картинах де Ля Тура, выхватывал книжную полку, стол, икону. Мы попивали коньяк, переговаривались все реже. Неожиданно для себя — и с неожиданным волнением — я сказал: «Где-то есть стихи такие прекрасные, что все, что написано здесь, на земле, — Анна Андреевна, простите меня, и ваши тоже, — в сравнении с ними страшная грубость, неблагозвучие, косноязычие. Единственное земное слово, в них возможное, хотя и самое уродливое, это «прекрасный»... Может быть, какими-то строчками дает о них представление, хотя и самое отдаленное, только Блок...» Прошло несколько мгновений тишины, для меня в ту минуту совершенно естественной. Нина Антоновна и Борис, видя, что Анна Андреевна молчит, стали подтрунивать надо мной в том же стиле, что установился в машине. Внезапно Ахматова очень серьезно произнесла: «Нет, он дело говорит».

В другой раз, когда разговор зашел о современной французской поэзии, она сказала: «Я знаю, что Аполлинер — последний поэт, не надо меня в этом убеждать». Возможно — «последний европейский», но в сознании осталось «последний вообще». А вспомнил я об этом здесь, потому что сразу вслед за именем Аполлинера в той беседе всплыло имя Блока с тем же определением — «последний». Смысл был такой, что после него — или после них — началось что-то другое.

Началась поэзия, получившая сознательную установку на цитату. Главным образом чужой текст, поэтический, документальный, отсылка к мифу, но также и музыка и живопись стали вводиться в поэзию нового времени на новых основаниях, демонстративно и обязательно. Знаки культуры размещались в стихах как ориентиры, очевидные и скрытые, — в последнем случае с заложенным в них требованием поиска ключа для дешифровки.

Наши разговоры не раз касались Т. С. Элиота: в 60-е годы оживился интерес к нему, он стал нобелевским лауреатом. Пришло его время, короткое, сфокусированным пучком света высветившее фигуру, стали актуальны идеи, переиздавались статьи. Он родился на год раньше Ахматовой и умер на год раньше. Она заговорила о нем, довольно подробно и именно о нем, а не «по поводу», за несколько дней до его смерти. (Так же беспричинно, вдруг завела она речь о Неру накануне его смерти, о Корбюзье за неделю до разрыва сердца у него.) Говорила с нежностью, как о младшем брате, всю жизнь ждавшем и под конец дождавшемся удачи: «Бедный, годами служил в банке, как тяжело ему было. Ну хоть в старости — признание, слава». Позднее показывала гостям трогательную пронзительную фотографию (он стоит, чуть пригнувшись, за креслом жены) в номере журнала «Europa Letteraria», объявлявшем о присуждении ей премии «Этна-Таормина». Я переводил тогда главу из «Бесплодной земли», потом главу из «Четырех Квартетов». В «Четырех Квартетах» она отметила строчки:

The only wisdom we can hope to acquire
Is the wisdom of humility: humility is endless.

(«Единственная мудрость, достижения которой мы можем чаять, это мудрость смирения: смирение — бесконечно».) Часто повторяла: «Humility is endless». И в это же время появился эпиграф к «Решке» — «In my beginning is my end» («В моем начале мой конец»), тоже из «Четырех Квартетов».

Элиот вводил в стихотворный текст цитаты сплошь и рядом в открытую. У Ахматовой таких коллажей нет, она вживляла цитату, предварительно перерожденную так, чтобы чужая ткань совместилась с ее собственной. Но источники у обоих были те же: Данте, Шекспир, Бодлер, Нерваль, Лафорг... И, кажется, именно с процитированной Элиотом строчки из «El Desdichado» Жерара де Нерваля она начала однажды разговор об этом стихотворении, прочла наизусть несколько строк, сняла с полки, не то вынула из ящика стола тоненькую книжку «Les Chimères», открыла на «El Desdichado» и сказала как бы с усмешкой: «А вот что переведите». Вскоре полустиише из этого сонета стало эпиграфом к «Предвесенней элегии»: «Toi qui m'a consolée», с переменной грамматического рода («Ты, который меня утешил»).

Следует оговориться сразу, хотя из последующего это станет ясно само собой, что ахматовские ссылки на кого-то, переключки с кем-то через цитирование чужих (или отчужденно — своего собственного) текстов и по существу, а не только по приему, в корне отличны от пересказа, пусть дословного, чьих-то сочинений или отдельных их мест, фарширующего произведение заемными ценностями. Когда я ей прочитал нравившееся любителям поэзии стихотворение моего сверстника «Едоки картофеля»,

описывающее картину Ван Гога с точки зрения едоков и кончающееся строчками, в которых подытожена идея всей вещи: «То ли мы едим картофель в этом мраке, то ли он»,— она недовольно фыркнула: «Пускай он самих «Едоков картофеля» напишет!» — то есть пиши, а не описывай.

Из своих ранних стихотворений она выделяла «Углем наметил на левом боку» целиком и последнюю строфу особенно:

Углем наметил на левом боку
Место, куда стрелять,
Чтоб выпустить птицу — мою тоску,
В пустынную ночь опять.

Милый, не дрогнет твоя рука.
И мне не долго терпеть.
Вылетит птица — моя тоска,
Сядет на ветку и станет петь.

Чтоб тот, кто спокоен в своем дому,
Раскрывши окно, сказал:
«Голос знакомый, а слов не пойму», —
И опустил глаза.

Она сравнивала с этими строчками корейское стихотворение XVII века, ею позднее переведенное:

Когда моя настанет смерть,
Душа кукушкой обернется,
В густой листве цветущих груш
Я полночью глухою спрячусь.
И так во мраке запою,
Что милый — голос мой услышит.

Повторяла две последние строки и прибавляла: «Какой удар со стороны корейской гейши!» Но не в курьезном сопоставлении и не в остроте было дело.

Голос, выпевающий слова, которых слушатель не может опознать, однако явно им узнаваемый — или кажущийся ему знакомым, — это и был поэтический голос Ахматовой, который она начала ставить уже в первых своих стихах.

Как ты звучишь в ответ на все сердца,
Ты душами, раскрывши губы, дышишь,
Ты, в приближенье каждого лица,
В своей крови свирелей пенье слышишь! —

написал ей Недоброво, варьируя одну из главных тем своей статьи «Анна Ахматова». Статья эта появилась в 1915 году в «Русской мысли» и была первым серьезным разбором ахматовской поэзии и, следуя прибавить, единственным разбором такого рода. Этот увлекательный научный анализ впечатляет не только остротой и основательностью наблюдений, бесспорностью выводов, свежестью открытий, но и словно бы укачивает поэтессе, какое еще направление открыто для нее, что может оказаться плодотворным и какое из продолжений бесперспективно. Теперь, когда виден весь путь Ахматовой, ощущение новизны мыслей Недоброво в значительной степени приглушено ясностью, заметностью их источника в самих стихах. Но статья была написана об авторе двух первых книжек, «Вечера» и «Четок», и многое из того, к чему впоследствии пришла Ахматова, было лишь подтверждением, если угодно, принятием предложенного критиком. Когда я сказал ей об этом моем впечатлении от статьи, которую, кстати сказать, она же мне и дала, Ахматова, и прежде в разговорах выделявшая Недоброво среди выдающихся людей своего времени, и прежде вспоминая о влиянии, которое он на нее имел, сказала просто: «А он, может быть, и сделал Ахматову».

В «Листках из дневника» Ахматова вспоминает, как прочла Мандельштаму кусок из «Божественной комедии» и он заплакал: «Эти слова — и вашим голосом». То же самое можно сказать о множестве мест в ее стихах. Но если в 1922 году знаменитые дантовские слова:

Tu proverai si come sa di sale
Lo pane altrui, e com'è duro calle
Lo scendere e' l salir per altrui scale

(«Ты по себе узнаешь, как горек хлеб чужой и как тяжело спускаться и всходить по чужим ступеням») — произнесены ее голосом как бы в вольном пересказе:

Но вечно жалок мне изгнанник,
 Как заключенный, как больной.
 Темна твоя дорога, странник,
 Полынью пахнет хлеб чужой,—

то через сорок лет восклицание Данте:

Men che drama
 Di sangue m'e rimasto che non tremi:
 Conosco i segni dell' antica fiamma!

(«Меньше чем на драхму осталось во мне крови, которая бы не трепетала: узнаю знаки древнего пламени!») — звучит куда более засекречно:

Ты стихи мои требуешь прямо,
 Проживешь как-нибудь и без них.
 Пусть в крови не осталось ни грамма,
 Не впитавшего горечи их.

Цитату выдает рифма *drama — fiamma* и прямо — *грамма*, но, выдав, втягивает в головокружительную воронку цитат, ибо последний стих дантовской терцины, обращенной к Вергилию, это слова вергилиевской Дидоны, точно переведенные Данте из «Энеиды»; а предыдущее ахматовское стихотворение в цикле «Шиповник цветет» открывается стихом из «Энеиды» и первоначально называлось «Говорит Дидона».

Выявлению «чужих голосов» в поэзии Ахматовой посвящены многочисленные филологические труды последних двух десятилетий, упоминание об использовании ею чьих-то текстов стало общим местом. То, что открыли Т. В. Цивьян, Р. Д. Тименчик, В. Н. Топоров, проникнув за второе дно ее «Роковой шкатулки», теперь уже всегда будет просвечивать сквозь прозрачность стихов «третьими, седьмыми и двадцать девятыми», если воспользоваться ее же фразой, планами. Одно время началась настоящая охота за цитатами в ее стихах, и дело выглядело беспроегрешным: всегда что-то обнаруживалось. Казалось, Ахматова читала — все, заимствовала — отовсюду. Результаты сопоставлений зависели в основном от мнемонических способностей сопоставителей. Перечитывая ее стихи 1921 — 1922 годов, я наткнулся, например, на батюшковский слог, особенно концентрированный в стихотворениях, написанных зимой в Слепневе. В частности, оказалось, что и упомянутый дантовский «хлеб чужой» введен Ахматовой в стихи не непосредственно, а через «Умиравшего Тасса» Батюшкова:

...Младенцем был уже изгнанник;
 Под небом сладостным Италии моей
 Скитаясь, как бедный странник,
 Каких не испытал превратностей судеб?
 Где мой челнок волнами не носился?
 Где успокоился? где мой насыщенный хлеб
 Слезами скорби не кропился?

Но о чем свидетельствовали эта и подобные находки? Только ли иллюстрировали они ахматовский афоризм:

Не повторяй — душа твоя богата —
 Того, что было сказано когда-то.
 Но, может быть, поэзия сама —
 Одна великолепная цитата.

Или соблазняли предположить (а ни на чем мы не любим так настаивать, как на предположении, более чем достаточно, но менее чем необходимо доказываемом), что Ахматова нашла в слепневском доме томик Батюшкова и читала его той зимой? Возможно, это было бы убедительно в отношении другого поэта, но Ахматова не сочиняла стихов, чтобы что-то проиллюстрировать, и находила именно то, что искала. Иначе говоря: что цитируется? — это только первый вопрос, неплодотворный без второго: почему цитируется это? Круг каких культурных ассоциаций, какой сюжет, какой миф втягивается выбранной цитатой в стихи (и — зеркально: какое конкретно место культурной вселенной через приведенную цитату отныне обозначено новыми стихами)? «Пусть все сказал Шекспир, милее мне Гораций». Что «все» сказал Шекспир? Чем милее Гораций? Почему в связи с такой-то темой вспомнен Шекспир, а с такой-то — Гораций? Какой знак подают в ахматовских стихах тот и другой? И что

означает — в системе ахматовской шифровки — их неожиданное соединение в одной строке?

* * *

Искать скрытые цитаты в живой речи Ахматовой было бы занятием бесполезным: всякий человек гораздо чаще бессознательно, чем сознательно, цитирует множество других. Зато то, что она вспоминала применительно к возникшей ситуации, всегда бывало неожиданно и, как правило, смешно.

Она ввела в обиход понятие «Ахматовка». Распределить желающих видеть ее оказывалось иногда нелегким делом, визиты наезжали один на другой, посетители входящий и выходящий сталкивались в дверях, в прихожей, кто-то с кем-то был несовместим, кто-то к кому-то ревновал. Словом, узловая станция с напряженным графиком и неизбежными авариями. В Ленинграде это случалось реже, в Москве чаще. Однажды я пришел к ней днем, она сказала, что назначила на вечер такого-то. «Как такого-то! Уже назначен ской-то, вы все перепутали». Нисколько не расстроившись, она произнесла: «Все перепуталось, и сладко повторять: Россия, Лета...— И после паузы, по слогам:— Ло-ре-ле-я». В самый первый миг мне это показалось неуважительным по отношению к «классическим» стихам, к декабристам, к каторге, новой обидой Мандельштаму от «европейки». Но тотчас стало ясно, что это для нее в первую очередь стихи молодости, которых когда-то не существовало, которые при ней возникли, были на слуху и на языке, много раз повторялись и, вероятно, подвергались, как все в молодости, подшучиванию друзей.

Когда прощались, она иногда вместо обычных пожеланий и напутствий проговаривала из Фета: «И лобзания, и слезы, и заря, заря»,— и, когда я как-то раз ответил что-то вроде, что «не знаю сам, что буду петь, но только песня зреет», она сказала, что ее любимое фетовское стихотворение «Alter ego», и продекламировала:

Как лилея глядится в нагорный ручей,
Ты стояла над первой песней моей...—

а потом подарила оттиск статьи Недоброво «Времеборец (Фет)», проникновенной и очаровательной, но хотя и направленной на то, чтобы снять с Фета клеймо «пошот, боркое хыданье», однако лишней раз привлекающей внимание к этой пародии на знаменитое «Шопот, робкое дыханье». И я подумал, читая статью, что Анна Андреевна, снижая конец стихотворения, знала, конечно же, как досталось и началу.

Иногда, когда мы выходили на прогулку (этому предшествовало: «Дайте мне мои восемь солдатских минут на сборы») и я протягивал руку для поддержки, то она, грузно на нее опершись, предвляла первый шаг стихом неизвестного мне происхождения: «Ну? Бобик Жучку взял под ручку?»

Апрельским вечером 1964 года мы сидели за столом у Ардовых, на Ордынке: Ахматова; Аманда Хэйт, молодая англичанка, тогда писавшая диссертацию об ее поэзии; другая англичанка, подруга Аманды, и я. Еще накануне я условился с девушками, что они заедут сюда за мной и мы отправимся в чей-то дом, где я начинаю на магнитофон, особенно внимательно следя за произношением, хрестоматийные русские стихи, после чего мы на этом же магнитофоне послушаем записи Beatles, недавно вошедших в моду. Когда подошло время отъезда и об этом объявили Ахматовой, оказалось, что она рассчитывала провести с нами весь вечер. Девушки по-европейски любезно и так же категорично объяснили, что «нельзя не ехать, если нас ждут». Я колебался: нарушать договоренность, а главное, отказываться от задуманного развлечения не хотелось. Посидели еще некоторое время, потом поднялись. Анна Андреевна иронически на нас поглядела и жалобно сказала, показав им на меня: «Увозите? А еще просвещенные мореплаватели!» Это побитый Расплюев в «Свадьбе Кречинского» сокрушается: «Бокс!.. английское изобретение!.. А?.. Англичане-то, образованный-то народ, просвещенные мореплаватели...» Смешно было, потому что к месту, и еще смешнее, потому что, по логике происходящего, совсем не к месту. При чем тут, тут, где она только что сидела величественная, безмолвная, неподвижная, да и сию минуту сходит, опираясь на мою руку, вниз по ступенькам, как будто двинулось изваяние, она, из чьих скорбно сомкнутых уст ожидаешь услышать разве что глухие и торжественные слова про шестел трав и восклицанье муз,— при чем тут Бобик? При чем тут, в тесной комнатке, куда вместе с посетителем, прочищающим оттаявший нос, врывается кухонный чад и где под топчан впихнуты два картонных чемодана: рукописи и одежда,— при чем тут Лорелея?

Это был, так сказать, патентованный ахматовский прием, почти правило: надеть перчатку с левой руки на правую, вывернуть ситуацию наизнанку, снизить высокий стиль, поднять низменное, столкнуть несопоставимые на первый взгляд вещи, расположить в стихах слова под новым углом друг относительно друга. «Тогда же возникла его теория знакомства слов», — пишет она о Мандельштаме. Она утверждала, что поэт всегда «неуместен», всегда «воплощенная бестактность», приводила в пример Пушкина, который в альманахе «Библиотека для чтения» среди потока праздничных стихов разных поэтов, посвященных годовщине войны 1812 года и по случаю открытия Александрийской колонны на Дворцовой площади, поместил элегию «Безумных лет угасшее веселье». «Так неуместно, так бестактно».

«По мне, в стихах все быть должно некстати, не так, как у людей».

И, однако, вспомненное не к месту, сопоставленное некстати производило впечатление естественного, чуть ли не само собой разумеющегося. Отсылка к Горацию и намек на Шекспира, окрик на улице и восклицания муз доходили до людей и пленяли людей интонацией самой обыденной, бытовой, сто раз слышанной и настолько распространенной, что если по Зоценко можно восстановить городской язык 20 — 30-х годов, то по Ахматовой — интонации русской речи первой половины XX века. Интонация Ахматовой действовала одинаково на неискушенную в поэзии домохозяйку и на изощренного в анализе текстов структуралиста, это видно из того, что он, как и она, прилеплялся к стихам Ахматовой, а не, к примеру, Вячеслава Иванова или, на худой конец, Волошина, не менее «культурным».

Ахматова была антитеатральна, она совсем не умела показать человека, изобразить, как он говорит, но у нее были идеальные, несравненные слух и память на то, как расставлены в реплике, во фразе, в периоде слова, или — если они были расставлены неточно — на то, как должны быть расставлены. Она говорила, что можно поручиться, что фраза, услышанная молодым Иваном Сергеевичем Тургеневым в прихожей у Плетнева, совершенно достоверна. Стоя уже в шинели и шляпе, Пушкин обращался к собеседнику: «Хороши наши министры! нечего сказать!» «Так и видишь арапа!»

Ее собственная речь, какой бы ни блистала живостью, всегда производила впечатление составленной из тщательно и долго отбиравшихся слов. Она умела записать интонацию с той же точностью, с какой делается нотная запись мелодии. «А, это снова ты», «Подумаешь, тоже работа» — только чисто взятые ноты, только тот звук, который дает клавиша, клавиша музыкального инструмента, настроенного «так, как у людей».

Записи уже как бы содержат в себе обозначения: «печально», «бодро, но не слишком», «торжественно» — и даже уточняющие, уже почти театральные ремарки:

[с вызовом:] Я сама не из таких.
Кто чужим подвластен чарам,
Я сама... [решительно, но лукаво:] Но впрочем, даром
Тайн не выдаю своих.

Иногда стихотворение прячет собеседника, звучит репликой в диалоге с кем-то, формально отсутствующим: это ответ на его реплику, в целях экономии поэтических средств включенную в самый ответ:

И вовсе я не пророчица,
Жизнь моя светла, как ручей,
А просто мне петь хочется
Под звон тюремных ключей.

Е других стихах возникает отчетливый, таким же образом «вписанный» жест:

Или забыты, забыты, за... [резко повернувшись, устало и обреченно:] кто там
Так научился стучать?
Вот и идти мне обратно к воротам
Новое горе встречать.

Вероятно, этим можно объяснить отсутствие письменных ремарок в пьесе «Пролог, или Сон во сне», которую она сочиняла-восстанавливала в последние годы и постановку которой на сцене реально себе представляла (во всяком случае, телеграфную просьбу дюссельдорфского театра о такой постановке рассматривала серьезно). И вообще, чувство сценичности происходящего было свойственно ей в высшей степени. Есть очень

живая фотография ее и пианиста Генриха Нейгауза, сидящих на диване и беседующих, сделанная незадолго до смерти и его и ее. Анна Андреевна комментировала снимок: «Эта сцена из драмы какого-то скандинава. Она ему признается: «Теперь, когда прошло столько лет, я должна тебе сказать, что сын — не твой». Он хватается за голову... А сын тем временем уже профессор в Стокгольме».

В жизни ей была присуща выразительная мимика, особенно гнева, скорби, сострадания; жестикация почти совсем отсутствовала. Зимой шестьдесят четвертого года мы «солидарно», как было обозначено в договоре, переводили Леопарди. Ближе к весне взяли путевки в комаровский Дом творчества на срок, то есть на двенадцать дней: нам объяснили, что легче продлить на месте, чем получить сразу на месяц. Ее определили в номер в главном корпусе, меня во флигель. Отправляясь на прогулку, брали финские сани: сперва шли пешком, потом она, устав, усаживалась, я толкал санки по утоптаным аллеям. В солнечные дни снег становился рыхлым, но лыжники катались повсюду. На просьбу о продлении ответили под самый конец: ей разрешили остаться еще на полсрока, мне отказали. Особенно огорчаться не стоило, работать можно было и в городе. Что-то в этом роде я и говорил, когда остановил санки на открытой поляне: она сидела лицом к солнцу, внешне совершенно спокойная, даже безучастная. Вдруг ее лицо исказилось гримасой неподдельной ярости, стремительным и каким-то нелепым движением она выбросила вперед руку, сжатую в кулак, и выкрикнула: «Ну да! Им нужны путевки для лыжниц!» Почему именно для лыжниц, а не для лыжников, было непонятно, но все вместе — страшно убедительно.

Возможно, это прорывалась усвоенная ею в детстве и юности несдержанность и даже демонстративность реакции на происходящее, свойственные той южнорусской, особенно одесской, среде, в которой она жила. Семнадцатилетней девушкой она жалуется в письме: «Я вечная скиталица по чужим, грубым и грязным городам...» В других ее письмах этого же времени — образчики тогдашнего разговорного стиля: «Не бойтесь, я не зажилю, как говорят на юге»; «Тоника советую сунуть в ...»; «Вам может показаться, что я пускаюсь на аферу»; «Вы бы, наверное, сказали: „Фу, какой морд!“». Она находила вкус в анекдотах, новых и «бородатых», которых был большой выбор в доме писателя-юмориста Ардова, где она подолгу, приезжая в Москву, жила. «Мама, маз?!» — мог вдруг крикнуть ей, садясь за карты, хозяин, изображавший протеста зятя. То есть: примаживаете, прибавляете свою долю к ставке? «Маз, маз», — отвечала она снисходительно. «Сначала уроки, випить потом» — эту присказку в ситуации приготовления к застолью могла произнести и она. Единственный раз, когда по ходу разыгрываемой Раневской и ею сценки (о которой рассказ дальше) должно было прозвучать цензурное слово, она предупредила его замечанием: «Для нас как филологов не существует запретных слов», но про уличное сквернословие могла сказать *poésie maternelle* (*maternel* — материнский, *langue maternelle* — родной язык). И строчки:

Ты уюта захотела,
Знаешь, где он — твой уют? —

недвусмысленно отзываются интонацией «крепкого выражения».

* * *

«Чехов противопоставлен поэзии (как, впрочем, и она ему). Я не верю людям, которые говорят, что любят и Чехова, и поэзию. В любой его вещи есть «колоннальные товары», духота лавки, с поэзией несовместимая. Герои у него скучные, пошлые, провинциальные. Даже их одежда, мода, которую он выбрал для них, крайне непривлекательна: уродливые платья, шляпки, тальмы. Скажут: такова была жизнь, но у Толстого почему-то та же жизнь — другая и даже третья». Эта античеховская не столько критика, сколько позиция, настойчиво Ахматовой декларируемая, кого-то глубоко огорчала, многих повергала в недоумение или же развлекала парадоксальностью. Из объяснений вне-литературных (потому что трудно согласиться с литературными и перестать слышать гармонический ритм чеховских рассказов или струну — в прямом и переносном смысле — «Вишневого сада», трудно понять, почему Зошенко с его «товарами» и модами не противопоставлен поэзии, а Чехов противопоставлен) напрашивается раньше других психологическое.

Быт, изображенный Чеховым, это реальный быт «чужих, грубых и грязных городов», большую часть детства и юности окружавший и угнетавший Аню Горенко, который Анна Ахматова вытеснила не только из биографии, но и из сознания херсонесским

черноморским привольем и царскосельским великолепием. В письмах 1906—1907 годов, адресованных confidentу, отчетливо проступает слой чеховской стилистики: «Хорошие минуты бывают только тогда, когда все уходит ужинать в кабак...», «Летом Федоров опять целовал меня, клялся, что любит, и от него пахло обедом», «...разговоры о политике и рыбный стол», «Кричал же он [дядя] два раза в день: за обедом и после вечернего чая», «Уж, конечно, мне на курсах никогда не бывать, разве на кулинарных», «Денег нет. Тетя пилит. Кузен Демьяновский объясняется в любви каждые 5 минут (узнаете слог Диккенса?)». Не правда ли, хочется продолжить: слог Диккенса в слог Чехова? «Мне вдруг захотелось в Петербург, к жизни, к книгам»: «Где ваши сестры? Верно, на курсах, о, как я им завидую». — В Москву, в университет. Покончить все здесь — и в Москву! — откликаются «три сестры».

Это письма чеховской провинциальной девушки, не удовлетворенной безрадостным существованием где-то, все равно где: в Таганроге или в Евпатории. Даже сюжет их — влюбленность в «элегантного и такого равнодушно-холодного» студента из столицы — типично чеховский. Как и конкретное проявление этой влюбленности: «Хотите сделать меня счастливой? Если да, то пришлите мне его карточку»; «Умереть легко»; «Я кончила жить, еще не начиная. Это грустно, но это так». Ситуация для Ахматовой — если видеть уже в девушке Горенко Ахматову — исключительная: это мир, стиль и голос чеховских героинь, но включенный в систему ее выразительных средств не «сложностью и богатством русского романа 19-го века», не «с оглядкой на психологическую прозу», как писал о ней позднее Мандельштам, а повседневностью. Не Ахматова «цитировала» Чехова, а Чехов — некую девицу Горенко. И в последующем, пусть самом незначительном, усвоении Чехова, если бы такое случилось, было бы «что-то от кровосмешения», как высказалась она однажды по сходному поводу.

Но, думаю, главной причиной ее нелюбви к Чехову была диаметрально противоположность их установок по отношению к искусству. Меня не оставляло ощущение, что претензии, которые высказывала Ахматова, говоря о Чехове, высказывались, чтобы ими заслонить эту, неназываемую. В самом деле: она говорила, что пьесы Чехова — это распад театра. И она же в другой раз говорила, что МХАТ своим взлетом обязан тому, что Станиславский после провала в Александринском театре «Чайки» открыл, как надо ставить чеховские пьесы, «и они имели бешеный успех». У Лидии Чуковской в «Записках о Анне Ахматовой» приведена негодующая речь Ахматовой, обвинявшей Чехова чуть ли не во лжи: «Чехов всегда всю жизнь изображал художников бездельниками... А ведь в действительности художник — это страшный труд, духовный и физический... Мне Замятины, уезжая, оставили альбомы Бориса Григорьева — там тысячи набросков для одного портрета. Тысячи — для одного... Чехов невольно шел навстречу вкусам своих читателей — фельдшерц, учительниц, — а им хотелось непременно видеть в художниках бездельников». Почти то же самое говорила она мне об Ильфе и Петрове: «Они оболгали писателей... В поезде, набитом писателями, жулик оказывается талантливее и умнее их всех». Однако монологом в защиту художников Ахматова уводит разговор в сторону от первой, более непосредственной реплики: Лидия Чуковская по ходу беседы об экранизации Чехова иронически заметила, что в рассказе «Попрыгунья» «все есть, что требуется: и отрицательная героиня, и положительный герой... „И высмеяны люди искусства,— сейчас же сердито подхватила Анна Андреевна,— художники. Действительно, все, что требуется!“» И лишь спустя некоторое время она сосредоточила упреки на искажении образа художника-труженника.

Почему читателями Чехова были одни только фельдшерницы и учительницы, а если и так, то почему и сейчас, когда читательский состав существенно переменялся, все равно требуется высмеивание людей искусства? Слов нет, Ахматова не упускала ни одной возможности поднять достоинство «человека искусства» в глазах общества. Она не простила ни волошинской пощечины Гумилеву, ни алексеев-толстовского глумления над Мандельштамом: пусть оскорбители были того же цеха, что и оскорбленные, — унижая поэтов, они стали заодно с чернью. Когда ей позвонили из «Литературной газеты», чтобы объяснить, что ради опубликования стихов Берггольц, которые оказались более актуальными, они вынуждены перенести стихи Ахматовой в другой номер, она, не дав договорить, отрубила: «Я никому не собираюсь перебежать дорогу, я знаю, что такое добрые нравы литературы» — и повесила трубку. И так далее. Однако почти пятьдесят лет ее жизни, вплоть до самого конца, люди искусства были в неизменном почете и большой цене — за исключением тех, кого официально объявляли вне искусства, ничтожествами, тунеядцами и т. п., что было в глазах обы-

вателя такой же данностью, как «талант и трудолюбие» признанных. И Рябовский в «Попрыгунье» не подрывал доверия современных фельдшер и учительниц к «страшному труду, духовному и физическому», Иогансона, не изобличал «бездельника» Фалька, которого для фельдшер и учительниц просто не существовало.

Не «высмеяны люди искусства», а высказана была Чеховым об искусстве разрушительная для искусства, по крайней мере в том виде, в каком оно сформировалось «серебряным веком», правда. Лев Толстой говорил в 1909 году об Андрее Белом и вообще «декадентизме», что это бред сумасшедших: «Я никакого общения не имею с этими людьми. Я хотел бы спросить, что они хотят сделать». И еще: «Сказать, что «Некто в черном» страшен,— это все поймут и каждый может. А рассказать, как люди живут, как работают, чувства, столкновения — не каждый может». С точки зрения XX века, Толстой выглядит *old hat*, дедушкиной шляпой, стариком, не понимающим нового искусства. Но у него был другой счет времени. И он и декаденты предчувствовали потрясения, которые несет новое время: революцию, войну, разврат, террор и главное — „Бога — нет“, только он смотрел на это мужественно, ища и находя объяснения в извечных свойствах человеческой натуры, как Сервантес, как Шекспир, а они, как будто оробев, объяснили это особыми свойствами XX века и стали создавать и описывать мир, параллельный реальному, где действовал «Некто в черном» и «пахло серой». Понятие «серебряный век», изобретенное впоследствии его представителями, подтягивало новое искусство к «золотому веку» и некорректно и чисто формально: все, что было между Пушкиным и Блоком, как бы не замечалось «серебряным веком».

Ахматова и — менее определенно — Мандельштам называли вещи своими именами лишь через двадцать лет, и это было сделано скорее вопреки «новому искусству», искусству XX века. Искусство для Ахматовой — и шире: для людей искусства 900—10-х годов — было служением не только в общепринятом, но и в религиозном смысле слова. В те годы так много говорилось о Боге в философских кружках и в театрах, в стихах, фельетонах, в ресторанах и гостиницах, что само слово «Бог» сделалось равным всякому другому, и близкий друг Ахматовой Борис Анреп нашел для своей поэмы эпиграф в духе времени:

Да будет свет.
Бог.

Богословие, всегда бывшее итогом духовного подвига, направленного к постижению Истины, широко заменялось религиозно-философскими, или этико-эстетическими, или построенными на чутье истонченных душ спекуляциями. Гумилев мог написать: «И в Евангелии от Иоанна сказано, что слово это Бог»,— подставляя на место Бога-Слова Христа слово профанное. Акмеизм назывался также адамизмом, поскольку акмеисты считали себя последователями праотца Адама, который как называл какую тварь, «так и было имя ей».

При таком смешении тайн и иллюзий, знаний и догадок, истины и мнений стало возможно сказать все что угодно и оправдать все что угодно. Языческие мифы удовлетворяли принятому уровню достоверности так же — если не лучше,— как Священное писание. Как записал в дневнике Блок: «Нет, все-таки Христос,— про предводителя красногвардейцев. Лишь искусство бралось соединить эти несоединимые вещи, лишь магией искусства заново связывались в единую картину мира идола, сброшенные сотни лет назад, и образа, снятые вольтерьянцами или ницшеанцами. «Как известно, христианство в России еще не проповедано»,— любила шутить Ахматова.

Искусство, говоря ее стихами, «вклинялось в запретнейшие зоны естества» и отнюдь не чуралось контактов с мелкими и совсем не мелкими бесами. О черных мессах на дому у тех или других «людей искусства» говорилось хотя и приглушенно, но уже не очень и по секрету: не то искусство прибирало к рукам дьявола, не то дьявол искусство. И революция, придав руинам духа материальные формы, как бы развеяла последние сомнения в том, что спасение только в искусстве и искусство выше всего. Искусство, оно одно, оправдывало ахматовские строки:

Чудотворной иконой клянусь
И ночей наших пламенным чадом.

Оно одно разрешало назвать Блока «Демон сам с улыбкой Тамары», не утруждаясь опровержением того, что

И Пресвятая охраняла Дева
Прекрасного Поэта своего.

Оно набрасывало прелестную пелену на страшные намеки, на безумное прикосновение к тому, что неприкосновенно, в «Тринадцати строчках»:

И мир на миг один преобразился,
И странно изменился вкус вина.
И даже я, кому убийцей быть
Божественного слова предстояло,—
И то благоговейно замолчала,
Чтоб жизнь благословенную продлить.

В ее оценках людей, притом что в суждениях она была воплощенный здравый смысл, на первый план выдвигалась принадлежность их к искусству или отношение к нему. «Он ни в чем не повинен: ни в этом, ни в другом и ни в третьем... Поэтам вообще не пристали грехи»,— заканчивает она гимн Поэту в «Поэме без героя». Зная, что мне этот на практике узаконивающий безнаказанность и даже провоцирующий совершение любого поступка по прихоти подход, особенно распространенный в среде артистической молодежи, чужд (я доказывал Бродскому, что поэт не смеет подвергать в стихах поруганью оставившую его подругу уже потому, что он одарен способностью сделать это наилучшим образом, а та не может ему ответить), она не касалась этой темы, разве что в разговоре при мне с третьим человеком. Но вот ее слова, записанные Лидией Чуковской: «...модернисты великое дело сделали для России... Они сдали страшу совсем в другом виде, чем приняли. Они снова научили людей любить стихи...» Или о Маяковском: «Он ответил: «А к чему сейчас Хлебникова издавать?» Так он отозвался о своем товарище, о своем учителе... В чем же тогда разница между ним и Бриками? Они равнодушны к изданию его стихов, он — к изданию стихов Хлебникова. Разница есть, и большая, но она в другом: в его великом таланте. Он так же, как и они, бывал и темен, и двуязычен, и неискренен... Но это не помешало ему стать крупнейшим поэтом XX века в России». О Станиславском: «Но вот чем он мне привлекателен: настоящей одержимостью искусством. Ему, конечно, на все и всегда было наплевать: только бы ставить и ставить спектакли, только бы торжествовал театр. «Жизнь» помимо театра его просто не занимала...» И то же о Маршаке: «Впервые я поняла, в чем сила этого человека: в неистовой одержимости искусством». Прочитав, я подумал было, что Ахматова употребила другое слово, для православного человека, каким она была по воспитанию, одержимость — это одержимость бесом; но вот же — о себе, о том, как накатывала на нее Поэма, она свидетельствует, что была «бесовскою черной жадью одержима»: в любом случае направленность ее пафоса ясна. И Анненского, который «весь яд впитал, всю эту одурь выпил, и славы ждал, и славы не дождался... — и задохнулся», и упал с разорвавшимся сердцем на ступени Царскосельского вокзала, убили, как можно понять из ее слов, недруги искусства, не напечатавшие вовремя его стихов.

...И вот Чехов, писавший только то, что знал наверное, а то, что было сомнительно: «подсказанное чутьем», сны, догадки,— называвший сомнительным, говорит устами Нины Заречной о «святом» искусстве: «...в нашем деле — все равно, играем мы на сцене или пишем — главное не слава, не блеск, не то, о чем я мечтала, а умение терпеть». А до нее исповедуется Григорин: «День и ночь одолевает меня одна неотвязчивая мысль: я должен писать, я должен писать, я должен... Пишу непрерывно, как на перекладных, и иначе не могу... Вижу вот облако, похожее на рояль. Думаю: надо будет упомянуть где-нибудь в рассказе, что плыло облако, похожее на рояль... И так всегда, всегда, и нет мне покоя от самого себя...»

Заречная — почти ровесница боготворимой «серебряным веком» Комиссаржевской; «декадент» Треплев, о творчестве которого Аркадина говорит: «...никаких тут новых форм нет, а просто дурной характер», над которым смеются, которого печатают, но не читают,— это так называемый старший символист, один из тех, что были предшественниками Ахматовой, авторитетами и учителями. И это в «Чайке», пьесе, где интрига между матерью и сыном, разыгрывающими эпизод Гертруды и Гамлета, все время имеет в виду — вполне «по-ахматовски» — шекспировскую ситуацию; так же как и ссылка на пушкинскую «Русалку»: «В «Русалке» мельник говорит, что он ворон, так она в письмах все повторяла, что она чайка». Тут уж и облако, похожее на рояль, начинает выглядеть пародией на ахматовское знаменитое «Высоко в небе облачко серело, как беличья расстеленная шкурка».

Новое искусство-священнодействие могло «сговориться» с искусством-анализом, искусством-идеей, искусством-проповедью XIX века уже хотя бы потому, что и то и эти «больше чем искусство». Но сговориться с Чеховым, который трактовал искусство

только как ремесло, было невозможно. Язык был один — тональность разная. Разных регистров: то, что Чехов выставлял в смешном виде, почти водевильно, стало подаваться совершенно всерьез и драматически. Реплики ранних ахматовских стихов и чеховских героинь взаимозаменяемы, сплошь и рядом дословно:

душа тосковала, задыхалась в предсмертном бреду;

вы не стали бы мучить меня —
много муки и так, много пыток;

я не плачу, я не жалею, мне счастливой не бывать;

счастье стучится ко мне в окно,
стоит только пустить его;

милый, милый! и я тоже; умру с тобой...

пусть тень его видит, как я люблю;

о, как ты красив, проклятый!

я умею любить и прощать...

Куда, к чьему тексту отнести ту или иную строку, зависит от фокусировки, как в рисунке с секретом, на который если смотреть перпендикулярно, видишь крону дерева, цветы и птиц, а если по касательной к плоскости — скорчившегося в ветвях охотника. Затяни винт наводки на резкость — Анна Ахматова, цикл «Смятение»; ослабь — шутка «Медведь», Чехонте.

Лидия Яковлевна Гинзбург, много лет регулярно с Ахматовой встречавшаяся, после ее смерти сказала: «Почему я не задала ей главного вопроса: „Как вы так стали писать, то есть в самом начале?“ Может быть, какой-то ответ дает Чехов: так тогда говорили — барышни, молодые женщины.

В «Чайке» мудрец Дорн, доктор, считающий, что жаловаться на жизнь в старости невеликодушно, всем лекарствам предпочитающий валерьянку и верящий в мировую душу только тогда, когда попадает в толпу, говорит о Треплеве: «Он мыслит образами, рассказы его красочны, ярки, и я их сильно чувствую. Жаль только, что он не имеет определенных задач. Производит впечатление, и больше ничего, а ведь на одном впечатлении далеко не уедешь». Этот ли приговор новому искусству; или — поскольку искусство священо («наше священное ремесло») — последовательная «профанация таинства» («Серой пахнет. Это так нужно?»); или целенаправленное и неукоснительное снижение стиля, рассчитанное, как оказалось, на будущее, в частности на столь же целенаправленную ахматовскую высоту и тем самым обнаруживающее общие корни; или лакей, от которого пахнет курицей, во всех мхатовских и не мхатовских постановках «Вишневого сада» напоминавший о духоте и пошлости обстановки ее отрочества и юности; или все в совокупности было причиной ее неприязни к Чехову, но неприязнь, даже враждебность, была устойчивая. И когда я сказал ей, что на «Ленфильме» ставят картину по рассказу «Ионыч» и в нее как действующее лицо введен сам Чехов, она не пропустила случая: «Ага! Значит, там будет уже два врача».

* * *

Анна Сергеевна, «дама с собачкой», во время первого тайного свидания с соблазнителем произносит, не пряча слез: «Пусть бог меня простит! Это ужасно... Простые люди говорят: нечистый попутал. И я могу теперь про себя сказать, что меня попутал нечистый». В сходной ситуации лирическая героиня Ахматовой слышит сквозь пение скрипок: «Благослови же небеса — ты первый раз одна с любимым». Раскаяние молодой женщины выглядело, по Чехову, «странно и некстати», но такое ее отношение к происшедшему обуславливалось нормой христианского сознания. В этом смысле отношение ахматовской «счастливой» возлюбленной — прямое и подчеркнутое пренебрежение нормой, отказ от нее.

И вместе с тем столь откровенное и любующееся собой нарушение христианского закона — совсем уже «странно и некстати» — включалось поэтом без колебаний и сом-

нений в систему координат православного быта и образа поведения: молитвы дома, в храме, исповеди, причащения. «Протертый коврик под иконой», «так молюсь за Твоей литургией», «и темная епитрахиль накрыла голову и плечи». Более того, убежденность и естественность, с какой это включение делалось, как бы узаконивают радость от нарушения нормы, поскольку она оказывается, таким образом, совместимой со скорбью раскаяния, которую предполагает исполнение других норм. Иначе говоря, нормой объявлялось именно это одновременное нарушение-соблюдение. Практика такого смешения была уже достаточно широко распространена; философия эпохи нашла ей обоснование, а значит, оправдание, поэзия объявляла ее православной.

Ахматова была человеком верующим, и нельзя сказать, что нецерковным. По-видимому, когда-то посещение храма было для нее непременно и обычным делом:

А юность была — как молитва воскресная,
Мне ли забыть ее?..

...Напев Херувимской
У закрытых дверей дрожит;

Поднимались, как к обедне ранней...

Церковные установления были для нее непреложны, и она рассказала мне после поездки в 1965 году в Англию, как ее спросили в Лондоне, не хочет ли она встретиться с тамошним православным архиереем. «Я отказалась. Потому что говорить ему всю правду я не могла, а не говорить правды в таких случаях нельзя».

Но в последние годы она в церковь не ходила. Зайти, перекреститься, постоять помолиться могла, церковный календарь всегда держала в голове, знала его хорошо, хорошо знала службу. В Прощеное воскресенье 1963 года сказала: «В этот день мама выходила на кухню, низко кланялась прислуге и сурово говорила: „Простите меня, грешную“. Прислуга так же кланялась и так же сурово отвечала: „Господь простит. Вы меня простите“. Вот и я теперь у вас прошу: „Простите меня, грешную“».

Но если воспользоваться ее собственными словами, она скорее была «вне церковной огады», во всяком случае в конце жизни. То говорила, что с общей исповедью согласиться не может, что введение общей исповеди вбило клин между нею и церковью; то — «я хочу верить, как простая бабка». И то и другое звучало все-таки отговоркой. При этом писала: «Как я завидую Вам в Вашем волшебном Подмосковии, с какой тяжелой горечью вспоминаю Коломенское, без которого почти невозможно жить, и Лавру...» Тут уместно вспомнить ее мнение о том, что доступность искусства в виде множества переводов, репродукций и грампластинок — никак не прогресс: доступность эта предполагает случайное, легкое и поверхностное знакомство с проявлениями глубин человеческого духа и в этом смысле способствует духовному разврату. «Раньше на богомолье в Сергиев Посад отправлялись за двое суток — на ночь останавливались в Мытищах. Теперь электричка до Загорска идет полтора часа, но в такой поездке слишком много развлекательного». С другой стороны, когда я впервые надолго приехал из Ленинграда в Москву и стал ее осваивать и спросил у Ахматовой, с чего начинать, она ответила: «Смотря что вам интересно: если камни, то с Коломенского, если барахло — с Останкина» (имелся в виду интерьер Шереметевского дворца). И когда, придя к ней после Коломенского, я рассказал, как уговорил сторожиху открыть мне Вознесенскую церковь и какая там была невыносимая пустота и невыносимая стужа, она спросила: «А вы заметили, какая она внутри крохотная? Какой, стало быть, маленький был у Грозного двор!» О Казанской, действующей, не было сказано ни слова, как будто ее вообще не существовало.

На Пасху 1964 года я получил от нее письмо, там были такие фразы: «По новому Мишину радио слышала конец русской обедни из Лондона. Ангельский хор. От первых звуков — заплакала. Это случается со мной так редко».

Заплакала она и еще раз — когда я ей рассказывал о фильме Пазолини «Евангелие от Матфея», его привезли на фестиваль итальянского кино. Она тогда недавно вышла из больницы после тяжелого инфаркта и еще чувствовала слабость. Я рассказал, что в зале передо мной сидел юноша-грузин и, когда началась сцена распинания и из середины толпы, заслонявшей ее, донесся первый удар молотка и вскрик, он вдруг уронил голову на ладони и затрясся в рыданиях. Слезы наполнили ее глаза и покатылись по щекам. Потом она спросила, был ли в фильме эпизод с самаритянской. «Впрочем, это от Иоанна». (Вот как описан этот эпизод в IV главе Евангелия от Иоанна, стихи 6—8, 27:

«Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай Мне пить. Ибо ученики Его отлучились в город купить пищи. <...> пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиною; однакож ни один не сказал: „чего Ты требуешь?“ или: „о чем говоришь с нею?“». «Замечательно,— сказала Ахматова,— то, что Евангелист обращает на это внимание: застав Его наедине с женщиной, никто не подумал дурного.»)

Подобные места Нового и Ветхого заветов привлекали ее особый интерес, под таким — или сходным — углом зрения они были прочитаны ею, о чем свидетельствуют в первую очередь «Библейские стихи». Со скрытым торжеством рассказывала она, как поймала на ошибке Достоевского — или Подростка, если у Достоевского эта ошибка была задумана. Подросток говорит Ламберту: «Если бы она вышла за него, он бы наутро, после первой ночи, прогнал бы ее пинками... Потому что этакая насильственная, дикая любовь действует как припадок... и, чуть достиг удовлетворения — тотчас же упадает пелена и является противоположное чувство: отвращение и ненависть, желание истребить, раздавить. Знаешь ты историю Ависаги..?» История Ависаги из III Книги Царств (стихи 1—4) тут ни при чем: «Когда царь Давид состарелся, вошел в преклонные лета, то покрывали его одеждами, но не мог он согреться. И сказали ему слуги его: пусть поищут для господина нашего царя молодую девицу, чтоб она предстала ему; и ходила за ним, и лежала с ним,— и будет тепло господину нашему царю. И искали красивой девицы во всех пределах Израильских и нашли Ависагу Сунамитянку и привели ее к царю. Девица была очень красива, и ходила она за царем, и прислуживала ему; но царь не познал ее».

Ахматова считала, что Достоевский, конечно же, имел в виду историю, рассказанную в 13-й главе II Книги Царств: о темной страсти Давидова сына Амнона к Авессаломовой сестре Фамари, которую, обесчестив, «потом возненавидел ее Амнон величайшею ненавистью, так что ненависть, какую он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней; и сказал ей Амнон: встань, уйди... И позвал отрока своего, который служил ему, и сказал: прогони эту от меня вон и запири дверь за нею» (стихи 15, 17).

Выбор Ахматовой сюжетов из Священного писания (Рахиль — Лия — Иаков; жена Лота; Мелхола — Давид; дочь Иродиады), их трактовка, ударения, в них расставляемые, обнаруживают отчетливую тенденцию: все они так или иначе посвящены любовным отношениям мужчины и женщины — точнее, женщины и мужчины. И не прообразы любви небесной, видимые согласно христианскому вероучению «как бы сквозь тусклое стекло», проясняет поэт через образцы любви в этом мире, а как раз психологические, чувственные, «всем понятные» стороны любви плотской, пусть и самой возвышенной.

Читаю посланья Апостолов я,
Слова Псалмопевца читаю.
Но звезды синеют, но иней пушист,
И каждая встреча чудесней,—
А в Библии красный кленовый лист
Заложен на Песни Песней.

Читаются Апостольские послания, Псалтирь — вообще Ахматова знала Библию превосходно, ориентировалась в ней свободно, нужное место находила сразу,— но распаханная книга сама готова на «Песни Песней», лирико-драматической поэме, описывающей любовь пастушки и царя и внешне не отличающейся от светской.

И когда Ахматова обращается к Богу:

Ты, росой окропляющий травы,
Вестью душу мою оживи,—
Не для страсти, не для забавы,
Для великой земной любви,—

то если начало четверостишия очевидным образом повторяет молитву Иоанна Златоуста на одиннадцатый час дня: «Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоея»,— конец столь же очевидно противопоставляется его молитве на десятый час ночи: «Господи, сподоби мя любить Тя от всея души моя и помышления...» В контексте стихотворения эта «великая земная любовь» сродни карамазовскому толкованию евангельских слов о грешнице, которая «возлюбила много»: «...она «возлюбила много»,— кричит Федор Павлович,— а возлюбившую много и Христос простил...» «Христос не за такую любовь простил...» — вырвалось в нетерпении у кроткого отца Иосифа».

День ангела Ахматовой был 16 февраля (по новому стилю), именины справлялись скромно, она принимала поздравления по телефону, вечером за стол садилось несколько гостей. «Я Анна сретенская», — говорила она, ее покровительницей была пророчица Анна, встретившая в иерусалимском храме младенца Христа. Стих «И вовсе я не пророчица» отталивается, конечно, от образа этой святой. Что же касается дня рождения, то тут была известная путаница. Начать с того, что она писала в автобиографии: «Я родилась 11(23) июня», а праздновала, как правило, 23-го и 24-го, прибавляя к дате рождения по старому стилю то двенадцать дней, поскольку оно случилось в прошлом веке, то тринадцать, поскольку отмечалось в тот же день уже в новом. Во-вторых, она любила заметить мимоходом, что родилась в праздник Владимирской иконы Божьей Матери, установленный в память избавления Руси от ордынского хана Ахмата, ее легендарного предка, на котором кончилось татарское иго. Но этот день — 23 июня по старому стилю, 6 июля по новому.

Хан Ахмат, однако, был скорее декоративным украшением, антуражем, придававшим фигуре и имени поэта пикантную яркость, не лишнюю, но и ничего не меняющую. Существенным же было ее утверждение, письменно и устно повторяемое, что она родилась в ночь на Ивана Купалу, то есть опять-таки на 24 июня по старому, 7 июля по новому, стилю. Она давала понять, растворяя, правда, серьезность своих утверждений и намеков благодушно-иронической литературностью, что магия, приписываемая этой ночи, ее обряды, поиски папоротника, цветущего огненным цветом, и с его помощью — кладов, купание и т. д., так же как и весь круг мифов, связанных с Купалой, скрывающимся в воде, в огне и в травах, подающим силу воды и теплоту солнца растениям, были усвоены ею как бы вследствие уже самого факта рождения в этот день.

Это усвоение, как сейчас принято говорить, народных традиций, сложившихся вокруг культа Ивана Купалы, а по сути языческой, то есть демонической, реальности его культа, было отнюдь не безобидным. Тем более что оно переплеталось с проникновением — или намерением проникнуть — в области действия тех таинственных сил, внешний след которых описывают главным образом мифы, объединенные культами луны и воды. «И вот я, лунатически ступая, вступила в жизнь» — не поэтическая фигура, если вернуться к воспоминанию В. С. Срезневской о «лунных ночах с тоненькой девочкой в белом платьице на крыше зеленого углового дома («Какой ужас! она лунатик!»). Столь же биографична и ее внутренняя связь со стихией воды: родившаяся у моря, жившая на море каждое лето, она, по ее словам, «подружилась с морем», «плавала, как щука», по оценке свидетелей; и еще «знали соседи — я чую воду, и если рыли новый колодец, звали меня, чтоб нашла я место», как повествует поэма «У самого моря». Отсюда в ее стихах русалка, морская царевна и, наконец, китежанка; из лунатизма — сомнамбула в «Прологе», одном из самых, как кажется, черноключных произведений Ахматовой.

Тут была игра — и не игра. Шутка — и питательная среда ее поэзии. Стилизованные под сказку древние руины — и склублие невымышленной энергии, из которой черпала силы ее невымышленная муза. В этой тяге к «запретнейшим зонам естества», в культивировании сверхобычных свойств природы, «шестых чувств» (а они у нее были: вещи сновидения, чтение мыслей, разгадка примет, «выразивание» встреч, вестей и т. д.), тоже сказывалась ее принадлежность «своему времени», началу века с его повышенным интересом к теософии, антропософии, оккультным знаниям. «Это нам известно, — сказала она однажды, соединив большие пальцы рук и широко раздвинув остальные: положение кистей на спиритическом сеансе. — Недавно давали пять лет за один такой жест». Дело было в Комарове зимой, мы с Бродским и Мариной Басмановой, его подругой, зашли к Ахматовой в гости. Заговорили о спиритизме, я рассказал, что двое моих приятелей клянутся, что вызвали духов Гёте и Лебедева-Кумача, те явились одновременно и застряли в дверях. Она сказала, что относится к столотверчию враждебно, считая его занятием безнравственным, и сослалась еще на довод Модильяни: «Разве мне было бы приятно узнать, что кто-то может вызвать тень моей покойной матери? А впрочем, — закончила она, — возьмите словарь Брокгауза на букву «С» и прочтите статью Владимира Соловьева «Спиритизм», очень толковую». (Потом она дала нам десятку и послала в магазин за водкой и закуской. Стоял мороз, ночное небо было безоблачно, все в ярких звездах. Бродский узнавал, или делал вид, что узнает, созвездия, потом спросил меня: «А-Гэ, а почему, объясните, по науке, в северном полушарии не виден Южный Крест?» Я сказал: «Возьмите словарь Брокгауза на букву «А» и прочтите статью «Астрономия». «А вы, — сказал он тотчас, очень довольный вовремя пришедшим в

голову каламбуром,— возьмите словарь Брокгауза на букву «А» и прочтите статью «Астроумие».)

Мир, не замечающий внутреннего противоречия в безгрешной радости от греха, в освященной небом земной страсти, в примирении Христа с Велиаром,— это иллюзия, создание которой подвластно одной поэзии. Создание, создавание которой, собственно, и значит «поэзия» в исходном, греческом ее применении. Подвластно — и необходимо ей: «протертый коврик под иконой» обостряет впечатление от «веселой грешницы» до предела, одно без другого *не работает*, поэзия — в их неперменной совместимости и одновременности.

Через печальную благодарность, пусть и не без кощунства выраженную, за избавление от страсти:

Исцелил мне душу Царь Небесный
Ледяным покоем нелюбви;

через сознание искушения, пусть и кончающееся выбором греха:

«То дьявольские сети,
Нечистая тоска».
— «Белей всего на свете
Была ее рука», —

поэт приходит к овладению иллюзорным пространством вседозволенности, в котором — другие измерения, расплывчатые грани, в котором свет похож на тьму и тьма на свет:

Я за нашу веселую дружбу
Всех святителей нынче молю.

В 1922 году Ахматова пишет стихотворение, исключительное по откровенности, которой ссылки на «Фауста» не только не вуалируют, а, наоборот, обнажают корни:

Дьявол не выдал. Мне все удалось.
Вот и могущества явные знаки.
Вынь из груди мое сердце и брось
Самой голодной собаке.

Больше уже ни на что не гоюсь,
Ни одного я не вымолвлю слова.
Нет настоящего — прошлым горжусь
И задохнулась от срама такого.

После этого признания уже не неожиданным кажется другое:

И только раз мне видеть удалось
У озера, в густой тени чинары,
В тот предвечерний и жестокий час —
Сияние неутоленных глаз
Бессмертного любовника Тамары.

Незадолго до ее смерти у нас случился разговор о тогдашнем ее положении: о новой славе, пришедшей к ней, и о пошлости, сопровождавшей эту славу; о высоком авторитете и о зависимости от газетной статьи, чьих-то мемуаров, нобелевского комитета, иностранной комиссии СП; о бездомности и о зависимости от чужих людей; о старости, болезнях и о десятках телефонных звонков, писем. Сперва она держалась гордо, повторяла: «Поэт — это тот, кому ничего нельзя дать и у кого ничего нельзя отнять.— Но вдруг сникла и, подавшись вперед, со страданием в глазах и в упавшем голосе, почти шепоте, выговорила: — Поверьте, я бы ушла в монастырь, это единственное, что мне сейчас нужно. Если бы это было возможно».

* * *

При общении с ней возникало отчетливое ощущение трех временных потоков, самостоятельно, но и во взаимодействии включавших в себя каждую протекающую минуту. Во-первых, реальное время — суток, года, состояния здоровья, домашней атмосферы, политической обстановки и т. д. Во-вторых, как это бывает у старых людей, время возраста, время жизни, в котором ничего из прожитого не пропадает, в котором сиюминутный собеседник, или снегопад, или смена правительства оказываются среди других, когда-то реальных собеседников, снегопадов, смен правительств. Тут появлялись тени, множество теней, почти материализующихся из ее памяти, своим призрачным

присутствием вмешивающихся в беседу, корректирующих твою речь и поведение. «Очень переменялась одежда,— сказала она.— Неожиданно и быстро: я не могу представить себе Колю одетым, как вы, в куртку и свитер». И в тот же миг «Коля», в черном спортуке и белой рубашке со стоячим воротником, оглядывал меня скептически. В-третьих, сама осозная свою жизнь составной частью исторического времени, она обыденным замечанием вовлекала в эту тысячелетия текущую реку тех, кто оказывался вблизи нее. В детстве я услышал от друга моих родителей, ориенталиста, фразу, произнесенную к случаю, которая во многом сформировала мое последующее отношение к истории: «У нас в Ассирии за это на кол сажали». «У нас в Египте», «у нас в Риме», «у нас — гибеллинов, елизаветинцев, ордынцев» — было не столько острым словом в устах Ахматовой, сколько непосредственным ощущением.

В реальном времени действовали реальные люди. Московским домом Ахматовой была квартира Ардовых на Ордынке, «легендарная Ордынка», как иронически называла ее сама Анна Андреевна и вслед за ней близкие к ней люди. Хозяйка, Нина Антоновна Ольшевская, предоставляла госте малюсенькую, но уютную комнату, прежде принадлежавшую ее старшему сыну Алексею Баталову, и окружала почтительно-нежной заботой. Ее полная внутреннего достоинства самоотверженность и преданность Ахматовой оплачивалась доверительностью и любовью старшей подруги. Прежде актриса МХАТа, потом Театра Советской Армии, прожившая, как большинство женщин ее поколения и круга, далеко не безоблачную жизнь, Ольшевская обладала тонким чутьем и горьким опытом, позволявшими ей одинаково хорошо разбираться в людях и в стихах. Она умела делать добро. Ахматова повторяла: «Добро делать очень трудно; зло делать просто, а добро очень трудно». Я спросил Нину Антоновну, почему она так антипедагогично балует внучку. «А хочу, чтобы, когда я умру, она вспоминала, какая у нее была добрая бабушка» — ответ был совершенно серьезный. Высокая, стройная, несуетливая, немногословная, она задавала тон этому дому, в котором за столом могли одновременно оказаться ее претенциозная свекровь и Ахматова, Пастернак и пошляк эстрадник, академически корректно строящий фразу Жирмунский и пьяные студенты. Ее судьбе Ахматова собиралась посвятить в своей прозаической книге главу «И все-таки победительница».

Ее муж, Виктор Ефимович Ардов, знавший все существовавшие в мире шутки, анекдоты и остроты и с переменным успехом изобретавший новые, зарабатывал на свою немалую семью и сменявших один другого гостей и постояльцев продажей во все газеты и журналы — от «Вестника ЦСУ» до «Крокодила» — юморесок, юмористических рассказов и других видов юмора. Он был знаком со всей Москвой, и около него всегда кружился какой-нибудь сатирик из провинции или конферансье. Речь его была яркой даже в тех случаях, когда яркости не требовалось, на всякий поворот беседы у него оказывалась запасена история более или менее к месту, как правило, экстравагантная и смешная. И собеседника он провоцировал на рассказ таких же историй. Это довольно распространенная манера общения, без обострений, без взлетов и провалов, в разговоре участвуют не сами люди, а вспоминаемые ими по поводу, а можно и без повода, истории, повесть деградировавшего «Декамерона» с увядшей «Тысячью и одной ночью», что-то вроде шлепанья через томительные пяти- и десятиминутные промежутки картами в игре «свои козыри». И если партнер на соответствующий лад настроиться не мог и пускался в обыкновенное повествование, Ардов демонстративно отвлекался от разговора, начинал рисовать на обрывке бумаги, заваривать чай, искать в справочнике телефонный номер, при этом с лицемерно-сочувственной интонацией приговаривая невпопад: «Ай-яй-яй. Да, да, вообще, знаете ли...» Когда Ахматова спросила у Нины Антоновны, как ее внучка обращается к отчиму, и, узнав, что по имени, одобрила: «Так и нужно. Папой надо называть папу, мамой маму...» — он, проходивший мимо, тут же подхватил: «...дядей дядю, снохой сноху, шурином шурина. Я, Анна Андреевна, подработаю список, подам вам, ладно?»

Кроме Баталова, к тому времени жившего уже отдельно, у них было еще два сына, Михаил и Борис, родившихся незадолго перед войной. Оба выросли на глазах у Ахматовой, оба в какой-то мере были воспитаны ею, фактом ее присутствия в их доме. Михаил, литературно одаренный, усвоивший отцовскую живость, насмешливость и остроумие, был прозван ею Шибановым в честь воспетого А. К. Толстым стремительно, верного своему князю до смерти. «Но слово его все едино», — декламировал он, усаживая ее в такси, и она без выражения продолжала: «Он свлит сваво господина». Борис, служивший актером в театре «Современник», назывался «артист драмы», как

герой известного рассказа Зощенко, Он обладал безошибочным чутьем на фальшь и ложь и даром лицедейства, мгновенно преобразившим его в премьер-министра на трибуне ООН, в поэтессу, рассказывающую Ахматовой о своем успехе, в мерзнувшего у подъезда шпика. Принесенная им частушка:

Дура, дура, дура я,
Дура я проклятая,
У него четыре дуры,
А я дура пятая,—

была ею тотчас оценена и пополнила арсенал: «Это я. И это мои стихи». В домашнем употреблении была и другая, сочиненная Михаилом еще в бытность студентом-филологом, по поводу визита к Ахматовой академика Виноградова и одобренная ею, «узко-щелевая» частушка:

К нам приехал Виноградов,
Виноградова не надо.
Выйду в поле, закричу:
Мещанинова хочу!

«Миша-беспощадник»,— улыбалась он.

У обоих «мальчиков» Ардовых был хороший вкус, проявлявшийся, правда, наиболее выразительно в отталкивании от вещей дурного вкуса. Многое в литературе и в искусстве они получали из первых рук: например, им, еще детям, позволили сидеть в гостиной, где Пастернак для Ахматовой и для хозяев читал только что переведенные куски «Фауста», и, слушая сцену в кабачке, они засмеялись, на них зашикали, но Пастернак сказал, что и должно быть смешно. Как большинство людей, приученных смотреть на литературу как на живое дело, а не как на стоящие на полке книги, они не благоговели перед ней, не говорили о ней с придыханием и вообще больше были гуляки, выпивохи и любители приключений, чем книгочеи. Особенно Борис, с середины дня до позднего вечера пропадавший в театре. И поэтому когда он ослепительным зимним полднем, щурясь на свет, вышел из ванной с «Карамазовыми» под мышкой и скрылся в своей комнате, Ахматова показала мне на него глазами и с деланным ужасом прошептала: «Вы видели? Достоевский!» — «И что?» — «Как что? Маяковский за всю жизнь не взял в руки ни одной книги, потом вдруг прочел «Преступление и наказание». Чем это кончилось, вы знаете...»

Матери хозяина было под девяносто, она переехала на Ордынку, чтобы не жить одной и чтобы передать свою комнату внуку. «Вы замечали,— сказала Ахматова,— что старики в этом случае становятся бессмертными?» В голове у нее нередко что-то путалось, она могла поставить на газ телефонный аппарат, чтобы согреть воду. Провинциальная благовоспитанная старушечка, раз в неделю она приглашала к себе столь же почтенных дам и господ играть в карты, и однажды Нина Антоновна, внеся в ее комнату поднос с чаем, обнаружила их всех замершими, сосредоточенно глядящими на одинокую карту, лежащую посреди стола, и спросила, в чем дело. «Видишь ли, Ниночка,— объяснила свекровь,— кто-то зашел с туза, но мы не помним кто». И вот в очередное утро выйдя к завтраку и сев напротив Ахматовой, она уставилась на нее, глядя снизу вверх, и после долгого рассматривания в полной тишине произнесла: «Как все-таки, Анна Андреевна, все мы деградируем!» — и опять воцарилась тишина. По реакции окружающих почувствовав, что сказала что-то не то, через минуту она объявила светским тоном: «Вчера мы играли в преферанс...» «Вы играли в *préférance*? — не пощадила ее, мгновенно перебив, Ахматова.— Вы — не деградируете».

Среди близких приятельниц Ахматовой, к которым она переезжала, когда на Ордынке из-за гастролей хозяйки, или перенаселенности квартиры, или еще почему-то оказывалось невозможно оставаться, были две, сопоставляемые ею по признаку несходства: «Вы обратили внимание, что насколько Любочка вся за границей, настолько для Маруси за границы вообще не существует?» Я не замечал, чтобы Любовь Давыдовна Стенич-Большинцова была «вся за границей», хотя международная политика действительно увлекала ее несравненно сильнее, чем самые сочные московские сплетни, к которым она тоже имела вкус. События, происходящие в мире, и то, как могут они повлиять на нашу жизнь, она толковала с таким здравомыслием и определенностью, как если бы чужеземные правительства были составлены сплошь из ее знакомых по Крыму времен гражданской войны или по Петрограду времен нэпа и действовали на уровне домоуправления. Ее муж Валентин Стенич, в качестве «русского денди» вызвав-

ший отповедь Блока, человек чести, переводчик экстра-класса, оставивший образцовые переводы Дос Пассоса, Джойса, Брехта, умнейший собеседник, блестящий остро слов, шутивший безоглядно в нештучных ситуациях, был расстрелян в 1937 году. Его хотели спасти, заступились Зощенко и Катаев. Вдова, прелестная, хрупкая, «фарфоровая» («Любочка была фарфоровая» — так Ахматова описала ее), избалованная, оказалась еще и выносливой, терпеливой, работающей и пережила мужа на сорок пять лет. Ее литературная одаренность была частью одаренности общей, непреднамеренно проявлявшейся в поведении, в повседневности, а эстетический вкус, привитый еще в родительской семье, был отточен в замужестве и в дружеском общении с замечательными артистами и писателями. Она знала несколько языков и стала зарабатывать на жизнь переводами американских, английских, французских пьес и рассказов, не гнушалась литературной поденщины и при всем том оставалась анекдотически неделовой. На пенсию вышла ничтожную, но ухитрялась ездить на такси и до последних лет жизни одевалась в парижские платья. Всю жизнь ее не оставлял страх: обыска, ареста — не конкретных за что-то, а роковых, на роду написанных; и всю жизнь она этот страх побеждала — гордостью, готовностью к худшему, наконец, беззаботным нравом. Как-то раз в поверхностном веселом разговоре я спросил Ахматову, куда девались нежные, неумелые, притягательные своей беспомощностью женщины, те самые — слабый пол. «А слабые все погибли, — сказала она, сразу отбросив легкомысленный тон. — Выжили только крепкие».

Мария Сергеевна Петровых из дому выезжала редко, растила дочку, курила, вжавшись в угол кушетки, переводила стихи — армян, болгар и многих других братских и дружеских народов — и время от времени сочиняла свои. Худенькая, голос тихий, речь неторопливая, несколько фраз — и молчок, взгляд острый, вся внимание — и понимание. Не спорила и уступала — пока не доходило до черты, после которой спорила жестко и не уступала ни пяди. К каждому подстрочнику подходила с одинаковой ответственностью, на каждый третила одинаковые силы, неограниченное время и все умение. При этом свою манеру и свой взгляд не навязывала ни в малой степени, кроме, может быть, того случая, когда возилась с сомнительной по части эротики поэтессой-скандинавкой: «У нее, знаете, это было, гнусоватое, ну так я ей еще и добавила». От ее переводов «не воняло переводом», как выражается мой знакомый. На этом поприще она и снискала признание, известность и необъявленное, но никем не оспариваемое первенство. Между тем личность была другого масштаба, крупнее, чем эта оцененная ее сторона. Представление о подлинном масштабе равным образом и в совокупности дают три вещи: ее стихи, ее отношение к ним и то, что осталось за, между стихами, но высвечивается ими. Лучшие стихи произнесены ею «с последней прямой» и одновременно с такой умеренностью выражения чувств, за которой идет уже информационная сухость. Писала она их для себя, уговорить ее что-нибудь прочесть удавалось только близким людям, и то через девять раз на десятый: за этим стояли целомудренность, для которой всякое стихотворение — интимно, и опасение, что «чернота, проникшая в стихи, может угнетающе подействовать на читателя», так она мне однажды сказала. Ахматова привлекла внимание публики к ее стихотворению «Назначь мне свиданье на этом свете», слыхком, как кажется, форсированному и красноречивому. Необъятность же того горя, тоски, утрат, которые человек не способен вместить в сердце и потому стихи не могут выразить, а могут лишь указать на них, адекватнее передает молчание, царящее от одного ее стихотворения до другого. Все вместе давало впечатление внутренней значительности, тем более убедительной, что ничем общепризнанно «значительным» — важностью, экстравагантностью, знаками успеха — она не проявлялась вовне. Вовне прорывалось сочувствие, снисходительность к слабости, жалость, когда напрашивалось единственно осуждение. «Ты, Мария, — гибнущим подмога, — сказал ей Мандельштам, и эти слова вдруг приходили на память во время беседы с ней, казалось никак не связанные с темой и вызванные вовсе не прозвучавшим утешительным словом, а беглой улыбкой и робким жестом, которым она поправляла волосы на виске. И, оскорбленная ревностью и бездоказательным обвинением вдовы Мандельштама, которые та опубликовала многотысячным тиражом на многих языках, она не негодовала, не писала опровержений, не мстила встречными разоблачениями, а положила вообще не касаться этого предмета и только однажды заметила между прочим: «Он, конечно, небывалый поэт и все такое, но вот верьте, Толя, мне до него...» — и еще три слова, убийственных, неопровержимых, которые может сказать о мужчине только женщина, никогда его не любившая.

Любовь Давыдовна жила в Сокольниках, на Короленко, в доме без лифта: раз

поднявшись, Ахматова на весь срок гостевания оставалась заточенной в квартире на высоком четвертом этаже. В ее комнате было широкое и высокое, почти во всю стену, окно, красивая старая мебель, большое овальное зеркало, очаровательная картинка маслом: народ, в сумерках расходящийся из церкви с зажженными свечками и вербой в руках. Дом окружали тополя, доросшие до крыши, весной и летом пышнозеленые. Двухэтажный домик, в котором жила Мария Сергеевна, и вовсе утонул в зелени: это был один из десятка совершенно тождественных коттеджей, построенных пленными немцами на углу Беговой и Хорошевки, — писательский поселок, загород в городе. Деревья, кусты, лужайки, беседки; деревянная лестница на второй этаж; одна комната очень светлая, другая очень темная. На Короленко в разговоре между гостьей и хозяйкой был определенный уклон к упоминанию имен Кеннеди, Мендес-Франса, сэра Исая Берлина, баронессы Будберг, «акулы капитализма» Гринберга... На Беговой — Суркова, Маршака, Гудзия, Фурцевой, убийцы из Мосгаса Ионисяна... И там и там Ахматова вела себя непринужденно, была дома. Из глубокого кресла, стоящего возле старинного бюро красного дерева, смотрит на сокольнический тополинный пух, летающий за окном, и говорит: «Я чувствую, как уютно заболеть». Садится против зеркала, подносит к волосам гребень и кричит через дверь: «Маруся, он надвигается! (Он — ученый-физик, оставивший свои стихи на отзыв; хозяйка торопливо читает их в соседней комнате.) Говорите скорей: чувство природы есть? Слова стоят на своих местах?»

Это была Москва, Москва делала вид, что в ней каждую минуту что-то происходит, поощряла принимать участие в происходящем, быть кем-то, но напоминала, что это ты в ней кто-то, в ее жизни участвуешь. Ахматова называла ее Москва-матушка — с отзвуком когдатопного петербургского высокомерия, не только, впрочем, не посягавшего на теперешнее положение вещей, но придававшего этому положению еще основательности чуть подобострастным напоминанием о себе. Хотя ленинградцы при всякой возможности подчеркивали свою несуетность, аристократизм и то, что живут «торжественно и трудно», они жили обыкновенно, разве что утрюмей и бездеятельней, чем в столице. «Чего вы хотите от этого города? — говорила Ахматова, когда сердилась на Ленинград. — Он кончился, когда перестал быть резиденцией правительства; теперь, как известно, это крупный населенный пункт». (Так, в частности, назывался Ленинград в военных сводках Информбюро.) Однако что-то отделяло ленинградцев в Москве от других и объединяло их, чуждых идее землячества, но ощущавших как бы принадлежность к недавно распущенному ордену не ордену, клубу не клубу, туманный устав и поименная иерархия которого продолжают передаваться через флюиды климата, тени зданий, лиц. Ленинградцы, видевшиеся с Ахматовой в Ленинграде, виделись с ней в Москве на этом дополнительном основании — ведь субординационная лестница, которая отдаляла юного послушника от магистра, также и связывала их.

Среди заметок по поводу «Египетских ночей» Ахматова сделала такую запись: «Ведь мальчишки, альбомы, вопросы о новых произведениях — это и есть слава. (Это и больше ничего. Примечание для себя.)». Альбомы вышли из моды, вопросы ставились в билейные дни корреспондентами газет, а не как Чарскому — «первым встречным», и без «мальчишек» запись выглядела бы банальным примечанием к Пушкину. «Мальчишки» же (не в пушкинском употреблении этого слова: ребенок, декламирующий стихи, — а в ахматовском: молодежь, которая всегда ведает стихами) придают ей характер дневниковый. Мальчишками она могла назвать за глаза, снисходительно-благодарным тоном старой дамы, семнадцатилетнего студента, прорвавшегося к ее больничной койке с вопросом, кто выше поэт, Манделштам или Цветаева; и двадцатипятилетнего «главу семьи», зарабатывающего на хлеб, вино и китайский плащ «Дружба» более или менее тягостным времяпрепровождением в чертежном бюро или геологической экспедиции. К последним относились и мы четверо: Дмитрий Бобышев, Евгений Рейн, Иосиф Бродский, я.

Бобышев и Рейн в 1953 году, то есть через несколько месяцев после смерти Сталина, не зная до того друг друга, поступили в Ленинградский технологический институт и оказались на одном факультете. Оба всерьез писали стихи, ощущали и сознавали себя поэтами, каждый день жизни рассматривали как день поэтической судьбы и будущее русской поэзии — как от них зависящее, ими определяемое. Тогда же в тот же институт поступил я, но сошелся с ними только через год. Еще года через три, когда мы уже прочно дружили и в представлении посторонних, а поэтому — вынужденно — и в своем собственном составляли литературную группу, к нам присоединился Бродский, он был немного моложе нас. Как все в молодости, мы читали друг другу стихи,

встречаясь на переменах и когда пропускали лекции. В весенний солнечный вечер, когда я и Бобышев впервые заговорили друг с другом, мы прошли пешком по Загородному, Владимирскому, Литейному, через Неву, по Лесному, до моего дома недалеко от Ланской, непрерывно читая стихи, и еще час топтались у ворот, дочитывая «Февраль» Багрицкого и на выбор из «Орады» и «Браги» Тихонова. В другой раз Бродский, узнав у моих домашних по телефону, что я стою в очереди за билетом в железнодорожных кассах, помещавшихся тогда в здании Думы, приехал туда и прокричал-пропел «Большую элегию Джону Донну», только что написанную: публика была в шоке.

Как грушу воспринимала нас и Ахматова, говорила мне: «Вам четверым нужна еще поэтесса. Возьмите Горбаневскую». Мне это казалось как раз ненужным, мы не декларировали направления, не выпускали манифестов, не находились в оппозиции к другим группам и если чему себя противопоставляли, то лишь вязкой бесформенности поэзии официальной или намеревающейся стать официальной. Ахматова однажды назвала нас аввакумовцами — за нежелание идти ни на какие уступки ради возможности опубликовать стихи и получить признание Союза писателей. Напечататься мы в самом деле хотели, но, во-первых, не во что бы то ни стало, а во-вторых, кроме чуть не ежедневного чтения стихов друг другу, мы получали частые приглашения «почитать стихи» в чей-то дом, в разнообразные лито (литературные объединения), на вечера поэзии. Один раз я выступал в Доме архитектора вместе с клоуном Енгибаровым и укротителем удавов Исаакием, он с акцентом говорил: «Советская школа дрессуры смотрит на дрессируемого, как следователь на обвиняемого, тогда как западная школа дрессуры доказывает ему, что человек тоже зверь, только сильнее, то есть, по-простому, бьет»; и еще: «Питоны как живородящи, так и яйцекладущи». На этом фоне я читал стихи о том, что, погружаясь в сон, мы отстаем на треть от суток и от времени вообще, мне аплодировали, но удивленно, как если бы мне удалась только первая часть номера, а вторая — скажем, массовый гипноз — сорвалась.

Мы были молоды, то есть сильны, быстры, удовлетворены жизнью, не сомневались ни в своем таланте, ни в предназначении и верили в свою звезду. Мы ценили талант сверстников: Горбовского, Еремина, Уфянда, а в Москве — Красовицкого, Хромова, Черткова. Уважали Слуцкого за серьезность, с которой он складывал бесхозные слова в строчки, считая, что армейско-протокольный способ их соединять ведет к правде. Что же до Евтушенко, то все-таки «Я разный, я нагруженный и праздный» или «Не водки им, ей-богу бы, а палетки!» было очень на любителя, а на «Россия, ты меня учила свято верить в молодежь» любителя уже надо было поискать. Когда же он и его товарищи стали писать, а точнее работать, с расчетом на успех, это стало совсем неинтересно, стало неинтересно даже то, что они наши ровесники.

Ни тогда, ни даже сейчас, когда судьбы более или менее завершены и шаги, выглядевшие случайными, оказались тенденциозными, связи, представлявшиеся прочными, разорвались, а представлявшиеся невозможными — возникли и окрепли, когда восторжествовали взгляды и репутации, казавшиеся смехотворными, я не находил и не нахожу системы как в отношениях между людьми, так и в столкновении и развитии их идей. Понятия «поколение», «процесс», «историческое место» я воспринимаю как слова интеллигентско-газетного жаргона, навязанные для разработки беседных, определенного сорта тем и написания определенного сорта книг и лишённые реального смысла. Ольшевская разговаривала с Ахматовой, Надежда Яковлевна Мандельштам разговаривала с Ахматовой, Ольшевская с Мандельштам, иногда они разговаривали втроем, но представляли каждая самое себя, во всяком случае разговор был тем подлиннее, чем меньше каждая была в продолжение его сцеплена с кем-то, в разговоре не участвовавшим. Всякий человек выражает что-то неиндивидуальное: свою семью, свой круг, профессию, время, — но выражает, а не представляет. В общении «представителей» нет той единственности и обязательности, которые свидетельствуют, что «представители» — конкретные люди, то есть живые, то есть люди, а не, скажем, страницы текста или дерева. Поэтому я был захвачен врасплох и обескуражен скандалом, который, не ожидая того, спровоцировал. Дело было в квартире Алигер, где Ахматова короткое время обреталась. Я навестил ее и был приглашен хозяйкой к обеду. К столу вышли еще две дочери Алигер и украинский поэт, имени которого не запомнил. В этот день на сценарные курсы приходил Слуцкий, рассказывал слушателям, в их числе и мне, о социальной роли современной поэзии. Сделал упор на том, как вырос спрос на стихотворные сборники: «Пятидесятитысячные тиражи не удовлетворяют его, а всего полвека назад «Вечер» Ахматовой вышел тиражом триста экземпляров: она мне рассказывала, что

перевезла его на извозчике одним разом». В середине обеда я, как мне показалось, к месту пересказал его слова. «Я?! — воскликнула Ахматова. — Я перевозила книжки? Или он думает, у меня не было друзей-мужчин сделать это? И он во всеуслышание говорит, будто это я ему сказала?» «Анна Андреевна! — накладываясь на ее монолог, высоким голосом закричала Алигер. — Он хочет поссорить вас с нашим поколением!» Он был я, но эта мысль показалась мне такой нелепой, что я подумал, что тут грамматическая путаница. Я не собирался ссорить Ахматову со Слуцким, но меньше всего мне приходило в голову, что Слуцкий и Алигер одного поколения и вообще одного чего-то.

В эти дни, если не в самый этот день, Ахматова показала мне в тетради новое стихотворение «Все в Москве пропитано стихами, рифмами проколото насквозь». Оно не связано напрямую с этим эпизодом, может быть, даже не учитывает его, но ощущение густой избыточности стихов в рифму, стихов не чьих-то, а стихов вообще, московских, ленинградских, советских, этот обед передавал как нельзя лучше: хозяйка-поэтесса, поэт из Киева, поколение поэтов, пятьдесят тысяч книжек — этот напор социально, но не индивидуально значимых поименований и чисел исподволь втягивал в свою карусель и триста экземпляров «Вечера», и имя Ахматовой. «Сам Проккоп ничего, — говорила она о ленинградском председателе Союза Прокофьеве. — Но стихи — типичное *le robinet est ouvert, le robinet est fermé*». Это Гонкуры вспоминают, как старуха Жорж Санд была потрясена изобретением водопроводного крана и все время демонстрировала им: «*Vous voyez, видите, кран открыт — вода льется, кран закрыт — конец*».

* * *

Друг, который вез на извозчике пачки тоненьких книжек с лирой на обложке, оказывался столь же реален, сколь участники застолья, которым о нем было упомянуто. Если не реальнее: как триста реальнее пятидесяти тысяч; как еврей — издатель «Камня», сказавший Мандельштаму: «Молодой человек, вы будете писать все лучше и лучше», реальнее Дымшица, через тридцать пять лет после гибели поэта в дальневосточном лагере выпустившего его стихи с фразой: «В 1937 г. оборвался творческий путь Мандельштама».

Она вспоминала об умерших, особенно о друзьях молодости, тем же тоном, с той же живостью, что и о вчерашнем госте, и часто именно по поводу вчерашнего или сегодняшнего гостя. Хотя она приговаривала: «Я теперь мадам Ларусс, у меня спрашивают обо всем», но ее реплики были не энциклопедическая информация по истории литературы и искусства, а анекдот, не оценка, а яркая деталь. Она писала заметки об акмеизме, о борьбе литературных течений, о Модильяни, о Блоке, но когда разговаривала, появлялись Коля, Осип, Недоброво, Анреп, Ольга, Лурье, Лозинский, Шилейко; если Модильяни, то как Моди, незначительный, милый, свой. Блока же, создавалось впечатление, ее вынуждали вспоминать, она была вынуждена выступать как «современница Блока», но он был «чужой». Она говорила о его жене, Любви Дмитриевне Менделеевой: «У нее была вот такая спина, — показывала, широко разводя руки, — большая, тяжелая, и грубое красное лицо, — и возникала Муза таможенника Руссо. Но Блока не убавлялось, а прибавлялось, потому что наклонность опубликованных ею в мемуарах его фраз о Толстом, об Игоре Северяnine или выпаленной им на станции Подсолнечная та же, что и его стихов, а спина и щеки, которых он не видел, во всяком случае не видел как поэт, дают представление об угле, под которым его поэтический взор был обращен к действительности. И акмеизм предстает в виде Цеха Поэтов, на собрания которого рассылала повестки жена Гумилева Анна Ахматова, и Шилейко шутил, что она по неграмотности подписывает их «сикларитар Анна Гу», то есть предстает акмеизмом «Коли», «Осипа» и «Мишеньки» Зенкевича, а не акмеизмом филологов. А если так, если Блок — Блок и при такой музе и акмеизм — акмеизм и при таком легкомыслии, то и о Пушкине, центральной фигуре того третьего, «исторического времени», в котором жила Ахматова, она могла нисколько не в ущерб его достоинству сказать в веселую минуту, повторяя словцо Федора Сологуба «арап, бросавшийся на русских женщин», и что Наталья Николаевна была «жена типа „гаси свечу“», как о виденном ею живым, как о действительно живом, а не о ряженном во фрак произвольном «если-бы-он-жил-сейчас».

Прошлым прораставшее настоящее выбрасывало свежие побегы былого в непредсказуемую минуту. Ахматова рассказывала, как в 1935 году, в ночь после ареста ее сына и ее тогдашнего мужа Пунина она вместе с первой женой Пунина Анной Евгень-

евной, урожденной Аренс, в ожидании предстоящего обыска жгли в печке бумагу, которые могли выглядеть компрометирующими, то есть практически все подряд. И когда под утро, перепачканные сажей и без сил, они наконец присели и Ахматова закурила, с самой верхней из опустошенных полок спланировала на пол фотография, на которой барон Аренс, отец Анны Евгеньевны, свитский адмирал, на борту военного корабля отдавал рапорт совершавшему инспекционный визит государю Николаю II. (Анна Андреевна начала хлопоты об освобождении, поехала в Москву, пришла к Сейфуллиной, та отправилась к Поскребышеву, секретарю Сталина, и узнала, как надо отдать письмо, чтобы оно попало в руки Сталина. Поскребышев сказал: «Под Кутафьей башней Кремля около десяти часов — тогда я передам». Назавтра Анна Андреевна с Пильняком подъехали туда на машине, и Пильняк отдал письмо. «Стрелецкие женки», — произнесла она в этом месте рассказа, прокомментировав так строчки из «Реквиема»: «Буду я, как стрелецкие женки, под кремлевскими башнями вить». В тот же день отправила туда письмо и Пастернак, при этом сказал: «Сколько бы кто другой ни просил, я бы не сделал, а тут — уже...» Потом в некоем трансе она бродила по Москве и очутилась у Пастернаков. Хозяин весь вечер говорил об Анненском: что он для него, Пастернака, значит. Потом ее уложили спать. А когда утром она проснулась в солнечной комнате, в дверях стояла Зинаида Николаевна (жена Пастернака) и говорила: «Вы уже видели телеграмму?» Телеграмма была от Пуниных, что оба уже дома. Ахматова приехала в Ленинград и застала обоих, сильно друг другом недовольных, друг на друга за что-то сердящихся. Про освобождение Пунина рассказала, что, когда его ночью подняли — в который-то раз, — он решил, что снова допрос. Когда же сказали, что отпускают, он, хотя и сбитый от неожиданности с толку, прикинул, что трамвай уже не ходят, и спросил: «А переночевать нельзя?» Ответ был: «Здесь не гостиница». «Вот, Толя, — сказала она, — предыстория моих отношений со Сталиным: не всегда усач спрашивал: „Что делает манахыня?“»)

О Пунине разговор заходил считанные разы. Насколько легко она говорила о Шилейке, насколько охотно о Гумилеве, настолько старательно обходила Пунина. Сказала однажды, в послесловии к беседе на тему о разводе («институт развода — лучшее, что изобретено человечеством», или «цивилизацией»), что, «кажется, прожила с Пуниным на несколько лет дольше, чем было необходимо». Дала прочесть копию его письма 1942 года, в котором он писал, как, умирая в блокадном Ленинграде, много думал о ней, и «это было совершенно бескорыстно, так как увидеть Вас когда-нибудь я, конечно, не рассчитывал». «И мне показалось тогда, что нет другого человека, жизнь которого была бы так цельна и потому так совершенна, как Ваша... Я тогда думал, что эта жизнь цельна не волей — и это мне казалось особенно ценным, — а той органичностью, т. е. неизбежностью, которая от Вас как будто совсем не зависит... многое из того, что я не оправдывал в Вас, встало передо мной не только оправданным, но и, пожалуй, наиболее прекрасным... В Вашей жизни есть крепость, как будто она высечена в камне и одним приемом очень опытной руки». «...я остался жить и сохранил и само то чувство и память о нем. Я так боюсь его теперь потерять и забыть и делаю усилия, чтобы этого не случилось, чтобы не случилось того, что так иной раз случалось со мной в жизни: Вы знаете, как я легкомысленно, не делая никаких усилий, даже скорее с вызовом судьбе терял лучшее, что она, судьба, мне давала». Он был арестован в 1949 году и в 1953-м умер в лагере — Ахматова показала мне фотографию ровного поля, утыканного геометрически правильными рядами табличек: колышек с прибитой фанерной дощечкой и на каждой номер и еще несколько цифр — на передних цифры можно разобрать. Табличек столько, сколько мог захватить фотообъектив: это лагерное кладбище, предположительно то его место, где зарыто тело Пунина.

О браке с Шилейко она говорила как о мрачном недоразумении, однако без тени злопамятности, скорее весело и с признательностью к бывшему мужу, тоном, насколько не похожим на гнев и отчаяние стихов, ему адресованных: «Это все Коля и Лозинский: «Египтянин, египтянин!..» — в два голоса. Ну, я и согласилась». Владимир Казимирович Шилейко был замечательный ассириолог и переводчик древневосточных поэтических текстов. Египетские тексты он начал расшифровывать еще четырнадцатилетним мальчиком. Сожженная драма Ахматовой «Энума элиш», представление о которой дает воссозданные ею заново в конце жизни фрагменты «Пролога», названа так по первым словам («Там, наверху») древневавилонской поэмы о сотворении мира, переведившейся Шилейко. От него же, мне казалось, и домашнее прозвище Ахматовой Акума, хотя впоследствии я читал, что так называл ее Пунин — именем японского злого духа. Ши-

лейко был тонким лирическим поэтом, публиковал стихи в «Гиперборее», «Аполлоне», альманахе «Тринадцать поэтов». Вот одно из его стихотворений, напечатанных в 1919 году в воронежской «Сирене»:

В ожесточенные години
Последним звуком высоты,
Короткой песней лебединой,
Одной звездой осталась ты.

Над ядом гибельного кубка,
Созвучна горестной судьбе,
Осталась ты, моя голубка,—
Да он, грустящий по тебе.

Перед революцией он был воспитателем детей графа Шереметева и рассказывал Ахматовой, как в ящике письменного стола в отведенной ему комнате, издавна предназначавшейся для учителей, обнаружил папку с надписью «Чужие стихи» и, вспомнив, что в свое время воспитателем в этой семье служил Вяземский, понял, что папка его, поскольку чужие стихи могут быть только у того, кто имеет свои. В эту комнату Шилейко привез Ахматову, после того как они прожили тяжелую осень 1918 года в Москве в 3-м Зачатьевском переулке. Это было первое вселение Ахматовой в Фонтанный дом, № 34 по Фонтанке; следующее случилось через несколько лет, когда она вышла замуж за Пунина, жившего там в 4-м дворе во флигеле. С Шилейко она жила еще в квартире в служебном корпусе Мраморного дворца: «Одно окно на Суворова, другое на Марсово поле». Посмеиваясь, она рассказала такую вещь об этом замужестве. В те времена, чтобы зарегистрировать брак, супругам достаточно было заявить о нем в домоуправлении: он считался действительным после того, как управдом делал запись в соответствующей книге. Шилейко сказал, что возьмет это на себя, и вскоре подтвердил, что все в порядке, сегодня запись сделана. «Но когда после нашего развода некто по моей просьбе отправился в контору уведомить управдома о расторжении брака, они не обнаружили записи ни под тем числом, которое я отчетливо помнила, ни под ближайшими и вообще нигде». Она показала мне несколько писем Шилейко, написанных каллиграфическим почерком, в изящной манере, с очаровательными наблюдениями книжного человека, с выписками на разных языках. Письма дружеские, не супружеские, с шутливой подписью вроде «Ваши Слоны» и нарисованным слоном. «Вот он был такой,— кивнула она головой.— Мог поглядеть на меня, после того как мы позавтракали яичницей, и произнести: „Аня, вам не идет есть цветное“». Кажется, он же говорил гостям: „Аня поразительно умеет совмещать неприятное с бесполезным“». Тем более неожиданным было услышать от нее, что «косноязычно славивший меня» — тоже он.

(Продолжение следует)



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Из истории русской общественной мысли

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ
(1853—1900)



СТАТЬИ И ПИСЬМА*

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ РУССКОГО УМА

1

Своеначный, жадный ум,—
Как пламень, русский ум опасен:
Так он неудержим, так ясен,
Так весел он — и так угрюм.

Подобный стрелке неуклонной,
Он видит полюс в зыбь и муть;
Он в жизнь от грезы отвлеченной
Пугливой воле кажет путь.

Как чрез туманы взор орлиный
Обслеживает прах долины,
Он здраво мыслит о земле,
В мистической купаясь мгле.

Вяч. Иванов, «Русский ум».

Прежде чем перейти к делу, мне хотелось бы объясниться с читателем о двух вещах.

Во-первых, о подходе к предмету. Одно из свойств русской жизни — нестремимая наша привычка то с надеждой, то с ораторским напором, и в обоих случаях с опасной для истины размашистостью, говорить и писать о нашей собственной традиции либо «за», либо «против»: разносно или апологетически. Западнически-славянофильское суждение, раз начавшись, никак не может остановиться, прокуроры и адвокаты все сменяют друг друга. Так вот — я намереваюсь говорить просто «о» моем предмете — не «за» и не «против». Дело не в том, чтобы я претендовал на так называемую объективность, которая едва ли возможна при обобщающих характеристиках, да еще тогда, когда сам находишься внутри своего предмета. Просто я не могу быть для русской мысли ни обвинителем, ни адвокатом, потому что не считаю ее состоящей под судом, не верю в правомочность какого бы то ни было окончательного суда над ней, кроме разве что Страшного суда. Для меня невозможно счастье присутствующее ей свойство «русскости» ни виной, навлекающей укоры и нуждающейся в специальных оправданиях, ни мерой всех вещей, то есть источником укоров еще для кого-то. Мой предмет настолько больше меня самого, что не только браниться, но и хвалить было бы дерзостью непростительной.

Во-вторых, о границах предмета. Мы намерены исходить из того, что русская мысль — это вся совокупность того, что помыслено в контексте русской жизни и на почве русского языка. По счастью, мы дожили до поры, когда не стоит больше вопрос о «выдворении» из истории русской философии идеалистов и особенно мыслителей русской диаспоры XX века. Ясно, что Бердяев или Федотов — неотторжимая часть русской культуры; они входят в наше бытие — мы уже не можем иначе. Открываемая «Новым миром» серия публикаций — лишь выражение этого факта

Составление Р. ГАЛЬЦЕВОЙ.

* За исключением специально оговоренных случаев тексты печатаются по изданию: Соловьев В. С. Собрание сочинений в 10-ти томах. СПб. 1911—1913 — с внесением исправлений по прижизненным публикациям. При отборе материалов сделана попытка представить общественную мысль Соловьева в ее движении.

Вообще говоря, недоверчивый идеологизм многолик, и отнюдь не все его возможности исчерпаны, хотя суть остается той же: в любом варианте он стремится подменить диспут — монологом, полноту исторической реальности — произвольным отбором. Один из вариантов — постановка вопроса не о русской мысли, но об «истинно» русской мысли, с неизбежным отлучением «неистинных». Такое занятие приводит к оскудению панорамы отечественной философии. Первыми отпадают западники; затем наступает черед для филоколога и филосемита Владимира Соловьева; плохи шансы у либерала Федотова... Кто остается? Мне довелось слышать от одного совсем неглупого собеседника, держащегося таких мыслей, — остаются Н. Федоров и о. Павел Флоренский: если кто, то они. Но вот в томах «Богословских трудов» одна за другой появляются статьи, изобличающие и Федорова и Флоренского, между прочим, в нерусском качестве мысли, в податливости к западным влияниям¹. Круг замкнулся; русская философия исчезает на глазах, как от пассов факира. Легко усмотреть, что не в меру ревнивое национальное чувство сходится с самым злоехидным национальным нигилизмом в том, что оба рассматривают наличие иноземных источников, влияний и параллелей как разоблачающую улику «нерусскости». Но переимчивость, во-первых, присутствующая, а русскому гению как таковому, присутствующая еще с тех пор, как мы тысячу лет назад пошли в науку к византийцам; а во-вторых, это черта совсем не простая, никоим образом не исключающая самой неподдельной оригинальности, а лишь ее опосредующая, ставящая ее в специфические условия. Фраза Г. Шпета: «Крестились и крестимся по-византийски, азбуку выучили болгарскую, книжки читаем немецкие»² — это эпиграмма, кусачий выпад фехтующего ума, а не сбалансированное суждение. Что тут скажешь? Западные источники даже, скажем, Достоевского совершенно очевидны — без Жорж Санд и то не смог обойтись Федор Михайлович; но все навеянное преломляется у него до такой степени по-русски, завязывается у него в такой небывалый узел, что Запад с полным основанием принял его слово как неизвестное, восполняющее для западной культуры некую лауну. Что до русского западника, его внутренний пафос совершенно чужд Западу: в его основе — установка странника, взыскующего праведной земли, выбор, не имеющий иных оснований, кроме «идейных», интуиция ухода от всего, что — данность, что обозначается понятным каждому русскому интеллигенту и абсолютно не переводимым ни на какие языки словом «быть»³.

О русской встрече с западной культурой хорошо сказал Мандельштам по поводу Чаадаева:

«Только русский человек мог открыть этот Запад, который стуженнее, конкретнее самого исторического Запада. Чаадаев именно по праву русского человека вступил на священную почву традиции, с которой он не был связан преемственностью. Туда, где все — необходимость, где каждый камень, покрытый патиной времени, дремлет, замурованный в своде, Чаадаев принес нравственную свободу, дар русской земли, лучший цветок, ею взращенный».

Некоторое специфическое чувство нравственной свободы — необходимый признак всего, что является русской мыслью. Оно оборачивается постоянным недостатком свободы в составе русской жизни. Русская мысль не привыкла доверять той свободе, которую обеспечивают институты. Поэтому она сама не институциональна. На Западе мыслитель — профессионал, хотя бы предельно широкого, что называется, профиля; рядом с ним работают другие профессионалы, берущие на себя часть жизненного дела, но и вытесняющие его с других клеточек на расчерченном поле умственной жизни. «Каждый камень дремлет, замурованный в своде». Русская же мысль чаще всего строит изнутри себя самой, на своем собственном «мысленном» пространстве то, что западная мысль находит в формах общества и культуры. Русский мыслитель ощущает куда более одиночную ответственность за жизненное дело в целом; ему нужно своими руками выстроить от начала до конца альтернативу к той данности, которую он имеет перед собой.

2

Что щит и меч, добрые дела и земная диалектика для того, кто «сгорел душою»? Только средство: для рыцаря — бороться с драконом, для монаха — с хаосом, для философа — с безумием и изменчивостью жизни.

А. Блок.

¹ А. М., «Воскрешение чаемое или восхищаемое? (О религиозных воззрениях Н. Ф. Федорова)» («Богословские труды». М. 1983. XXIV); Антоний, митрополит Ленинградский и Новгородский, «Из истории новгородской иконографии» (там же, 1986, XXVII). Иная точка зрения выражена в обзорах «Журнала Московской Патриархии» (1983, № 12, стр. 77—78; 1987, № 6, стр. 79—80).

² Густав Шпет. Эстетические фрагменты. I. Пб 1922, стр. 34.

³ Когда Владимир Печерин рассуждает о мотивах, побудивших его противозаконно остаться за границей, он упоминает ужас, который внушала ему пушкинская строка «Носил бы стеганный халат...». Он метнулся к французским революционерам, затем к католическим монахам — только бы не носить «стеганого халата».

Если желанья бегут, словно тени,
Если обеты — пустые слова,—
Стоит ли жить в этой тьме заблуждений,
Стоит ли жить, если правда мертва?

Вечность нужна ль для праздных стремлений,
Вечность нужна ль для обманчивых слов?
Что жить достойно, живет без сомнений,
Высшая сила не знает оков.

Высшую силу в себе сознавая,
Что ж тосковать о ребяческих снах?
Жизнь только подвиг,— и правда живая
Светит бессмертьем в истлевших гробах.

В.д. Соловьев,

Троекратное видение некоего лучащегося женственного лика и облика, самим Владимиром Соловьевым понятое как самораскрытие Софии Премудрости Божией и воспетое им с юмором стыдливости в поэме «Три свидания», стало, как известно, центральным символом эпохи, которая сама назвала себя символистской. Его долго по своему разумению обыгрывали поэты, сбиваясь на пародию, заменяя мягкий при всем неистовстве соловьевский юмор злой гейневской иронией. Позднее о нем говорили богословы — реже апологетически, чаще изобличительно. А потом о нем начали бесстрастно трактовать специалисты по истории русской культуры таких-то десятилетий: таинственное переживание Соловьева, уподобившее его Рыцарю бедному из пушкинской баллады, превращается в пункт биографической эрудиции, в примечание к тексту, в аксессуар эпохи... Вообще же оно обсуждалось больше, чем нужно: потому что есть же на свете вещи, о которых по избытку ли благоговения или по избытку недоверия, но лучше помолчать.

Нас должно больше интересовать другое «виденье, непостижное уму», которое вошло в жизнь мыслителя: «И глубоко впечатление в сердце врезалось ему»... То есть для самого Соловьева, пожалуй, это было то же самое видение, но для нашей способности понимания — другое, во всяком случае иной аспект того же. Речь идет о поразительно конкретном, предшествующем всякой абстракции переживанию «правды» — того самого «добра», оправдание которого философ предпринял в своем капитальном труде. Если, по свидетельству современника, Соловьев «был честный, пламенный, неутомимый искатель правды на земле и он верил, что она сойдет на землю» (слова Л. М. Лопатина), то «искание» правды и ее «схождение» на землю ни в коем случае нельзя понимать иносказательно. Правду можно искать, правда может сойти, потому что во внутреннем опыте Соловьева она не идеал, не «ценность», а реальность. Если у него сказано:

Все, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви,—

значит, он «умными очами» видит это солнце как действительность, более действительную, чем это кружащееся, исчезающее «все», а не как метафору для любви в «романическом», сентиментальном или даже абстрактно-этическом смысле. При внешнем сходстве — ничего похожего на «золотую зарю идеала», о которой так неуверенно вопрошал в те же годы «людей-братьев» Нассон; главное различие не в том, что стихи его были куда слабее, а в том, что за словами Соловьева стоит зрение, одновременно интеллектуальное («умными очами») и конкретное.

Идея правды, идея добра вызывает у Соловьева не просто любовь, но влюбленность. Влюбиться в Вечную Женственность — это еще нам понятно; но влюбиться в правду! У людей более заурядных нравственный закон вызывает другие эмоции: с ним, с этим законом, неуютно, как со строгим, уважаемым, но не очень притягательным наставником. Ну, быть зачетным, когда правду обижают,— для человека порядочного долг; но как видеть в правде источник упоения? Читателя удивляет, что в трагедии Расина древние израильтянки повторяют рефрен: «О упоительный закон!» («O charpitale Loi!») Нам это кажется завитушкой во вкусе эпохи больших париков — но ведь это очень близко настроению ветхозаветных текстов, где закон назван «утешением» для человека, «веселением сердца», сладостью «лучше меда» (ср. псалом 118/119, ст. 16, 24, 50, 103, 111 и др.). Не долгом, а сладостью, что бы там ни говорил Кант.

Для Владимира Соловьева, хрупкого человека, подверженного приступам меланхолии, мысль о правде — подлинное веселие сердца. Это всегда сказывается на стиле: каждый раз, когда философ возвращается к своему заветному делу «оправдания добра», к изъяснению нравственных перспектив, загорается его красноречие, движение фраз делается легким, окрыленным, словно танцующим. В этом живом огне этического Эроса — обаяние всего написанного Соловьевым, источник его силы.

И здесь же — корни его слабости. С Эросом, как бы тот ни был духовен, трудно оставаться трезвым. Да, фразы льются легко — не чересчур ли? И ведь при этом для проповеднической, точнее, катехизаторской стратегии Соловьева очень характерно оперирование с исходными посылаками и даже с лексиконом своего партнера, выражаясь по-бахтински, с чужим словом (читатель наших публикаций может проследить применение приема к партнерам столь несхожим, как Лев Толстой и Николай II). Эта

целенаправленная гибкость ума сливается с легкостью слога в напоре типично риторического уговаривания. Читая Соловьева, не раз и не два вспомнишь, что он принадлежал тому же времени и тому же кругу, что либеральные адвокаты вроде его доброго знакомого А. Ф. Кони. Благородные были люди, но ведь философу, не говоря уже о пророке, пристало убеждать не так, как убеждает либеральный адвокат. В соединении с умом, сильным в построении широких схем⁴, и русской склонностью к утопическому максимализму высокая риторическая потенция порождает угрозу «удобопревертности» — легкой обратимости выводов на сто восемьдесят градусов. Мыслитель знал об этой угрозе и напоминал о ней себе и другим очень резко.

«Удивил нас Соловьев,— передает А. Амфитеатров в «Литературном альбоме» рассказ современника.— Разговорился вчера. Ума — палата. Блеск невероятный. Сам — апостол апостолом. Лицо вдохновенное, глаза сияют. Очаровал нас всех... Но... доказывал он, положим, что дважды два четыре. Доказал. Поверили в него, как в Бога. И вдруг — словно что-то его зацеловало. Стал угрюмый, насмешливый, глаза унылые, злые.— А знаете ли,— говорит,— ведь дважды-то два не четыре, а пять? — Бог с вами, Владимир Сергеевич! Да вы же сами сейчас доказали...— Мало ли что «доказал». Вы послушайте-ка...— И опять пошел говорить. Режет сонга, как только что резал грго,— пожалуй, еще талантливее. Чувствуем, что это шутка, а жутко как-то. Логика острая, резкая, неумолимая, сарказмы страшные... Умолк,— мы только руками развели: видим, действительно, дважды два — не четыре, а пять. А он — то смеется, то — словно его сейчас живым в гроб класть станут».

Что логика и риторика, беспрепятственно движущиеся в разреженном воздухе универсалий, «удобопревертны», было выяснено еще софистами Эллады, основателями европейской логико-риторической традиции. Западный интеллектуализм убеждался в этом снова и снова. Но на Западе со времен схоластики пытался приручить эту «удобопревертность», выйти ей навстречу — чего стоит обыкновение Фомы Аквинского начинать каждый раздел «Суммы теологии» тезисом, обратным тому, который он готовится защищать, вплоть до тезиса о небытии Божием (с рассмотрением аргументации в пользу этого небытия)! — справиться с ней методической самопроверкой. Такой деловой подход не спасал и Запад от гносеологических драм, от прорывов «ничто», «смерти Бога» Но на Руси, не знавшей схоластики, зато терзавшейся страхом перед антихристовой подделкой истины — староверческий мотив, возвращающийся у позднего Соловьева,— эмоциональная окраска гносеологической драмы куда острее. Процедура, при которой тезис доказывается как антитезис антитезиса и к вере ведут через неверие, материализовалась у нас не в построении схоластических трактатов, а в атмосфере романов Достоевского. Там Аквинат — здесь Достоевский: контраст говорит о многом. Немало спорили о том, прототипом кого именно из братьев Карамазовых — светлого Алеши или темного Ивана — послужил молодой Соловьев; но сама возможность такого спора содержательнее и плодотворнее для характеристики Соловьева, чем любой из двух предлагаемых ответов. Думая о Соловьеве, вспоминаешь отзыв о нем епископа Штрессмайера — «*anima candida*» («душа без лукавства»); но вспоминаешь и слова из романа Достоевского — «широк человек, я бы сказал». Это Иван, которому непостижимым образом дана благодатность Алеши; или это все же Алеша — но с интеллектуальными искушениями Ивана, с его двоящимися мыслями (что, как известно, не чуждо Алеши и у Достоевского).

Необычный облик Соловьева вызывал у современников и вызывает у нас ассоциации преимущественно из сакрального ряда — библейский пророк, длинноволосый и длиннобородый назорей, чьей головы не должна касаться бритва. Дети называли его «бабушка», а то и «Божинька». «Почему-то хочется называть такие пальцы перстами» (М. Д. Муретов). «Мне думается, такие лица должны были быть у христианских мучеников» (слушательница соловьевских лекций на Высших женских курсах). Но стоит задуматься над тем, что облик этот — гиперболизирующая трансформация характерного интеллигентского обличья. Длинные волосы и борода носили в России не только духовные лица, но и нигилисты — новые люди 60-х годов; на этой амбивалентности внешнего признака основано, как помнит читатель, смешное недоразумение в рассказе Лескова — дьякона принимают за нигилиста. Амбивалентности придает содержательный характер то обстоятельство, что новые люди, по большей части выходцы из духовного сословия (с которым был генеалогически связан и Соловьев), мыслили свою миссию в квазирелигиозных понятиях, замешанных на аскетизме и эсхатологизме. Чего стоит само выражение «новые люди!» (Ср. новозаветные тексты о «новом человеке».)

Этику шестидесятников Соловьев глубоко уважал, а ее ненасильственный вариант, в общем, принимал. Он находил только, что их онтология не на уровне этики. «Нет ничего, кроме материи и силы; борьба за существование произвела сначала птеродактилей, а потом плешивую обезьяну, из которой выродились и люди; итак, всякий да полагает душу свою за други своя» — в такой шутке суммировал он соотношение того и другого. Его тревожило противоречие, впоследствии обстоятельно описанное Г. Федотовым в статье «Трагедия интеллигенции»: чиновники, по-язычески поклоняющиеся кумиру земной власти, ссылаются на христианство, а члены интеллигентского «ордена», жаждущие жертвенного служения, исповедуют материализм

⁴ Сила легко переходит в слабость, чего стоит решительная, например, расправа над культом ислама (впрочем, в духе ходячих понятий прошлого века) — см опубликованное здесь раннее сочинение «Три силы».

Бюхнера и Молешотта. И он верил, как будет верить тот же Федотов, что «гуманность» и «порядочность» гражданина не чужды христианской святости, не враждебны ей, как получалось у Константина Леонтьева, а скорее составляют ее нижнюю границу. Святость может быть несравнимо выше интеллигентских добродетелей, но она не может опускаться ниже.

Владимир Соловьев, этот мистик, утопист, «рыцарь-монах», как его назвал Блок, был неожиданно чутким к практическим проблемам. Мало кто видел в ту пору яснее его масштаб национального вопроса — судьбы русского народа связаны узлом истории с судьбами других народов, и, если христианин не находит способа взглянуть на дело по-христиански, его христианство недействительно. Его страшила ложная безопасность, предоставленная православию в Российской империи, потому что при первом историческом повороте за нее придется расплачиваться.

Мирный сон снится вам,
Мы уж не верим снам...

Да, вера Соловьева знает до конца искус «удобопревратности», но знает и выход из него: «...но совести укор сильнее всех сомнений». На руинах многих соловьевских конструкций эта вера продолжает и сегодня внятными языком говорить нам, что правда — мерло для всего состава общественной практики человека, без малейшего исключения, что Бог пребывает с людьми «в потоке мутном жизненных тревог», — или это не Бог, даже не идеал, а угол.

И до тех пор, пока жива будет русская интеллигенция, на чьем специфическом языке Соловьев высказал свою весть, выходящую далеко за пределы этого языка, будут люди, которые на соловьевский вопрос, заданный России:

Каким же хочешь быть Востоком:
Востоком Ксеркса или Христа? —

отвечают чем-то вроде молчаливой присяги.

С. С. АВЕРИНЦЕВ.

ТРИ СИЛЫ *

От начала истории три коренные силы управляли человеческим развитием. Первая стремится подчинить человечество во всех сферах и на всех степенях его жизни одному верховному началу, в его исключительном единстве стремится смешать и слить все многообразие частных форм, подавить самостоятельность лица, свободу личной жизни. Один господин и мертвая масса рабов — вот последнее осуществление этой силы. Если бы она получила исключительное преобладание, то человечество окаменело бы в мертвом однообразии и неподвижности. Но вместе с этой силой действует другая, прямо противоположная; она стремится разбить твердыню мертвого единства, дать везде свободу частным формам жизни, свободу лицу и его деятельности; под ее влиянием отдельные элементы человечества становятся исходными точками жизни, действуют исключительно из себя и для себя, общее теряет значение реального существенного бытия, превращается в что-то отвлеченное, пустое, в формальный закон, а наконец, и совсем лишается всякого смысла. Всеобщий эгоизм и анархия, множественность отдельных единиц без всякой внутренней связи — вот крайнее выражение этой силы. Если бы она получила исключительное преобладание, то человечество распалось бы на свои составные стихии, жизненная связь порвалась бы и история окончилась войной всех против всех, самоистреблением человечества. Обе эти силы имеют отрицательный, исключительный характер: первая исключает свободную множественность частных форм и личных элементов, свободное движение, прогресс, — вторая столь же отрицательно относится к единству, к общему верховному началу жизни, разрывает солидарность целого. Если бы только эти две силы управляли историей человечества, то в ней не было бы ничего кроме вражды и борьбы, не было бы никакого положительного содержания; в результате история была бы только механическим движением, определяемым двумя противоположными силами и идущим по их диагонали. Внутренней целости и жизни нет у обеих этих сил, а следовательно, не могут они ее дать и человечеству. Но человечество не есть мертвое тело, и история не есть механическое движение, а потому необходимо присутствие третьей силы, которая дает поло-

* Печатаю эту речь в том виде, как она была прочитана в публичном заседании Общества любителей российской словесности, считаю нужным заметить, что более подробное развитие той же темы будет дано мною в исторических пролегоменах к сочинению «О началах цельного знания», которого первая часть теперь печатается. (Здесь и далее подстрочные примечания автора. Упомянутая работа вышла под названием «Философские основы цельного знания». — Прим. ред.)

жительное содержание двум первым, освобождает их от их исключительности, при-миряет единство высшего начала с свободной множественностью частных форм и эле-ментов, созидает, таким образом, целость общечеловеческого организма и дает ему внутреннюю тихую жизнь. И действительно, мы находим в истории всегда совмести-ное действие трех этих сил, и различие между теми и другими историческими эпохами и культурами заключается только в преобладании той или другой силы, стремя-щейся к своему осуществлению, хотя полное осуществление для двух первых сил, именно вследствие их исключительности,— физически невозможно.

Оставляя в стороне древние времена и ограничиваясь современным человече-ством, мы видим совместное существование трех исторических миров, трех культур, резко между собою различающихся,— я разумею мусульманский Восток, Западную цивилизацию и мир Славянский: все, что находится вне их, не имеет общего мирового значения, не оказывает прямого влияния на историю человечества. В каком же отно-шении стоят эти три культуры к трем коренным силам исторического развития?

Что касается мусульманского Востока, то не подлежит никакому сомнению, что он находится под преобладающим влиянием первой силы — силы исключительного единства. Все там подчинено единому началу религии, и притом сама эта религия является с крайне исключительным характером, отрицающим всякую множественность форм, всякую индивидуальную свободу. Божество в исламе является абсолютным деспотом, создавшим по своему произволу мир и людей, которые суть только слепые орудия в его руках; единственный закон бытия для Бога есть Его произвол, а для человека — слепой неодолимый рок. Абсолютному могуществу в Боге соответствует в человеке абсолютное бессилие. Мусульманская религия прежде всего подавляет ли-цо, связывает личную деятельность, вследствие же этого, разумеется, все проявления и различные формы этой деятельности задерживаются, не обособляются, убиваются в зародыше. Поэтому в мусульманском мире все сферы и степени общечеловеческой жизни являются в состоянии слитности, смешения, лишены самостоятельности относи-тельно друг друга и все вместе подчинены одной подавляющей власти религии. В сфе-ре социальной мусульманство не знает различия между церковью, государством и соб-ственно обществом или земством. Все социальное тело мусульманства представляет сплошную безразличную массу, над которой возвышается один деспот, соединяющий в себе и духовную и светскую высшую власть. Единственный кодекс законов, опре-деляющий все церковные, политические и общественные отношения, есть Алкоран; представители духовенства суть вместе с тем и судьи; впрочем, духовенства в соб-ственном смысле нет, так же как нет и особенной гражданской власти, а господствует смешение того и другого. Подобное же смешение господствует и в области теоре-тической или умственной: в мусульманском мире, собственно говоря, совсем не су-ществуем ни положительная наука, ни философия, ни настоящая теология, а есть только какая-то смесь из скудных догматов Корана, из отрывков кой-каких философ-ских понятий, взятых у греков, и некоторых эмпирических сведений*. Вообще же вся умственная сфера в мусульманстве не различилась, не обособилась от практиче-ской жизни, знание имеет здесь только утилитарный характер, самостоятельного же теоретического интереса не существует. Что касается до искусства, до художествен-ного творчества, то и оно точно так же лишено всякой самостоятельности и крайне слабо развито, несмотря на богатую фантазию восточных народов: гнет односторон-него религиозного начала помешал этой фантазии выразиться в объективных идеаль-ных образах. Ваяние и живопись, как известно, прямо запрещены Кораном и не су-ществуют совсем в мусульманском мире. Поэзия не пошла здесь дальше той непо-средственной формы, которая существует везде, где есть человек, то есть лирики**. Что же касается до музыки, то на ней особенно ясно отразился характер исключитель-ного монизма; богатство звуков европейской музыки совершенно непонятно для восточного человека: самая идея музыкальной гармонии для него не существует, он ви-дит в ней только разногласие и произвол, его же собственная музыка (если только можно называть это музыкой) состоит единственно в монотонном пвтворении одних

* В средневековой арабской философии не было ни одной оригинальной идеи: она только переживала Аристотеля. Во всяком случае эта философия оказалась пусто-цветом и не оставила никакого следа на Востоке.

** Богатая персидская поэзия не принадлежит мусульманскому миру: часть ее коренится в древнейшем иранском эпосе, другая же часть не только осталась чужда влиянию ислама, но даже проникнута пророчеством против него.

и тех же нот. Таким образом, как в сфере общественных отношений, так и в сфере умственной, а равно и в сфере творчества подавляющая власть исключительного религиозного начала не допускает никакой самостоятельной жизни и развития. Если личное сознание безусловно подчинено одному религиозному принципу, крайне скудному и исключительному, если человек считает себя только безразличным орудием в руках слепого, по бессмысленному произволу действующего божества, то понятно, что из такого человека не может выйти ни великого политика, ни великого ученого или философа, ни гениального художника, а выйдет только помешанный фанатик, каковы и суть самые лучшие представители мусульманства*.

Что мусульманский Восток находится под господством первой из трех сил, подавляющей все жизненные элементы и враждебной всякому развитию, это доказывается кроме приведенных характеристических черт еще тем простым фактом, что в течение двенадцати столетий мусульманский мир не сделал ни одного шага на пути внутреннего развития; нельзя указать здесь ни на один признак последовательного органического прогресса. Мусульманство сохранилось неизменно в том состоянии, в каком было при первых калифах, но не могло сохранить прежней силы, ибо по закону жизни, не идя вперед, оно тем самым шло назад, и потому неудивительно, что современный мусульманский мир представляет картину такого жалкого упадка.

Прямо противоположный характер являет, как известно, Западная цивилизация; здесь мы видим быстрое и непрерывное развитие, свободную игру сил, самостоятельность и исключительное самоутверждение всех частных форм и индивидуальных элементов — признаки, несомненно показывающие, что эта цивилизация находится под господствующим влиянием второго из трех исторических начал. Уже самый религиозный принцип, легший в основу Западной цивилизации, хотя он представлял лишь одностороннюю и, следовательно, искаженную форму христианства, был все-таки же несравненно богаче и способнее к развитию, нежели ислам. Но и этот принцип с самых первых времен западной истории не является исключительной силой, подавляющей все другие: волей-неволей он должен считаться с чуждыми ему началами. Ибо рядом с представительницей религиозного единства — римской церковью — выступает мир германских варваров, принявший католичество, но далеко не проникнутый им, сохранивший начало не только отличное от католического, но и прямо ему враждебное — начало безусловной индивидуальной свободы, верховного значения личности. Этот первоначальный дуализм германо-римского мира послужил основанием для новых обособлений. Ибо каждый частный элемент на Западе, имея перед собою не одно начало, которое его всецело бы подчиняло себе, а два противоположные и враждебные между собою, тем самым получал для себя свободу: существование другого начала освобождало его от исключительной власти первого и наоборот.

Каждая сфера деятельности, каждая форма жизни на Западе, обособившись и отделившись от всех других, стремится в этой своей отдельности получить абсолютное значение, исключить все остальные, стать одна всем, и вместо того, по непреложному закону конечного бытия, приходит в своей изолированности к бессилию и ничтожеству, захватывая чуждую область, теряет силу в своей собственной. Так, церковь западная, отделившись от государства, но присвоивая себе в этой отдельности государственное значение, сама ставшая церковным государством, кончает тем, что теряет всякую власть и над государством и над обществом. Точно так же государство, отделившись от церкви, и от народа, и в своей исключительной централизации присвоившее себе абсолютное значение, под конец лишается всякой самостоятельности, превращается в безразличную форму общества, в исполнительное орудие народного голосования, а сам народ или земство, восставшее и против церкви и против государства, как только побеждает их, в своем революционном движении не может удержать своего единства, распадается на враждебные классы и затем необходимо должен рас-

* Я разумею мусульманских дервишей или святых. Во всякой религии святость состоит в том, чтобы чрез уподобление себя божеству достигнуть полного с ним соединения. Но характеристично, в чем полагается это соединение и как оно достигается. Для мусульманского дервиша оно сводится к совершенному заглушению личного сознания и чувства, так как его исключительное божество не терпит другого я рядом с собою. Цель достигнута, когда человек приведен в состояние бессознательности и анестезии, для чего употребляются чисто механические средства. Таким образом, соединение с божеством для человека равносильно здесь уничтожению его личного бытия, мусульманство в своем крайнем последовательном выражении является только карикатурой буддизма.

пасться и на враждебные личности. Общественный организм Запада, разделившийся сначала на частные организмы, между собою враждебные, должен под конец раздробиться на последние элементы, на атомы общества, то есть отдельные лица, и эгоизм корпоративный, кастовый должен перейти в эгоизм личный. Принцип этого последнего распада был впервые ясно выражен в великом революционном движении прошлого века, которое, таким образом, и можно считать началом полного откровения той силы, которая двигала всем западным развитием. Революция передала верховную власть народу в смысле простой суммы отдельных лиц, все единство которых сводится лишь к случайному согласию желаний и интересов,— согласию, которого может и не быть. Уничтожив те традиционные связи, те идеальные начала, которые в старой Европе делали каждое отдельное лицо только элементом высшей общественной группы и, разделяя человечество, соединяли людей,— разорвав эти связи, революционное движение предоставило каждое лицо самому себе и вместе с тем уничтожило его органическое различие от других. В старой Европе это различие и, следовательно, неравенство лиц обуславливалось принадлежностью к той или другой общественной группе и местом, в ней занимаемым. С уничтожением же этих групп в их прежнем значении исчезло и органическое неравенство, осталось только низшее натуральное неравенство личных сил. Из свободного проявления этих сил должны были создаться новые формы жизни на место разрушенного мира. Но никаких положительных оснований для такого нового творчества не было дано революционным движением. Легко видеть в самом деле, что принцип свободы сам по себе имеет только отрицательное значение. Я могу жить и действовать свободно, то есть не встречая никаких произвольных препятствий или стеснений, но этим, очевидно, нисколько не определяется положительная цель моей деятельности, содержание моей жизни. В старой Европе жизнь человеческая получала свое идеальное содержание от католичества, с одной стороны, и от рыцарского феодализма — с другой. Это идеальное содержание давало старой Европе ее относительное единство и высокую героическую силу, хотя уже оно таило в себе начало того дуализма, который должен был необходимо привести к последующему распадению. Революция окончательно отвергла старые идеалы, что было, разумеется, необходимо, но по своему отрицательному характеру не могла дать новых. Она освободила индивидуальные элементы, дала им абсолютное значение, но лишила их деятельности необходимой почвы и пищи; поэтому мы видим, что чрезмерное развитие индивидуализма в современном Западе ведет прямо к своему противоположному — к всеобщему обезличению и опошлению. Крайняя напряженность личного сознания, не находя себе соответствующего предмета, переходит в пустой и мелкий эгоизм, который всех уравнивает. Старая Европа в богатом развитии своих сил произвела великое многообразие форм, множество оригинальных, причудливых явлений; были у нее святые монахи, что из христианской любви к ближнему жгли людей тысячами; были благородные рыцари, всю жизнь сражавшиеся за дам, которых никогда не видали, были философы, делавшие золото и умиравшие с голоду, были ученые-схоластики, рассуждавшие о богословии, как математики, а о математике — как богословы. Только эти оригинальности, эти дикие величия делают Западный мир интересным для мыслителя и привлекательным для художника. Все его положительное содержание в прошлом, ныне же, как известно, единственное величие, еще сохраняющее свою силу на Западе, есть величие капитала; единственное существенное различие и неравенство между людьми, еще существующее там,— это неравенство богача и пролетария, но и ему грозит великая опасность со стороны революционного социализма. Социализм имеет задачей преобразовать экономические отношения общества введением большей равномерности в распределении материального богатства. Едва ли можно сомневаться, что социализму обеспечен на Западе скорый успех в смысле победы и господства рабочего сословия. Но настоящая цель этим достигнута не будет. Ибо как вслед за победой третьего сословия (буржуазия) выступило враждебное ему четвертое, так и предстоящая победа этого последнего вызовет, наверно, пятое, то есть новый пролетариат, и т. д. Против социально-экономической болезни Запада, как против рака, всякие операции будут только паллиативами. Во всяком случае, смешно было бы видеть в социализме какое-то великое откровение, долженствующее обновить человечество. Если в самом деле предположить даже полное осуществление социалистической задачи, когда все человечество равномерно будет пользоваться материальными благами и удобствами цивилизованной жизни, с тем большею силою станет перед ним тот же вопрос о положительном содержании этой жизни, о настоящей цели че-

ловческой деятельности, а на этот вопрос социализм, как и все западное развитие, не дает ответа.

Правда, много толкуют о том, что на место идеального содержания старой жизни, основанного на вере, дается новое, основанное на знании, на науке; и пока эти речи не выходят за пределы общностей можно подумать, что дело идет о чем-то великом, но стоит только посмотреть поближе, какое же это знание, какая наука, и великое очень скоро переходит в смешное. В области знания Западный мир постигла та же судьба, как и в области жизни общественной: абсолютизм теологии сменился абсолютизмом философии, которая в свою очередь должна уступить место абсолютизму эмпирической положительной науки, то есть такой, которая имеет своим предметом не начала и причины, а только явления и их общие законы. Но общие законы суть только общие факты, и, по признанию одного из представителей эмпиризма, высшее совершенство для положительной науки может состоять лишь в том, чтобы иметь возможность свести все явления к одному общему закону или общему факту, например, к факту всемирного тяготения, который уже не сводим ни к чему другому, а может быть только констатирован наукой. Но для ума человеческого теоретический интерес заключается не в познании факта как такового, не в констатировании его существования, а в его объяснении, то есть в познании его причин, а от этого-то познания и отказывается современная наука. Я спрашиваю: почему совершается такое-то явление, и получаю в ответ от науки, что это есть только частный случай другого, более общего явления, о котором наука может сказать только, что оно существует. Очевидно, что ответ не имеет никакого отношения к вопросу и что современная наука предлагает нашему уму камни вместо хлеба. Не менее очевидно, что такая наука не может иметь прямого отношения ни к каким живым вопросам, ни к каким высшим целям человеческой деятельности, и притязание давать для жизни идеальное содержание было бы со стороны такой науки только забавным. Если же подлинной задачей науки признавать не это простое констатирование общих фактов или законов, а их действительное объяснение, то должно сказать, что в настоящее время наука совсем не существует, все же, что носит теперь это имя, представляет на самом деле только бесформенный и безразличный материал будущей истинной науки; и понятно, что зиждительные начала, необходимые для того, чтобы этот материал превратился в стройное научное здание, не могут быть выведены из самого этого материала, как план постройки не может быть выведен из кирпичей, которые для нее употребляются. Эти зиждительные начала должны быть получены от высшего рода знания, от того знания, которое имеет своим предметом абсолютные начала и причины, следовательно, истинное построение науки возможно только в ее тесном внутреннем союзе с теологией и философией как высшими членами одного умственного организма, который только в этой своей целостности может получить силу и над жизнью. Но такой синтез совершенно противоречит общему духу западного развития: та исключаящая отрицательная сила, которая разделила и уединила различные сферы жизни и знания, не может сама по себе снова соединить их. Лучшим тому доказательством могут служить те неудачные попытки синтеза, которые мы встречаем на Западе. Так, например, метафизические системы Шопенгауэра и Гартмана (при всем их значении в других отношениях) настолько сами бессильны в области верховных начал знания и жизни, что должны обращаться за этими началами — к Буддизму.

Если, таким образом, идеальное содержание для жизни не в состоянии дать современная наука, то то же самое должно сказать и о современном искусстве. Для того чтобы творить вечные истинно художественные образы, необходимо прежде всего верить в высшую действительность идеального мира. И как может давать вечные идеалы для жизни такое искусство, которое не хочет ничего знать, кроме этой самой жизни в ее обиходной поверхностной действительности, стремится быть только ее точным воспроизведением? Разумеется, такое воспроизведение даже невозможно, и искусство, отказываясь от идеализации, переходит в карикатуру.

И в сфере общественной жизни и в сфере знания и творчества вторая историческая сила, управляющая развитием Западной цивилизации, будучи предоставлена сама себе, неудержимо приводит под конец к всеобщему разложению на низшие составные элементы, к потере всякого универсального содержания, всех безусловных начал бытия. И если мусульманский Восток, как мы видели, совершенно уничтожает человека и утверждает только бесчеловечного бога, то Западная цивилизация стремится прежде всего к исключительному утверждению безбожного чело-

века, то есть человека, взятого в его кажущейся поверхностной отдельности и действительности и в этом ложном положении признаваемого вместе и как единственное божество и как ничтожный атом — как божество для себя, субъективно, и как ничтожный атом — объективно, по отношению к внешнему миру, которого он есть отдельная частица в бесконечном пространстве и преходящее явление в бесконечном времени. Понятно, что все, что может произвести такой человек, будет дробным, частным, лишенным внутреннего единства и безусловного содержания, ограниченным одною поверхностностью, никогда не доходящим до настоящего средоточия. Отдельный личный интерес, случайный факт, мелкая подробность — атомизм в жизни, атомизм в науке, атомизм в искусстве — вот последнее слово Западной цивилизации. Она выработала частные формы и внешний материал жизни, но внутреннего содержания самой жизни не дала человечеству; обособив отдельные элементы, она довела их до крайней степени развития, какая только возможна в их отдельности; но без внутреннего органического единства они лишены живого духа, и все это богатство является мертвым капиталом. И если история человечества не должна кончиться этим отрицательным результатом, этим ничтожеством, если должна выступить новая историческая сила, то задача этой силы будет уже не в том, чтобы выработать отдельные элементы жизни и знания, созидать новые культурные формы, а в том, чтоб оживить, одухотворить враждебные, мертвые в своей вражде элементы высшим примирительным началом, дать им общее безусловное содержание и тем освободить их от необходимости исключительного самоутверждения и взаимного отрицания.

Но откуда может быть взято это безусловное содержание жизни и знания? Если бы человек имел его в самом себе, он не мог бы ни утратить, ни искать его. Оно должно быть вне его как частного, относительного существа. Но не может оно быть и во внешнем мире, ибо этот мир представляет только низшие ступени того развития, на вершине которого находится сам человек, и если он не может найти безусловных начал в самом себе, то в низшей природе еще менее; и тот, кто кроме этой видимой действительности себя и внешнего мира не признает никакой другой, должен отказаться от всякого идеального содержания жизни, от всякого истинного знания и творчества. В таком случае человеку остается только низшая животная жизнь; но счастье в этой низшей жизни зависит от слепого случая и если даже достигается, то всегда оказывается иллюзией, и так как, с другой стороны, стремление к высшему и при сознании его неудовлетворимости все-таки остается, но служит только источником величайших страданий, то естественным заключением является, что жизнь есть игра, которая не стоит свеч, и совершенное ничтожество представляется как желанный конец и для отдельного лица и для всего человечества. Избежать этого заключения можно, только признавая выше человека и внешней природы другой, безусловный, божественный мир, бесконечно более действительный, богатый и живой, нежели этот мир призрачных поверхностных явлений, и такое признание тем естественнее, что сам человек по своему вечному началу принадлежит к тому высшему миру и смутное воспоминание о нем так или иначе сохраняется у всякого, кто еще не совсем утратил человеческое достоинство.

Итак, третья сила, долженствующая дать человеческому развитию его безусловное содержание, может быть только откровением высшего божественного мира, и те люди, тот народ, через который эта сила имеет проявиться, должен быть только посредником между человечеством и тем миром, свободным, сознательным орудием последнего. Такой народ не должен иметь никакой специальной ограниченной задачи, он не призван работать над формами и элементами человеческого существования, а только сообщить живую душу, дать жизнь и целостность разорванному и омертвелому человечеству через соединение его с вечным божественным началом. Такой народ не нуждается ни в каких особенных преимуществах, ни в каких специальных силах и внешних дарованиях, ибо он действует не от себя, осуществляет не свое. От народа — носителя третьей божественной силы требуется только свобода от всякой ограниченности и односторонности, возвышение над узкими специальными интересами, требуется, чтоб он не утверждал себя с исключительной энергией в какой-нибудь частной низшей сфере деятельности и знания, требуется равнодушие ко всей этой жизни с ее мелкими интересами, всецелая вера в положительную действительность высшего мира и покорное к нему отношение. А эти свойства, несомненно, принадлежат племенному характеру Славянства, в особенности же национальному характеру русского народа. Но и исторические условия не позволяют нам искать другого носителя третьей

силы вне Славянства и его главного представителя — народа русского, ибо все остальные исторические народы находятся под преобладающей властью той или другой из двух первых исключительных сил: восточные народы — под властью первой, западные — под властью второй силы. Только Славянство, и в особенности Россия осталась свободною от этих двух низших потенций и, следовательно, может стать историческим проводником третьей. Между тем две первые силы совершили круг своего проявления и привели народы, им подвластные, к духовной смерти и разложению. Итак, повторяю, или это есть конец истории, или неизбежное обнаружение третьей всецелой силы, единственным носителем которой может быть только Славянство и народ русский.

Внешний образ раба, в котором находится наш народ, жалкое положение России в экономическом и других отношениях не только не может служить возражением против ее призвания, но скорее подтверждает его. Ибо та высшая сила, которую русский народ должен провести в человечество, есть сила не от мира сего, и внешнее богатство и порядок относительно ее не имеют никакого значения. Великое историческое призвание России, от которого только получают значение и ее ближайшие задачи, есть призвание религиозное в высшем смысле этого слова. Когда воля и ум людей вступают в действительное общение с вечным и истинно существующим, тогда только получают свое положительное значение и цену все частные формы и элементы жизни и знания — все они будут необходимыми органами или средствами одного живого целого. Их противоречие и вражда, основанная на исключительном самоутверждении каждого, необходимо исчезнет, как только все вместе свободно подчинится одному общему началу и средоточию.

Когда наступит час обнаружения для России ее исторического призвания, никто не может сказать, но все показывает, что час этот близок, даже несмотря на то, что в русском обществе не существует почти никакого действительного сознания своей высшей задачи. Но великие внешние события обыкновенно предшествуют великим пробуждениям общественного сознания. Так, даже крымская война, совершенно бесплодная в политическом отношении, сильно, однако, повлияла на сознание нашего общества. Отрицательному результату этой войны соответствовал и отрицательный характер пробужденного ею сознания. Должно надеяться, что готовящаяся великая борьба¹ послужит могущественным толчком для пробуждения положительного сознания русского народа. А до тех пор мы, имеющие несчастье принадлежать к русской интеллигенции, которая, вместо образа и подобия Божия все еще продолжает носить образ и подобие обезьяны, — мы должны же, наконец, увидеть свое жалкое положение, должны постараться восстановить в себе русский народный характер, перестать творить себе кумира изо всякой узкой ничтожной идейки, должны стать равнодушнее к ограниченным интересам этой жизни, свободно и разумно уверовать в другую, высшую действительность. Конечно, эта вера не зависит от одного желания, но нельзя также думать, что она есть чистая случайность или падает прямо с неба. Эта вера есть необходимый результат внутреннего душевного процесса — процесса решительного освобождения от той житейской дряни, которая наполняет наше сердце, и от той мнимо научной школьной дряни, которая наполняет нашу голову. Ибо отрицание низшего содержания есть тем самым утверждение высшего, и, изгоняя из своей души ложных божков и кумиров, мы тем самым вводим в нее истинное Божество.

1877.

¹ Имеется в виду русско-турецкая война. С нею связывались надежды славянофильского лагеря (к которому в те годы тяготел Соловьев) на освобождение балканских славян. См. также примечания к статье «Грехи России».

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПО ПОВОДУ «ЖЕСТОКОСТИ»

Вообще говоря, биржевым словом, «с человеком — тихо» и внимание к нему, к его божественному (эва!) происхождению превратилось в ноль, и во всем мире по этой части говорится что-то недоброе.

«Отечественные записки», окт. <ябрь> 1882, стр. 470

В двух последних номерах Отечественных Записок напечатаны статьи [г. Н. Михайловского] о Достоевском под заглавием «Жестокый талант»¹. [Жестокый талант — это Достоевский.] Вся литературная деятельность Достоевского сводится здесь к ненужному мучительству и беспредметной игре «мускулов творчества». Играя этими «мус-

кулами», он с наслаждением и излишеством терзал своих героев, чтобы чрез них терзать своих читателей. [Г. Михайловский развил свою тему не без ловкости, но сама по себе это такая дрянная и вздорная тема, что едва ли рассуждения г. Михайловского могут кого-нибудь обмануть. Читатели Отеч<ественных> Зап<исок>, наверно, сами читали Достоевского и, следовательно, знают, что в нем.] Те, для кого писал Достоевский, знают, что у него было нечто большее, чем «жестокий талант». [Знает это и г. Михайловский.] Но дело не в этом. В последней [его] статье есть одно место [заслуживающее внимания], затрагивающее весьма важный вопрос и вызывающее довольно печальные размышления. Указав, что свойственная Достоевскому жестокость таланта не могла быть смягчена чувством меры, какового чувства у Достоевского не было, автор продолжает так:

«Есть еще одно обстоятельство которое даже при страшной прирожденной и потому трудно устранимой жестокости таланта, могло бы спасти Достоевского от ненужного мучительства, а его читателей и действующих лиц от ненужных мучений. Не помню, кто из героев Эжена Сю, будучи от природы в буквальном смысле слова кровожадным человеком, но попав под влияние некоторого доброжелательного и умелого руководителя, становится совершенно несчастным человеком. Стихийные силы природы влекут его к кровопролитию, а влияние доброжелательного и умелого руководителя не допускает кровопролития. Наконец дело разрешается очень просто: добродетельный и умелый руководитель поместил кровожадного героя на бойню мясником. Тут герой может удовлетворить свои жестокие наклонности, делая вместе с тем общепольное дело. Это, конечно, не более как грубоватая иллюстрация к теории Фурье, по которой страсти и наклонности, вложенные в человека природой, как бы они ни были, по-видимому, безобразны, нуждаются только в известном приспособлении, чтобы сослужить обществу полезную службу². Нам здесь нет дела ни до остроумной теории Фурье, ни до грубой иллюстрации Сю. Но она, эта иллюстрация, может быть, именно вследствие своей грубости, если не разрешает нашего вопроса, то наглядно рисует возможность его разрешения. В самом деле, пусть злоба, жестокость, мучительство исчезнут с лица земли и пусть на их могилах пышным цветом расцветет любовь. Чего лучше! Но улита едет, когда-то будет. И доколе нет «на земле мира и в человецех благоволения», самый любвеобильный человек допускает, что возможна и даже обязательна «необузданная дикая с лютой подлостью вражда»³. А всякая вражда требует иногда людей жестоких (не мучителей, конечно, которые ни для какого дела не нужны). Вот и пусть бы Достоевский взял на себя в этой вражде роль, соответственную его наклонностям и способностям, которые нашли бы себе таким образом определенную точку приложения. Все равно как нашли себе таковую кровожадные наклонности героя Сю. Ну, у героя этого был добродетельный и умный руководитель, столь добродетельный, умный и притом могущественный, что в действительной жизни такого, пожалуй, не встретишь! Да и сомнительно, чтобы Достоевский, сам человек властный, надолго подчинился какому-нибудь личному руководителю. Руководителем для него могло бы стать что-нибудь бесплотное, идеальное, пред чем самому гордому и властному человеку не стыдно склониться, и вместе с тем такое, чтобы оно не в облаках где-нибудь носилось, а стояло всегда тут, близко, постоянно, охватывая собою человека. Люди смиренные и слабые могут довольствоваться тою нравственною дисциплиною, которая дается личным руководством или велениями заоблачных начал. Люди же сильные, властные, сами умеющие так или иначе управлять сердцами людей, не наденут на себя ярма личного руководства. Знакома им (не всем, конечно) «и с небом гордая вражда»⁴. Но властные люди могут — и это не только теоретическое соображение, но и многократный исторический факт — склоняться перед идеальным началом, в создании которого они сами принимали участие, в которое они вложили частицу самого себя, своей мысли, чувства, воли; а таким началом может быть только определенный, общественный идеал. Будь такой идеал у Достоевского, он не допустил бы его заниматься ненужным мучительством и беспредметною игрою мускулов творчества, а направил бы его жестокие наклонности в какую-нибудь определенную сторону. Но у Достоевского такого идеала не было...» (Отеч<ественные> Зап<иски>. Октябрь. 1882, стр. 263—265).

Да, не было у Достоевского такого общественного идеала, для которого пригодны жестокие наклонности, не было у него такого общественного идеала, который требует необузданной и дикой вражды. Он не принимал всеу слова «общественный идеал» и знал разницу между тем, что бывает, и тем, что должно быть. Проникнув

глубже других в темную и безумную стихию человеческой души, он отразил ее в своих действующих лицах иногда с гениальной [и потрясающе] силою, иногда с излишне и действительно мучительной [тонкостью и подробностью] напряженностью. Но рядом с этой изнанкою человеческой души, которую Достоевский воспроизводил и показывал нам как психологическую действительность, у него был в самом деле нравственный и общественный идеал, не допускавший сделок с злыми силами, требовавший не того или другого внешнего приложения злых наклонностей, а их внутреннего нравственного перерождения,— идеал, не выдуманный Достоевским, а завещанный всему человечеству Евангелием. Этот идеал не позволял Достоевскому узаконять и возводить в должное «необузданную и дикую вражду»; такая вражда всецело принадлежит дурной действительности, в достижении общественного идеала ей нет никакого места, ибо этот идеал именно и состоит в упразднении [сначала в себе, а затем в других] дикой и необузданной вражды. Дело трудное. [А г. Михайловский и ему подобные.] Носители новой социальной идеи за это дело не принимаются, просто берут всю мерзость человеческую, как она есть, и самодовольно подносят ее нам под видом общественного идеала. Все злые факторы нашей действительности остаются у них неприкосновенными в своей нравственной сущности, а меняют только свои места и получают «определенную точку приложения». Положим, вы грубо-кровожадны. Хорошо! говорит общественный идеал: ступайте мясником на бойню (причем предполагается, что бойни должны существовать вечно). Вы коварно-жестоки? Хорошо, берите кинжал, будьте Равальяком⁵. А у вас сильны разрушительные инстинкты, вы, может быть, склонны к пиромании? Превосходно! берите порох, динамит, взрывайте церкви, поджигайте дворцы и театры. А вот вы страдаете завистью и тщеславием? Неудурно и это: идите в радикальные публицисты, служите своей партии клеветой и злословием. Все это под прямым внушением и руководством «общественного идеала» и с соблюдением «нравственной дисциплины». Существует же дисциплина и в разбойничьих шайках.

Согласно этой новой морали (новой, впрочем, только по своей циничной форме, а по сущности неизменной со времен Каина и Авеля)— жестокость, дикая вражда и т. д. позволительны и даже обязательны, если только они направлены в какую-нибудь определенную сторону и имеют определенную точку приложения. Беда только в том, что нет никакого мерила и судьи, которым бы определялся законный и обязательный предмет для жестокости и вражды. В первобытные времена, а у диких народов и теперь, взятые в плен воины соседнего племени или рода съедались живыми или приносились в жертву богам. Это было довольно жестоко, но такое определенное приложение жестоких наклонностей было вполне законно и даже обязательно для этих дикарей и требовалось их общественным идеалом. Во времена исторические Римляне, повинувшись своему идеалу государственного единства, беспощадно подавляли восставшие против них народы, перебили, например, сотни тысяч евреев и даже разрушили Иерусалим. Бесспорно, это было жутко, но также бесспорно и то, что император Тит мог по совести считать такое приложение жестокости не только законным, но и вполне обязательным в силу римского общественного идеала. Подобное же должно сказать о жестокости крестоносцев в альбигойском походе, о жестокости [инквизиторов против еретиков и] католических и еще более протестантских судов над колдунами и ведьмами, о жестокости французских якобинцев, которые десятками тысяч топили и резали сторонников старого режима. Во всех этих случаях жестокость направлялась в определенную сторону и получала определенную точку приложения под руководством известного общественного идеала. Точно так же в настоящее время революционные партии во всей Европе готовы направить свою необузданную и дикую вражду на правящие и имущие классы, а эти последние, конечно, не замедлят «приложить» всю свою жестокость к революционным элементам. И не будет конца этой круговой поруке злобного насилия, этому усложненному каннибализму до тех пор, пока общественный идеал будет отделяться от нравственного, пока злые страсти будут оправдываться точками приложения. Упомянув иронически о «расцвете любви» и о «мире на земле», г. Михайловский восклицает: «Чего лучше! Но улита едет, когда-то будет!» Наверное, даже никогда, с его точки зрения, по его общественному идеалу. Ибо если на основании того факта, что между нами господствует вражда, мы должны признать ее законной и даже обязательной, и притом вражду дикую и необузданную, то спрашивается, откуда же может взяться на земле мир? Прежде чем явится хоть какая-нибудь возможность такого мира, должны мы хоть в идее по крайней мере, хоть в

принципе, хоть в законе своей совести решительно отказаться от злобы и вражды, осудить их безусловно как нравственное зло независимо ни от каких точек приложения. А то хотят исправить действительность, а между тем и в душе и на деле преклоняются перед коренным злом этой самой действительности.

Проповедь обязательной жестокости показала нам явлением знаменательным. С удовольствием отметим и протест против такой проповеди на страницах того же журнала, в статье «Бог грехам терпит» [с метким юмором характеризуется суть того общественного идеала, который выразился между прочим в последней египетской экспедиции], откуда мы взяли эпиграф для нашей заметки⁶. Рассказав, как просвещенное войско англичан под знаменем, на котором написано: «отдай апрельский купон в два с полтиной», с самодовольной и хладнокровной жестокостью взыскивало эти два с полтиной, так как все дело в них, а человек, с которым расправляются, идет ни во что,— автор заключает так:

«Вот какие дела стали делаться на белом свете! «Отдай купон, не то убью», а что касается там какого-то твоего «личного» счастья, какого-то национального достоинства, каких-то семейных и общественных обязанностей, каких-то умственных и нравственных недоумений, жизненных задач — наплевать! «Отдай, а сам хоть провалился сквозь землю!» При таком «последнем слове», определяющем главную задачу современной жизни, слове, произнесенном и освещенном отборнейшими представителями отборнейшей и могущественнейшей нации всего света, мудро роптать на то, что урядник также выдвигает на первый план «съестные припасы» и во имя их „желеат обеспечения“» (Отеч<ественные> Зап<иски>. Окт<ябрь>. 1882, стр. 471—472).

Если принять во внимание, что девиз «отдай купон, не то убью», написанный на знамени английских мироедов, по нравственной своей сущности вполне тождествен с девизом «отдай капиталы, не то убью», написанным на знамени социальной революции, то невозможно вину в «последнем слове» возлагать на одних мироедов и урядников. Если бы генерал Болтзлей и адмирал Сеймур читали Отечественные Записки, то они могли бы ответить на обвинения г. Успенского: «Помилуйте! За что же? Ведь мы свои жестокие наклонности направили в определенную сторону, дали им определенную точку приложения и притом под руководством общественного идеала, в создании которого участвовала наша мысль, наше чувство и воля!»

Но английские генералы, и не читая Отечественных Записок, могли отлично усвоить мораль, изложенную в статьях «Жестокий талант»; ибо мораль эта существует в мире уже многие тысячелетия и выдумана она первым братоубийцей.

<1882>

Публикация Р. ГАЛЬЦЕВОЙ и И. РОДНЯНСКОЙ.

Печатается по черновому автографу (ОР ГБЛ, ф. 93/II, к. 8, ед. хр. 120а).

Здесь и в последующих архивных публикациях в квадратных скобках — зачеркнутое в рукописи, в угловых — конъектуры. Мелкая стилистическая правка опущена.

С Ф. М. Достоевским Соловьев познакомился в 1873 году и особенно сблизился в 1877—1878 годах. Писатель проявлял неизменный интерес к творчеству молодого философа: посещал его «Чтения о Богочеловечестве», присутствовал на защите докторской диссертации. В 1878 году Достоевский и Соловьев совершили поездку в Оптину пустынь. В 1881—1883 годах Соловьев выступил с «Тремя речами в память Достоевского» (к этому времени относится и его работа над публикуемой статьей). Определяя «одушевляющую» писателя идею, Соловьев, в частности, писал: «А любил он прежде всего живую человеческую душу во всем и везде и верил он, что мы все род Божий, верил в бесконечную силу человеческой души, торжествующую над всяким внешним насилием и над всяким внутренним падением. Приняв в свою душу всю жизненную злобу, всю тяготу и черноту жизни и преодолев все это бесконечною силою любви, Достоевский во всех своих творениях возвещал эту победу».

Н. К. Михайловский не принимал мирозерцания как Достоевского, так и Соловьева. Магистерская диссертация Соловьева «Кризис западной философии (против позитивистов)» была встречена Михайловским, одним из лидеров «положительной философии» в России, крайне враждебно. 27 ноября 1874 года в газете «Биржевые ведомости» появился его фельетон «О диспуте г-на В. Соловьева», оканчивающийся таким ироническим пассажем: «Русь, Русь! Куда ты мчишься? спрашивал Гоголь много лет тому назад. Как вы думаете, милостивые государи, куда она в самом деле мчится?» В 90-е годы Соловьев сблизился с либеральными кругами и сотрудничал в журнале «Русская мысль», где тогда же печатался и Михайловский. Однако предпринимавшиеся Соловьевым попытки к примирению Михайловский неизменно отвергал. В связи с этим знаменательно «заступничество» Соловьева за Михайловского в письме к Л. Я. Гуревич, публикуемом ниже.

Подробно о борьбе, разгоревшейся вокруг идейного наследия Достоевского, см. работу «Раскол в консерваторах (Ф. М. Достоевский, Вл. Соловьев, И. С. Аксаков,

К. Н. Леонтьев, К. П. Победоносцев в споре об общественном идеале)» («Неоконсерватизм в странах Запада». Реферативный сборник. М. ИНИОН АН СССР. 1982. Там же впервые напечатаны фрагменты из публикуемой статьи).

¹ Статья Н. К. Михайловского «Жестокий талант» опубликована в журнале «Отечественные записки» (1882, № 9, 10).

² Михайловский вольно излагает сюжет популярного романа Э. Сю «Парижские тайны».

³ Цензурный вариант строк из стихотворения Н. А. Некрасова «Песня Еремушке». Авторский текст. «необузданную, дикую к угнетателям вражду».

⁴ Строка из шестой редакции поэмы Лермонтова «Демон».

⁵ Равальяк Франсуа (1578—1610) — убийца Генриха IV, короля Франции

⁶ Очерки Глеба Успенского («Отечественные записки», 1882, № 10).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС В РОССИИ

Фрагменты из книги

Нравственность в политика. — Исторические обязанности России

Полное разделение между нравственностью и политикой составляет одно из господствующих заблуждений и зол нашего века. С точки зрения христианской и в пределах христианского мира эти две области — нравственная и политическая — хотя и не могут совпадать друг с другом, однако должны быть теснейшим образом между собой связаны.

Как нравственность христианская имеет в виду осуществление царства Божия внутри отдельного человека, так христианская политика должна готовить пришествие царства Божия для всего человечества как целого, состоящего из больших частей — народов, племен и государств.

Прошедшая и настоящая политика действующих в истории народов имеет очень мало общего с такою целью, а большею частью и прямо ей противоречит — это факт бесспорный. В политике христианских народов доселе царствуют безбожная вражда и раздор, о царстве Божием здесь нет и помину. Для многих этого достаточно: так оно есть, значит, так тому и быть. Нельзя, однако, выдержать до конца такого преклонения перед фактом, ибо тогда пришлось бы преклоняться перед чумою и холерою, которые также суть факты. Все достоинство человека в том, что он сознательно борется с дурною действительностью ради лучшей цели. Господство болезни есть факт, но цель есть здоровье; и от этого дурного факта к лучшей цели есть переход и средство, называемое медициною. И в общей жизни человечества царство зла и раздора есть факт, но цель есть царство Божие, и к этой-то цели посредствующий переход от дурной действительности называется христианскою политикою*.

Согласно общераспространенному мнению, каждый народ должен иметь свою собственную политику, цель которой соблюдать исключительные интересы этого отдельного народа или государства. В последнее время все громче и громче раздаются у нас патриотические голоса, требующие, чтобы мы не отставали в этом от других народов и также руководились бы в политике исключительно своими национальными и государственными интересами, и всякое отступление от такой «политики интереса» объявляется или глупостью, или изменою. Быть может, в таком взгляде есть недоразумение, происходящее от неопределенности слова «интерес»: все дело в том, о каких именно интересах идет речь. Если полагать интерес народа, как это обыкновенно делают, в его богатстве и внешнем могуществе, то при всей важности этих интересов несомненно для нас, что они не должны составлять высшую и окончательную цель политики, ибо иначе ими можно будет оправдывать всякие злодеяния, как мы это и видим. Наши патриоты смело указывали на политические злодеяния Англии как на пример, достойный подражания. Пример в самом деле удачный: никто и на словах, и на деле не заботится так много, как англичане, о своих национальных и государственных интересах. Всем известно, как, ради этих интересов, богатые и властительные англичане морят голодом ирландцев, дают индусов,

* Таким образом, эта политика вовсе не есть утопия в порицательном смысле этого слова, то есть такая, которая не хочет знать о дурной действительности и осуществляет свой идеал в пустом пространстве; христианская политика, напротив, исходит из действительности и прежде всего хочет помочь против действительного зла.

насилно отравляют опиумом китайцев, грабят Египет *. Несомненно, все эти дела внушены заботой о национальных интересах. Глулости и измены тут нет, но бесчеловечия и бесстыдства много. Если бы возможен был только такой патриотизм, то и тогда не следовало бы нам подражать английской политике: лучше отказаться от патриотизма, чем от совести. Но такой альтернативы нет. Смеем думать, что истинный патриотизм согласен с христианскою совестью, что есть другая политика, кроме политики интереса, или, лучше сказать, что существуют иные интересы у христианского народа, не требующие и даже совсем не допускающие людоедства.

Что это международное людоедство есть нечто не похвальное, это чувствуется даже теми, которые им наиболее пользуются. Политика материального интереса редко выставляется в своем чистом виде. Даже англичане, самодовольно высасывая кровь из «низших рас» и считая себя вправе это делать просто потому, что это выгодно им, англичанам, нередко, однако, уверяют, что приносят этим великое благодеяние самим низшим расам, приобщая их к высшей цивилизации, что и справедливо до некоторой степени. Здесь, таким образом, грубое стремление к своей выгоде превращается в возвышенную мысль о своем культурном призвании. Этот идеальный мотив, еще весьма слабый у практических англичан, во всей силе обнаруживается у «народа мыслителей». Германский идеализм и склонность к высшим обобщениям делают невозможным для немцев грубое эмпирическое людоедство английской политики. Если немцы поглотили вендов, пруссов и собираются поглотить поляков, то не потому, что это им выгодно, а потому, что это их «призвание» как высшей расы: германизируя низшие народности, возводить их к истинной культуре. Английская эксплуатация есть дело материальной выгоды; германизация есть духовное призвание. Англичанин является пред своими жертвами как пират; немец — как педагог, воспитывающий их для высшего образования. Философское превосходство немцев обнаруживается даже в их политическом людоедстве: они направляют свое поглощающее действие не на внешнее достояние народа только, но и на его внутреннюю сущность. Эмпирик-англичанин имеет дело с фактами; мыслитель-немец — с идеей: один грабит и давит народы, другой уничтожает в них самую народность.

Высокое достоинство германской культуры неоспоримо. Но все-таки принцип высшего культурного призвания есть принцип жестокий и неистинный. О жестокости его ясно говорят печальные тени народов, подвергнутых духовному рабству и утративших свои жизненные силы. А неистинность этого принципа, его внутренняя несостоятельность, явно обличается его неспособностью к последовательному применению. Вследствие неопределенности того, что, собственно, есть высшая культура и в чем состоит культурная миссия, нет ни одного исторического народа, который не заявлял бы притязания на эту миссию и не считал бы себя вправе насиловать чужие народности во имя своего высшего призвания. Народом народов считают себя не одни немцы, но также евреи, французы, англичане, греки, итальянцы и т. д. и т. д. Но притязание одного народа на привилегированное положение в человечестве исключает такое же притязание другого народа. Следовательно, или все эти притязания должны остаться пустым хвостовством, пригодным только как прикрытые для утеснения более слабых соседей, или же должна возникнуть борьба не на жизнь, а на смерть между великими народами из-за права культурного насилия. Но исход такой борьбы никак не докажет действительно высшего призвания победителя, ибо перевес военной силы не есть свидетельство культурного превосходства: такой перевес имели полчища Тамерлана и Батыя, и если бы когда-нибудь в будущем такой перевес выпал на долю китайцев благодаря их многочисленности, то все-таки никто не преклонился пред культурным превосходством монгольской расы.

Идея культурного призвания может быть состоятельной и плодотворной только тогда, когда это призвание берется не как мнимая привилегия, а как действительная обязанность, не как господство, а как служение.

У каждого отдельного человека есть материальные интересы и интересы самодлюбия, но есть также и обязанности, или, что то же, нравственные ин-

* Не следует, впрочем, забывать, что в Англии находятся и такие влиятельные вожди партий (как, например, Гладстон), которые совершенно иначе понимают национальные интересы своего отечества, и что там можно открыто требовать освобождения Ирландии, не навлекая на себя обвинения в национальной и государственной измене.

интересы, и тот человек, который пренебрегает этими последними и действует только из-за выгоды или из самолюбия, заслуживает всякого осуждения. То же должно признать и относительно народов. Если даже смотреть на народ как только на сумму отдельных лиц, то и тогда в этой сумме не может исчезнуть нравственный элемент, присутствующий в слагаемых. Как общий интерес целого народа составляет равнодействующую всех частных интересов (а не простое повторение каждого в отдельности) и имеет отношение к подобным же коллективным интересам других народов, так же точно должно рассуждать и о народной нравственности. Расширение личного во всенародное нет основания ограничивать одною низшею стороною человека: если материальные интересы отдельных людей порождают общий народный интерес, то и нравственные интересы отдельных людей порождают общий нравственный интерес народа, относящийся уже не к отдельным единицам, а к народной совокупности,— у народа является нравственная обязанность относительно других народов и всего человечества. Видеть в этой общей обязанности метафору и вместе с тем стоять за общий национальный интерес как за что-то действительное есть явное противоречие. Если народ — только отвлеченное понятие, то ведь отвлеченное понятие не может иметь не только обязанностей, но точно так же не может у него быть и никаких интересов, и никакого призвания. Но это явная ошибка. Во всяком случае, мы должны признать интерес народа как общую функцию частных деятелей, но такою же функцией является и народная обязанность. Есть у народа интерес, есть у него и совесть. И если эта совесть слабо обнаруживается в политике и мало сдерживает проявления национального эгоизма, то это есть явление ненормальное, болезненное, и всякий должен сознаться, что это нехорошо. Нехорошо международное людоедство, оправдываемое или неоправдываемое высшим призванием; нехорошо господство в политике воззрений того африканского дикаря, который на вопрос о добре и зле отвечал: добро — это когда я отниму у соседей их стада и жен, а зло — когда у меня отнимут. Такой взгляд господствует в международной политике; но он же в значительной мере управляет и внутренними отношениями: в пределах одного и того же народа сограждане повседневно эксплуатируют, обманывают, а иногда убивают друг друга, однако же никто не заключает из этого, что так и должно быть; отчего же такое заключение получает силу в применении к высшей политике?

Есть и еще несообразность в теории национального эгоизма, губительная для этой теории. Раз признано и узаконено в политике господство своего интереса только как своего, то совершенно невозможным становится указать пределы этого своего; патриот считает своим интерес своего народа в силу национальной солидарности, и это, конечно, гораздо лучше личного эгоизма, но здесь не видно, почему именно национальная солидарность должна быть сильнее солидарности всякой другой общественной группы, не совпадающей с пределами народности? Во время французской революции, например, для эмигрантов-легитимистов чужеземные правители и вельможи оказались гораздо больше своими, чем французские якобинцы; для немецкого социал-демократа парижский коммунары также более свой, нежели померанский помещик, и т. д. и т. д. Быть может, это очень дурно со стороны эмигрантов и социалистов, но на почве политического интереса решительно нельзя найти оснований для их осуждения.

Возводить свой интерес, свое самонимие в высший принцип для народа, как и для лица, значит узаконять и увековечивать ту рознь и ту борьбу, которые раздирают человечество. Общий факт борьбы за существование, проходящий через всю природу, имеет место и в натуральном человечестве. Но весь исторический рост, все успехи человечества состоят в последовательном ограничении этого факта, в постепенном возведении человечества к высшему образцу правды и любви. Откровение этого образца, этого нового человека явилось в живой действительности Христа. И не годится нам, воспринявшим нового человека, опять возвращаться к немощным и скудным стихиям мира, к упраздненному на кресте раздору между эллином и варваром, язычником и иудеем. Ставить выше всего исключительный интерес и значение своего народа требуют от нас во имя патриотизма. От такого патриотизма избавила нас кровь Христова, пролитая иудейскими патриотами во имя своего национального интереса! «Аще оставим Его тако, вси уверуют в Него: и приидут римляне, и возьмут место и язык наш... уне есть нам, да един человек умрет за люди, а не весь язык погибнет». Умерщвленный патриотизмом одного народа, Христос воскрес для всех народов и заповедал ученикам своим: «Шедше научите вся языки».

Что же? или христианство упраздняет национальность? Нет, но сохраняет ее. Упраздняется не национальность, а национализм. Озлобленное преследование и умерщвление Христа было делом не народности еврейской, для которой Христос (по человечеству) был ее высшим расцветом, а это было дело узкого и слепого национализма таких патриотов, как Каиафа. И то, что было сказано выше о политике немцев и англичан, нисколько не служит к осуждению этих народностей. Мы различаем народность от национализма по плодам их. Плоды английской народности мы видим в Шекспире и Байроне, в Берклее и в Ньютоне; плоды же английского национализма суть всемирный грабеж, подвиги Варрен Гастингса и лорда Сеймура¹, разрушение и убийство. Плоды великой германской народности суть Лессинг и Гёте, Кант и Шеллинг, а плод германского национализма — насильственное онемечение соседей от времен тевтонских рыцарей и до наших дней.

Народность, или национальность, есть положительная сила, и каждый народ по особому характеру своему назначен для особого служения. Различные народности суть различные органы в целом теле человечества — для христианина это есть очевидная истина. Но если члены физического тела только в басне Менения Агриппы спорят между собою, то в народах — органах человечества слагаемых не из одних стихийных, а также из сознательных и волевых элементов, — может возникнуть и возникает действительно противоположение себя целому, стремление выделиться и обособиться от него. В таком стремлении положительная сила народности превращается в отрицательное усилие национализма. Это есть народность, отвлеченная от своих живых сил, заостренная в сознательную исключительность и этим острием обращенная ко всему другому. Доведенный до крайнего напряжения, национализм губит впавший в него народ, делая его врагом человечества, которое всегда окажется сильнее отдельного народа. Христианство, упраздняющая национализм, спасает народы, ибо сверхнародное не есть безнародное. И здесь имеет силу слово Божие: только тот, кто положит душу свою, сохранит ее, а кто бережет душу свою, тот потеряет ее. И народ, желающий во что бы то ни стало сохранить душу свою в замкнутом и исключительном национализме, потеряет ее, и только полагая всю душу свою в сверхнародное вселенское дело Христово, народ сохранит ее. Личное самоотвержение, победа над эгоизмом не есть уничтожение самого его, самой личности, а, напротив, есть возведение этого его на высшую ступень бытия. Точно то же и относительно народа: отвергаясь исключительного национализма, он не только не теряет своей самостоятельной жизни, но тут только и получает свою настоящую жизненную задачу. Эта задача открывается ему не в рискованном преследовании низменных интересов, не в осуществлении мнимой и самозванной миссии, а в исполнении исторической обязанности, соединяющей его со всеми другими в общем вселенском деле. Возведенный на эту степень патриотизм является не противоречием, а полнотою личной нравственности. Лучшие стремления человеческой души, высшие веления христианской совести прилагаются тогда к вопросам и делам политическим, а не противопоставляются им. Не должно себя обманывать: бесчеловечие в международных и общественных отношениях, политика людоедства погубит в конце концов и личную, и семейную нравственность, что отчасти уже и видно во всем христианском мире. Человек все-таки есть существо логичное и не может долго выносить чудовищного раздвоения между правилами личной и политической деятельности. Поэтому, хотя бы для спасения личной нравственности, следует остерегаться возводить это раздвоение в принцип и требовать, чтобы человек, который к ближайшим своим относится по-христиански, а относительно прочих сограждан сообразуется по крайней мере с юридическим законом, чтобы тот же человек как представитель государственного и национального интереса управлялся такими воззрениями, которые свойственны придорожным разбойникам и африканским дикарям. Должно хотя бы сперва только в теории признать высшим руководящим началом в всякой политике не интерес и не сомнение, а нравственную обязанность.

Христианский принцип обязанности, или нравственного служения, есть единственно состоятельный, единственно определенный и единственно полный или совершенный принцип политической деятельности. Единственно состоятельный — ибо, исходя из самопожертвования, он доводит его до конца; он требует, чтобы не только лицо жертвовало своею исключительностью в пользу народа, но и для целого народа, и для всего человечества разрывает всякую исключительность, призывая всех

одинаково к делу всемирного спасения, которое, по существу своему, есть высшее и безусловное добро и, следовательно, представляет достаточное основание для всякого самопожертвования; тогда как на почве своего интереса решительно не видно, почему своим личным интересом должно жертвовать интересу своего народа, и точно так же совершенно не видно, почему я должен преклоняться пред коллективным самонимением своих сограждан, когда мое личное самонимение все считает лишь за слабость моего нравственного характера, а никак не за нормальный принцип деятельности.— Далее, христианская идея обязанности есть единственно определенное начало в политике: ибо, с одной стороны, интерес, выгода сами по себе суть нечто совершенно безграничное и ненасытное, а с другой стороны — мнение о своем высшем и исключительном призвании еще не дает никакого положительного указания в каждом данном случае и вопросе; обязанность же христианская всегда указывает нам, как должны мы поступать во всяком данном случае, и притом она требует от нас только того, что мы несомненно можем сделать, что находится в нашей власти (*ad impossibilia nemo obligatur* *), тогда как стремление к материальному интересу несколько не ручается за возможность его достижения, да и мнение о нашем исключительном призвании манит обыкновенно на такие высоты, которых мы достигнуть не можем. Поэтому мы вправе утверждать, что мотивы выгоды и самонимения суть мотивы фантастические, а принцип христианской обязанности есть нечто совершенно реальное и твердое. Наконец, это есть единственно полный принцип, заключающий в себе все положительное содержание других начал, которые в него разрешаются. Тогда как выгода и самонимение, в своей исключительности, утверждая соперничество и борьбу народов, не допускают в политике высшего начала нравственной обязанности,— это последнее начало вовсе не отрицает ни законных интересов, ни истинного призвания каждого народа, а, напротив, предполагает и то и другое. Ибо если мы только признаем, что народ имеет нравственную обязанность, то несомненно с исполнением этой обязанности связаны и его настоящие интересы, и его настоящее призвание. Не требуется и того, чтобы народ пренебрегал своими материальными интересами и вовсе не думал о своем особом назначении; требуется только, чтобы он не в это полагал душу свою, не это ставил последнею целью, не этому служил. А затем, в подчинении высшим соображениям христианской обязанности, и материальное достоинство и самосознание народного духа сами становятся силами положительными, действительными средствами и орудиями нравственной цели, потому что тогда приобретения этого народа действительно идут на пользу всем другим, и его величие действительно возвеличивает все человечество. Таким образом, принцип нравственной обязанности в политике, обнимая собою два другие, есть самый полный, как он же есть и самый определенный и внутренне состоятельный. А для людей нашей веры напомним, что этот принцип есть единственно христианский.

Политика интереса, стремление к своему обогащению и усилению свойственны натуральному человеку — это есть дело языческое, и, становясь на эту почву, христианские народы возвращаются в язычество. Утверждение своей исключительной миссии, обоготворение своей народности есть точка зрения иудейская, и, принимая эту точку зрения, христианские народы впадают в ветхозаветное иудейство.

Давить и поглощать других для собственного насыщения есть дело одного животного инстинкта, дело бесчеловечное и безбожное как для отдельного лица, так и для целого народа. Величаться своим высшим призванием, присваивать себе пред другими особые права и преимущества есть дело гордости и самоутверждения для народа, как и для лица,— дело человеческое, но также безбожное и нехристианское. Исповедать свой долг, признать свою обязанность есть христианское дело смирения и самопознания, необходимое начало нравственного подвига и истинной богочеловеческой жизни.— Для народа так же, как и для лица. Здесь все дело решается не своим мнением, а совестью, одинаковой для всех, и потому здесь не может быть самозванцев. Не может здесь быть и лжепророков, ибо проповедь обязанности не предполагает ничего рокового, никакого предопределения: указывать народу его обязанность еще не значит предсказывать его будущую судьбу. Народ, как и отдельное лицо, может исполнить, но может и не исполнить свою обязанность; но и в этом последнем случае обязанность все-таки остается и указывавший ее не обличается во лжи.

В теперешнем существовании человечества невозможно еще и для народа, и для лица, чтобы всякое удовлетворение материальных нужд и требований самоза-

* Никому не вменяют в обязанность невозможного (*lat.*).— *Ред.*

шиты прямо вытекало из велений нравственного долга. И для народа существуют дела текущей минуты, злоба исторического дня вне прямой связи с его высшими нравственными задачами. Об этой злобе дня мы и не призваны говорить. Но есть великие жизненные вопросы, в разрешении которых народ должен руководиться прежде всего голосом совести, отодвигая на второй план все другие соображения. В этих великих вопросах дело идет о спасении народной души, и тут каждый народ должен думать только о своем долге, не оглядываясь на другие народы, ничего от них не требуя и не ожидая. Не в нашей власти заставить других исполнять их обязанность, но исполнить свою мы можем и должны, и, исполняя ее, мы тем самым послужим и общему вселенскому делу; ибо в этом общем деле каждый исторический народ, по своему особому характеру и месту в истории, имеет свое особое служение. Можно сказать, что это служение навязывается народу его историей в виде великих жизненных вопросов, обойти которые он не может. Но он может власть в искушение разрешать эти вопросы не по совести, а по своекорыстным и самолюбивым расчетам. В этом величайшая опасность, предостерегать от нее есть долг истинного патриотизма. <...>

1883.

¹ Гастингс Варрен (1732—1818) — генерал-губернатор Британской Индии, обвинялся в тираническом управлении колонией; Сеймур Фредерик-Бошан (1825—1835) — английский адмирал, командовал флотом, бомбардировавшим Александрию в 1882 году.

Идолы и идеалы

IV

<...> Меня укоряли в последнее время за то, что я будто бы перешел из славянофильского лагеря в западнический, вступил в союз с либералами и т. п.¹ Эти личные упреки дают мне только повод поставить следующий вопрос, вовсе уже не личного свойства: где находится ныне тот славянофильский лагерь, в котором я мог и должен был остаться? кто его представители? что и где они проповедают? какие научно-литературные и политические органы печати выражают и развивают «великую и плодотворную славянофильскую идею»? Достаточно поставить этот вопрос, чтобы сейчас же увидеть, что славянофильство в настоящее время не есть реальная величина; что никакой «наличности» он не имеет и что славянофильская идея никем не представляется и не развивается, если только не считать ее развитием тех взглядов и тенденций, которые мы находим в нынешней «патриотической» печати. При всем различии своих тенденций от крепостнической до народнической и от скрежещущего мракобесия до бесшабашного зубоскальства органы этой печати держатся одного общего начала — стихийного и безыдейного национализма, который они принимают или выдают за истинный русский патриотизм; все они сходятся также и в наиболее ярком применении этого псевдонационального начала — в антисемитизме. Вот тот действительный «лагерь», к которому принадлежат мои почтенные противники, но в котором я никогда не находился, а потому и не мог никуда из него перейти.

Вместо напрасных, хотя и лестных для меня сетований на этот мнимый выход из несуществующего славянофильского лагеря следовало бы объяснить действительный факт его исчезновения; объяснить, почему славянофильская идея сошла со сцены, ничего не сделавши, почему она не возвысилась, не одухотворила и не осмыслила наш стихийный патриотизм чрез основательное выражение в нем лучших качеств русского национального характера, его всеобъемлющей широты и миролюбия, а, напротив того, с такою легкостью сама уступила место рабскому воспроизведению худшего во всех странах и ничуть не русского шовинизма и политического кулачества, так что лишь благодаря мудрой и истинно русской (то есть миролюбивой) внешней политике нашего правительства Россия избавлена до сих пор от недостойных христианского народа и нисколько не оригинальных воинственных предприятий?

Конечно, и в старом славянофильстве был зачаток нынешнего национального кулачества, но были ведь там и другие элементы, христианские, то есть истинно гуманные и либеральные. Куда же они теперь девались? Уж не перенес ли я их с бою в «западнический лагерь», где, впрочем, они и без меня присутствовали? Во всяком случае, если славянофильство было когда-нибудь живым целым, то ныне этого

целого более не существует; оно распалось на составные элементы, из коих одни по естественному сродству вошли в соединение с так называемым «западническим лагерем», а другие столь же естественно были притянуты и поглощены крепостничеством, антисемитизмом, народничеством и т. д. Но если славянофильство подпало такому химическому процессу, то ясно, что оно перестало быть органическим явлением; если оно подверглось разложению, то, значит, оно умерло, и этот несомненный факт нисколько не изменится от того, что кому-нибудь угодно разложение трупа называть развитием.

В прошлом году была сделана замечательная, хотя совершенно незамеченная попытка воскресить этот труп. Я разумею журнал «Благовест», несколько месяцев тому назад издававшийся (а может быть, и доселе издаваемый) маленькою фракцией петербургского славянского общества с г. Афанасием Васильевым во главе. Этот последний в нескольких руководящих статьях дал превосходное изложение подлинного славянофильства. Но изложить еще не значит оживить. Вместо невозможного воскрешения вышла весьма поучительная аутопсия. В своем похвальном старании воспроизвести принятое им учение со всею полнотою г. Васильев ярко подчеркнул то внутреннее противоречие (между христианским универсализмом и языческим особнячеством и враждою к чужому), которое было для славянофильства смертельным недугом. Достаточно сказать, что в качестве эпитафий этой *profession de foi** рядом с текстами апостола Павла о христианской любви стоят слова генерала Скобелева о том, что всех немцев нужно истребить². Никакой противник славянофильства не мог бы более удачно выставить его слабую сторону, и всякому при виде такого сопоставления становится ясно, что это двуликое (если и не двуличное) учение было неспособно к дальнейшему существованию и развитию. Это подтверждается и судьбою нового славянофильского издания. Благовест мнимого воскресения оказался на деле похоронным звоном, притом столь запоздалым и несильным, что лишь немногие его слышали и пожелали покойнику царствия небесного.

Общий ход разложения славянофильской идеи был мною показан в другом месте; теперь я хочу остановиться особенно на характерном для славянофильства — и не для него одного — превращении высоких и всеобъемлющих христианских идеалов в грубые и ограниченные идолы нашего современного язычества.

Почтенный оратор, которого речь была ближайшим поводом этих очерков, называл Россию новым Израилем, народом святым и богоносным³. Это национальное мессианство составляло, как известно, основную мысль старого славянофильства; также известно и то, что эта мысль в той или другой форме являлась у многих народов; преобладающий религиозно-мистический характер она принимала в особенности у поляков (товянцизна) и у некоторых французских мечтателей тридцатых и сороковых годов (Мишель Вентра и т. п.). В каком отношении находится подобное национальное мессианство к истинной христианской идее? Мы не скажем, чтобы между ними было принципиальное противоречие. Истинный христианский идеал может принять эту национально-мессианскую форму, но он становится тогда весьма удобопревратным (по выражению духовных писателей), то есть легко может перейти в соответствующий идол антихристианского национализма, как это действительно и случилось.

Мы называем идеалом то, что само по себе хорошо, что обладает внутренним безусловным достоинством и одинаково нужно для всех. Так, например, человечество, устроенное по началам справедливости и всеобщей солидарности, человечество, живущее «по-божьи», есть идеал, ибо справедливость и нравственная солидарность сами по себе хороши, представляют нечто безусловно достойное и желанное для всех. В этом качестве такой идеал и должен утверждаться как цель исторического процесса и как руководящий принцип нашей деятельности, как норма, по которой нам следует исправлять действительные общественные неправды. Верить в такой идеал значит, во-первых, признавать, что он не есть пустая фантазия, а имеет объективные основания в самой природе вещей, будем ли мы смотреть на эту природу со стороны общего предопределения и плана в уме и воле абсолютного всеединого существа, или же со стороны коренных свойств и законов природного и человеческого мира; во-вторых, верить в идеал значит признавать возможность его окончательного осуществления, принимать его как задачу разрешимую и разрешаемую в историче-

* Исповедание веры (франц.). — Ред.

ском процессе; и, наконец, в-третьих, настоящая вера в идеал требует, чтобы мы самих себя не устранили от этой задачи, а смотрели на нее как и на наше собственное дело, требующее от нас трудов, усилий и подвигов. При такой деятельной вере, хотя бы сам идеал и оставался пока не осуществленным, он во всяком случае нравственно полезен для тех людей и обществ, которые ставят его себе целью и действуют в его направлении. Если, веря таким образом в истинный всеобщий идеал, мы вместе с тем уверены, что наш народ более прочих способен проникнуться этою высшею правдою и может больше других сделать для ее осуществления, то есть для блага всех, что он в этом смысле есть народ избранный, то, конечно, в таком национальном мессианстве нет еще ничего ложного и вредного. Лишь бы только мы старались, чтобы эта наша вера в народ оправдывалась на деле, чтобы он действительно показывал себя более соответствующим тому идеалу, с которым связано его предполагаемое высшее призвание. При этом и вопрос национального соперничества легко и мирно разрешается, ибо если каждый из нескольких народов считает себя богоизбранным или преимущественно христианским, то, очевидно, прав из них будет тот, чья национальная жизнь и политика окажутся более верными духу Христову. Если не забывать самого содержания христианского идеала, в котором нет места для эгоизма и несправедливости, то и при крайнем патриотизме можно побуждать свой народ лишь к первенству в делах правды и любви, а такое первенство поистине ни для кого не обидно.

Но именно нравственно-религиозное содержание мессианской идеи сейчас же и забывается, и вместо того чтобы быть действительным источником обязанностей, эта идея становится номинальным основанием исключительных привилегий в пользу одного народа и в ущерб всем прочим. Из утверждения, что наш народ есть истинно христианский, не выводят того необходимого, казалось бы, следствия, что он во всех делах и отношениях своих, внешних и внутренних, должен действовать по-христиански и никого не обижать, а выводят наоборот, что ему все позволено для поддержания и защиты своих собственных интересов. Этот вывод обуславливается следующим обманчивым рассуждением: наш народ, как избранный, как христианский по преимуществу, важнее и ценнее всех других; заботясь о его сохранении и преуспевании, мы служим тем высшим началам, которые он собою представляет, и если его интересы сталкиваются с интересами других народов, то мы имеем право ставить эти последние ни во что. Такое рассуждение ложно в самом основании, ибо если наш народ действительно представитель истинно христианских начал, то его первый интерес есть справедливость и, следовательно, он не может ради своих интересов попирать чужие. Но последователи национального лжемессианства забывают, что христианская идея имеет нравственное содержание, и преспокойно принимают для своей деятельности пресловутое правило, приписанное почему-то иезуитам, но на деле свойственное мошенникам всех орденов и званий,—именно правило, что добрая цель оправдывает дурные средства. Нужно ли, однако, доказывать, что в действиях нравственного порядка невозможно провести разделение между целями и средствами и что добрая цель тем и отличается от недоброй, что исключает намеренно дурные способы достижения? Упомянутое правило сводится в сущности к словесному обману: добрая цель разумеется здесь не в смысле нравственного добра, а лишь в смысле собственной выгоды, и тогда уже само собою понятно, что для субъекта (единичного или собирательного), ставящего свою выгоду выше всего, всякие средства одинаково хороши. Но как же совместить такую общемошенническую точку зрения с достоинством народа истинно христианского? Когда за избранным народом признается право на неправду, когда во имя его предполагаемого нравственного преимущества ему внушают действительно безнравственную политику,—ясно, что от христианского идеала с его высшими требованиями осталось здесь только одно название, а на самом деле воцарился идол антихристианского национализма.

V

Народность сама по себе есть лишь ограниченная часть человечества, могущая стоять в том или другом отношении к абсолютному идеалу, но ни в каком случае не тождественная с ним; поэтому когда такой частный факт берется как он есть и возводится в высший принцип, когда отдаленному народу приписывается исключительная и неотъемлемая привилегия или монополия на абсолютную истину, тогда он из

преимущественного носителя и служителя всецеловещеского идеала превращается в безусловный довлеющий себе предмет нашего служения, то есть в идола, поклонение которому основано на лжи и ведет к нравственному, а затем и материальному крушению. Ложь здесь состоит в том, что факт сложный и относительный, смешанного качества, с положительными и отрицательными сторонами, с остатками и зародышами всевозможных элементов, добрых и злых, выдается за нечто безусловно достойное и совершенное; а пагубные последствия этой лжи заключаются в том, что если данный факт (известная народность) стал безусловным предметом поклонения в своем наличном виде и различие дурного и хорошего в нем утратилось, то тем самым теряется основание и побуждение его улучшать, возвышать его до истинного идеала, противодействовать в нем всему злomu; а так как в нашей земной действительности зло вообще сильнее добра, то дурные элементы в народе, возвеличенные вместе с хорошими, скоро берут над ними перевес, и фальшиво обожествленный идол становится все более и более обманчивым, все менее и менее достойным нашего поклонения и служения.

Защитникам идолопоклонства очень на руку двусмысленность слова «служение». С одной стороны, «служить» значит безусловно подчиняться и предаваться известному предмету, как совершенному благу и высшей цели; в этом смысле говорится о служении Богу; подобным же образом мы служим идеалам и принципам, которые в своем роде так или иначе выражают безусловное совершенство,— служим, например, истине, справедливости, законности и т. п. Но с другой стороны, когда дело идет о предметах ограниченных и несовершенных, имеющих лишь относительное достоинство, то слово «служить» никак не должно выражать безусловного и всецелого подчинения и преклонения, а обозначает лишь деятельность на пользу данного предмета, для доставления ему тех благ, которых он сам в себе не имеет. Это есть деятельность, во-первых, сохраняющая бытие данного предмета, а во-вторых, улучшающая, совершенствующая его достоинство и, следовательно, разрушающая его дурные стороны; именно таким образом мы служим тем учреждениям и тем социальным группам, к которым принадлежим,— служим своей семье, своей профессии, своему народу и отечеству. Очевидно, что это второго рода служение может настоящим образом совершаться лишь под условием первого. Я не могу служить как следует своему отечеству, если я при этом не служу истине и справедливости, если я не подчиняю безусловно и себя, и свой народ высшему нравственному закону. Служение этим идеальным предметам дает определенное мерило и для оценки патриотического служения. С другой стороны, исполнять на деле требования высшего идеального служения (в первом смысле) мы можем не иначе, как только применяя и осуществляя их в той конкретной среде, в которую мы поставлены и которую мы чрез эту свою деятельность улучшаем и совершенствуем (то есть служим ей во втором смысле). Таким образом, эти два рода «служения» именно в силу своего определенного различия внутренне связаны между собою, и эту связь обуславливается как истинный патриотизм, так и действительный прогресс человечества.

Говорят: нельзя на деле любить человечество или служить ему — это слишком отвлеченно и неопределенно; можно действительно любить только свой народ. Конечно, человечество не может быть ощутительным предметом любви, но это и не требуется: довольно, если мы свой народ (или хотя бы ближайшую социальную среду) любим по-человечески, желаем ему тех истинных благ, которые не суживают, а расширяют его собственную жизнь, поднимают его нравственный уровень и образуют его положительную духовную связь со всем Божиим миром. При таком истинном патриотизме служение своему народу, конечно, есть вместе с тем и служение человечеству, хотя бы об этом последнем мы и не имели никакого ясного представления. Но когда под тем предлогом, что человечество есть лишь отвлеченное понятие, мы начинаем поднимать в своем народе его зоологическую сторону, возбуждать его зверские инстинкты, укреплять в нем звериный образ, то кого же и что мы тут любим, кому и чему этим служим?

Грех славянофильства не в том, что оно приписало России высшее призвание, а в том, что оно недостаточно настаивало на нравственных условиях такого призвания. Пускай бы эти патриоты еще более возвеличивали свою народность, лишь бы они не забывали, что величие обязывает; пускай бы они еще решительнее провозглашали русский народ собирательным Мессией, лишь бы только они помнили,

что Мессия должен и действовать, как Мессия, а не как Варавва. Но именно на деле и оказалось, что глубочайшею основой славянофильства была не христианская идея, а только зоологический патриотизм, освобождающий нацию от служения высшему идеалу и делающий из самой нации предмет идолослужения. Провозгласили себя народом святым, богоизбранным и богоносным, а затем во имя всего этого стали проповедовать (к счастью, не вполне успешно) такую политику, которая не только святым и богоносцам, но и самым обыкновенным смертным никакой чести не делает.

VI

Превращению мессианского идеала старых славянофилов в того зооморфического идола, которому служат нынешние националисты, соответствовала и способствовала замена религиозного содержания вероисповедною формой. Допустим (как оно есть и на самом деле), что православие по существу своему есть совершенно истинная, вполне адекватная форма христианства. Но и самое лучшее внешнее выражение высшей духовной жизни может быть — в уме и чувстве людей — отделено от самой этой жизни, и в таком случае оно или остается пустою формой, или — что еще хуже — наполняется другим содержанием, далеко не соответствующим или даже противоположным первоначальному. Старые славянофилы в свою проповедь «православия» не влагали еще, конечно, содержания прямо антихристианского. Но самый тот факт, что они в религиозном деле настаивали преимущественно на вероисповедных отличиях, на том, что нас отделяет от других христиан, а не на том, что нас с ними связывает и соединяет, — эта замена христианского дела вероисповедным спором ясно показывала, что в их взглядах и чувствах данная историческая форма истинной религии перестала быть нераздельным органическим выражением ее духовного содержания, а получила самостоятельное и преобладающее значение. На словах эти люди не отделяли православия от духа Христова; они утверждали, что православие отличается началом любви, духовной свободы и т. д., но они ничего не делали для действительного осуществления этих истинно христианских начал любви и духовной свободы и тем ясно показывали, что для них главное дело не в этом, а только в том, чтобы во что бы то ни стало отстоять преимущество своего вероисповедного элемента перед чужими. Преувеличенное значение внешней формы в их проповеди несомненно обозначало убыль собственно религиозного духовного интереса, и эта убыль скоро сказала у нас самым печальным образом.

Странное дело! Казалось бы на первый взгляд, что такие выражения, как «христианство», «дух Христов» и т. п., гораздо менее определены, чем такие, как «православие», «единая спасающая церковь» и т. п., — а между тем на практике оказывается как раз наоборот. Во всяком вопросе личной и общественной нравственности между добросовестными людьми никогда не может быть спора о том, что согласно и что противно христианскому духу; тогда как с точки зрения той или другой исторической вероисповедной формы — если ей придавать самостоятельное значение — во всяком таком случае решение оказывается спорным. Возьмем, например, вопрос о том, следует или нет пытаться и сжигать еретиков? По духу Христову ясно, что не следует; ну а с точки зрения единой спасающей церкви приходится отвечать: и да, и нет. Или общее: нужно ли и позволительно ли стеснять религиозные убеждения человека, подавлять их внешнею властью? Опять-таки нет сомнения, что по духу Христову всякое религиозное насилие и преследование невозможно и непозволительно, тогда как на формальной почве любого вероисповедного учреждения нельзя получить и на этот существенный вопрос никакого определенного ответа. Славянофилы утверждали, например, что сущность православия состоит в любви и свободе совести, чем прямо исключалась возможность религиозных стеснений и преследований. Но это оказалось их частным и весьма непрочным мнением. Ныне люди, им единомышленные, но более их компетентные, совершенно иначе высказываются об этом предмете. Позволим себе привести следующую страницу из недавнего и, по-видимому, мало замеченного произведения одного уважаемого публициста, говорившего о православии и во имя православия⁴.

«Поставьте принципом, в истине которого потом убедитесь, что православную церковь трудно понять с точки зрения иного исповедания и тем более разнообразных сект. Напротив, только с точки зрения православной церкви, как с вершины, видны все кривые пути, на которые уклонились католичество и протестанство со

всеми происшедшими от последнего бесчисленными сектами. Тогда только вы поймете неизреченную милость Провидения Божия к нашему народу, призвавшего его в свою истинную церковь и удостоившего его послужить ее сохранению и распространению; поймете и то, почему мы обладаем такую необъятную территорию и отчего народ наш занял такое высокое положение между другими народами и приобрел такое мировое значение. Вы поймете, что Бог с ним и Бог его возвеличил.

Но в этом случае наши образованные люди пожалеют только себя, так как сами обратятся на истинный путь. Но они должны пожалеть и народ, разлагаемый, как мы видим, бесчисленными сектами, и притом в последнее время развращаемый вредными мыслями и дурными примерами тех же ложно образованных людей. Для грекращения этого зла нужно нашему просвещенному обществу прежде всего отрешиться от двух ложных понятий, *о свободе совести и о всепрощающей любви* (курсив подлинника). Нельзя признать право на распространение всех возможных сект и заблуждений по принципу свободы совести в том смысле, как у нас затвердили его с чужого голоса, справедливо признавая, что совесть *неприкосновенна* (курсив подлинника), но не понимая того, что там, где они хотят видеть и признать свободу совести, ее *вовсе нет* (курсив подлинника). Истинное учение о свободе совести принадлежит святому апостолу Павлу (1 Коринф. X, 23—30) и от него усвоено православною церковью. Вот в чем оно состоит: совесть как чувство и сознание состояний благоприятных и тягостных, испытываемых человеком по совершении добра или зла, есть естественный нравственный закон, сохранившийся и после падения человека в его природе. Это сознание и чувство просветляется познанием закона богооткровенного, благодатию Божиею и нравственным трудом. Чем яснее и чище становится совесть, тем она чувствительнее к впечатлениям добра и зла, тем строже различает и тем решительнее принимает добро и отвергает зло. Когда человек нравственным трудом и очищением сердца воплощает в себе закон Христов и когда совесть и ее веления становятся *тождественными с законом Христовым* (курсив подлинника), тогда человек получает право и *свободу* (курсив подлинника), без опасения нарушить заповедь Божию, действовать по своей совести; тогда он может дозволять себе применение закона к частным случаям жизни, и определение взаимных отношений христианских обязанностей не по букве, а по духу закона; тогда он действует по *свободе совести* (курсив подлинника). Итак, *свобода совести есть высшее совершенство христианина, которого нельзя признать за всяким человеком без разбора*. У того, кто грешит без страха ответственности, совесть *тупа* (курсив подлинника), или, как говорит апостол Павел, *сожжена* (курсив подлинника) (1 Тим. IV, 2); кто фанатически преследует разномыслящего с ним человека, у того совесть *искажена* (курсив подлинника), кто позволяет себе извороты и предлоги для уклонения от исполнения обязанности или для корыстных целей ложно толкует закон, у того совесть *фальшива* (курсив подлинника), или, по церковному (?) выражению, *лукава* (курсив подлинника), и т. п. Как же можно уступить принцип свободы совести или дать право действовать (?) по своей (курсив подлинника) совести и изуверу, и фанатику, и разбойнику? Их совесть, напротив, требует пробуждения, оживления, *освобождения* (курсив подлинника) от подавляющих ее ложных мыслей, пороков и страстей. Итак, признавайте за всяким человеком, как существом свободным, свободу мысли (*но без права публичного выражения всякой ложной мысли*), свободу выбора, свободу дела, свободу жить или умереть(?), свободу спастись или погибнуть, но никак не *свободу совести* (курсив подлинника).

Подобные же ложные мысли господствуют в нашем образованном обществе и относительно христианской любви. Основываясь будто бы на Евангелии, проповедают любовь безграничную, всепрощающую, всетерпящую». Досточтимый автор находит, напротив, что истинная любовь предписывает «меры исправления и ограничения» не только против порочных, но и против «заблуждающих».

«Еще над умами наших образованных людей,— продолжает он далее,— тяготеет ложное мнение о мире христианском, об осторожности относительно иноверцев и сектантов из опасения раздражить умы и страсти и произвести в обществе смуты и беспорядки». Подобное опасение он считает неуместным особенно для лиц начальствующих: «когда ты не частный человек и обязан защищать в своем лице права своего общественного положения и власти, тогда действуй как христианин с *свободною совестью*, умеющий примирить обязанность любви с правами власти». И далее поясняется: «согласно с истинным учением о свободе совести и христианской любви и начальники христианские не должны смотреть, сложа руки, на распро-

странение у нас сект, а мерами, дозволенными законом, по слову апостола Павла, «вразумлять бесчинных» (1 Сол. V, 14), «заграждать уста пустословов» (Тит. VI, 10, 11), «удалять смущающих церковь Божию» (Гал. 1, 7)*.

VII

Я вовсе не имею в виду оспаривать изложенное (в качестве истинно православного) учение о свободе совести. Многие в нем совершенно бесспорно. Всякий согласится с таким, например, положением: «Кто фанатически преследует разномыслящего с ним человека, у того совесть искажена». Нельзя спорить также и против того положения, что совершенный христианин, воплощающий в себе закон Христов, имеет полноту духовной свободы,— той свободы, которою пользовались, например, мученики. Но вопрос, который нас интересует и который также имелся в виду и досточтимым автором приведенного рассуждения, касался не тех совершенных христиан, которые сами претерпевали гонения за веру от язычников, а, напротив, тех несовершенных христиан того или другого господствующего вероисповедания (скажем, например, женевских кальвинистов или испанских католиков XVI и XVII века), которые не подвергались, а подвергали религиозным преследованиям иноверцев и предполагаемых еретиков; спрашивается: позволительны ли с истинно христианской точки зрения такие преследования и вообще какие бы то ни было внешне принудительные меры стеснения и ограничения против исповедания религиозных убеждений, не совпадающих с верою большинства? Дело идет вовсе не о внутренних, более или менее совершенных, состояниях христианина, подведомственных одному Богу, а только о законном и публичном, юридическом и политическом применении христианского начала веротерпимости или религиозной свободы к различным сектантам и иноверцам. Вопрос о свободе совести в этом смысле (а только в этом смысле он есть вопрос) имеет лишь кажущееся, словесное, а не реальное отношение к тому религиозно-психологическому и религиозно-этическому учению о совести и ее внутренней свободе и неволе, которое — по справедливому, но не совсем точному выражению нашего автора — принадлежит святому апостолу Павлу и от него усвоено православною церковью**.

Конечно, «свобода совести» есть выражение лишь условно принятое, а в сущности совершенно непригодное для нашего вопроса, который относится вовсе не к совести (она, как заметил и автор, неприкосновенна), а к праву каждого лица и каждой религиозной общины свободно исповедовать и проповедовать свои верования и убеждения. Но именно это право наш автор и отвергает самым решительным образом: «признавайте, говорит он, за всяким человеком, как существом свободным, свободу мысли, но без публичного права выражения всякой ложной мысли». Если бы существовали общепризнанные судьи, непреклонно решающие, какая мысль ложная и какая истинная, тогда, конечно, не было бы надобности допускать обнародование заведомой лжи; но именно отсутствие таких судей и весьма частые и пагубные ошибки предполагаемых авторитетов заставляют, в интересах духовного преуспеяния человечества, требовать свободы выражения всяких мыслей. Что же касается допускаемой нашим автором свободы для мысли не в выражении, но в мысли, то такая свобода неотъемлемо принадлежит всякому мыслящему существу по природе вещей и никем не может быть ограничена, ибо чужая душа — потемки, и никакое начальство, ни светское, ни духовное, не имеет физической возможности простираť свою власть на сокровенные помыслы людей. Зачем же говорить о предоставлении того, что не может быть отнято, и о разрешении того, чего нельзя запретить?

Основания, по которым наш автор отвергает свободу публичного*** выражения мыс-

* Здесь, нам кажется, почтенный автор не вполне основательно ссылается на св. Павла. Так как в эпоху апостола языков христианская церковь являлась сама лишь гонимой сектою, то все приведенные выражения могли относиться только к внутренней духовной дисциплине христианских общин, а никак не к внешним принудительным мерам против сектантов.

** Я говорю: не совсем точному, потому что апостол Павел, по крайней мере с точки зрения православной церкви, не имел никакого особенного, лично ему принадлежащего учения, а возвещал вечные истины по вдохновению свыше.

*** О частных выражениях мысли, например, в интимном разговоре мужа с женой, можно сказать то же, что и о мыслях невыраженных: их свобода неотъемлема и не подлежит никакому вопросу.

лей, заключают в себе, кажется, некоторое недоразумение. «Как же можно,— говорит он,— уступить принцип свободы совести или дать право действовать по своей совести и изуверу, и фанатику, и разбойнику?» Право действия разбойников ограничено уголовным судом и его последствиями, и едва ли кто серьезно станет оспаривать необходимость такого ограничения. Дело вовсе не в этом. Между правом публичного исповедания своих религиозных убеждений и правом разбойничьих действий есть некоторая существенная разница, тем более что разбойники действуют обыкновенно не по совести, а вопреки ей. С другой стороны, наш автор предоставляет полную свободу совести и действий лицам начальствующим и вменяет им такую свободу даже в обязанности: «действуй,— обращается он к начальнику,— как христианин с свободною совестью». Конечно, среди лиц начальствующих ни в каком случае не может быть разбойников, но фанатики между ними иногда могут попадаться, а наш автор и к ним так же беспощаден, как и к разбойникам: и у них, по его мнению, необходимо отнять свободу совести и действий, ибо, как он справедливо замечает, «кто фанатически преследует разномыслящего с ним человека, у того совесть искажена». Как же тут быть? Один и тот же субъект, как человек с искаженною от фанатизма совестью, не может быть полноправным, и он же, в качестве начальника, не только полноправен, но имеет даже обязанность действовать как христианин с свободною совестью. Это противоречие может быть разрешено только требованием, чтобы все начальники были совершенные христиане,— требование явно утопическое.

Мы остановились на этом рассуждении с целью отметить интересный факт: со стороны лиц вполне компетентных и притом примыкающих к славянофильству, религиозная свобода не только не признается за отличительный признак православия (каким считали ее старые славянофилы), а даже прямо отвергается как пагубное заблуждение, от которого прежде всего должно отрешиться наше общество. В чем же, однако, состоит тогда тот кривой путь католичества, который виден нашему автору с его вершины? Мы прежде думали, что эта кривда есть именно религиозная нетерпимость, стеснения и преследования иноверцев и разномыслящих. Очевидно теперь, что мы ошибались. Ошибался и поэт Ф. И. Тютчев, когда обращался с таким громозвучным обличением к папству в лице Пия IX:

Не от меча погибнет он земного,
Земным мечом владевший столько лет,—
Его погубит роковое слово:
«Свобода совести есть бред!»⁵

1891.

¹ Подобные упреки содержались, в частности, в статье Д. Ф. Самарина «Поборник вселенской правды» («Новое время», 1890, № 5015).

² См.: Аф. Васильев, «Задачи и стремления славянофильства» («Благовест», 1890, вып. 1, стр. 36—37; журнал выходил в 1883—1890 годах в Нежине и Харькове, в 1890—1894 годах — в Петербурге).

³ Соловьев полемизирует с положениями «Речи перед присягою дворянам С.-Петербургской губернии», произнесенной епископом Выборгским Антонием (см.: Антоний (Вадковский). Слова и речи. СПб. 1890, стр. 157—161. Благодарим Ш. Гумерова, указавшего нам это издание).

⁴ Далее цитируется «чтение» архиепископа Харьковского Амвросия «О религиозном сектантстве в нашем образованном обществе» (см.: «Вера и разум», 1891, № 8, стр. 505—509).

⁵ Стихотворение «Encyclica» цитируется с ошибкой; у Тютчева: «Мечом земным...»

ГРЕХИ РОССИИ

Доколе останутся в вас грехи народные и незнанные, никогда не одержите решительных побед, никогда не восстановите доброй славы.

Юрий Крижанич¹.

В своей книге «Россия и Европа» покойный Н. Я. Данилевский, по-своему разбирая нашу историю и нашу современность, признает, что Россия поражена тяжелою болезнью. Болезнь эта, говорит он, в целом препятствует осуществлению великих судеб русского народа и может наконец, несмотря на все видимое государственное могущество, иссушив самобытный родник народного духа, лишить историческую жизнь русского народа внутренней жидкительной силы, а следовательно, сделать бесполезным, излишним самое его существование, ибо все, лишенное внутреннего содержания, составляет лишь исторический хлам, который

собирается и в огонь вметается в день исторического суда («Россия и Европа», 2-е изд., стр. 316). Что Россия больна тяжким и опасным недугом, это очевидно, но также очевидно теперь для всякого и то, что почтенный славянофил решительно ошибся в своем диагнозе, когда определял эту болезнь как оскудение и ослабление национального духа в русском обществе. Если бы он не ошибся в диагнозе, то указанный им далее способ лечения должен был подействовать. Не забудем, что Данилевский писал в конце шестидесятих годов. «„Оскудение духа“, — говорит он, — может излечиться только поднятием и возбуждением духа которое заставило бы встрепенуться все слои русского общества, привело бы их в живое общение».

«...Для избавления от духовного плена и рабства надобен тесный союз со всеми пленными и поработанными братьями, — необходима борьба, которая, сорвав все личины, поставила бы врагов лицом к лицу... Совершить это в силе только суровая школа событий, только грозный опыт истории. Эти целительные события, от которых придется принять спасительные уроки, уже восходят на историческом горизонте и зовутся „Восточным вопросом“» (317). Данилевский, как и все славянофилы, оказался пророком наполовину. Восточный вопрос действительно поднялся и породил события поучительные, но смысл этих уроков оказывается совсем не тем, какой предполагал автор «России и Европы».

«Восточный вопрос», говорит тот же писатель, «не принадлежит к числу тех, которые подлежат решению дипломатии. Мелкую текущую дребедень событий предоставляет история канцелярскому производству дипломатии; но свои великие все-ленские решения, которые становятся законом жизни народов на целые века, провозглашает она сама без всяких посредников, окруженная громами и молнией, как Саваоф с вершины Синая» (318). Через семь или восемь лет после того, как были написаны эти слова, разразилась последняя восточная война. Громы и молнии довольно было на Балканах, но Синай наш вдруг оказался в Берлине, и история, вопреки Данилевскому, не захотела сама решать нашей судьбы, а нашла себе посредника в лице кн. Бисмарка. А между тем то, чего желал и о чем пророчил Данилевский, совершилось на наших глазах. Ведь было же у нас в 1876 году с начала сербской войны «поднятие и возбуждение духа», ведь встрепенулись же все слои русского общества и пришли в живое общение, был горячий патриотический порыв, был и тесный союз с поработанными братьями и открытая борьба с врагами. Какие же «спасительные уроки» дал нам «грозный опыт истории»?

То решение восточного вопроса, к какому привела наша победоносная война, обозначилось ныне как раздел Турции между европейскими державами. Англия получила Кипр и Египет, Франция — Тунис, Австрия, кроме Боснии и Герцеговины, приобрела господствующее положение на всем Балканском полуострове, так как Сербия, Румыния и обе Болгарии могут теперь считаться *de facto* вассальными австрийскими владениями. Такое явное и при данных условиях непоправимое крушение нашей восточной политики есть явление слишком крупное и тяжеловесное, чтобы можно было от него отделаться, сваливая все на мнимые или действительные ошибки нашей дипломатии, на мнимое или действительное отсутствие у нас способных политических деятелей. Ведь не фатум же это какой-то непостижимый и не бессмысленная случайность, что у России не оказывается достаточных политических сил именно в такую значительную историческую минуту, когда они были бы всего более необходимы. С начала времен не бывало и не слышано, чтобы великий народ не мог исполнить своего исторического назначения или отстоять своих жизненных интересов за неимением пригодных людей. Никогда не было такого случая в истории, чтобы дело стало за людьми. Не оказалось у французского короля Карла VII надежных советников и полководцев — явилась вместо них крестьянская девочка из Дом-Реми; ослабели московские бояре в смутное время — выручил нижегородский мясник; не было в 1812 году у нас Суворова — обошлось и с Кутузовым. А в 1878 году могли ли мы пожаловаться на недостаток пригодных деятелей для национальной политики, когда у нас были в государстве и обществе люди такого направления и таких способностей, как Скобелев, Игнатъев, Аксаков, Катков?² Но когда и при способных людях нация оказывается неспособною, когда у нее за военными победами следует внутренний упадок сил и великое историческое дело вываливается из рук, тогда возможны только два предположения: или этот народ закончил круг своей исторической деятельности и вступил в эпоху упадка и разложения или же он в чем-нибудь неверен своему истинному призванию, и в ближайших задачах, которые он себе ставит, есть какое-

нибудь внутреннее противоречие, какая-нибудь фальшь. Одно из двух: или такой народ отжил свой век, или он несет наказание за какие-нибудь исторические грехи. Считать Россию нацией отжившей нет никакого основания, это явно противоречит всем вероятностям и аналогиям. Итак, остается предположить вторую причину наших неудач и недугов.

В последнее время, опять как перед Севастополем, как перед Плевной и Берлинским конгрессом, слышатся у нас праздные и вредные речи о необычайном могуществе России, о том, что ей стоит только сказать слово, и все делается по-нашему, что весь мир с трепетом ожидает, что скажет и сделает Россия, и т. д. Если бы Россия проявляла на деле свое могущество, то много говорить о нем не было бы надобности, а если она почему-нибудь проявить его не может, то такие речи лживы и опасны.

Впрочем, если многие у нас полагают патриотизм в национальном самохвальстве — это их дело. Нам же должно говорить не о могуществе и не об интересах, а о грехах и обязанностях России.

Когда несостоятельность крепостной и военно-бюрократической России так ярко обнаружилась под Севастополем, национальная совесть, олицетворенная в покойном государе, сразу поняла коренную причину наших бедствий, и Россия очистилась от крепостного права. Этот первый нравственный успех отразился и на внешних делах. Тогда как николаевский милитаризм привел Россию только к потерям, в эпоху гражданских реформ широко распространились пределы русской державы. И все шло хорошо, пока мы покоряли черкесов и туркмен или обуздывали расшаривших турок. Но как только предстала нам положительная задача воспитать к новой самостоятельной жизни освобожденные нами народы, Россия вдруг смутилась, разронила свои трофеи, рассорилась со своими питомцами и осталась ни при чем. Если Севастополь был справедливым наказанием за крепостное право, за что наказанием был Берлинский конгресс с его нынешними последствиями?

Как можем мы решить восточный вопрос, когда нам нельзя с чистою совестью поднять своего знамени, на котором написано: национальная, гражданская и религиозная самостоятельность и свободное развитие всех народов христианского Востока. Никакие военные подвиги на пользу этих народов не могут закрыть наших собственных грехов; напротив, эти подвиги только ярче обличают глубокое внутреннее противоречие, в котором мы находимся. Мы говорим не об условиях политических, в тесном смысле этого слова. Существующие основы государственного строя в России мы принимаем как факт неизменный. Дело не в этом. Но при всяком политическом строе, при республике, при монархии и при самодержавии, государство может и должно удовлетворять внутри своих пределов тем требованиям национальной, гражданской и религиозной свободы, которые наши же официальные и официозные патриоты предъявляли и предъявляют к Турции и Австрии. Это дело не политических соображений, а народной и государственной совести. Великая нация не может спокойно жить и преуспевать, нарушая нравственные требования. И пока в России из фальшивых политических соображений будет продолжаться система насильственного обрусения на окраинах, пока, с другой стороны, миллионы русских подданных будут насильственно обособляемы от прочего народа и подвергаемы новому виду крепостного права, пока система уголовных кар будет тяготеть над религиозным убеждением и система принудительной цензуры над религиозною мыслию, до тех пор Россия во всех своих делах останется нравственно связанною, духовно парализованною, и ничего кроме неудач не увидит.

1886.

Печатается по изданию: «Письма Владимира Сергеевича Соловьева». СПб. 1909, т. II. Предназначалась для публикации в газете «Новости», но была запрещена цензурой. В письме к М. М. Стасюлевичу Соловьев писал: «<...> светская цензура <...> причемила, по-видимому, статью «Грехи России», посланную в «Новости» по просьбе редакции этой газеты».

Данилевский Николай Яковлевич (1822—1885) — естествоиспытатель, философ и публицист. Его книга «Россия и Европа» впервые появилась в журнале «Заря» (1869, № 1—12). Редактировавший журнал Н. Н. Страхов в письме Ф. М. Достоевскому назвал этот труд «целым учением славянофильства в более определенных и ясных чертах».

Данилевский рассматривал мировую историю как смену резко отличных друг от друга «культурно-исторических типов» и считал последним в их исторической череде Россию и славянство. Книга, поначалу прохладно встреченная читателями и критикой, получила широкую известность в годы освободительных войн на Балканах, когда

объединение славянских народов под скипетром России и тем самым идеологические построения Данилевского казались близкими к осуществлению. Однако после того как русско-турецкая война завершилась Сан-Стефанским мирным соглашением, выгодным для России, Англии, Франции и Австрия, встревоженные потерей своего влияния на Балканском полуострове, предприняли ряд дипломатических демаршей, поставивших Россию на грань новой войны. Роль посредника в возникшем конфликте взяла на себя Германия. Заверив русскую дипломатию в своей беспристрастности, канцлер князь Бисмарк повел дело таким образом, что конгресс европейских держав в Берлине закончился политическим поражением России. Обо всем этом Соловьев напоминает в публикуемой статье.

Новая волна интереса к книге Данилевского возникла в 80-е годы, когда при непосредственном участии Н. Н. Стрехова она вышла подряд несколькими изданиями. Между Соловьевым и Стреховым вспыхнула продолжительная полемика, начатая статьей Соловьева «Россия и Европа» («Вестник Европы», 1888, № 2, 4). Мотивы, побудившие Соловьева к публичной дискуссии со своим старым и добрым другом, он объяснил в письме к своему оппоненту: «<...> эта невинная книга, составившая прежде лишь предмет непонятной слабости Николая Николаевича Стрехова <...>, вдруг становится специальным кораном всех мерзавцев и глупцов, желающих погубить Россию и уготовить путь грядущему антихристу». Как следует из этих строк, гнев Соловьева вызван не столько существом работы Данилевского, сколько ее интерпретацией: отдельные положения его концепции в 80—90-е годы активно использовались для теоретического обоснования национальной и религиозной политики, которая, по убеждению Соловьева, вела Россию к неминуемой гибели.

¹ Крижанич Юрий (ок. 1618—1683) — просветитель, по национальности хорват. Сторонник идеи славянского единства.

² Скобелев Михаил Дмитриевич (1843—1882) — генерал от инфантерии, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов; Игнатьев Николай Павлович (1832—1908) — граф, в 1864—1877 годах русский посол в Турции, участвовал в подготовке Сан-Стефанского мирного договора, в 1881—1882 годах министр внутренних дел; Аскаков Иван Сергеевич (1823—1886) — публицист, общественный деятель, председатель московского Славянского комитета, организатор кампании за вступление России в войну с Турцией; Катков Михаил Никифорович (1818—1887) — публицист, издатель журнала «Русский вестник» и газеты «Московские ведомости», пропагандировал идею славянского объединения в рамках Российской империи.

ИЗ «ВОСКРЕСНЫХ ПИСЕМ»

О русском языке

Недавно в «Новом Времени» мне было приписано странное желание, чтобы народы Российской империи читали Пушкина «не на русском языке, а на языках: чувашском, мордовском, калмыцком, армянском, малорусском, белорусском и т. д.». На этом маленьком образчике большого недоразумения будет полезно остановиться. Откуда взялось это отрицание: «не на русском языке?» По этому предмету у всякого русского, казалось бы, могут и должны быть два желания: 1) чтобы все народы не только в Российской империи, но и вне ее читали Пушкина и других наших великих писателей на русском языке и 2) чтобы никто не мешал насильно какому бы то ни было народу нашей империи читать и всероссийских и местных писателей на своем родном языке. Эти два желания не только не исключают друг друга, но теснейшим образом между собою связаны, — второе есть только необходимое условие для серьезного исполнения первого.

Можно насильно принудить наших инородцев изучать в школах литературный русский язык. Но читать Пушкина так, как он того достоин и как он сам желал, чтобы его читали, можно только добровольно. Принуждение к русскому языку может производить только отвращение от него, нежелание и неспособность выходить в пользовании им за пределы принудительных требований. Это ясно само собою и подтверждено опытом. В царствование императора Николая Павловича, когда суровая законная репрессия политических польских стремлений не переходила на почву народности и языка, образованные поляки не только читали Пушкина по-русски, но знали и любили его не меньше, чем мы сами. А теперь, когда они принуждены читать по-русски¹, наша литература сделалась для них чужою. И так произошло не с одними поляками; неужели это удивляетворяет русский патриотизм?

Русский язык — слишком большой барин, чтобы кому-нибудь навязываться; кто не хочет его знать, тот сам в убытке. Никто не отрицает необходимости русского языка как государственного для всей империи; но навязывание его населению вне государственных функций и официальных отношений неизбежно приводит к двум результатам: к враждебному отчуждению от всего русского и к укреплению и оживле-

нию местных языков и наречий даже там, где они сами по себе жизненной силы не имели.

Мы что-то не слышали до сих пор, чтобы мордва и чуваша стояли за свои языки и противились естественному для бескультурных народов процессу обрусения. Но как только явятся искусственные и насильственные обрусители, как только будет запрещено говорить и печатать книги по-чувашски и мордовски, как только станут принуждать этих инородцев к знанию русского, и только одного русского, языка,— так уж нужно быть готовым к возникновению чувашефильства и мордвомании с новыми национальными литературами, представители которых, по мнению местных энтузиастов, наверное, затмят Пушкина и Гоголя. И что являются новые литературы вследствие насильственного обрусительства — это, конечно, хорошо: это — добро, всегда извлекаемое Провидением из человеческого зла. Но раз под давлением насильственного объединительства укрепились местные языки и возникли местные литературы, дальнейшее их преследование есть новое зло, избавление от которого было бы уже бессосудно и бессмысленно возлагать на одно Провидение,— зло взаимной вражды и обиды.

А справедливое отношение, казалось бы, так же ясно, как то, что два больше одного и что умственное богатство предпочтительнее скудости.

Привязанность к местной родине так же мало препятствует патриотизму, то есть преданности общему отечеству, как в правильной семье любовь к матери не мешает и не соперничает с любовью к отцу. Конечно, привязанность к ярославскому говору более легко, полно и невольно сливается с всероссийским патриотизмом, нежели привязанность к национальному характеру и языку Польши, Армении или даже Малороссии. Но разве невольное слияние есть лучшая форма единства, всегда и во всем предпочтительная отчетливому, сознательному согласованию?

Образованный и мыслящий малоросс сам не захочет ограничивать свой умственный кругозор одним украинским языком и литературой и свяжет их с общерусскими. А если он одинаково владеет и тем и другим, то тем лучше для него, и кому же в этом обида? Разве отцу семейства обидно, если он не один? Разве для хозяина беда в том, что у него много домочадцев? Но в этом пункте недоразумение относительно русского языка переходит в более общее недоразумение, в силу которого отказ от своего одиночества и своей исключительности и от насильственного утверждения и защиты этой исключительности принимается за самоотречение,— воздержание от злоупотребления своим кулаком смешивается с жертвованием своей личности и самобытности. Об этом по существу ясно, но на практике чрезвычайно осложненном и запутанном недоразумении поговорим особо.

16 февраля 1897 г.

Небо или земля?

Мне только что пришлось прочесть статью, воспроизводящую мнения, довольно типичные для известной части нашей печати. Вот сущность этих мнений: русский народ собственно уже просвещен; он имеет, во всяком случае, заложенные в нем изначала семена истинного просвещения, и потому его умственную ниву следует не засеивать, а только возделывать. Но «интеллигенция», отделенная от «почвы», чуждая и даже враждебная основам народного мирозерцания, стремится навязать ему свое пустое и ложное образование, которое может произвести на жизнь народа только вредное и разрушительное действие. Просвещенность народа, полагается, в том, что для него все на небе, а ложная образованность «интеллигенции» выражается в обратной формуле: все на земле.

Если это определение верно, то с точки зрения христианской истины должно сказать, что «народ» и «интеллигенция» одинаково находятся в заблуждении. «Все на небе» значит ничего на земле, но зачем же тогда Бог наш «на земле явися и с человеки поживе»? И что значат тогда слова молитвы Господней: «да будет воля твоя на земле, как и на небесах»? Осуществленная на небесах воля Божия от нас не зависит. Наша жизненная задача — осуществление этой воли здесь, на земле. Зачем заслонять вопрос об истине такими неопределенными, двусмысленными и не идущими к делу терминами, как «народ» и «интеллигенция»? Дело не в них, а в самой истине. Что выражает совершенную истину: языческий ли дуализм, враждебное противоположение Бога миру, неба земле, духа материи, или же христианская идея соединения этих противоположностей через воплощение Божественного в чело-

веческом, небесного в земном, духовного в материальном? Прямолинейное и одностороннее стремление к небу есть идеал платонический, новоплатонический, гностический, но никак не православно-христианский. Все так называемые ереси сводились и сводятся к упразднению богочеловеческого, небесно-земного, духовно-материального всеединства и всецелости.

Будущность принадлежит не «народу», не «интеллигенции» и ничему подобному, а только истине. И если в самом деле Россия разделяется на два класса людей, из которых для одного «все на небе», а для другого «все на земле», то ясно, что будущность России не принадлежит ни тем, ни другим.

Но неужели нет в России людей, верных христианской истине и в силу ее принимающих, что задача человека и народа и человечества не в бесплодных мечтаниях об абсолютном совершенстве, равно как и не в ограниченном и недостойном служении смертным целям, а в согласовании «того, что внизу, с тем, что наверху», в деятельных усилиях к всестороннему совершенствованию личной и собирательной жизни, чтобы воля Божия была на земле так же, как и на небесах. Я думаю, что такие люди существуют и в «народе», и в «интеллигенции» и что, во всяком случае, будущность России зависит только от того, оправдает ли она на деле свое христианское имя, останется ли верною истине в существенных вопросах своей жизни? Противоположение интеллигенции и народа есть опять-таки одна из тех полуистин, которые соблазняют ум своею легкостью. В самом деле, приурочить истинную веру к простому народу, а «интеллигенцию» огульно обвинить в материализме — для этого не потребуются никаких умственных усилий. Но какое же отсюда вытекает практическое заключение? Ограждать народ от влияния интеллигенции, которое может разрушить его веру? Но в действительности, помимо таких влияний, в самом народе возникают расколы и ереси, и народная темнота не менее «интеллигентных» умствований оказывается враждебно истинному просвещению.

6 апреля 1897 г.

¹ После подавления восстания 1863 года в Польше вводилось обязательное преподавание в школах всех предметов на русском языке. в учебных заведениях, подчиненных Министерству народного просвещения, учащимся было запрещено вести между собой разговоры на родном языке Русский язык был обязателен к употреблению на железных дорогах, почтах, на афишах и т. д. «Русификация путем обращения в православие», пишет современный ученый, никогда не достигала «таких размеров, как в 80-е и 90-е годы» (П. А. Зайончковский. Российское самодержавие в конце XIX столетия. М. 1970, стр. 123). Политика русификации вызвала яростное негодование Соловьева, свой протест он выразил в ряде писем государственным деятелям (см. публикуемые ниже письма К. П. Победоносцеву и Николаю II).

Письмо Е. В. Селевниной

27 января 1872 г.

Я много думал о тебе, моя милая Катя, по поводу твоего последнего письма. Я не стану пока ничего говорить о том, что ты, собственно, разумеешь под той второй дорогой, по которой ты решила идти; как ты теперь ее разумеешь — это все равно. Важно то, что ты отказалась от первой, обыкновенной дороги, то есть отказалась от того, что составляет всю жизнь для большинства людей — жизнь эгоизма, личных интересов, с глупым призраком счастья как последнюю целью. Ты поняла, что это — ложь и зло, что эта жизнь есть смерть. И ты не только это поняла, но твердо решила избавиться от этой лжи и зла. Таким решением ты уже сделала первый самый трудный и важный шаг к избавлению. Но много еще остается впереди.

Если то, что считается действительною жизнью, есть ложь, то должна быть другая, и истинная жизнь. Зачаток этой истинной жизни есть в нас самих, потому что если б его не было, то мы удовлетворились бы окружающей нас ложью и не искали бы ничего лучшего. Как если бы мы всегда были в полной темноте и ничего не знали о свете, то мы не жаловались бы на темноту и не искали бы света. Истинная жизнь в нас есть, но она подавлена, искажена нашей ограниченной личностью, нашим эгоизмом. Должно познать эту истинную жизнь, какова она сама в себе, в своей чистоте, и какими средствами можно ее достигнуть. Все это было уже давно открыто человечеству и стинным христианством, но само христианство в своей истории испытало влияние той ложной жизни, — того зла, которое оно должно было уничтожить; и эта ложь так затемнила, так закрыла христианство, что в настоящее время одинаково трудно понять истину в христианстве, как и дойти до этой истины прямо самому.

Но кто твердо отрекся от лжи, тот наверно дойдет и до истины. Ты сделала этот первый тяжелый шаг, и я вполне уверен, что ты сама достигнешь цели, хотя¹ много всякой дряни предстоит тебе пройти; но ведь и другая дорога не розами усыпана — везде одно страдание. Только по настоящей дороге это страдание искупляет и ведет к истине, а страдание ложной жизни бесплодно и бессмысленно.

Прощай, моя дорогая, с истинной любовью твоей

Вл. Соловьев.

Печатается по изданию: «Письма Владимира Сергеевича Соловьева». Спб. 1911, т. III, стр. 60—61.

Селевина (урожденная Романова) Екатерина Владимировна — двоюродная сестра Соловьева по матери. Рано осталась сиротой и воспитывалась в семье Соловьевых. Возникшая между ними детская дружба вскоре переросла в юношеский роман, и Соловьев некоторое время считал себя женихом своей кузины. Однако брачные планы встретили сопротивление со стороны родителей из-за слишком юного возраста молодых и их близкого родства. Сохранилось 28 писем Соловьева к Селевиной (1871—1873), в которых запечатлено духовное становление философа. Есть специальная работа, посвященная этому периоду в жизни Соловьева: С. М. Лукьянов. Юношеский роман Соловьева в двойном освещении. Пг. 1914.

¹ Зачеркнуто три строки. (Прим. публикатора письма Э. Л. Радлова.)

Письмо К. П. Победовосцеву

Милостивый государь Константин Петрович.

Решаюсь еще раз (хотя бы только для очищения своей совести, но и не без некоторой надежды на лучший успех) обратиться к Вам, как к человеку рассудительному и не злонамеренному. Политика религиозных преследований и насильственного распространения казенного православия, видимо, истощила небесное долготерпение и начинает наводить на нашу землю египетские казни¹. Между тем со всех сторон от Восточной Сибири до западных окраин Европейской части России идут вести, что эта политика не только не смягчается, но еще более обостряется. Миссионерский съезд в Москве с небывалым цинизмом провозгласил бессилие духовных средств борьбы с расколом и сектантством и необходимость светского меча. Затем эта нелепая история с моим рефератом, который Ваши московские органы называют «скверным вздором»². Что в нем нет ничего «скверного», это Вы знаете сами, так как его читали, а если он «вздор», то тем менее понятна вся эта история. На днях различные ученые общества (между прочим, и такие, в которых и Толстой, и я не принимали никогда никакого участия) получили предписание безусловно изъять нас из своего обращения. Что значит такая личная проскрипция? Неужели правительство, среди которого первенствующее место занимают такие умные и образованные люди, как Вы, признает себя неспособным судить о том, что говорится, и останавливается только на том, кто говорит? Вы знаете, что в моем реферате не было ничего непозволительного, и Вы его запрещаете потому только, что он мой. То же самое со статьями Грота и Толстого³; когда кто-нибудь другой скажет «здравствуйте», то это только учтивость, но когда то же самое приветствие произнесем мы с Гротом или Толстым, то это несомненно преступление. Ну не до явного ли абсурда довели Вы свою систему? Я не хочу скрывать, что Вы возбуждали во мне очень дурные чувства и что я давал им выражение в соответствующих словах⁴. Но видит Бог, теперь я отрешаюсь от всякой личной вражды, отношусь к Вам как к брату во Христе и умоляю Вас не только для себя и для других, но и для Вас самих: одумайтесь, обратитесь к себе и помыслите об ответе перед Богом. Еще не поздно, еще Вы сможете переменить для блага России и для собственной славы. Еще от Вас самих зависит то имя, которое Вы оставите в нашей истории. Говорю по своей совести и обращаюсь к Вашей совести. Словесного ответа мое письмо не требует. Не оставляю надежды, что милость божия Вас тронет и что Вы ответите делом. А если нет, то пусть судит сказавший: мне отмщение, и аз воздам.

Владимир Соловьев

Москва, день св. Афанасия в <еликого> и Кирилла Алекс<андрийского>⁵ 1892.

Печатается по изданию: «К. П. Победовосцев и его корреспонденты». Пг. 1923, т. I, п/т 2, стр. 969—970.

¹ Имеется в виду голод 1891 года.

² Реферат «Об упадке средневекового миросозерцания», прочитанный в Московском психологическом обществе 19 октября 1891 года, вызвал бурное негодование ох-

ранительной прессы. Газета «Московские ведомости» повела против Соловьева шумную кампанию, поместив в октябре — ноябре несколько статей Ю. Николаева (псевдоним критика и публициста Ю. Н. Говорухи-Отрока), В. А. Грингмута и других, обвинявших Соловьева в «сплошном глумлении над Христианскою Церковью» (№ 291, 21 октября). Соловьев опровергал эти обвинения в нескольких письмах в редакцию. «Я в ужасных хлопотах, — писал он 22 октября К. К. Арсеньеву. — «Московские ведомости» решили заранее на всякий случай изъять меня из обращения, да к стати и Грота с Психологическим обществом. Думаю, что Бог не выдаст, свинья не съест» («Письма». Спб. 1909, т. II, стр. 70).

³ Осенью 1891 года в типографии была арестована десятая книжка журнала «Вопросы философии и психологии» со статьями Л. Н. Толстого, Н. Я. Грота и Соловьева о голоде.

⁴ Соловьев был автором нескольких злых эпиграмм на Победоносцева, хорошо известных в обществе. В журнале «Русская мысль» (1892, № 3) появилось стихотворение «Кумир Небукаднецара» (за подписью А. Незванов), написанное ранее и в автографе имевшее посвящение К. П. Победоносцеву. Однако адресат его узнавался легко и без посвящения. (Этот псевдоним, использованный Соловьевым, равно как и полная журнальная публикация стихотворения, до сих пор, кажется, не зарегистрирован в справочной литературе: считалось, что «Кумир Небукаднецара» впервые был напечатан с купюрами в 1895 году. — См.: Владимир Соловьев. Стихотворения и шуточные пьесы. Л. 1974.)

⁵ 18 января старого стиля.

Письмо Л. Я. Гуревич

3 дек<абря> <18>92. Москва,
Пречистенка, д. Лихутина.

Многоуважаемая Любовь Яковлевна.

Я уполномочил С. А. Венгерова¹ не скрывать от А. Л. Флексера некоторых причин моего неудовольствия. Но мелкие фактические подробности, сами по себе не интересные и слышанные один раз в беглом разговоре, легко могли смешаться в воспоминании моего собеседника. Конечно, стихи Фета я передал Вам (в начале мая) и Вас же потом (в конце июля, кажется) спрашивал в письме об их судьбе, но не получил ответа². Но так как в разговоре с Венгеровым я отнесил свое неудовольствие не к Вам, а исключительно к Флексеру, то с ним же, очевидно, связались и фактические обстоятельства в памяти С. А. Зная большую разницу в отношениях к сотрудникам между Вами и А. Л. Флексером, я предположил его воздействие и на судьбу стихов Фета. Если, как вы пишете, он тут ни при чем, то значит я в этом случае ошибся. К сожалению, это несколько не изменяет сущности дела. Так как Вы желаете объяснения, то я должен Вам сказать, что независимо от статьи Радлова, стихов Фета и других частных случаев я имею против А. Л. Флексера (который лично мне был и остается во многих отношениях симпатичным) общую причину неудовольствия. Я нахожу, что он занял публицистическую позицию, вредную для него самого, пагубную для журнала, весьма неудобную для доброжелательных сотрудников и, наконец, подливающую воды на мельницу антисемитов. С самого начала, еще при покойном Глинском³ (с которым я, разумеется, не сравниваю А. Л. в других отношениях), я неоднократно советовал ему (т. е. Глинскому) воздержаться от преждевременного воинствования и не отстаивать столь решительно положения еще не завоеванного. Самонадеянный покойник не внял дружескому совету, но не мог, однако, на одной лишь гордости утвердить свое благополучие. У А. Л. Флексера кроме гордости есть литературное дарование и образованность (не говоря уже о практической порядочности), — тем печальнее его полемика с Михайловским и т. п. По получении Вашего письма я со вниманием прочел Литер<атурные> Зам<етки> в Окт<ябрьской> кн<ижке> Сев<ерного> В<естника> и увидал, что дело еще прискорбнее, чем я думал: кроме Гольцева и Михайловского истреблен еще Потапенко и задет Чернышевский (он ведь автор «Гоголевского периода»)?⁴. За что же все это? Разберем по порядку. Я Потап<енко> (как и прочих современных беллетристов) не читал и готов беззастенчиво верить оценке А. Л., что он исписавшийся от многописания романист. Но кому же вред от этого кроме него самого? Зачем же удручать удрученного, убивать самоубийцу? Что касается до Черн<ышевского>, то, несколько не сочувствуя его идеям, я полагаю, однако, что постигшая его судьба не позволяет давать ему щелчков хотя бы даже за непонимание Гегеля. Понимать Гегеля никто не обязан, но уважать исповедничество идеи и жертву ценой жизни обязательно для всякого. — Гольцева я хорошо знаю и не нахожу ни в его личности, ни в его деятельности, общественной и литературной, ничего такого, что хоть сколько-нибудь оправдывало бы беспощад-

ное и жесточенное его осуждение; напротив, я нахожу многое, что говорит в его пользу и внушает к нему уважение⁵.— Относительно Михайловского сам автор Лит<ературных> Зам<еток> обличил неосновательность своей полемики, заявивши, что Мих<айловский> относительно его никогда не становился на другую почву, кроме личной. Если так, то из-за чего же он (т. е. Аким Львович) вел, и так долго, эту полемику? Разве выяснение того обстоятельства, что Михайловский не желает разговаривать с Флексером о метафизике, а предпочитает просто ругать его,— разве выяснение этого, положив, грустно обстоятельство доказывает что-нибудь в пользу метафизики или против позитивизма? Я допускаю, впрочем, и личный элемент в полемике с целью низвергнуть или осрамить какой-нибудь ложный и зловредный авторитет. Но тогда нужно 1) чтобы зловредность посрамляемого была несомненна и 2) чтобы самое посрамление было очевидно. Но из статей А. Л. не ясно, чем именно зловреден Мих<айловский>, а также и чем он посрамлен. Один отказ рассуждать о метафизике по требованию другого лица не составляет никакого срама. Вот если б А. Л.<ьвови> удалось заставить Мих<айловского> пуститься в философию и наврать при этом чего-нибудь безобразного — тогда в итоге было бы, конечно, посрамление Мих<айловского>, по крайней мере для понимающих. А теперь для всех итог один: поругались два писателя неизвестно за что — явление столь же обыкновенное, сколько и неутешительное.

Вообще внутренняя политика Сев<ерного> В<естника>, насколько она выражается в Лит<ературных> Зам<етках> (наиболее яркая часть журнала), состоит в том, чтобы нападать на людей безвредных или даже полезных, оставляя в покое «торжествующую свинью»⁶. Если в этом последнем виновата подцензурность, то первое вполне зависит от собственной воли. Неправедливая внутренне эта политика не оправдывается и внешним успехом; в виду этого настаивать на ней далее было бы совершеннейшим безумием. Я искренно сожалею обо всем этом, но не знаю, чем могу принести Вам пользу, кроме откровенного изложения своего взгляда, что я и делаю. Покажите это письмо заинтересованным лицам и вообще всем, кому хотите. Еще раз уверяю Вас в искреннем участии и желании Вам помочь. Я еще остаюсь здесь недели две.

Преданный Вам Влад. Соловьев.

Если не все стихи Фета напечатаны в Янв<арской> кн<ижке>, то будьте так добры, пришлите мне одно из них (худшее, по Вашему мнению). Это, пожалуйста, сделайте поскорее, если можете⁷.

Печатается по автографу (ШГАЛИ, ф 131, оп. 1, ед хр. 180).

Гуревич Любовь Яковлевна (1866—1940) — издательница журнала «Северный вестник» (1891—1898), фактическим редактором которого в эти годы был Аким Львович Флексер (1863—1926), известный как литературный критик под псевдонимом А. Волинский. В своих регулярных «Литературных заметках» он с энтузиазмом вел полемику против «утилитаризма» в искусстве и позитивизма в философии в пользу «чистой» эстетики и метафизики. Позиция журнала была близка Соловьеву, и он напечатал в нем ряд стихотворений и статей. Редакция со своей стороны дорожила участием Соловьева в издании. Однако после появления «Заметок», о которых идет речь в публикуемом письме, сотрудничество Соловьева в «Северном вестнике» прекратилось.

¹ Венгеров С. А. (1855—1929) — историк литературы, составитель словаря русских писателей, в котором сотрудничал и Соловьев.

² Соловьев интересовался судьбой переводов Фета из Гейне, переданных им в редакцию, в письме к Л. Я. Гуревич от 12 июня 1892 года («Письма», т. III, стр. 134).

³ Глинский Б. Б. — редактор «Северного вестника» с 1890 по конец 1891 года.

⁴ «Очерки гоголевского периода русской литературы» Н. Г. Чернышевского были переизданы (после почти тридцати лет цензурного запрета) в 1892 году без указания имени автора, но с пометой: «Издание М. Н. Чернышевского». Чуть позже вышел том «Эстетика и поэзия», куда вошла известная диссертация «Эстетические отношения искусства к действительности». Эта работа Чернышевского получила неожиданно высокую оценку в статье Соловьева «Первый шаг к положительной эстетике» («Вестник Европы», 1894 № 1); позднее Соловьев посвятил личности и судьбе Чернышевского проникновенный очерк, увидевший свет только после смерти философа («Письма», т. I, стр. 271—282).

⁵ Гольцев В. А. (1850—1906) — публицист, критик, редактор журнала «Русская мысль».

⁶ «Торжествующая свинья» — образ М. Е. Салтыкова Шchedрина («Торжествующая свинья, или Разговор свиньи с правдою» в цикле «За рубежом»).

⁷ Переводы Фета из Гейне появились в январской книжке журнала. Обратим внимание, что письмо датировано днем смерти поэта, о которой Соловьев, вероятнее всего, еще не знал.

Письмо Л. Н. Толстому

28 июля — 2 авг <уста> 1894. Петербург.

Дорогой Лев Николаевич!

Со времени моего последнего письма, отправленного через г. Краузкопфа¹, я был дважды серьезно болен и не хочу далее откладывать важного разговора, который я Вам должен.

Все наше разногласие может быть сосредоточено в одном конкретном пункте — воскресении Христа.

Я думаю, что в Вашем собственном миросозерцании (если только я верно понимаю Ваши последние сочинения) нет ничего такого, что мешало бы признать истину воскресения, а есть даже нечто такое, что заставляет признать ее. Сначала скажу об идее воскресения вообще, а потом о воскресении Христа.

1) Вы допускаете, что наш мир прогрессивно видоизменяется, переходя от низших форм и степеней бытия к высшим или более совершенным; 2) Вы признаете взаимодействие между внутренней, духовною жизнью и низшею², физическою, и 3) на почве этого взаимодействия Вы признаете, что совершенство духовного существа выражается в том, что его собственная духовная жизнь подчиняет себе его физическую жизнь, овладевает ею.

Исходя из этих трех пунктов, я думаю, необходимо прийти к истине воскресения. Дело в том, что духовная сила по отношению к материальному существованию не есть величина постоянная, а возрастающая. В мире животном она вообще находится лишь в скрытом, потенциальном состоянии; в человечестве она освобождается и становится явной. Но это освобождение совершается сначала лишь идеально в форме разумного сознания: я различаю себя от своей животной природы, сознаю свою внутреннюю независимость от нее и превосходство перед нею. Но может ли это сознание перейти в дело? Не только может, но отчасти и переходит. Как в мире животном мы находим некоторые зачатки или проблески разумной жизни, так в человечестве несомненно существуют зачатки того высшего совершенного состояния, в котором дух действительно фактически овладевает материальною жизнью. Он борется с темными стремлениями материальной природы и покоряет их себе (а не различает только себя от них). От степени внутреннего духовного совершенства зависит большая или меньшая полнота этой победы. Крайнее торжество враждебного материального начала есть смерть, то есть освобождение хаотической жизни материальных частей с разрушением их разумной, целесообразной связи. Смерть есть явная победа бессмыслия над смыслом, хаоса над космосом. Особенно это ясно относительно живых существ высшего порядка. Смерть человека есть уничтожение совершенного организма, то есть целесообразной формы и орудия высшей разумной жизни. Такая победа низшего над высшим, такое обезоружение духовного начала показывает, очевидно, недостаточность его силы. Но ведь эта сила возрастает. Для человека бессмертие есть то же, что для животного — разум; смысл животного царства есть животное разумное, то есть человек. Смысл человечества есть бессмертный, то есть Христос. Как животный мир тяготеет к разуму, так человечество тяготеет к бессмертию. Если борьба с хаосом и смертью есть сущность мирового процесса, причем светлая, духовная сторона хоть медленно и постепенно, но все-таки одолевает, то воскресение, то есть действительная и окончательная победа живого существа над смертью, есть необходимый момент этого процесса, который в принципе этим и оканчивается; весь дальнейший прогресс, строго говоря, имеет лишь экстенсивный характер — состоит в универсальном усвоении этой индивидуальной победы или в распространении ее следствий на все человечество и на весь мир.

Если под чудом разуместь факт, противоречащий общему ходу вещей и потому невозможный, то воскресение есть прямая противоположность чуду — это есть факт, безусловно необходимый в общем ходе вещей; если же под чудом разуместь факт, впервые случившийся, небывалый, то воскресение «первенца из мертвых» есть, конечно, чудо — совершенно такое же, как появление первой органической клеточки среди неорганического мира, или появление животного среди первобытной растительности, или первого человека среди орангутанов. В этих чудесах не сомневается естественная история, так же несомненно и чудо-воскресения для истории человечества.

Разумеется, с точки зрения механического материализма все это — *nul et non avenu* *. Но я был бы очень удивлен, если бы с вашей точки зрения услышал какое-нибудь принципиальное возражение. Я уверен, что идея воскресения и «первенца из мертвых» для вас так же естественна, как и для меня. Но, спрашивается, осуществилась ли она в том историческом лице, о воскресении которого рассказывается в евангелиях? Вот основания, которыми я подтверждаю свою уверенность в действительном воскресении этого лица, Иисуса Христа, как первенца из мертвых.

I. Победа над смертью есть необходимое натуральное следствие внутреннего духовного совершенства; то лицо, в котором духовное начало забрало силу решительно и окончательно надо всем низшим, не может быть покорено смертью; духовная сила, достигнув полноты своего совершенства, неизбежно переливается, так сказать, через край субъективно-психической жизни, захватывает и телесную жизнь, преобразует ее, а затем окончательно одухотворяет, неразрывно связывает с собою. Но именно образ полного духовного совершенства я и нахожу в евангельском Христе; считать этот образ вымышленным я не могу по множеству причин, приводить которые нет надобности, так как и вы не считаете евангельского Христа мифом. Если же этот духовно совершенный человек действительно существовал, то он тем самым был первенец из мертвых и другого такого ждать нечего.

II. Второе основание моей веры позвольте пояснить сравнением из другой области. Когда астроном Леверье посредством известных вычислений убедился, что за орбитой Урана должна находиться еще другая планета, а затем увидал ее в телескоп именно так, как она должна была быть по его вычислениям, то едва ли он имел какой-нибудь разумный повод думать, что эта видимая им планета не есть та, которую он вычислил, что она не настоящая, а настоящая еще, может быть, откроется впоследствии. Подобным образом, когда, основываясь на общем смысле мирового и исторического процесса и на последовательности его стадий, мы находим, что после проявления духовного начала в идейной форме — с одной стороны, в философии и искусстве эллинов, а с другой — в этическо-религиозном идеале пророков еврейских (понятие Царствия Божия) — дальнейший, высший момент этого откровения должен был представить явление того же духовного начала личное и реальное, его воплощение в живом лице, которое не в мыслях только и художественных образцах, а на деле должно было показать силу и победу духа над враждебным дурным началом с его крайним выражением — смертью, то есть должно было действительно воскресить свое материальное тело в духовное, — и когда вместе с тем у свидетелей-очевидцев, неграмотных евреев, не имеющих никакого понятия о мировом процессе, его стадиях и моментах, мы находим описание именно такого человека, лично и реально воплощающего в себе духовное начало, причем они с изумлением, как о событии для них неожиданным и невероятным, рассказывают, что этот человек воскрес, то есть представляют чисто эмпирически, как последовательность фактов то, что для нас имеет внутреннюю логическую связь, — видя такое совпадение, мы решительно не вправе обвинять этих свидетелей в том, что они выдумали факт, все значение которого для них самих было неясно. Это почти то же, как если бы мы предположили, что рабочие, строящие телескоп парижской обсерватории, хотя ничего не знали о вычислениях Леверье, однако нарочно устроили так, чтобы он увидал в этот телескоп призрак несуществующего Нептуна.

III. О третьем основании моей веры в воскресение Христа я упомяну только в двух словах, так как оно слишком известно, что не уменьшает его силы. Дело в том, что без факта воскресения необычайный энтузиазм апостольской общины не имел бы достаточного основания и вообще вся первоначальная история христианства представляла бы ряд невозможностей. Разве только признать (как это иные и делали), что в христианской истории вовсе не было первого века, а что она началась прямо со второго или даже третьего.

Я лично, с тех пор как признаю, что история мира и человечества имеет смысл, не имею ни малейшего сомнения в воскресении Христа, и все возражения против этой истины своею слабостью только подтверждают мою веру. Единственное оригинальное и серьезное возражение, которое мне известно, принадлежит Вам. В одном недавнем разговоре со мною Вы сказали, что если признать воскресение и, следовательно, особое, сверхъестественное значение Христа, то это заставит христиан более полагаться

* Пустота и вздор (франц.). — Ред.

для своего спасения на таинственную силу этого сверхъестественного существа, нежели на собственную нравственную работу. Но ведь такое злоупотребление истиною в конце концов есть лишь обличение злоупотребляющих. Так как на самом деле Христос, хотя и воскресший, ничего окончательного для нас без нас самих сделать не может, то для искренних и добросовестных христиан никакой опасности квиетизма тут быть не может. Ее еще можно было бы допустить, если бы воскресший Христос имел для них видимую действительность, но при настоящих условиях, когда действительная, личная связь с ним может быть только духовною, что предполагает собственную нравственную работу человека.— только лицемеры или негодяи могут ссылаться на благодать в ущерб нравственным обязанностям. К тому же Богочеловек не есть всепоглощающее абсолютное восточных мистиков, и соединение с ним не может быть односторонне пассивным. Он есть «первенец из мертвых», указатель пути, вождь и знамя для деятельной жизни, борьбы и совершенствования, а не для погружения в Нирвану.

Во всяком случае, каковы бы ни были практические последствия воскресения Христова, вопрос об истине его решается не ими.

Мне было бы в высшей степени интересно знать, что Вы скажете об этом по существу. Если Вам не охота или некогда писать, то подожду свидания. Будьте здоровы, сердечно кланяюсь Вашим всем.

Искренно Вам преданный
Влад. Соловьев.

Вот адрес на всякий случай: Петербург, у Синего моста, Вознесенский просп., д. 16, кв. 3 (казармы, квартира военного следователя Кузьмина-Караваева).

Печатается по изданию: «Письма Владимира Сергеевича Соловьева». Спб. 1911, т. III.

В мае 1875 года Соловьев специально посетил Ясную Поляну для знакомства с Толстым. Толстой писал Страхову, что это знакомство дало ему «очень много нового», «расшевелило» в нем «философские дрожжи», уяснило «самые нужные для остатка жизни и смерти мысли». В дальнейшем отношения между мыслителями складывались сложно: если Толстой продолжал ставить философию Соловьева очень высоко и неизменно отдавал должное его способностям, то последний оценивал мирозерцание писателя достаточно критически. В письме И. С. Аксакову (1882) он писал, что с Толстым давно не выдается и он для него «яко язычник и мытарь». В «Трех разговорах» (1900) Соловьев резко полемизировал со взглядами Толстого.

Письмо не было послано Толстому. «Еще с июля месяца лежит у меня большое мое письмо к вам о главном пункте нашего религиозного разногласия,— писал Соловьев Толстому в сентябре (?) 1894 года,— но я не доволен изложением своей мысли, а недоразумения на расстоянии бывают очень досадны. При свидании <...> я прочту вам это письмо, как тему для устного разговора» (см.: «Литературное наследство». М. 1935, т. 37—38, стр. 274—275).

¹ Крауцкопф Иосиф (1858—1923) — раввин, приезжал в 1894 году в Россию для ознакомления с положением еврейских колоний.

² В первой публикации: «вышею»; видимо, опечатка.

Комментарии к статьям и письмам АЛЕКСАНДРА НОСОВА.

Письмо императору Николаю II

Ваше Императорское Величество
Всемилоостивейший Государь.

Дело, о котором я чувствую обязанность говорить Вашему Величеству, важно для России и для всего мира, и только от Вашего Величества, после Бога, зависит должное его совершение.

Вскоре по вступлении Вашем на Всероссийский престол заявленная Вашим Величеством решимость сохранить во всей силе начало Самодержавия была верно понята и радостно встречена людьми, свободными от политических страстей и предубеждений. Ясно было, что Самодержавие дорого его новому обладателю не из любви к безграничной власти, а из любви к России и из послушания высшей воле — что оно дорого и священо Вам, Государь, как завещанное веками орудие Божия Промысла для блага народов. Россия знает, чем она обязана своему историческому единокровию. Без него отечество наше не получило бы своей внешней политической самостоятельности в XV веке, а в начале XVII утратило бы свою внутреннюю национальную самобыт-

ность; — [было бы ополячено и олатынено;] мы знаем, что только самодержавие Петра Великого и его преемников дало нам в прошлом столетии начатки общечеловеческой образованности и выдвинуло Россию как новую всемирно-историческую силу; [мы все перед ними] мы не забыли, как, благодаря тому же Самодержавию, Император Александр II мог скоро и мирно превратить миллионы рабов в русских граждан; мы уверены, наконец, что если бы Родитель Вашего Величества [ввиду злых сил, посягнувших на Его Отца] в первые тяжелые годы свего царствования поступился полною своей власти, Россия была бы ввергнута в тяжкую смуту внутреннюю [смуту] и вовлечена в опасные внешние приключения, и русский Царь не мог бы явиться перед всем светом в образе могучего миротворца.

То, чем было для нас самодержавие в далеком и близком прошлом, ручается за будущность России. Не напрасно, Государь, получили Вы от Родителя власть крепкую, возвеличенную, непоколебимую. [Христианин знает, что всякое преимущество есть обязанность и что власть есть поручение свыше.] Одним властным словом Ваше Величество может теперь [доверить подвиг] восполнить и завершить исторический подвиг и Деда и Родителя Вашего — явиться вместе и новым Освободителем и новым Миротворцем: освободить не одно сословие, а всех Ваших верноподанных от духовного закрепощения и внести мир внутренний в самую душу России.

Чтобы оправдать свои давние предчувствия и смутные ожидания народов — чтобы исполнить свое всемирное назначение, Россия должна обнаружить внутренние духовные силы свои. Не завоевателя мечом и огнем ждут от нас народы, не оружием должны мы объединить мир, а духом и истиной. Духовная сущность России есть православие, т. е. чистейший и совершеннейший [х<арактер>] [форма] вид Христианства. Но может ли такой вид Христианства утверждаться насилем, [о]владе[ва]ть чрез принуждение совестью людей? Христос сказал: «Я есмь дверь». Позволитель ли христианам силою толкать в эту Дверь одних и силою же не выпускать из нее других? Сказано: «приходящего ко Мне не отгону», но о притаскиваемых насильно ничего не сказано. Православие есть церковь господствующая, но [вм<есте>] прежде того она есть церковь Христианская, и, следовательно, господствовать она может только силою внутреннего духовного притяжения; [а] притом видимое, явное первенство и преимущество естественно принадлежит ей уже в силу того простого факта, что православие исповедуется Государем и большей частью народа. Зачем же тут еще принуждение, к чему эта внешняя искусственная ограда, это тройное кольцо из уголовных законов, административных притеснительных мер и цензурных запрещений? Но как ни тяжелы и обидны эти окопы для стороны терпящей, для различных раскольников, сектантов и иноверцев — [для] без сравнения тяжелее и обиднее [этот принудительный характер] такое положение для самой господствующей Церкви: для нее оно прямо пагубно. Крепостное право, поработая крестьян, развращало помещиков. Закрепощение людей к православию лишает русскую Церковь нравственной силы, подрывает ее внутреннюю жизненность. Может ли Церковь Божия жить на земле без духовной борьбы за истину, а возможна ли такая духовная борьба для Церкви, крепко огражденной оружием вещественным? С каким успехом можно заблуждающихся убеждать в той истине, [за] во имя которой они уже посажены в тюрьму или сосланы в ссылку? Оружие Церкви есть Слово, но можно ли достойно обличать словом тех, кому уже зажали рот силою? Можно ли честно бороться с противниками, у которых крепко связаны руки?

Народ Ваш, Государь, уже выходит из духовного малолетства, и недостойная защита истины производит в его глазах гораздо больший соблазн, нежели свободная проповедь заблуждений. Далеко не худшие среди православного народа могут рассуждать (и уже рассуждают) так: из двух религиозных обществ которое более соответствует духу Христову и евангельским заповедям: гонящее или гонимое? Если такая постановка вопроса ошибочна, то лишь наполовину, а соблазн его остается во всей силе. Ибо хотя не все гонимые страдают за правду, но все гонители несомненно заставляют страдать высшую правду в самих себе. Нельзя же православному христианину отрицать того факта, что Христос в Евангелии неоднократно говорил Своим ученикам: «вас будут гнать за имя Мое», но ни разу не сказал: «вы будете гнать других во имя Меня». Действительно опасна и соблазнительна для народа только тайная проповедь заблуждений, а против нее совершенно бессильны и уголовные законы, и административные воздействия, и духовная цензура. Опасна и соблазнительна эта тайная проповедь не тем только, что она не боится никаких запретительных и ка-

рательных мер, а, главное, тем, что из этих мер насилия проповедники заблуждения извлекают для него и в ущерб истине великое преимущество нравственного героизма.

Но сторонники религиозного принуждения утверждают, что оно необходимо для единства и крепости государства. Об основательности такого взгляда Ваше Императорское Величество легко можете судить по ярким историческим примерам. Во Франции Людовик XIV, отменив закон веротерпимости, систематическим преследованием принудил гугенотов к выселению. Цель была достигнута, вероисповедное единство восстановлено вполне. Но скоро французская революция показала, как пригодились бы нравственные и умеренные протестанты против неистовых якобинцев. Изгнали «еретиков» и воспитали безбожников; изгнали заблуждающихся верноподданных и получили цареубийц. Не гугеноты, а сыны добрых католиков, избавленные от всякой еретической заразы, разрушили во Франции монархию и подкопали Церковь. [Аббат Сьейес провозгласил новый порядок — всевластие буржуазии, епископ Грегуар подписал смертный приговор Людовику XVI.] А пример Испании? Эта некогда первая держава всего мира, в ревности не по разуму [лишив себя] истребивши ради вероисповедного единства самую деятельную часть населения ради вероисповедного единства¹, стала чакнуть, постепенно теряла внутреннюю жизнеспособность и внешнее могущество и ныне должна с великим трудом и малым успехом биться за последний остаток своих владений в том самом Новом Свете, который ее сыны когда-то завоевали и приобщили к историческому человечеству. И притом все-так<и> пришлось отказаться от того единоверия и единомыслия, из-за которых пострадало так много невинных людей.

Величайшая опасность в религии и политике состоит в заведомом отступлении от нравственного закона, в принципиальном допущении злых путей и средств хотя бы для самых лучших целей. С переменою поколений цели меняются, а привычка к злому способу действия остается и усиливается как наследственная болезнь. Жестокие гонители альбигойцев и гугенотов породили по прямой линии членов конвента и революционных трибуналов.

Традиционная политика Российской Империи от Петра Великого и до наших дней показывает твердое движение к веротерпимости. Последним шагом в этом направлении был закон 3 Мая 1883 г., [значительно расширивший] даровавший некоторые богослужебные и гражданские права русским раскольникам. Этим благим законом в Бозе почивший император Александр III ознаменовал свое венчание на Царство. Вот знамение родительского благословения для Вашего Величества, чтобы доверить начатое и предуказанное Вашими [царственными] державными предшественниками, ныне созревшее дело нашего духовного освобождения.

Неподобающее Церкви и пагубное для нее вещественное оружие она имеет не от себя, а от [власти] государства [еной] и [только госуд<арство>] потому верховная власть государственная [может] сама призвана и уполномочена снять с Церкви подавляющую ее тяжесть лат земных и возратить ей духовную свободу. Христианство нигде не осуждает вооруженной защиты земного отечества, но когда слишком ревностный апостол хотел защищать оружием воплощенную Истину, то услышал: «вложи меч свой в ножны». Внемлите и Вы, благочестивейший Государь, слову Христову и властно повторите его слугам Вашим, чтобы они не оскорбляли Божьей истины недостойными способами ее защиты и распространения.

Дело идет не о каких-нибудь частных правительственных мерах, подлежащих рассмотрению в тех или других ведомствах, — дело идет о судьбах России, которые ныне вверены Богом толькой Вашей совести, Государь. Со времени крещения Руси не было во всей нашей истории такого важного дела, как то, которое ныне предстоит Вашему Величеству. Россия, выведенная пращуром Вашим, Петром Великим на поприще всемирной истории, избавленная Вашим Дедом от рабского клейма и Родителем Вашим утвержденная в своем политическом строе, ждет от Вашего Величества того блага духовной свободы, без которого она не может проявить свои положительные внутренние силы и исполнить свое высшее назначение. Одного царского слова было достаточно сорок лет тому назад, чтобы снять с России позор рабства, одного Вашего слова, Государь, достаточно ныне, чтобы оградить народ Ваш от великого и пагубного духовного соблазна и [снять] освободить исповедуемую Вами истину от справедливой и прискорбной причины нареканий. Если только Вы скажете, Государь, [перед] вслух всем, [светом: не хочу, чтобы] что нет Вашей царской воли на стеснения Ваших верноподданны[e]x [Мои] [подвергались], [терпели стеснения] в делах совести и религии — [и весь этот] мрак, [тяготеющий над Россией, разом исчезнет] [закрывающий] застилаю-

щий солнце правды Христовой, разом исчезнет, разом спадет тяжелое бремя с души народной¹.

Перед Богом, говорящим в нашей совести, мы все равны, Государь. Ясное сознание нравственной [моей] обязанности [каждого вер<ующего>] дает мне смелость напомнить Вашему Императорскому Величеству то, в чем я по совести вижу единое ныне на потребу для России, к чему все прочее приложится. В твердом уповании, что тот же голос Божий укажет Вашему Величеству праведное и мудрое решение в этом деле для блага России и всего мира.

[Всеми силами души призывая на Вас, Государь, и на славный Дом Ваш благословение и помощь Всевышнего] имею счастье пребывать Вашего Императорского Величества верноподданным

Владимир Соловьев.

Печатается по черновому автографу (ОР ГПБ, ф. 718, ед. хр. 34). Впервые (без учета правки) опубликовано в сборнике «Начала». Пг. 1921.

Обращения Соловьева к верховной власти имеют свою историю. Первый раз он обратился к Александру III в речи 28 марта 1881 года, в которой призвал помиловать народовольцев. В отправленном после этого письме к царю он, в частности, писал: «Я сказал в конце своей речи, что настоящее тягостное время дает русскому Царю небывалую прежде возможность заявить силу христианского начала всепрощения и тем совершить величайший нравственный подвиг, который поднимет власть Его на недосягаемую высоту и на незабываемом основании утвердит Его державу». Однако призыв Соловьева помиловать цареубийц услышан не был.

Тем не менее в 1888 году, находясь во Франции, Соловьев вновь намеревается обратиться с письмом к государю, о чем сообщает своему католическому другу Евгению Тавернье; он обсуждает возможность личной встречи с императором, чтобы передать письмо лично. В случае неудачи Соловьев предполагает напечатать текст письма во французском журнале «L'Univers», что и поручает своему корреспонденту. В 20-х годах XX века, по свидетельству С. М. Соловьева, племянника философа, черновой текст письма имелся в наличии, ныне его судьба неизвестна.

Когда на престол взошел Николай II, Соловьев вновь увидел в императоре символ русской государственности. Об этом, в частности, свидетельствует письмо Льва Толстого Соловьеву, написанное в 1894 году: «Различие наше заметно теперь еще в том, что вы, вероятно, ждете многого от нового царствования, а я ничего». Соловьев еще верил и надеялся, что новый царь даст народу свободу вероисповедания, свободу совести. Известно, было ли письмо отправлено, но никакого смягчения в религиозной политике не произошло — напротив, последовало ее ужесточение. Окончательно разочаровавшись в идее справедливого христианского государя, Соловьев писал княгине Е. Г. Волконской: «Я говорю о явных фактах <...> решено принудительное обрусение Финляндии и изданы синодские правила, которыми 400 000 русских униатов, заявляющих себя католиками, окончательно объявлены «православными», в силу административного распоряжения 1875 г. Согласитесь, княгиня, что эти две меры бросают совершенно особенный свет на одновременную с ними миротворческую затею: ведь для уничтожения такой вопиющей мерзости, как «административное» (посредством штыков и нагаек) перечисление людей из одного вероисповедания в другое, требовался только росчерк пера. <...> Ну можно ли серьезно слышать, как человек, не доросший до сознания минимальных нравственных требований, выступает как всемирный благодетель? <...> Ведь это все равно, как если бы кто-нибудь придумал собственных детей и затем объявил в газетах, что он желает спасти вселенную <...>».

Это был финал теократической утопии Соловьева и веры в союз «первосвященника, царя и пророка». Ему оставалось прожить еще несколько лет, которые так и не принесли долгожданной свободы вероисповедания. Только 17 октября 1905 года, через пять лет после смерти философа, Николай II подписал манифест, в котором даровал России гражданские свободы.

¹ Вероятно, повтор ошибочен.

Публикация и комментарий священника МАРКА СМЕРНОВА.

ИГОРЬ ЗОЛУТССКИЙ



КРУШЕНИЕ АБСТРАКЦИЙ

Идавно в одном высоком собрании, куда я попал, как кур в ощип, ученые мужи и дамы обсуждали проблему социалистического реализма. Они безо всякой иронии говорили о том, что нужны симпозиумы и семинары, сборники статей и отдельные труды, где бы эта проблема подверглась новым обследованиям, так как вопрос еще не решен, неясен, он требует доработки, обработки и разработки. Я сидел, слушал их выступления, и мне вспоминались далекие 40-е годы, когда я был школьником и когда нас, учеников 10-го класса, звали в Ульяновский горком ВКП(б), чтоб проинструктировать насчет происков критиков-космополитов.

Было время торжества абстракций, вакханалии абстракций, которые почему-то назывались идеями и безраздельно правили нами, как невидимые верховные существа. Мы действительно не видели их, мы не ощущали их ни на вкус, ни на запах, но повиновались им, как лунатик во сне повинуется колебаниям световых волн.

Мертвый свет луны светит в конце романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Он обливает своим сиянием комнату, в которой спит несчастный профессор Иван Николаевич Поньрев, он играет, резвится, он почти что пирует, но на этом пиру есть нечего — усыпленный наркотиком профессор видит большие сны, а жизнь его, голодная на духовную радость, скудна и односторонна.

Под таким же светом луны засыпают в платоновском «Чевенгуре» обитатели Чевенгура. Они спят нервно, неровно, они вздыхают и говорят во сне, как бы восполняя пустоту своего дневного существования, но свет ночного подобия солнца не может согреть их. Они «жертвы луны», говоря словами Булгакова. Свет луны усыпляет и гипнотизирует, он парализует волю и ум человека.

Гипноз этот сохраняет силу. Идея для нас все еще выше реальности, абстракция —

человеческих чувств. Мы все еще повторяем формулу Маркса: бытие определяет сознание. Но опыт XX века опроверг это умозаключение. Не бытие определяло сознание, а сознание, идея, теория определяли бытие. Они распоряжались им по своему усмотрению, они кроили его как хотели. XX век сделался эпохой насилия идеи над жизнью, абстракции над человеком, и, если говорить всерьез, дело в этом, а не только в том, что нами тридцать лет правил Сталин.

Я сомневаюсь, что есть люди, которые веруют в социалистический реализм, как верует, скажем, герой Андрея Платонова в Розу Люксембург. Он этой Розы в глаза не видел, но она для него дороже всего на свете, дороже всех женщин и всех людей, и он — будучи от природы добрым человеком — готов истребить пол-России, а заодно и себя, лишь бы восторжествовала «идея Розы», так как сама Роза покоится в могиле.

Но и он, правверный коммунист, не может верить в идею отвлеченно, ему нужен образ, нужно живое существо, которое бы очеловечивало эту идею, которое можно было бы любить, потому что любить идею, теорию нельзя.

Всякий раз, когда речь заходит о коммунизме, Копенкин (так зовут героя А. Платонова) вынимает зашитый в шапку портрет Розы и смотрит на него, вдохновляясь и укрепляя свою веру. Но какой осязаемый образ, доказывающий телесность, вещественность «самого передового метода», могут поставить перед собой поклонники соцреализма, становясь на очередную молитву? У них нет его, и им остается любить саму идею, саму теорию.

Так поступают, на мой взгляд, авторы учебника «Русская советская литература» для 10-го класса, изданного уже в новое время, в 1987 году. Они не находят ничего лучшего как учить школьников абстрактной любви к партии, к партийности в литературе и тому же самому социалистическому реализму, который для еще детского созна-

ния во сто крат отвлеченней, потусторонней, чем Роза Люксембург для Копенкина, потому что у Розы Люксембург хоть есть портрет, есть лицо, а эти понятия ни в какие живые формы не облечешь. На форзац учебника вынесены известные слова М. Шолохова: «..каждый из нас пишет по указке своего сердца. а сердца наши принадлежат партии и родному народу, которым мы служим своим искусством». Прочитав это, школьник должен проникнуться мыслью, что высшая святыня для писателя вовсе не истина, что партия стоит даже выше народа, не говоря уж об иных привязанностях, которые может питать человек.

Сердце человека может принадлежать женщине, другу, отцу, матери, но не партии. Можно любить родину, дом, который населен любимыми тобою людьми, но нельзя любить организацию, будь то партия, профсоюз, Совет Министров или ООН.

Кажется, тысяча лет отделяет нас от того времени, когда жили герои А. Платонова. Но мы все еще молимся идолам, отошедшим прочь, как молились язычники Перуну и другим богам, сброшенным в Днепр.

Сейчас нет культа Сталина, но есть культ партии. Партия, как и воплощаемая ею идея, всегда права. Деятели партии иногда ошибаются, партия — никогда. Поэтому литература лишь тогда может считаться литературой, когда она, как пишут в учебнике для 10-го класса, «верна ленинской партии».

Что это как не новое идолопоклонство, только не персонифицированное, а коллективизированное?

Культ партии переносится и на Ленина. «В. И. Ленин,— говорится в том же учебнике,— одобрял Толстого». Если б Ленин прочитал такое, он бы, наверное, рассмеялся. Ленин «одобряет» Толстого! Как какой-нибудь начальник — своего подчиненного, как секретарь райкома — инструктора отдела культуры!

Все, что написал Ленин, превращается в «учение», в заповедь, в инструкцию для исполнения. Написал Ленин, что в одной культуре могут быть две культуры — прогрессивная и непрогрессивная, и русскую культуру разделили, разрубили пополам. Выказал в статьях о Толстом предположение, что идеи художника и его произведения могут расходиться, и родилась теория о двух Толстых: один из них за революцию, другой против нее.

То же и с «партийностью литературы». Ленин писал это о литературе партий, о журналистских стычках на страницах газет. Это перенесли на высшую художествен-

ную деятельность человека — на поэзию, на прозу.

Вот только о социалистическом реализме Ленин ничего не написал. Не успел. Это уж творение Сталина, эпохи 30-х годов. Именно тогда был изобретен этот теоретический фантом, который царствовал над литературой пятьдесят лет. Полвека телшился он над нашей словесностью, отделяя «чистых» от «нечистых», награждая одних и отлучая других. И только сейчас все увидели, что это Крошка Цахес, который утонул в собственном горшке.

Где сейчас книги лауреатов и депутатов, верных оруженосцев абстракции, которая оказалась «передовой» только в том смысле, что первой упала в яму истории?

В 1954 году, когда Федор Абрамов, тогда еще молодой критик, напечатал в «Новом мире» статью «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе», где представил увенчанных Сталинскими премиями писателей как голых королей, его назвали антисоветчиком и отставили от социалистического реализма. Правильно сделала — Федор Абрамов, как показало время, и не собирался служить власти, обслуживать власть. Еще через некоторое время он вошел в прямой конфликт с нею, опубликовав очерк «Вокруг да около».

Вскоре партийный ареопаг принял постановление по этому поводу. Автор очерка, как решили наверху, покусился не на «отдельные недостатки», что можно было бы и поощрить, а на всю систему колхозного строя. Слово «система» в те годы звучало устрашающе, да и что там в те годы — когда я в 1986 году употребил его в одной статье, главный редактор журнала, смелый, порядочный человек, взмолился: «Убери!»

И я вычеркнул это слово своей рукой.

Теперь им спокойно оперируют публицисты и критики, газетчики и обозреватели телевидения.

Слово «система», правда, относят к какой-нибудь административно-командной иерархии, не имеющей якобы никакого отношения к социальному целому, но это страх назвать вещи своими именами, прокладка из полуправды, которая смягчает удар обо всю правду.

Старая ложь поколеблена, но явилась новая ложь. Пытаясь спасти гибнущие абстракции, она охотно мешает их с новыми реальностями, готовая потесниться, но не уйти. В том же ученом собрании, о котором я упоминал, встал один доктор наук и заявил, что Андрей Платонов и Михаил Булгаков подняты уже выше Всеволода Вишневского и этому надо положить конец. Он

сказал, что в лучшем случае к ним можно применить «принцип дополнительности», то есть дополнить ими в литературе Вишневого и ему подобных.

Это звучит едва ли не так, как если б кто-то сказал, что в истории русской литературы Булгарин и Греч должны быть «дополнены» Пушкиным и Гоголем.

Что ж, Булгарина и Греча из истории не вычеркнешь, что-то они там писали: Н. Греч — «Черную женщину», имевшую спрос, Ф. Булгарин — своих «Выжигиных», переводившихся на Западе. А уж по читательскому успеху Фаддей Венедиктович далеко обошел Пушкина и Гоголя, вместе взятых.

Вглядываясь в перипетии литературной жизни начала XIX века, сознаешь, что история повторяется. И тогда у нас была массовая, заказная литература, которая имела массового заказчика и подписчика. На пушкинский «Современник», где печатались Пушкин, Гоголь, Жуковский, Тютчев, подписка падала и падала, а на «Библиотеку для чтения», издававшуюся предпринимчивым О. Сенковским (он же барон Брамбсус), поднималась. Пушкин не набирал в тираже и тысячи, а у Сенковского было пять тысяч. Почтенная провинциальная публика (а именно она была основным подписчиком «Библиотеки») предпочитала повести Брамбеуса «Коляске» и «Носу», «Путешествию в Арзрум» и «Стихам, присланным из Германии».

Заказная литература уже тогда знала, чего от нее хотят. От нее хотят, во-первых, чтоб она развлекала народ, а во-вторых, чтобы его воспитывала. Так понимал ее цели и творец «Ивана Выжигина». Он писал: «Критики простят мне недостатки ради благой цели, удостоверясь, что дурное представлено мною на вид для того только, чтоб придать более блеска хорошему».

Таким образом, какие бы вольности ни позволяла себе эта литература, изображая кровавые страсти и альковные приключения, она всегда оставалась строго «благонамеренною», свято исполняющей предписания цензурного устава 1828 года, который тот же Булгарин назвал «самым прочным памятником любви к просвещению».

Когда читаешь «Ивана Выжигина» — этот шедевр массовой беллетристики, — не можешь отделаться от впечатления, что листаешь современный роман. Тот же герой из народа, родившийся чуть ли не на одной подстилке с кудашкой. С помощью ума и силы он выходит в люди, побеждает своих врагов, женится на красавице, и вдобавок оказывается, что он вовсе никакой не

простолюдин, а состоит в родстве с князьями Милославскими. Этот патриот и солдат, выходец из третьего сословия, которое автор противопоставляет заевшимся аристократам, встречается на своем пути плутов и хороших людей (хороших, естественно, больше, потому что, как утверждает Булгарин, «на одного дурного человека верно можно найти пятьдесят добрых»), отчасти грешит, отчасти соблазняется, испытывает волю и дух, но в конце концов обретает дом и семью, а главное, черты добродетели, которые не поколебать никакому злу.

Зло в романах Булгарина не изображается, изображаются «злоупотребления». Он кичит порочных князей, пьяниц писцов, кутил-помещиков, соблазнитель женских сердец и неопытных умов (последние называются новыми философами и проповедниками неких прав человека, «посевающими.. безверие и понятия о скотском равенстве»), он обличает «душные города, где люди собираются, чтоб обманывать друг друга», и ставит им в пример сельскую идиллию, где человек сам возделывает землю и пользуется трудами рук своих.

Все есть в этих романах — и социальный оптимизм (мечта социалистического реалиста), и ставка на народ, образующий сообщество добрых «поселян», и переименование героя с историей — его участие в войне 1812 года.

В «нравственно-сатирической» (как называл ее Булгарин) романистике «искоренение злоупотреблений» стоит на первом месте. Две силы — сатира и нравственность — работают на эту идею. Сатира очищает, нравственность возвеличивает. Сатира нападает на частности, преследует частности (на целое, на «систему» она не посягает), нравственность несет караул при неприкосаемом целом.

У Булгарина есть футурологическое эссе, которое носит заглавие «Сцена из частной жизни, в 2028 году от Рождества Христова». Так вот, в этом эссе среди действующих лиц значатся «придворный», «вельможа» и «помещик». Говорится здесь и о любви к престолу. Залетая фантазией в третье тысячелетие, Фаддей Булгарин ни на минуту не сомневается, что в России по-прежнему существует престол, есть двор, а стало быть, и государь.

Для заказной литературы та идеология, которой она служит, незыблема. Она склонна наделять ее вечною жизнью, как наделяли ею древние греки своих богов. Эта литература — льстит ли она государю или государству, монархии или диктатуре проле-

тариата — не может не обожествлять своего заказчика, ибо его бессмертие — залог ее спасения в потомстве.

Читатель поймет, что я не вижу никакого различия между Фаддеем Булгариным и Анатолием Ивановым, хотя их разделяют более ста лет Метод, где критика и апофеоз сливаются в нерасторжимом единстве, ведя нас к обетованному раю, был изобретен не вчера. Только объект поклонения сменился, только кумиры иные и тексты гимнов — соответственно.

Кстати, о гимнах.

В стихах В. А. Жуковского, написанных в 1814 году и ставших официальным русским гимном, были такие слова:

Мирных воителей,
Правды блюстителей,
Боже, храни!
Жизнь их примерную,
Нелицемерную...
Ты помани!

Можно, конечно, иронизируя, сказать, что слова эти остались благим пожеланием, но пожелание все же было благое и всем понятное — его продиктовали поэту человечность и уважение к правде.

В тексте гимна, сочиненного С. Михалковым и Г. Эль-Регистаном, ничего похожего нет. Это казенная декламация, где один объект восхваления легко может быть заменен другим. И не зря народ, откликаясь на эти перестановки, назвал гимн «песней без слов».

Не стоило бы, может, об этом упоминать, но сегодня каждое лыко в строку; о чем бы мы ни заспорили, получается, что спорим о жизни, потому что жизнь и литература перемешались как никогда прежде.

Границы между художественным и прицельным, прямым, назывным словом смыслом — то, что не служит делу, кажется, уже и не служит искусству, крик освобождения, вырвавшийся из груди литературы, покрывает все голоса, все высказывания, все толки.

Хотя, если быть точным, не все. Заказная, приказная литература тоже подает свой голос. Она не только робко присоединяет его к плюрализму мнений, но и, как в минувшие времена, жаждет разделять и властвовать.

Я не скажу ничего нового, если добавлю, что эта литература и на сей день составляет львиную долю печатной продукции, что, несмотря на появление массовых изданий Булгакова и Платонова, В. Гроссмана и К. Воробьева, ее тиражи, ее неколебимая верноподданность, звания, которыми увенчаны ее творцы, — все дает ей основания за-

являть, что она существует не сама по себе, а представляет интересы общества и народа.

Меж тем она представляет интересы или определенного социального слоя, или ведомства, которые диктуют ей тематику, границы конфликта и саму идею. В России никогда не было ведомственной литературы, работающей, например, на жандармское управление или на министерство иностранных дел, на армию, на военно-морской флот, на сенат или синод. Сейчас такая литература есть. Она обслуживает или госбезопасность, или внешнеполитические институты, или сроснуся с бюрократией творческую интеллигенцию, или генералитет, или МУР, или космос, или комсомол.

Во всех этих отраслях имеются свои поэты и прозаики, авторы многотомных романов и тоненьких повестей. Один трудится на официальную историографию и подает исторические факты так, как они должны быть поданы при современной конъюнктуре, другой специализируется на героях-чекистах, третий — на пламенных революционерах, четвертый — на деятелях аппарата.

И каждая отрасль поддерживает такую литературу, материально и морально поощряет ее, делая призыв в ряды ведомственных гениев несменяемым, перманентным.

Политический роман, столь небывало разросшийся в последние десятилетия, еще более обнажил сращение литературы с политикой. Наряду с общей политизацией жизни, вызванной уничтожением личного начала, этому способствовала и политизация иного рода, рассчитанная уже на мелкие услуги, на служение не высокой идее и высокому руководителю, а на сервис, предназначенный для групп и мафий, сменивших раздробленную центральную силу и сосредоточивших в своих руках ее рассыпавшееся могущество.

Идея принизилась, она слишком срослась с выгодой, о чем и не помышляла литература пионеров социалистического реализма. Они, как и герои «Чевенгура», почти ничего не желали для себя и все несли на алтарь идеи, в то время как в наши дни цинизм, проникший на страницы романов и эпосов, достиг такой степени, что от прежних жертвоприношений не осталось и следа.

Эту ситуацию цинизма и падения высоких понятий очень точно уловил Владимир Дудинцев в романе «Белые одежды». Его герой свободно манипулирует святыми словами, отнюдь не считая их святыми, а принимая условия игры, в которой иначе не выступишь.

Героя В. Дудинцева на Розе Люксембург

не проведешь, он уже навидался и насмотрелся, как под прикрытием верности высоким идеалам устраиваются личные дела, как ловко пользуются идеей те, кого она еще вчера употребляла. Он не верует в отвлеченные истины, а верует в дело и ради дела способен пойти на какие угодно уступки, соглашательства, лишь бы обмануть абстракцию, переиграть абстракцию.

Если в романах Андрея Платонова абстракция, терпя крушение, требовала от человека крови и крови, если в результате этого на наших глазах разыгрывалась трагедия, то в романе В. Дудинцева небезопасная для героя игра все же отдает фарсом, комедией.

Та сила, с которой играет герой «Белых одежд», смешна, потому что изжила себя, потому что покупается на фальшивую преданность, на преданность словесную, риторическую в противоположность фатальной вере, какую был одержим платоновский Копенкин. Если Копенкин был готов незамедлительно умереть за Розу Люксембург, не задумываясь о том, нужна ли мертвой Розе его жизнь, то уже у его наследников 40-х годов такого энтузиазма нет. Пока идея кормит и поит, они держатся за нее. Но если завтра придется кормить и поить идею, да еще поить собственной кровью, — увольте. Они скорее согласятся принять новое вероучение, нежели платить за старое головой. Романы и повести, пришедшие к нам в последние три года, разрушают болгаринскую концепцию общего благополучия при имеющихся некоторых деформациях. С их появлением испытанный «нравственно-сатирический» метод, сохраняющий в целостности и неуязвимости идолов прошлого, превращается в тень тени, отблеск миража.

Но он, однако, вовсе так не думает, он продолжает навязывать нам если не свое превосходство, то хотя бы равенство со всем тем, что стало точкой отсчета в наши дни.

Мы никак не можем ввести в литературоведении и критике истинные критерии, сместить их в сторону оценки литературы, поднять уровень воздаяния каждому по делам его.

Вот почему у нас К. Симонов стоит на одной доске с В. Гроссманом, а А. Чаковский — с В. Некрасовым, К. Воробьевым, В. Быковым. Потому что роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба» если и не отрицает, например, прозы К. Симонова, то, во всяком случае, никак не может находиться с нею в одном ряду — это не просто разные, но и прямо противоположные друг другу явления. Роман Василия Гроссмана — роман прозревшего человека, свободного человека,

проза К. Симонова так и не сошла с оси балансирования между правдой и ложью. Ложь при таких обстоятельствах не обязательно должна быть откровенной неправдой, она может быть и умолчанием, боязнью заглянуть за край. Возьмите дневники К. Симонова, опубликованные в «Знамени», — и «в стол» К. Симонов не способен писать в се, и для «стола» он дипломатничает, боится признать ужас — ужасом, боится себя.

Больше всего поразили меня сцены в Кремле, когда Симонов, Фадеев и другие вместе со Сталиным и его присными обсуждают кандидатуры на присуждение Сталинских премий. Симонов всерьез относится к этим собраниям, высказывая догадку, что Сталину нужны были подобные встречи, чтобы хотя бы так общаться с «интеллигенцией». Он это пишет безо всякого осуждения себя и тех, кто восседает в кабинете Сталина, приобщенный к дележу наград. Он называет этих людей (и себя) интеллигентами, не подозревая, что слово это звучит кощунственно, ибо какие же вы интеллигенты, когда занимаетесь таким делом. Интеллигент А. Платонов, который в это время нищенствует, не желая уступать своей свободы, интеллигенты Зощенко и Ахматова, бичуемые, но остающиеся самими собой, а не вы, что в одной компании с палачами решаете, кому повесить медаль на грудь, кому нет.

Эта слепота в отношении себя — слепота несвободы. Это катаракта, которую только сильные могут содрать со своих глаз. Да и то при условии, что она вообще может покрыть глаза сильных. Крупный талант не слепнет, я не знаю примера, чтоб он сломался, стал петь не свою песню, — могли быть минуты слабости, но родовая черта таланта не слабость, а сила.

Сейчас, когда я читаю рассказы Владимира Тендрякова, опубликованные посмертно, я вижу, что это так. Я слышу пронзительно резкий голос, находящийся наикратчайший путь к сердцу — путь правды. Это правда безоглядная, не признающая никаких влиятельных, никакого любезничанья с читателем Талант В. Тендрякова взрезает жизнь, как нож, и та разваливается, обнаруживая свое страшное нутро. Не очень подходящий образ — образ почти что хирургический, — но что делать писателю, который стоит у постели больного?

Как острие ножа, вспарывают действительность и «Кольмские рассказы» Варлама Шаламова, роман Юрия Домбровского «Факультет ненужных вещей», роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», рассказы

Виктора Астафьева, роман Бориса Можаяева «Мужики и бабы», повесть Юрия Нагибина «Встань и иди». Талант Ю. Нагибина в последние годы тратился на пустяки, на беллетристику — твердая рука, набив мозоль ремесленничества, кажется, водила по гладкому. Но открылась рана сердца, и голос дрогнул, рука колебнулась, затверженные формы рухнули, и мы увидели, что талант не погиб — вместо улаживающих звуков раздался скрежет зубов, скрежет отчаяния.

В крутящихся потоках литературного водоворота трудно отделить легкий сор от тяжелой воды, тенденцию от подражания, глубокое убеждение и устоявшийся взгляд от смены масок, от суеты переодевания, когда вчерашние волки спешат облачиться в платье овец. Все смешалось под литературным солнцем, но все-таки попробуем какие-то вихрящиеся явления остановить, приблизить к глазам, рассмотреть.

В литературе, как и тридцать лет назад, во времена первой «оттепели», верх берет социально-критическое направление, которое теоретики, наверное, назвали бы критическим реализмом, но я не ведаю, как у них одно с другим сойдется, как примирят они это нашествие критического реализма с реализмом социалистическим — последний-то куда девать, как с ним быть? Выходит, что для настоящего момента услуг социалистического реализма не требуется, его, может быть, завтра позовут, но это в том случае, если права окажется Нина Андреева и все повернется обратно.

А опасность такая есть. Она не просто гипотетична и теоретична, а весьма действительна — одного мановения сверху достаточно, чтобы стрелка часов пошла в обратную сторону.

Литература социальной критики делает все, чтоб этого не произошло, она, собственно, и явилась на свет затем, чтоб стрелка двигалась вперед, а не назад. Хотя это понятие «вперед» каждый понимает по-своему. На развилке дорог сталкиваются силы социально-критического направления, обращенные в своих исканиях в разные стороны. Чем же отличаются они от тех сил, которые разбудили нас тридцать лет назад?

Расширением диапазона критики. Тогда критика сосредоточивалась на «отдельных недостатках», на исключениях из правил. Теперь она посягает на само правило. Тогда в честных очерках зарвавшегося секретаря райкома противопоставлялся порядочный председатель райисполкома, сейчас на этих уровнях вопрос уже не решается, альтернативы подыскиваются за пределами этого

противоречия. Очеркистика тех лет не вламывала самооборону системы, не выводила читателя за обведенный мелом круг, не понуждала его поднять глаза и увидеть то, что увидел гоголевский Хома Брут.

То была критика «отклонений» и борьба с «отклонениями», понимаемая именно как борьба, служба, — нужно было очистить идею от налипших на нее полипов, выправить «линию», очерки, повести и романы 60-х годов занимались как раз этим делом, а их авторы верили, что стоит отскрести «недостатки», как засияют достоинства и воскресшая идея воздаст нам сторицей.

Расширялись пространства критики, но и они были невелики, хотя на их территорию попали и война (Василь Быков), и мытарства послевоенной деревни (Абрамов, Белов). Сталин и сталинщина в те годы спаслись — едва их коснулся свет разоблачений, как на свет накинули темное покрывало.

Что касается войны, то критика войны упиралась в эпизоды, в проигранные бои, но война в целом подавалась патетически. Трагический голос, пробивавшийся в повестях К. Воробьева, В. Курочкина, В. Быкова и других, накрывался полуправдой такой прозы, как проза К. Симонова. К. Симонов, думая закончить цикл романов о Серпилине битвой за Берлин и намеваясь показать трагедию этого события (так он мне говорил в 1966 году), завершил их случайной смертью своего героя, которому уже в условиях нового исторического этапа (хрущевские свободы кончились) не следовало чересчур много знать и слишком о многом думать.

Сталинщина в литературе тех лет разошлась на послевоенные факты, а 30-е годы — годы ее расцвета — все еще находились за высоким забором, состоящим из смертельно заостренных наверху кольев.

Для одной лишь крестьянской прозы осталась узкая щель — ей позволялось писать о том, что не задевало настоящего времени или не касалось истоков источника деревни, не задевало сталинских поборов и раскулачивания. В лучших произведениях этой прозы нашим глазам предстал итог, горестный итог разорения деревни и уничтожения крестьянина, «раскрестьянивания русского человека», как сказал Ф. Абрамов. Но кто это сделал, и как, и когда — об этом не было позволено сказать ни слова. И ни смех Б. Можаяева, ни слезы В. Белова, ни песнь песней, которую пропел русской крестьянке Ф. Абрамов, — ничто не могло сломить этого запрета.

А война? Многотомные «опупеи» соседствовали с многосерийными кинороманами, где Сталин и Гитлер благополучно управляли народами — один с одной стороны, другой — с другой стороны. История здесь творилась в бункерах и кремлевских кабинетах, а народ, выполняя ее волю, погибал на полях сражений, погибал красиво и некрасиво, но с пользой для прогресса, путь к которому вместе со Сталиным предопределяли его маршалы и генералы.

В этом была своя идея — обслужить верхние этажи власти, которые и в мирное время, оставаясь наверху, продолжали управлять массами, как бы уже пожизненно приняв на себя эти обязанности, дарованные им не парламентом и не народом, а роком и судьбой.

Разумеется, и в этих эпопеях мелькали иногда некие намеки на правду, но правда тут не позволяла себе никаких вольностей — она знала свой шесток и появлялась только в строго указанных местах и в приличной форме.

Весь этот стыд надо было перетерпеть и преодолеть, надо было пройти через глухие 70-е, ставшие для одних полным затмением и потерей веры, для других — укреплением веры и началом освобождения.

Ведь то, что мы сейчас читаем, создавалось как раз в эти 70-е, редко — в конце 60-х годов. И А. Бек, и А. Рыбаков, и В. Дудинцев, и А. Приставкин, и Б. Можаяев, и «Кануны» В. Белова — все это создания эпохи 60—70-х, а стало быть, и идеологии этой эпохи, ее уровня осмысления новейшей истории.

И тут мы подходим к тому, что же такое критическое направление на настоящем этапе, как далеко оно продвинулось и каковы его активы.

Эти активы во многом завоеваны еще 60-ми годами, они несут на себе печать их исторической смелости и их исторической ограниченности. Будь то пьесы М. Шатрова, роман А. Рыбакова или повесть А. Жигулина «Черные камни», они стараются довершить то, что было начато «шестидесятниками». Ибо что такое «шестидесятничество»? Из чего оно выросло? Оно выросло из критики Сталина и сталинщины, но вынуждено было свернуться, искать зловещий язык, переключиться в историю и т. д. Сейчас они хотят восполнить упущенное, добить Сталина и сталинщину, а дальше?

Если социальная критика 60-х годов, отвергая неверные «методы», предлагала взамен верные, то и драматургия М. Шатрова, проза А. Рыбакова, Д. Гранина и других предлагает то же самое: вместо Сталина —

Ленина (или Кирова), вместо сплошной коллективизации — нэп. Но выход не в замене одного вождя другим и одного способа правления другим способом правления. Этого для литературы мало, ее идеал не может быть идеалом политическим — он долговечней не только отдельно взятого царя, но и целой исторической формации.

У литературы, повторяю, более вечные задачи, и, не оставляя себе свободы для провидения, для прозрения, опережающих распространенные политические прогнозы, она теряет свое назначение.

Литература не может находиться в плену социальных иллюзий и социальных альтернатив, ими может быть увлечен отдельный писатель, но социальные иллюзии никогда еще не создавали великой литературы.

Семидесятые годы были временем изживания социальных иллюзий, временем, когда проза, вся нацеленная прежде на социальную критику и социальную пользу, выходила на позиции, где личность и мир личности возвышались надо всем. Тут одновременно потрудились и «шестидесятники», и «семидесятники», и интеллектуалы, и интуитивисты, знатоки деревни и города, печатавшиеся «здесь» и печатавшиеся «там», — одним словом, все, для кого жесткие постулаты 30-х годов, заморочившие их предшественников, уже не значили ничего.

На вершину этой волны литературы время выносит имя за именем. Назову только троих — Бориса Пастернака («Доктор Живаго»), Василия Гроссмана («Жизнь и судьба»), Юрия Домбровского («Факультет ненужных вещей»).

В романе «Жизнь и судьба» острие анализа устремлено не на некоторых исторических деятелей, не на отдельные слои общества, а на все общество в целом, тут критика системы и ее институтов перерастает в критику всего исторического периода, чего еще не бывало в современной литературе.

Если в прозе Ф. Абрамова, в повестях и рассказах В. Астафьева, в рассказах В. Тендрякова («Охота») критика «верха» сочетается с критикой крестьянства, то в романе В. Гроссмана народ — это не только крестьянство, солдаты на фронте, но и интеллигенция (в том числе новая интеллигенция, воспитанная уже новой эпохой), а в центре исследования находятся не только люди, но и история идеи, приведшая к тем результатам, с которыми приходится иметь дело автору.

Вот почему старые большевики в романе Гроссмана (Магар и другие) испытывают

мучения от сомнений, пересмотров своего отношения к миру, видят, как у любимых ими идей обнаруживаются страшные оборотные стороны, страдают и гибнут, не найдя ответа на поставленные самим себе вопросы.

В романе В. Гроссмана прокламируется идея свободы как главная идея жизни. Эта идея не насильственна, не навязана каким-то постановлением, а вытекает из природы человека. И эту идею, пишет В. Гроссман, не поняли ни Маркс, ни Ленин.

В. Гроссман ставит Сталина на одну плоскость с Гитлером, не видя в них различия,— при этом речь идет не о сходстве натур, характеров, кровожадности, что само собой разумеется, а о родстве идей, способе воплощения этих идей, родстве цинического, потребительского отношения к человеку.

Конечно, раньше В. Гроссмана это поняли А. Платонов и М. Булгаков, но они явились на свет до «вечера истории» (слова Платонова). Свобода и свободный взгляд на вещи был дан им от рождения, тогда как В. Гроссману пришлось изживать из себя несвободу, вытравливать ее, изгонять. Платонов и Булгаков (а с ними и другие писатели 20-х годов) понимали, что идея насилия порочна и преступна, что Достоевский был прав, когда предупреждал, что, захватив власть, она утопит нас в крови.

А. Платонов, изображая в «Чевенгуре» поселение коммунизма, дает картину страшной выморочности города, картину вымирания его, вымирания масс людей, охваченных безумием переустройства, переменны и перепашки в сего — включая семью, дом, традицию, веру. Народ в Чевенгуре охвачен эпидемией ожидания очищенного от человеческих слабостей коммунизма, коммунизма, где не надо трудиться, где не нужны женщины, не нужны дети, где нет даже боли сожаления по убиенным. Герои романа не чувствуют боли — ни своей, ни чужой. Они могут убивать, не испытывая дрожи в сердце, отращения к делам своим. Они как будто не убивают, а занимаются санитарией и гигиеной. А когда убивают их, у них не хватает даже слез на жалость к себе. Их тело глухо к боли, кажется, жизнь умерла в них еще до факта смерти, и если они и живут, то живут как тени в аду, а не как полнокровные существа, которым дано печалиться и плакать.

Хотя нет — они плачут. Плачет Копенкин, плачет Саша Дванов, плачет и организатор коммунизма в Чевенгуре Чепурной. Он жалеет умирающего ребенка. Того же ре-

бенка, занесенного в Чевенгур бродячей женщиной, жалеет и Копенкин. Этот Добрыня Никитич революции, которому ничего не стоит развалить человека саблей, если тот, по его мнению, враг революции, увидев, как умирает на руках матери ее пятилетний сын, говорит: «У вас нет коммунизма, раз в вашем городе умирают дети».

Один-единственный ребенок является на горизонте романа, является в городе чистого коммунизма, и тот погибает. Значит, что-то здесь неладно, значит, зря освобождали этот город от людей, косили их очередями из пулеметов и едва присыпали землей.

Со смерти ребенка начинается разброд в войске Чепурного, разброд в его голове, и слеза, пролитая дитятей (вспомним Достоевского), предрекает гибель городу.

Печальной иронией отдает в «Чевенгуре» тот факт, что герои романа в своем странствии по степи натываются на Федора Михайловича Достоевского, который олицетворяет советскую власть в деревне Ханские Дворики. Этот человек, называвшийся доселе Игнатием Мошонковым, решил переименовать себя в честь писателя Достоевского и «сам себя перерегистрировал в специальном протоколе», постановив заодно, что и другие граждане деревни должны взять новые имена и фамилии «с начала суток». Это точное указание времени симптоматично. Как и все герои «Чевенгура», Федор Михайлович Достоевский спешит, торопится насадить в Ханских Двориках сперва социализм, а через короткий промежуток и коммунизм. Он с утра до вечера думает над тем, как совершить прыжок в светлое будущее — путем устройства товарищеских браков, «уничтожением ночи для повышения урожая», «организацией ежедневного трудового счастья». Копенкин его подгоняет: «Закончи к лету социализм! Вынь меч коммунизма». И Достоевский отвечает: «Даю социализм! Еще рожь не поспеет, а социализм будет готов!»

Достоевский, создающий к лету социализм,— более страшного отрицания того, что писал Достоевский, не может быть. Это насмешка над идеалом и предсказаниями русской литературы, которая стерлась в памяти таких, как Копенкин (да едва ли они ее и знали), и оттеснилась «идеями Розы».

В сегодняшней ситуации происходят встречи и узнавания, которые predeterminedены ходом истории, происходит воссоединение, которое не могло не состояться,— роман В. Гроссмана должен был явиться на свет и пойти на сближение с прозой Булга-

кова и Платонова, потому что жизнь пошла по этому пути, потому что правда не может не встретиться с правдой, как, впрочем, и ложь с ложью.

На этом стыке, на пересечении течений лучше видна особенность настоящего момента, который и моментом-то не назовешь, так не близок он к завершению, так много времени понадобится для того, чтобы общество очнулось от паралича, чтоб спала с глаз пелена и правда литературы, вынашиваемая ею в годы молчания, стала и правдой народа.

Потому что народ в массе своей, может быть, и не способен принять той правды, которую ему преподносят Платонов и Гроссман. Воспитанный на литературе полуправды, а то и откровенной лжи, он сопротивляется операции по отделению катаракты, боясь, как прозревающий слепец, взглянуть на свет.

Люди, пережившие наяву страшные трагедии, прошедшие войну и мытарства в лагерях, не всегда хотят об этом читать, они отдают свою — муками доставшуюся им — жизнь от литературы, от ее описания в романах, повестях и стихах. Они уверены, что там, на страницах этих романов и повестей, она должна быть другой. Она должна быть добрей, чище и возвышенней, и они правы в идеальном смысле, но как подняться к свету и чистоте, не преодолев тьмы?

Могилы зарастают травой, народ хочет забвения, покоя, но новые могилы вырастают на наших кладбищах — могилы мальчиков из Афганистана, и разве не та же сила толкнула их на смерть, что и выбила полнарода при Сталине?

«Сам гений,— писал Белинский об этом сопротивлении народа горькой правде, — потому только и велик, что служит толпе, даже борясь с нею».

Читатель может этого не сознавать, он может испытывать чувство испуга, потери и, отгалкиваясь от разящей правды, не принимать ее, в то время как именно ее неподкупный голос и есть его голос, есть то, что он носит в себе, что лежит в глубине его сердца и в глубине его памяти.

Но чтоб читатель это понял, должно пройти время. А пока правда пробивает себе путь помимо одобрения большинства или даже наперекор большинству, для которого дозированный Симонов дороже максималиста Гроссмана.

Вот почему так важна социальная работа литературы, ее просветительство, ее геркулесовы усилия по чистке народного сознания, по выведению его на свет божий. Со-

циальная критика в литературе по-прежнему стоит на первом месте, но и она — под влиянием своего собственного развития и примера Платонова и Булгакова, не говоря уж о примере классики, — преобразается в течение глубинно-духовное, то есть поднимается на ступень выше, откуда видны не только подробности дня, но и судьба нации.

Тяга к духовным ответам на социальные вопросы существовала и пробивала себе дорогу и в 70-е годы. Она нарастала в прозе В. Шукшина, в пьесах А. Вампилова, в повестях Ю. Трифонова («Другая жизнь»), в новеллистике Ф. Абрамова. Все чаще современная проза стала оглядываться на опыт той литературы, которая не выходит в учебники, не предписывается к изучению. Потеснились не только Фадеев и Серафимович, но и Горький, возник из забвения Бунин, в новом облике предстал А. Блок. А за ними взгляд стал уходить в глубину прошлого — к Гоголю и Достоевскому. Вопрос об идеале сделался в 70-е годы вопросом вопросов — лучшие силы «шестидесятников» (а все современные писатели, кого я назвал, были ими), исчерпав идейный лимит «шестидесятничества», обратились к отысканию символа веры, который соответствовал бы новым мукам народа.

«Лесной надзиратель,— пишет А. Платонов в «Чевенгуре»,— хранивший леса из любви к науке, в этот час сидел над старинными книгами. Он искал советского времени подобие в прошлом, чтобы узнать дальнейшую мучительную судьбу революции и найти исход для спасения своей семьи». Этому лесному надзирателю уподобилась в 70-е годы наша проза и критика.

Видимо, нельзя спасти общество, не найдя этих аналогов в истории, не слив их друг с другом, не сделав из этого выводов. Жизнь, оторванная от прошлого, кичащаяся своим настоящим, не способна к развитию, она, как и чевенгурский коммунизм, должна зайти в тупик.

В Чевенгуре ревком заседает в церкви, на амвоне, а с купола смотрит на эту троицу бог Саваоф. Иконостас заменен ревкомом, Бог — Марксом (или Розой Люксембург), колокольный звон, который раздается над опустевшим городом, звучит, как погребальная музыка. Бердяев писал, что русская мысль «всегда была обращена к Апокалипсису». Она как бы предвидела катастрофичность развития русской истории, русского опыта.

Литература XX века оказалась в центре этой катастрофы. Может быть, первым ее

почувствовал А. Блок. Он вынужден был поставить во главе своих двенадцати Христа, потому что не видел иного выхода. Это была мечта поэта, столь же хрупкая и нежная, столь же женственная, как и сама фигура Христа в поэме «Двенадцать».

Булгаков в «Белой гвардии» — романе реалистическом, семейном, традиционном, разорвал традиционные формы и вывел образ кровавых событий 1918—1919 годов как образ страшного суда, как воплощенное пророчество Иоанна Богослова.

Образ нечестивого Вавилона, который неминуемо должен провалиться сквозь землю,— образ Города существует у Булгакова по соседству с сияющими отсветами «рая» — потустороннего Нового Иерусалима, куда должны попасть лучшие из лучших. В частности, Николка Турбин и полковник Най-Турс. В этом «раю» голубой свет, и люди, бывшие на земле обыкновенными смертными, превращаются в прекрасных рыцарей.

Центром романа «Белая гвардия», его организующим ядром является фигура святого Владимира с крестом на Владимирской горке. Она видна и красным и белым — белые смотрят на нее из города, красные — из-за города, где на станции Дарница стоит, нацеливши свои пушки на этот крест, бронепоезд «Пролетарий». Возле него мерзнет часовая, он смотрит на небо и видит во глубине вселенной красные пятиконечные звезды, заполняющие весь небосвод. Возникает в памяти образ Чехова из «Дяди Вани»: «мы увидим все небо в алмазах». Булгаков переиначивает его: вы увидите небо в пятиконечных звездах.

Красный цвет звезд и цвет звезды на шнели часовой, которая как бы откликается на игру звезд на небе,— это цвет войны, цвет крови.

Образ Нового Иерусалима, как и образ «рая» в романе Булгакова, залит кровью. Кровь расходится темными пятнами на белом снегу, кровь окрашивает одежды Най-Турса в «раю», у Николки, которого видит во сне Елена, «вся шея в крови».

Проходит несколько лет, и М. Булгаков создает роман «Мастер и Маргарита», где читатель вновь оказывается в большом городе. По логике истории это и есть тот Новый Иерусалим, который должен был быть построен после разрушения Вавилона.

И что же это за город? Это город, где люди в крагах и с пистолетами шарают по квартирам и ловят нечистую силу, которая в своей нечистоте оказывается в тысячу раз чище их, их абстрактного царства, где

в каждом окне, как говорит Волад, сидит по атеисту.

Это царство жадности, царство плохих стихов, царство доносов. Это царство буфетчиков, выдающих осетрину второй свежести, полоумных коллективов, поющих за стенами сумасшедшего дома «Славное море, священный Байкал», это царство, где мастеру, поэту нет места, нет пристанища.

Мастера травят в Новом Иерусалиме, как Христа травили в старом, как гнали на Голгофу (или Лысую Гору) прекрасного Иешуа.

Над безбожным царством в романе совершается суд — это Страшный суд, хотя осуществляется он в комических формах, в формах буфонады, гротеска. В «Мастере и Маргарите», как и в «Белой гвардии», льется кровь, но если в «Белой гвардии» это кровь настоящая, то здесь кровь театральная, бутафорская, она может обратно влиться в только что убитое тело, как голова казненного способна вновь водрузиться на его шею. Это апокалипсис смеха, это театр, это карнавал мстящей фантазии Булгакова.

В этих фантастических формах зла, входящих на ристалище с такими же фантастическими формами добра, есть близость между Булгаковым и Платоновым, как ни далеки друг от друга эти писатели.

Ибо оба они мыслят в контексте культуры, в контексте мировой истории, отсветы которой падают на события, совершившиеся на их родине. «Рай обетованный» не достигнут, но он заставляет человека отречься от самого себя, от своей природы и идти на насилие таких масштабов, что обратный путь почти невозможен.

Читая в «Чевенгуре» о ревкомке, заседающей в церкви, я вспомнил другую церковь — храм Николы Диканьского на Полтавщине. Еще до середины 80-х годов в нем располагался антирелигиозный музей, куда диканьчане, естественно, не ходили, но куда привозили экскурсии, путешествующие по этой благословенной земле.

Взором экскурсантов предстали не старинные росписи и фрески, а схемы и диаграммы, иллюстрирующие развитие человечества. Нижнюю часть экспозиции занимали изображения горилл и питекантропов, верхнюю — портреты космонавтов. Так прослеживался поступательный ход истории.

Под каменным полом церкви покоились останки Кочубеев, в алтаре стояло дубовое основание, в которое была вставлена икона святого Николая, давшего имя храму, а в самом храме праздновала бал агитация и обезьяны водили хоровод с людьми XX века.

В этой церкви молилась мать Гоголя, прося святого сохранить жизнь ее сыну, в честь Николая-чудотворца Гоголь был назван Николаем, но этот факт из истории был вычеркнут, стерт этими схемами и диаграммами, этим святотатством.

Так «новое» многие годы покушалось на святых, разоряло их, превращало в пыль. Когда смотришь в кино, как взрывают храм Христа Спасителя, то кажется, что на твоих глазах убивают человека. И что же мы теперь имеем на месте этого храма? Бассейн. Мегафора, достойная Платонова и Булгакова.

За годы долголетнего правления государственной литературы (назовем ее так), государственного заказного реализма были взорваны пласты культуры, был утрачен опыт духовного мышления, опыт духовного развития. Строились фабрики и заводы (а литература воспевала их), возводились плотины, менялось, что называется, лицо земли, но дух стоял на месте, он упирался лбом в конечную истину.

Культура отныне выращивалась, как лысенковская пшеница, — ее насаждали, навязывали, в нее производились инъекции «передовых идей». Культуру заменили всеобщей грамотностью, в то время как культура не сумма знаний, а порыв к свету.

Куда делись лесковские странники, великие юродивые — князья мышкины, где мученики и святые, заступники народа, толстовские философы, чеховские врачи, булгаковские интеллигенты? Этих людей чести и совести заменили функции и машины, производящие материальную энергию, знающие только механический труд, механическое преобразование жизни. Сталевары у домен, академики, Герои Труда, секретари обкомов, маршалы и генералы (если речь идет о войне) — все они не «отдельные люди», как говорил Чехов, а некая плазма всеобщей стертости, где дух и не ночевал.

Я не верю в интеллигенцию, я верю в отдельных людей — писал Чехов. Этих отдельных людей почти не было в заказной литературе. Они стали появляться в 60—70-е годы — бабы Ф. Абрамова, чудьки В. Шукшина, Кузькин Б. Можая, Иван Африканович В. Белова, герои В. Астафьева и В. Распутина, рефлектеры Ю. Трифонова. Но они все еще оттесняются деятелями, «положительными героями», какими-то функционерами. С расцветом «политического романа» на страницы прозы хлынули дипломаты, генералы КГБ, политические обозреватели, чины МИДа, генштабисты и члены Политбюро, Сталин и Молотов, Сталин и Гитлер. Теперь — в связи

с переменной декораций — их дублируют Сталин и Киров, Сталин и Орджоникидзе, а завтра появятся Бухарин и Каменев, Зиновьев и Рыков (впрочем, в пьесах М. Шатрова они уже появились).

А где же традиционный русский герой — герой-идеалист? Где искание смысла жизни? Где смерть и бессмертие? Бог и черт?

У государственной литературы (а литература, которую представляют «Дети Арбата», тоже государственная, но, так сказать, в прогрессивном смысле) нет духовных ответов, ее идеал заимствован из арсенала политики, а не из сферы духа.

Возьмите «идейных людей» литературы наших дней и идейных людей того же А. Платонова. У Платонова это заложники идеи, мученики идеи, они, как странствующие рыцари, поклялись служить только одной даме, и эта дама — Революция. Они даже не знают, что это такое, не разбираются в политграмоте, а большинство из них вообще не умеет читать, но искра идеи запала в их ум, произвела там такое движение, что ни ум, ни сердце не могут спать, они должны постоянно находиться в действии, боясь упустить наступление коммунизма.

Герои Платонова, как все русские мечтатели, буквально сохнут по раю обетованному, но рай не грядет, грядет нечто такое, что ни в сказке сказать, ни пером описать — раскрывается преисподняя, и они проваливаются в нее, так и не испытав страха гибели.

Для пролетариата бог — движение, говорит один из героев «Котлована», все остальное ничто. Движение абсолютизируется, ставится над человеком, над его чувствами, над теплом ласки, теплом любви. Все, что попадает на пути этого безумного стремления вперед, сметается, отбрасывается. Нужно уничтожить весь Чевенгур для того, чтобы одиннадцать большевиков ощутили наступивший в нем коммунизм, — уничтожим. Сначала «полубуржуев» (буржуи давно истреблены), а потом и их родственников выведем на площадь или в степь и расстреляем из наганов и пулемета.

Критика идеи насилия как идеи прогресса — вот что на сегодня составляет нерв нашей независимой литературы. С этого она начала в 20-е годы, к этому вновь и пришла. И здесь ее отрицания и утверждения смыкаются с русской классикой. И та мечтала о «рае», помышляла о «рае». Не кто иной, как Павел Иванович Чичиков тоже забрасывал удочку в этот «рай», мысля его как торжество дома и семьи под полуденным небом российского юга Как

мы помним, он хотел своих мертвых крестьян переселить в Херсонскую губернию.

Рай обетованный — мечта Гоголя и Достоевского, Толстого и Чехова. В исканиях русской литературы видно желание низвести божественную идею на землю, реализовать ее в пределах смертной жизни человека. С этой мечтой рождаются и герои Платонова. Но вместорая они обретают ад. Идея насилия отравляет их кровь, и эта отравка вливается и в кровь детей. Те в свою очередь мучаются, чтобы исторгнуть ее из себя, и тратят на это жизнь, истощаются в этой борьбе. Идея насилия калечит человека, увечит его природу: он шкуру собственного отца готов натянуть на барабан, лишь бы этот барабан выбивал дробь революции.

Литература невольно возвращается к старым ценностям и к старой символике, обозначающей эти ценности. Евангельская символика воскресает и в «Плахе» Ч. Айтматова, и в романе Юрия Домбровского «Факкультет ненужных вещей». Ю. Домбровский

на свой лад, в отличие от Булгакова, разыгрывает сцены предательства и осуждения Христа, рассматривая этот сюжет с точки зрения права и правосудия. «Падающая ирония гибели», как писал А. Платонов, соединяется в этой литературе с возвышающей интонацией веры уже не в абстракции, не в догматы, не в саддукейство и фарисейство, а в то, что человек есть мера всех идей и теорий, и если хоть один пункт их отклоняется от этой истины, им уготована судьба города Чевенгура.

Чевенгурцы сделали солнце своим богом, его материальный свет приняв за духовное откровение. Но солнце, этот «мертвец с пылающим лицом», по выражению А. Фета, не способно заменить отсутствие Бога. В этом городе не осталось не только детей, но и воробьев и собак.

Вернуть жизни жизнь, вернуть душе свет, идеалам — тепло человека — вот что желает сегодня литература, чьи свободные легкие уже не сжимаются от притока воздуха, уже начинают дышать в полную силу.



ЖИЖНОЕ ОБЪОЗРЕНИЕ

СО Д Е Р Ж А Н И Е



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Марина Новицова. Дети барака.— **Сергей Иванов.** О «малой прозе» Искандера, или Что можно сделать из настоящей мухи.— **Юрий Карабчиевский.** «...до бывшей слепоты не унизимся».

ПОЛИТИКА И НАУКА

Петр Чернасов. Государство СС.— **В. Вахрушев.** Когда Адам пахал а Ева пряла...— **Михаил Буянов.** Образцы великих.

Литература и искусство

ДЕТИ БАРАКА

Руслан Киреев. До свидания, Светополь! Повести. М. «Советский писатель». 1988. 527 стр.

Когда едешь ли, летаешь ли в глубину, не единожды кажется: перемещение в пространстве каким-то загадочным образом на глазах оборачивается перемещением во времени. География вдруг превращается в историю; отлистывается назад календарь — пока не станут проступать, будто из забытья, гипсовые пятипудовые шары у парадных учрежденческих подъездов, серебряным выкрашенные бюсты (не Сталина, само собой, но...), вскинутся по паркам реликтовые купальницы с веслом и волейболистки с мячом...

Редкий журналист не обзовет сегодня провинцию бастионом консерватизма, и не только номенклатурно-начальственного. Не всегда упрек справедлив, но я сейчас не о том пекусь. Подумать бы лучше: а откуда он, этот провинциальный консерватизм? Если «у каждого поэта есть провинция», то нет ли своей провинции и у каждого исторического периода? А ежели есть, то во что они — провинция и история — друг другу обходятся?

Существует писатель, который, не претендуя на роль летописца, думает об этом двадцать лет, — Руслан Киреев. Результат его раздумий — итоговый сборник повестей «До свидания, Светополь!».

Автор сам родом оттуда, из провинциального «Светополя», в коем земляки-читатели радостно опознают симферопольскую топографию: набережную Салгира, или, по-киреевски, Ригласа, слободы и балки, кольцом взявшие в обхват крошечный (в послевоенную пору) городской центр, меловые скалы и желтые акации, водохранилище (местное «море») при выезде из города, а дальше — южнобережные курорты, большие и малые... Читателям любо по немногим, но безотказно цепким приметам вычислять киреевскую географию; мне же из-под фабул Киреева слышится тихий песчаный шорох идущей за этими страницами истории.

Не скажу: истории государственного размаха, запечатленной на первой полосе газет, — тут у каждого писателя свой процент допуска. Хотя и процент сам по себе говорит о многом. Можно, к примеру, составить перечень того, чего в книгах киреевских нет. Нет крови — есть лишь вывихи и ушибы души, порой непоправимые; но даже портретируя прилащенный мир Петровской балки, прямого привкуса крови автор старается избежать. Нет гибелей — есть лишь смерти. Нет наций — есть лишь землячество; страннова-

ся и хлопок). А тем временем реальные «светопольцы» с энтузиазмом рыли каждое воскресенье котлован под водохранилище (то самое, киреевское). Водохранилище должно было решить проблему питьевой воды, покончить с очередями к уличным водоколонкам (тем самым, киреевским). Построить его построили, но воды продолжало не хватать, а для купанья «море» было вскорости закрыто по распоряжению санэпидстанции.

А тем временем ночная процессия шла к привокзальной площади, к памятнику Ленину и Сталину (сделан он был по хрестоматийной фотографии в Горках). Площадь высвечивали прожекторы, стояли колонны от предприятий, звучали клятвы, и лились слезы. Позже (опять ночью) одну из фигур с памятника убрали, а уже гораздо позже промелькнуло известие, что фотографии такой в действительности не существовало никогда.

А тем временем на танцплощадках появились девушки в брюках, брюки тут же резали ножницами (не только дружинники — публика тоже). Гостей хозяева с порога спрашивали: «Вы любите Евтушенко?» — и всякий ответ мог оказаться роковым. Школьники просачивались на запретного для них «Фанфана-Тюльпана» и шепотом его пересказывали. (Смотрела недавно этот фильм в ретропрограмме — детская трогательная сказка.) А когда Неру — первый государственный визит из Индии! — подплыла на правительственном катере к Алуште, с берега его приветствовала тысячная толпа, самозабвенно распевая «Бродяга я...».

А попозже были еще совнархозы и «экономические процессы», были макароны по карточкам: белые — для сотрудников со стажем, серые — для тех, кто без него. И была до сих пор неувядающая областная легенда: первый секретарь 70-х Н. К. Кириченко, тудяга и хозяин, с одной неистовой мечтой — накормить, наконец, область. Получил он за то серию взрывов, Героя Соцтруда и скоростную смерть, едва перевалив за шестьдесят.

Много чего было тем временем или, точнее, теми временами. Отчего же не проникнуть оно, мною лишь отчасти перечисленное, из реального Светополя в киреевский? Цензура застойная воспротивилась? Да нет, подобное объяснение — только «сверху» — было бы слишком легким. Не погрешил, нет, не погрешил автор против истины, когда не дал своим светопольцам «языка истории». Потому что история есть, безусловно, нечто проживаемое и пережи-

ваемое, но язык она обретает лишь тогда, когда ее осмысляют.

Вот эту-то историю у Светополя и отнимали. Не в книгах — в жизни, провинциальной жизни от «периода культа» по «период застою», историю отменяли. Отменяли поэтапно: принуждая забывать, вычеркивая из процесса осмысления по очередному куску: было, прошло, хватит об этом.

Помилуйте, разве такое выпадало на долю только провинции? Метрополии, столицам — республиканским или всесоюзной — легче, что ли, было?

Легче не было. Но вариантов было поболее. Запасов душевных про черный день успевало накопиться поосновательней. Прикинуть несложно: куда мог податься подчиненный, восставший против начальника-самодура (бюрократа, протекциониста и т. д.)? Куда — в центре и куда — в провинции? Каков был шанс пережить немилость культурчиновника у столичного живописца (писателя, режиссера и т. д.) и у его областного собрата? Чем оборачивалось изгнание студента из вуза («чтоб не умничал») в центре и чем — в глубинке? В метрополии рубили лес — в провинции даже подлесок.

Поэтому понятие «обстоятельств» такой чугунной тяжестью наливалось для провинциала. Обстоятельства сильнее нас; обстоятельства требуют... Тяжесть эту испытал на себе и автор светопольского цикла. Мало кому известно, что удачливый Киреев самую жесткую свою повесть, «Лестницу», написал еще в 1968 году. Лестница вела на барачный чердак, где тринадцатилетнюю Раю Шептунову растлевают Кожух, склизкий тип с жирными волосами. А Рая ползет туда на ощупь, в темноту и паутину, потому что ей, барачной девочке начала 50-х, так хочется научиться играть на баяне, которым владеет Кожух.

Повесть мыкалась по инстанциям пятнадцать лет; ее плющили издательско-рецензионными бульдозерами; потом она все же вышла, но с ее автором кое-что успело произойти. Он стал «не таким, как все»: без вины виноватым, незащищенным человеком без тени, подобно Петеру Шлемилю у Шамиссо. И это ощущение «не такого», за беду свою как бы просящего прощения, потянется по всем повестям Киреева.

Два вопроса. Беда или все-таки вина движет полувезучими, полуневезучими киреевскими светопольцами с их полусостоявшимися полусудьбами? Где их собственный Главный Поступок — крутой и крупный, жизнь переворачивающий, молнией истории свершителя своего освещающий? Ведь

(второй вопрос) знаем же мы полустанки Айтматова, хутора Быкова, деревеньки Распутина — они ли не глубинка, не глухоманная провинция? А умеют же на равных говорить с «обстоятельствами», с «веками и мирозданием»?

Умеют, ибо на то им язык дан. Язык народной традиции прежде всего. С конкретными социологическими или экономическими «проклятыми» проблемами новейшей истории справлялся он не всегда: похоронное шествие Едигея или затопление Матёры тому свидетельство. И все же в самых горьких ситуациях, под прессом самых безысходных «обстоятельств» можно было на этом языке сказать о жизни, смерти, бессмертии. О смысле всего сущего и твоего личного существования.

Когда, уединившись в волжской деревне, создавал Киреев свою повесть о Рае Шептуновой, бабка-хозяйка все изумлялась: что за каторга такая — сидеть ежедневно за столом и бумагу исчеркивать? И божилась: да ни за какие сокровища она бы за это дело не взялась... Эпизод этот сам Киреев вспоминает в беседах с полугрустной усмешкой. Не оттого ли грусть, что у волжской-то старушки язык для разговора с белым светом был. Хотя бы язык фольклорный: песню на нем споешь, сказку мальчикам расскажешь, притчу или приговоре приведешь — вот душа и выговоришься. И молитва, исповедь Едигея или старухи Дарья ту же роль играла — не «перезитка», а карты бытийной. На которой самое что ни есть заброшенное селенье, самая растерявшаяся в повседневном сумбуре душа находила место свое и меру. Себя проверяли, соотнося с масштабами тысячелетий.

То есть в этом тоже была их история, каковая и немислима без бытия, не просто быта. Если у светопольцев киреевских усыхали язык и ощущение истории, так оттого, кроме прочего, что и до бытия им добраться было некогда: поденка завертела.

Но есть же заповедная черта, на которой от встречи лицом к лицу с бытием не отвертишься? Человек, слава богу, живет один раз и умирает. (Жутко представить, как разматал бы, растранижил он себя, даруй ему природа на земле персональное бессмертие.) Умирают ведь и киреевские подопечные на страницах его книг?

Случается. В повести «Посещение» это составляет даже основной сюжет: как проводит последние дни бывший диспетчер таксопарка, бывший солдат (с неизлечимым туберкулезом после ранения), а ныне хо-

дячий скелет — приговоренный к смерти Сомов. Здесь все негромкое сопротивление «обстоятельствам», весь злой барачный оптимизм в фокусе сошлись.

И что же? Успеваешь Сомов многое. И таксистов своих, на волю вырвавшись, навестить; и старую, несложившуюся любовь, Индустрию-Инду, согреть прощальной вспышкой тепла; и в бильярд сыграть; а главное — внучке, лучику своему в распотрошенной неурядицами семье, куклу купить. И мы его полюбить успеваем горестной любовью-жалостью. А потом привозит его «скорая» назад, в больницу, к палатной медсестре. И не в силах уже двинуться, в одном только меркнувшем воображении проводит он мысленно ладоны «по воспитательному женскому заду». Точка.

Кому как, а мне страшно. Не комично, не печально, не ухмыльно — страшно. По профессиональной привычке критика отмечаю ласковую, психологически неопровержимую беспощадность прозаика к своему персонажу, а думаю не о персонаже — о человеке. До чего же должна была сплющиться, обузиться, ампутироваться его душа, чтобы так выходить на последний свой рубеж.

Вина это все же или беда? И то и другое. В среднем, конкретно-историческом, конкретно-географическом, конкретно-социологическом масштабе — скорее всего беда. Человек — продукт своей среды, утверждают ученые. Вся немислимая (и, однако же, зримо нам явленная) дистанция между человеком, каким он мог бы стать в лучшем своем проявлении, и человеком, каков он есть при духовной безопорности, — вот она: Сомов. Вот какие исторички подбрасывает безбытийность, «безысторичность».

Но полно: продукт ли только человек? Не среда ли в равной мере его продукт? Культ и застой несут вину за светопольцев, однако вдумаясь: экономика вынуждена была в застое «стоять», общественные отношения — тоже, но каждая отдельная биография человеческая стоять попросту не может. Другой биографии не будет. Что сделано (а еще важнее: что не сделано, не выстрадано, не выстроено в тебе самом), того не воротить. И никакие ссылки на застой ничего взамен в тебе не сотворят. Поэтому в большом масштабе ни среда, ни обстоятельства не отменяют вины человека перед собою как «частичкой бытия» (А. С. Пушкин).

Если даже смерть не обращает его к этой древней, краеугольной мысли, то есть

и другое универсальное напоминание — дети.

В киреевской Светландии дети, подростки, юные сыновья и дочери исполняют особую функцию: ими киреевский мир испытывается. Как бы далеко ни отошел этот мир от народно-эпического жизнеощущения, дети — последний эпос Светополя. А на фоне сносимых бараков и тающих воспоминаний, вероятно, уже последнее прибежище и автора. Но дети — это и его категорический императив.

С детьми, взрослеющими детьми, героирассказчики светопольских повестей сами возвращаются в детство. Упаси бог предположить под этим идиллию: как раз наоборот. С детьми они возвращаются в возраст (и состояние бытия), когда от больших вопросов некуда деться. Когда только они и есть настоящие вопросы. Выращиваем аквариумных рыбок — и решаем проблему сосуществования со злом. Недобираем двух баллов в институт — и ставим вопрос о «маленьком человеке», маленьком таланте в огромном жизнестрое. Обмениваем марки — и воюем за любовь, и утрачиваем любовь, оставаясь в безжизненном житье-бытье. И каждый день, каждый шаг все поставлено не «на глобус» даже — на Космос, даром что не покидая провинциального Светополя и даже одного светопольского двора.

Эти нефигуральные дети бараков (коммуналка, многоэтажек «хрущоб» и т. д. — сообразно времени действия) не признают ни барачных «обстоятельств», ни застойного забытья, когда вся история словно бы впадала в анабиоз. У этих маленькие ответы на большие вопросы мироздания вообще не котируются. Дети попросту не понимают, как можно человеку жить маленьким «амбивалентным» героем, отрекшимся от обязанностей царевича-воителя и скромно не мерзкопакастничающим на своем скромном житейском участке, — и это когда есть Василиса Премудрая, с одной стороны, Кощей Бессмертный, с другой?..

Запинки в речи, краска в лице, автоирония и самосуд — все это появляется у киреевских героев именно в эпизодах с детьми. Как только возникает страх утраты — уйдут дети! Вот-вот уйдут, замкнутся от тебя. Самое же пугающее — если удалятся они не от взрослых, а во взросле, подставляя герою его же собственное отражение. Не желает даже влиятельный в

гастрономических кругах Светополя Аристарх Иванович (повесть «Приговор») увидеть сына «достойным» своим продолжателем.

«Юность — это возмездие». Слова, которые Блок вынес эпитафией к поэме о родине на переломе времен. Юность нынешних 80-х узнала то, чего не знали «отцы», — в том числе касающееся провинции. Она увидела провинциальный Чернобыль, провинциальный Сумгаит, провинциальный Арзамас. Юность стала свидетельницей не только того, во что обходится провинция и история (хотя бы временный обморок истории), но еще и того, во сколько обходится истории провинция. И экономическая. И социологическая. И — первопричина всех причин — обуженность, «глухомань» духовная.

Этого юность уже не сможет забыть.

Впрочем, «амбивалентные» герои, за которых досталось Кирееву от критики, забеспокоили и его самого. «У бы в а н и е героя» — так назвал он недавнюю статью и явление, в ней исследуемое («Вопросы литературы», 1986, № 7). Он, правда, еще обороняется: «Но ведь и во многих других книгах, причем книгах талантливых, герой предпочитает оставаться на некоей нейтральной полосе. Шаг в одну сторону, шаг в другую...» Он еще отстаивает философию «сдержанности» в добре: «мир ныне слишком хрупок... чтобы по нему могли безназорно странствовать шальные рыцари. Ветряных мельниц нет больше».

Это верно. Мельниц больше нет. Есть четвертый блок Чернобыльской АЭС. И есть юность, глядящая на нас со смешанным выражением язвительного неверия, отчаянного поиска веры, непрощающего спроса. Взгляд этот киреевские взрослые чувствуют кожей: честности у них, как и у автора, не отнимешь.

Сборник озаглавлен прощально, однако в прощании со Светополем проскальзывает нотка неуверенности: может, придется еще свидеться? Думаю, придется. Думаю, автор искренне заблуждался, полагая, что сборником своим подводит черту. Все только начинается. Логика истории, спрос бытия, оклик души еще заставят автора обернуться к себе и вернуться к своим светопольцам.

Марина НОВИКОВА.

Симферополь.

О «МАЛОЙ ПРОЗЕ» ИСКАНДЕРА, ИЛИ ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ МУХИ

Фазиль Искандер. Три рассказа. «Юность», 1988, № 2; Два рассказа. «Знамя», 1986, № 12; Кролики и удавы. Философская сказка. «Юность», 1987, № 9; О движении к добру и о технологии глупости. «Литературная газета», 1986, 30 июля.

По-прежнему самое заметное свойство Искандера — юмор. Довольно редкой разновидности, очень... настоящий, что ли. Смешное у него рождается словно бы из ничего, являясь всегда неожиданно. Однажды еду в пригородной электричке, читаю томик Искандера. Сосед завистливо спрашивает:

— Над чем смеешься?

— Ну...— начинаю пересказывать,— тут один петух приманивает курицу зерном. Она находку склевывает — и наутек. А он догнать ее не может. Жутко смешно пишет.

Однако мы оба удивлены: потешаться тут, собственно, не над чем. Заглядываем в книгу.

«Чаще всего это была опрятная белая курица, худенькая, как цыпленок. Она осторожно подходила к нему, вытягивала шею и, ловко выклевав находку, пускалась наутек, не проявляя при этом никаких признаков благодарности. Перебирая тяжелыми лапами, он постыдно бежал за ней, но и чувствуя постыдность своего положения, он продолжал бежать, на ходу стараясь сохранить солидность. Догнать ее обычно ему не удавалось, и он в конце концов останавливался, тяжело дыша, косился в мою сторону и делал вид, что ничего не случилось, а пробежка имела самостоятельное значение».

Юмор Искандера не поддается вольному пересказу, ибо комический эффект у него достигается единственными лезвиями-словами. Можно было бы говорить о его причастности к традиции гоголевского смеха, если бы... такая традиция, как мне кажется, не обрывалась сразу же после Гоголя.

В данном случае масштаб сравнения меня не смущает. Искандер говорит:

— Талант — это количество контактных точек соприкосновения с читателем на единицу литературной площади.

В области комического по количеству таких точек он вряд ли уступает кому-либо из писателей прошлого или настоящего.

Вполне естествен вопрос: чем заняты его герои? Наверное, их жизнь изобилует курьезными событиями?

Чаще всего они ничем не заняты. Откровенно бездельничают на многих единицах литературной площади. Например, тетушка

Хрисула в рассказе «Харлампо и Деспина» («Юность», 1988, № 2) наблюдает за нравственностью своей племянницы-невесты, едва успевая за время семистраничного наблюдения разок-другой полакомиться жиром. Или вот еще интрига: компания дяди Сандро собирается за столом и разводит ляй-ляй конференцию... В этом ряду достаточно медлительная философская сказка «Кролики и удавы» кажется остро сюжетным повествованием. М-да, не густо...

Не густо?! Совсем наоборот. Просто в своем познании человеческой природы мы переходим на более глубокие уровни — «молекул», «атомов», «элементарных частиц»; время там течет медленнее, но красками открывающийся мир не обделен. Интересно вслед за писателем поупражняться в искусстве фиксировать все и вся, каждый жест, каждый шаг, каждый полумек.

«Он (важничавший профсоюзный деятель.— С. И.) стучал в стекло, а потом тыкал пальцем в высоко поднятый портфель...»

Почему это функционер, штурмуя переполненный автобус, показывает водителю свой портфель? Может быть, он и сам не объяснит этот жест. Но мы-то можем вывести его на чистую воду.

«...стараясь внушить шоферу, что не он сам по себе спешит, а содержимое портфеля требует немедленного перемещения. И шофер сдался, его доконал этот фельдшерский жест».

Количество подобных расшифровок в прозе Искандера рекордно высоко. Они, собственно, определяют ее своеобразие, более того, являются условием ее существования. Сам писатель, становясь искандероведом, говорит:

— Я делаю из мухи слона, но муха должна быть настоящей.

Выискивая смешное там, где мы привыкли видеть лишь скуку, Искандер не особенно нуждается в интриге. Ему не нужен дармовой, падающий с неба комизм! Писатель явно тяготеет к интенсивному юмору, которому внешние эффекты мало что прибавляют.

...Он одержим страстью к обобщениям, расширительному толкованию неприметных, казалось бы, событий.

«Вдруг он (профсоюзный деятель, оказавшийся в одной дружеской компании с

автором.— С. И.) поманил меня. Я вскопчил, показывая, что давно созрел для конспирации. Отведя меня в уголок, он стал договариваться со мной относительно новой рыбалки... Мне показалось странноватым, что он шепчется со мной о таких пустяках, тем более что рыбалка не имела ни малейшего браконьерского оттенка.

В авторе просыпается охотничий инстинкт. Интуиция подсказывает, что он столкнулся с определенным типом людей. С каким-то явлением, которое нужно немедленно осознать. Он начинает прокручивать в мозгу прошлые встречи с профсоюзным деятелем, и — эврика!

«Он был носителем Тайны...»

Ключик к образу подобран. Теперь Искандер принимается за изготовление «слона»: «...носитель Тайны, носитель неведомой информации всегда нам кажется умней, чем есть... Обыкновенное здравое суждение носителя Тайны мы склонны воспринимать как большую мудрость. А глуповатое мы склонны оправдывать тем, что главные умственные силы у него уходят на более важное дело. На Тайну. Один молодой ученый долго настаивал на том, чтобы защита его диссертации проходила при закрытых дверях... ему в этом отказали — и диссертация с треском провалилась. Тайна не состоялась... Тайна вполне гуманно оберегает слабый ум от столкновения с сильным умом».

Его наблюдения, столь же острые, сколь и возвышенные, часто утрамбованы до размеров афоризма.

— Когда человек ощущает свое начало и свое продолжение, он щедрей и правильной располагает своей жизнью и его трудней ограбить, потому что он не все свои богатства держит при себе...

— Скупой человек может быть умным, может быть талантливым, но он не может быть обаятельным. Обаяние есть форма выражения щедрости...

— Мудрость — это ум, настоянный на соеве...

И так далее. Любопытно, что выводы свои Искандер никому не навязывает. Вы можете с жаром броситься их опровергать — он же, слушая вас, будет невозмутимо попивать кофе, а потом переведет разговор на другую тему.

Нет, Искандер не записной юморист, он прежде всего любомудр. Его юмор — часть его мудрости, а может быть, оригинальная форма извинения за избыток мудрости. Когда читаешь его, думаешь, что смешное не продукт специфического жанра, а заключительная стадия познания истины, ста-

дия, которую просто не все достигают. Если вы сумеете сказать о многом в немногих словах, получится смешно.

Повествователь у Искандера независимо от своего возраста — вечный ученик. Он бросает взгляд как бы первооткрывателя на ту досконально известную автору «муху», из которой должен получиться настоящий «слон». Для иллюстрации обращаюсь к рассказу «Дядя Сандро и раб Хазарат». («Юность», 1988, № 2). В нем есть мудрость, отточенная до юмора, юмор, переливающийся в грусть. Это своеобразная менделеевская таблица со всем набором элементов творчества Искандера, о которых я успел упомянуть.

Его герои выходят на сцену с изумительной простотой. И сам автор — среди них.

«Итак, мы в верхнем ярусе ресторана «Амра». Действующие лица: дядя Сандро, князь Эмухвари, мой двоюродный брат Кемал, фотограф Хачик и я. Цель встречи? На такой следовательский вопрос я бы вообще мог не отвечать, потому что цели могло и не быть».

А несколькими абзацами ранее Искандер изучает взглядом неофита... Пизанскую башню. Пока непонятно, какое она имеет отношение к кому-либо из собравшихся. Но такая связь есть.

«Кстати, о Пизанской башне. Разглядывание ее во всяких альбомах и на любительских снимках всегда вызывало во мне безотчетное раздражение... Я считаю так: если ты Пизанская башня, то в конце концов или рухнешь, или выпрямись! Иначе какой воодушевляющий пример устойчивости для всех кривобоких душ и кривобоких идей!.. Я думаю, существует болезнь века, которую еще не открыли психиатры и которую я сейчас открыл и даю ей название — комплекс Пизанской башни... Современный человек чувствует неустойчивость всего, что делается вокруг него. У него такое ощущение, что все должно рухнуть и все почему-то держится. Окружающая жизнь гнетет его двойным гнетом, то есть и тем, что все должно рухнуть, и тем, что все еще держится».

Теперь во всеоружии новонайденного «комплекса» Искандер возвращается на веранду ресторана «Амра» и первооткрывательски вглядывается в своего двоюродного брата Кемала.

«И вот человек с этим пизанским комплексом, встречаясь с Кемалом, чувствует, что в этом мире, оказывается, еще есть явления и люди прочные, крепкие, надежные. И человека временно отпускает гнет

его пизанского комплекса, и он отдыхает в тени Кемала и, естественно, старается продлить этот отдых».

В этом месте я явственно слышу металлический звук, который издает замок сейфа, если код набран правильно. Мне, читателю, тоже нашлось место в ресторане «Амра», в тени Кемала. Все в сборе, теперь начинается обычный для Искандера «декамерон».

Мудрость автора, не боюсь повториться, замечательна тем, что она всячески маскируется, стыдится выглядеть очень уж мудрой. Абхазский весельчак и мыслитель дядя Сандро любит облекать свои находки в простоватую форму:

— Человек, который все имел, а потом все потерял, еще сорок лет чувствует себя так, как будто он все имеет. А человек, который был нищим, а потом разбогател, еще сорок лет чувствует себя так, как будто он чипший.

Или — в качестве морали к повествованию о рабе Хазарате (не сразу смекнешь, насколько она глубока):

— Я понял: раб не хочет свободы, как думают люди, раб хочет одно — отомстить, затоптать того, кто его топтал.

Из трех новелл, предложенных читателю, последняя — самая искандеровская. Конечно же, в ней нет интриги. Тогда о чем она? О беспечном юноше по имени Вахтанг, добродушно проматывающем капиталы папаша, директора торгового дома. О пизанском коварстве человеческого счастья, построенного на потреблении.

Восхищаясь Вахтангом, мальчик, от лица которого ведется повествование, восхищается праздником жизни, куда он, мальчик, пока не допущен. Соседи по улице лобуются видимой гармонией в семье директора торгового дома. Кому какое дело, как закладывает фундамент благополучия папа Вахтанга в дневные часы? Главное, что на их улицу он ступает добропорядочным гражданином. Его обсуждают:

— Мог бы, как нарком, на машине приехать...

— Не хочет — простой.

Вечерами простые папа и мама Вахтанга сидят на красивых стульях у калитки и, поджидая вольного, как ветер, сына, вяло едят арбуз. В таких случаях тетюшка рассказчица заговаривала с ними по-грузински, хотя и они и она прекрасно понимали по-русски. «И это тогда так осознавалось: с богатыми принято говорить на их языке» (тут мне хочется пожалеть бедную тетюшку, не ведавшую, что находится

под колпаком у своего домашнего Шерлока Холмса).

Не странно ли, что обитатели улицы так любили смотреть на эту «витрину достигнутого счастья»? Или они были начисто лишены зависти?

«Конечно, все они или почти все стремились в жизни к этому или подобному счастью. И все они были в той или иной степени биты и потасканы жизнью... И они, любуясь красивым домом, садом, благополучной жизнью семьи Вахтанга, были благодарны ей хотя бы за то, что их мечта не была миражем, была правильная мечта, но вот им просто не повезло».

Принципиально, что в повествовании Искандера об устричном существовании этой семьи нет обличительных нот. У него сейчас другая задача, не обличительная.

...С нелепой гибелью Вахтанга «витрина» разбивается. Веселая ирония рассказчика сменяется грустью, ибо родительская драма не повод для шуток. Но грусть у него тоже, я бы сказал, «аналитическая».

«Почему-то меня непомерностью горя подавила не мать Вахтанга, непрерывно плакавшая и кричавшая, а отец. Застывший, он сидел у гроба и изредка с какой-то сотрясающей душу простотой клал руку на лоб своего сына, словно сын заболел, а он хотел почувствовать температуру. И дрожащая ладонь его, слегка поерзав по лбу сына, вдруг успокаивалась, словно уверившись, что температура не опасная, а сын уснул».

Лица обитателей улицы, которые приходили прощаться с покойником, выражали, помимо сочувствия, некоторое удивление и даже разочарование. Юный наблюдатель вычитывает в них вопрос:

— Значит, и у вас может быть такое ужасное горе?! Тогда зачем нам было голову морочить, что вы особые, что вы счастливые?!

Жизнь сама, не нуждаясь в авторских назиданиях, доказала какую-то неистинность прежнего существования семьи Вахтанга. Рассказчику же осталось подвести короткое резюме. Стоя у гроба своего кумира, он понял, что не всякий праздник прочен, что жизнь должна иметь глубокий смысл. Искандер вполне убедил меня, читателя, что прочности внешней без прочности внутренней не бывает.

...Не помню уже первого своего впечатления от философской сказки «Кролики и удавы». Перечитывая же ее, заметил за собой, что на сей раз каламбуры и прочие усмешливые детали проскакиваю глазами. А вот некоторые наблюдения авто-

ра, прямо-таки экспертизы в области человека!.. простите — удавей и кроличьей психики кажутся просто поразительными.

Меньше всего склонен видеть в «Кроliках и удавах» кальку с какого-то конкретного общественного устройства. Иногда автор вплотную подходит к знакомой нам реальности, иногда уходит от нее. Прежде всего он исследует мир, где сильный «обрабатывает» слабого (или слабый — более слабого), и важнейшие аффекты, позволяющие это сделать. Например, с кропотливостью художника-мультипликатора разбирает он тезис: «Психология кроликов так забавно устроена, что доносящему кролику проще доказать, что невинный кролик устроил заговор против Короля, чем доказать, что тот же невинный кролик подворовывает на складе королевскую морковь».

Полагаю, не все психологические линии автором «Кроliков и удавов» выписаны одинаково ярко. Так, создается впечатление, что власть в кроличьем королевстве схвачена у него лучше, чем оппозиция. Но кредо оппозиции (Задумавшегося) сформулировано по-искандеровски точно:

— Мореплаватель не может ориентироваться по падающим звездам.

...Предвижу вопрос: ну вот открыл Искандер, пользуясь чудесным своим микроскопом, слабость человеческую, социальный порок или даже «технологию глупости». Для чего он это сделал? Чтобы потешить читателя? Ведь показав негатив, он тут же подбирает коточки.

Не слишком ли Искандер улыбчив? Не снижает ли его незлобивость остроу даже беспорно смелых сатирических произведений?

Думаю, дело здесь не столько в его личных особенностях, сколько в генетическом свойстве той разновидности юмора, что применяется им, а именно: иронии, которая подразумевает игру с читателем, поддразнивание его. Ироничный автор редко выносит приговор миру; он тщательно подбирает свидетельские показания, чтобы читатель оценивал их в соответствии с собственным моральным кодексом. А тот, становясь «присяжным заседателем», вдруг замечает, что у него нет возможностей для маневра. Вывод возможен только один: виновны! И может быть, не столько конкретные персонажи, сколько виновен всеобщий порядок, заставляющий их кривляться и браться за несвойственные им роли.

В давнем рассказе Искандера «Начало» есть слова: «...чтобы овладеть хорошим юмором, надо дойти до крайнего пессимизма, заглянуть в мрачную бездну, убедить-

ся, что и там ничего нет, и потихоньку возвращаться обратно. След, оставляемый этим обратным путем, и будет настоящим юмором».

И все-таки сомнение, не слишком ли улыбчивым подчас бывает писатель, по сути своей правомочно. Кажется, иногда Искандер принимается шутить оттого только, что стесняется высокого в своей душе...

В поступках героев «Чегемской Кармен» («Знамя», 1986, № 12) чувствуется волюшка — древняя, как то святилище, что обнаружил в горах один из них, ученый. У каждого в характере есть нечто дикарское. Дитя европейской цивилизации Андрей, обдумывая способы отомстить неверной Зейнаб, решает заколоть ее кинжалом. А та, при всех своих современных пороках, воистину Кармен: знает о замысле супруга, но как ни в чем не было отправляется с ним в загородную прогулку («убьет — не убьет»). Обаятельный мафиози Даур падает в обморок оттого, что не может продыривить обидчика (древний обычай запрещает гостю портить торжество). Он носит элегантные костюмы, разъезжает на автомобиле, но в сущности той же крови, что и лермонтовский Казбич. «Когда ты писатель и ведешь всю жизнь долгую, кропотливую, осадную войну, такой характер не может не привлекать», — замечает автор.

Мне дорог рассказ чудными лирическими страницами. Восторженность без оглядки, ничем не маскируемая, — редкое состояние Искандера-повествователя.

«Альпийские луга — это вечная весна посреди лета, которую природа припрятала для себя, чтобы не забывать, с чего она начинала. Это струенье легкого меда цветущих трав, настоящее на льдах вершин. Это запах цветов в самом чистом виде, потому что здесь уже исключены всякие другие запахи. Кухня земных запахов осталась далеко внизу. А этот запах хочется глотать, сосать, держать за щекой его свежесть, как в детстве прохладную сладость леденца. Ты пьешь и пьешь его и удивляешься, что он не кончается, потому что там, внизу, мы привыкли, что все прекрасное недолговечно».

Но вскоре писатель спохватывается и гонит от себя дар лирика.

«Посыпался град. С какой-то бесовской точностью градины угадывали, где именно под буркой расположена моя голова, и достаточно больно лупили по ней. Мне показалось, что расположение головы Андрея под буркой они хуже угадывают, и это

было почему-то обидно. Я потихоньку сдвинул голову под буркой... Несколько секунд градины били мимо моей головы, ограничиваясь головой Андрея как главного виновника нашего похода».

Я, конечно, улыбаюсь. Но какось, несколько досаду на рассказчика за то, что мое лирическое настроение сбито этой мельтешней под буркой. Слишком велик перепад. Как ни ценю именно переменчивого, умело заговаривающегося Искандера, как ни привык относиться серьезно к его юмору, очень люблю, когда он оставляет в моей душе долгое лирическое и тревожное эхо...

...Несомненно, Фазиль Искандер трудится в сложнейшем жанре, ибо говорит о простом, размышляет о материях, в кото-

рых и читатель чувствует себя докой. Что бы быть интересным, ему нужно открывать, открывать и открывать. Если не додумает мысль, не дошлифует слово — глядишь, публика потеряет интерес к его «мухе». Увлечется игрой ума, забудет вовремя поставить точку — результат будет тот же.

Но тут я хочу оговорить за собой право не толковать больше о его относительных неудачах. Замечено, что, если читатель полюбил мир, созданный фантазией художника, для него исчезает само понятие неудачи, поскольку таковая воспринимается как заготовка к будущему яркому произведению. Я — в роли такого читателя.

Сергей ИВАНОВ.



«...ДО БЫЛОЙ СЛЕПОТЫ НЕ УНИЗИМСЯ»

Константин Симонов. Глазами человека моего поколения (Размышления о И. В. Сталине). «Знамя», 1988, № 3—5.

Как назвать мне мое поколение — перед войной родившихся, переживших войну в тыловых многолетних бараках и пошедших в школу в первом мирном году? Предвоенным, военным, послевоенным? Как ни скажешь, все выйдет вокруг одного и того же.

Мы жили бедно, имели всего понемногу. Было у нас два десятка песен, три танца, четыре фильма, четыре писателя и один любимый поэт — Константин Симонов.

«Я вас обязан известить, что не дошло до адресата... Подписан будет мир, и вдруг к тебе домой... Шаг к двери — заперто. Шаг к лампочке — темно. И шаг к тебе, чтоб быть с тобою рядом... Мне хочется назвать тебя женой... Кто не ждал меня, тот пусть... Он вновь по гроб нам будет мил, пусть просто скажет: — Я там был».

Говорят: это будто писало само время. Я сказал бы так: это будто мы сами писали. Все, что нам в то время хотелось бы высказать — было высказано нашим первым поэтом, просто и исчерпывающе полно, так, что оставалось только цитировать или читать целиком наизусть, что мы и делали, и не только с эстрады, но и в узком, и в самом узком, на двоих, кругу.

В День поэзии, в 1956-м, я заранее узнал, где будет Симонов, туда и пошел. В книжном магазине в Охотном ряду народу было — не продохнуть, все пришли, чтобы увидеть и услышать Симонова. Он стоял прямо на прилавке, расставив ноги, светлая куртка темнела пятнами пота, он

был мужественно красив и читал, благородно грассируя, одно из последних: «Дом друзей, куда можно зайти безо всякого, где и с горя и с радости ты ночевал...» Магазин все-таки оказался мал, мы вышли в сквер университета, и там у памятника Ломоносову я впервые увидел нового поэта — молодого, лобастого Евтушенко, которому на ближайшие пять-шесть лет было суждено стать самым близким и самым нашим. Он прочел стихи про первомайскую демонстрацию, такие, как казалось тогда, революционные, да они такими и были, что ж тут язвить... И лукаво заменил на ходу строчку, подставив Симонова вместо министра: «...И то, что Симонов — пешком...» Это вызвало смех огромной аудитории и сблизило всех еще больше, хотя куда уж... Но это было и прощание с Симоновым. И шуточная строчка Евтушенко, и сам Евтушенко, и прочитанные к тому времени Другие Поэты не то чтобы зачеркнули и уничтожили, но как-то приглушили и оттеснили. Константин Симонов отошел в сторону. Нет, он не был пересмотрен, переоценен, отринут, просто отошел в сторону, в прошлое...

Между тем он продолжал существовать и в настоящем — как носитель имени, государственней деятель, автор романов и киносценариев. Имя его нет-нет да отсвечивало тем романтическим блеском юности, слегка оживляя серые списки начальственных лиц; у романов были свои читатели и тем более зрители — у кинофиль-

тые, угадываемо многонациональные фамилии светопольцев по-гриновски «денационализированы», а топонимы по-сказочному перевернуты. Нет сообщества, которое было бы вправе носить имя народа,— есть отдельные люди, предпочтительнее — соседи: по бараку, на крайний случай по округе. Нет должностей, а пуще всего «ответственных»; нет профессий даже, к упомянутой «ответственности» (пусть потенциально) приближающихся. Все больше торговцы гивом, уборщицы, железнодорожные проводники, сварщики, столяры, парикмахеры; отнюдь не первый в городе адвокат Федуличева (повесть «Черная суббота») или далеко не главный режиссер местного драмтеатра Капсулов (повесть «Песчаная акация») — это уже «значительные личности», как насмешничает одна из героинь книги, бывшая «шлюха барачная», по несправедливо-ругательному определению вздорной соседки.

Жанна не шлюха, отнюдь. И Зинаида, и Рая Шептунова, и приятельница ее, самая подмоченная по части женской репутации, Ника. Несказанно удивилась я, прочтя в одной из недавних дискуссий реплику Киреева: как — еще давно — пытался он сказать в своих повестях о проституции. Удивилась и, да простит мне автор, не поверила. Это в «Интердевочке» речь о проституции, а здесь — о другом: о бараке.

Разумеется, барак не единственное место действия киреевской Светландии и обитатели барака не исключительно присутствующие в ней персонажи. Точки отсчета заметил сам автор: барачное «строение, длинное и приземистое, возведенное еще до войны, располагалось в двух кварталах от нашего двора, где-то на полпути к Петровской балке, дурная слава о которой шла по всему Светополю». Балка — забубенный светопольский ад; барак — веселое и буйное чистилище; а уж «наш двор», при всем том, что население его тоже выкручивается из послевоенной нужды, нося вещи на толкучку,— это уже подобие благоприличного рая. Центр же — городской эмпирей, куда дано будет перенестись из балок, барачков и тесных дворов немногим, да и во времена куда более поздние.

Барак — свод коммунальных заветов, оплот жизнестойкости, неизменная оглядка «сорокалетних» киреевских героев. Так что все они в этом смысле дети барака.

Но где же тут история? Пусть, положим, не эпическая, «толстовская», а малая, «чеховская»? Не зря ведь Чехов — постоянный предмет киреевских интервью и эссе, «его» классик. Не только и не столько чеховский

стиль в том повинен, сколько чеховская «провинциальность», чеховский нешумный резистанс против атаки «обстоятельств», чеховская хрупко-иступленная «безопорная духовность» (беря эту формулу у Л. Аннинского, приложившего ее, правда, к «мальчикам 1950-х»).

Когда-то задавала я Кирееву «наивные» вопросы: а каковы его светопольцы на работе? (Информативно об этом по ходу сюжета сообщается; эмоционально — пробел и проброс.) Или: а какие они были в школе? (Не только с неформальной, переменно-дворовой стороны, но и со стороны формальной, официальной, поурочной — для поколения сорокалетних отнюдь не столь внешней, как для нынешних акселератов.) Или: а какие газеты они читали от годов 40-х до годов 80-х и как обсуждали их на лавочке? (Ведь это и Петровской балке не чуждо.)

Сейчас я тех вопросов уже не повторяю. Не произнесу и вывода, который вроде как бы сам напрашивается,— нет у Киреева истории. Быт есть, биографии есть: с керовгазами и водоколонками 40-х; со слиянием мужских и женских школ, с угасающим «бананово-лимонным Сингапуром» и надвигающимся «Бесамэ мучо» 50-х; с современными «отцами», кому все-то хочется задержаться в рассерженных молодых, и «детьми», кто душой повзрослел в обгон своих предков и глядит на них как на стареньких юнцов...

Больше того. Еще раз вернусь к тому, что осталось за кадром киреевской хроники, но вошло в летопись реального «Светополя». Однако не для укоров автору уточню, а для читателя. Чтобы мог он увидеть, как и из пробелов именно и слагается незримо властвующая в книгах Киреева история.

Одно из стихотворений польского поэта Циприана Норвида называется «А тем временем». Итак, пока торгуют, женятся, расходятся, усыновляют пасынков, играют на аккордеоне, а впрочем, и дают юридические консультации, и ставят в театре «Царя Федора Иоанновича» светопольцы вымышленные, вспомним, как жили тем временем «светопольцы» реальные.

А тем временем в первые же послевоенные годы исчезло в одночасье областное руководство с первым секретарем во главе, был он переведен из Ленинграда,— ликвидировались «последствия кузнецовщины». А тем временем на полях вокруг «Светополя» сажали лимоны, зимой они сплошь вымерзали, весной высаживались заново (с той же неумолимой энергией внедря-

мов. Но вышло так, что для меня лично «Дни и ночи» стали первой и последней прозой, примыкавшей, впрочем, к военным стихам и даже отчасти в них растворявшейся. Дальше я Симонова не читал — не возникало такой необходимости. По статьям, выступлениям, заявлениям, предисловиям, краем глаза замеченным, краем уха услышанным, складывался малопривлекательный образ человека, быть может, по своему честного, но предельно сдержанного и сухого, ограниченного в каждом слове и каждом движении. Он мог порой вызывать любопытство — но уж никак не любовь.

Так было все эти тридцать лет, и вот — новый журнал «Знамя», Константин Симонов: «Размышления о И. В. Сталине»...

Размышления этого, второго Симонова о чем бы то ни было читать не хотелось. Размышления о Сталине очевидца, хочешь не хочешь, надо было прочесть. Но, конечно, как ожидалось, так все и вышло.

Тягостное это оказалось чтение. Нет, не из-за Сталина — из-за Симонова, а верней, из-за собственных тщетных попыток увидеть живое лицо автора, услышать его интонацию, угадать позицию. И не только по отношению к Сталину. К жизни, к людям, к самому себе... Но, конечно, и к Сталину.

«Что же хорошее было связано для нас, для меня в частности, с именем Сталина в те годы? А очень многое, почти все... Он мало говорил, много делал... Говорил он ясно, просто, последовательно; мысли, которые хотел вдолбить в головы, вдалбливал прочно и, в нашем представлении, никогда не обещал того, что не делал впоследствии».

Так понемногу начинает раскручиваться главная тема. Но пока еще это — те годы, в том представлении (хотя как-то уж очень близко изложено...). Ну а как сегодняшней, конца 70-х, зрелый Симонов относится к Сталину? Неужели любит по-прежнему? Да вроде бы нет...

«...Я давно по-другому отношусь к Сталину. Вижу и великое, и страшное, что было в нем, понимаю на свой лад меру содеянного им — и необходимого, и ужасного, но ничего похожего на чувство любви к нему у меня не сохранилось».

Что это значит? «На свой лад» — это, видимо, значит и так и так, и необходимое и ужасное. Ну а «ничего похожего на чувство любви» — это что же такое в положительном смысле, на что похожее?

Да нет, не надо тревожиться, все как будто в порядке, он, конечно, осуждает и возмущается... но как-то все странно.

Вот он вроде бы с искренним ужасом, можно поверить, рассказывает об иезуитском спектакле вокруг судьбы Степана Злобина, когда Сталин демонстрирует свое всеислие: «Простить?.. не простить?..»

А вывод такой: «...способность в некоторых обстоятельствах быть большим, а может быть, даже великим актером была присуща Сталину и составляла неотъемлемую часть его политического дарования».

Вот он осуждает приказ Сталина вставить в фильм безвкусию, помпезную сцену собственного триумфа — но как неуверенно он это делает (или, может, как раз наоборот, изощренно?) и скорей удивляется, чем осуждает: чего это Сталин, зачем это он, напрасно, не надо...

«Кто знает, почему Сталин при его уме и иронии... Если это так, то за этим стояло высокомерие, презрение к простым людям, якобы неспособным понять его роль в истории» (разрядка здесь и далее моя. — Ю. К.).

Так в пределах одного абзаца, одной фразы мечется Симонов — не молодой и наивный, а трезвый, зрелый, переосмысливший — в поисках настоящего Сталина. Мечется, впрочем, вяло, замедленно, ни одной мысли не доводя до конца, ни одной эмоции не проявляя отчетливо... а все же все более в своих колебаниях смещающую главную ось движения от сегодняшнего ужаса и возмущения ко вчерашнему страху и восхищению.

Великий? Да, но и страшный. Но все же великий. И умный, и знающий, и читающий, кто бы подумал, все советские книги от Вацды Василевской до Михаила Бубеннова. Жестокий? Да, но и тонкий, и сдержанный, и вкус, и юмор, и горечь в голосе. И жаль его, Ленину было проще, у него хоть были единомышленники, а этот, бедняга, остался один, всех вокруг уничтожил, и вот пожалуйста, абсолютно не с кем поговорить, а тем более разделить ответственность...

Тяжело это все читать, муторно. Тяжело читать, не сочувствуя автору, а сочувствовать нет никакой возможности, потому что не видишь в его герое ничего того, чем он так восхищается: ни особого ума, ни тонкого вкуса, ни глубокого юмора, ни других каких бы то ни было черт величия.

Страшен? Да, с избытком, уж дальше некуда. Но только потому, что жесток и лжив и пользуется страшной, невиданной властью. Говорит же порой хитро, не всегда предсказуемо, но всегда плоско и примитивно по мысли и внутреннему содер-

жанию, да, кстати сказать, и по словарю. «...Если не согласен, не соглашается согласовывать...» Вся мудрость высказываемых им суждений заключается в том, что они — последние, что за ними бездна; что за каждым, самым заурядным, словом стоит холодящая кровь неизвестность, то ли награда, то ли погибель. Как не стать тут каждому слову великим. Как не стать остроумной любой идиотской шутке, если ей заведомо обеспечено важнейшее свойство высокого юмора — неотступная близость трагедии...

Нет, читательская наша предвзятость получает здесь лишь одни подтверждения. Можно спорить, насколько важны детали, примеры и новые иллюстрации, но главный вопрос о Сталине ясен, как был он ясен и до этого чтения.

Скажут: ну да, хорошо вам сегодня, а вы бы так поговорили тогда... Но позвольте, когда же тогда? Девять лет назад? Да ведь это рядом, почти сейчас, как же еще мы тогда говорили? У кого из русских интеллигентов в том недалеком 1979-м оставались хоть какие-то иллюзии по поводу Сталина, кто мучился неоднозначностью его оценки? После 1956 года, после всей литературы, и здешней, и тамошней, вопрос этот если и не был снят, то остался направленным только вовне, как грубый тест на осведомленность, как пароль, отличающий своих от чужих...

Что же делает Симонов?

Мечется Симонов в поисках Сталина, который, вот он, сидит напротив, трубкой попыхивает, усмежается, отовсюду виден, чего искать-то. Но мечется и усталый читатель в поисках автора: кто он такой, что он такое, где он, какой он?

А он — ничего, никакой, нормальный, такой, как положено.

«„А как там писатели, уехали в Японию?.. А почему не уехали? — спросил Сталин.— Ведь решение Политбюро, если я не ошибаюсь, состоялось? Может быть, они не согласны с ним и собираются апеллировать к съезду партии?“ Так я впервые в своей личной судьбе столкнулся с той манерой шутить, которая была свойственна Сталину».

Манера, что и говорить, занятая, и шутка отменная. Но вот спроси мы Константина Симонова, в чем ее юмор, он бы скорее всего ответил: да в том, конечно, что кто-то якобы может не соглашаться со Сталиным; а еще в том, что партийный съезд формально выше, а на деле ничего не решает... И скажи мы ему, что, по нашему мнению, самое смешное здесь во-

все не то, а самое смешное (и самое страшное!), что писатели вообще ждут от указания — от съезда, от Сталина, от Жданова — Молотова, от черта ли, дьявола... Скажи мы это Константину Симонову — он бы вряд ли понял, о чем идет речь.

Любит ли сегодняшний Симонов Сталина? Нет, не любит. Не любит и даже, более того, имеет к нему личный, особый счет. Сталин его обманул, подвел, не оправдал — okazaл ся.. Но идею Сталина он любит по-прежнему и, думается, многое бы отдал за то, чтобы все тогда и было таким, как казалось. Он любит идею вождя, идею государства, идею государственного искусства и идею идеи, управляющей искусством и жизнью.

Академик Самсонов предположил («Литературная газета», 1988, 18 мая), что сегодня Симонов пошел бы дальше в разоблачении Сталина. Он, видимо, прав, пошел бы дальше. Но не потому, как считает Самсонов, что узнал бы больше — куда уж тут больше! — а потому, что сегодня, сверх решений XX съезда, получил бы новые указания, обнаружил бы иное состояние общества и, что важнее всего, государства. А без этого никуда не пошел бы. И не пошел.

С детства воспитанный в суровой солдатской традиции, он и в мирное время выше всего ставит военные, армейские качества. Но, однако, здесь строевая доблесть, то есть готовность любой ценой выполнить любой приказ начальства, выглядит уже вовсе не так красиво и бывает трудно отличима от рабской покорности.

«Мужество и спокойствие перед лицом опасности были чертами, пожалуй, наиболее уважаемыми мною в людях». Так пишет Симонов. Что ж, казалось бы, мужество всегда мужество. Но о ком это он? А это — о Молотове, смиреннейшем из тонкошеих вождей!.. И еще добавляет в другом месте: «Цельной личностью он мне кажется по сей день!»

Так удачно совпало (хочется думать, вполне случайно), что лучший комментарий к книге Симонова напечатан в тех же номерах «Знамени». Это «Мы» Замятина.

«С точки зрения государства, самоощущения себя как человека этого государства, все вроде было правильно».

Нет, это Симонов. А вот Замятин:

«...две чашки весов! на одной — грамм, на другой — тонна, на одной — «я», на другой — «Мы», Единое Государство».

Л. Лазарев в предисловии к публикации пишет:

«Лейтмотив книги Симонова — расчет с

прошлым, покаяние, очищение, и это выделяет, возвышает ее над многими мемуарными сочинениями о сталинском времени».

Да, действительно, Симонов в чем-то раскаивается и даже кое-чего стыдится, но, кажется, только однажды — без оговорки и скидок: когда пишет о своей и всеобщей терпимости к массовым репрессиям и расстрелам (приглушая, впрочем, и этот мотив общей невнятистью изложения). В остальных же случаях — а их наперечет — каждый раз находя какие-то хотя бы отчасти, а все же смягчающие обстоятельства. Написал погромную, лживую пьесу — но в ней было также и «зерно правды». Нападал на югославских руководителей — но то было проявление постыдной доверчивости в обстановке чудовищной дезинформации... Вот, пожалуй, и все. Вряд ли достаточно, чтоб считать покаяние лейтмотивом. Нет, лейтмотив этой книги иной.

Это ведь не тот, молодой и слепой, а сегодняшний, зрелый и зрячий, Симонов однозначно оценивает высокий уровень жизни на Западе как «психологическую опасность» для наших слишком много узнавших на фронте солдат.

И не в 1946 году, а в 1979-м он подробно, с занудливыми повторами описывает объективные обстоятельства, вызвавшие... да нет, просто-напросто вынудившие Сталина — Жданова к разгрому ленинградских писателей.

«...Существовала атмосфера некоей идеологической радужности... Было и некое легкомыслие, и стремление подчеркнуть пietet к тому, что ранее было недооценено...» И еще — о «демонстративном триумфе» Ахматовой, и еще — о чрезмерном «авторитете» Зощенко, еле сдерживая то ли тогдашнее сталинское, то ли сегодняшнее свое раздражение: «Во всем этом присутствовала некая демонстративность, некая фронтда...»

Это ведь сегодняшний, знающий Симонов так комментирует «борьбу с космополитами»:

«...В самой идее о необходимости борьбы с самоуничижением... с неоправданным преклоением перед чужим... здоровое зерно тогда, весной сорок седьмого года, разумеется, было... Духовная опасность не была выдумкой».

И уже нас не удивляет в этом контексте беспристрастная оценка антисемитской кампании:

«В этих послевоенных катаклизмах, кроме нагло проявлявшегося

антисемитизма, появился скрытый, но упорный ответный еврейский национализм...» Хоть сейчас — в те газеты.

И вполне естественно воспринимаются теперь проклятья «обожравшейся во время войны Америке», высказанные с таким искренним пафосом, как будто он в жизни на наших дорогах не видел ни «харлеев», ни «студебекеров», ни в нашем небе — «аэрокобр», никогда не пробовал ни тушенки, ни фарша, которыми среди всего прочего заваливала нас обожравшаяся Америка (ведь между делом войну с Японией), а если притом не голодала сама, то вряд ли все же — к своему позору...

И понятно уже, что мрачный обряд раздачи Сталиным Сталинских премий в окружении статистов и подвывал представляется теперешнему, зрячему Симонову меньшим злом, чем невинная склока литературных делая, заранее поделивших неприсужденные деньги, и что свой донос на них Сталину — Берии он не только не считает великим грехом, но гордится им и с большим увлечением, с неожиданной детективной хваткой пересказывает все подробности этой истории.

Нет, ничего такого существенного не пересмотрел в своей жизни Симонов, и не покаяние лейтмотив его книги, а скорей объяснение и оправдание...

И когда я понял это про Симонова, я взял и перечитал его стихи.

Я сперва хотел почитать прозу, честно взял шеститомник в библиотеке (ни у кого из друзей не нашлось), но это оказалось для меня невозможным: она не читается. Я вспомнил слова одного писателя, моего сверстника и современника, исключительно умного человека: «Если ты к своим сорока годам не прочел какой-нибудь известной книги, но составил о ней представление, — не читай и дальше. Все равно это представление подтвердится».

И тогда я просто перечитал стихи

Что сказать? Это был настоящий поэт. Я читал с опаской или даже с надеждой, я был готов, в угоду цельности образа, уличить свою молодость в отсутствии вкуса, в необразованности и глупости. Но или я так и не поумнел, или эти стихи — настоящие. Да, конечно же, далеко не все, да, и в лучших встречаются вялые строфы; и порой рыхлость и приблизительность заслоняют все прочие впечатления; и герой-автор всегда типический, помещенный в типические же обстоятельства, поделенные поровну и усредненные; и мысли его — не вполне мысли, и чувства его — недостаточно чувства... Но поэзия, она, как из-

вестно, шире любых наших о ней представлений и, видимо, может вмещать в себя и такое. Потому что, странное дело, когда этот стих, как бы наспех собранный из ближайших слов, похожий на наши тогдашние самодельные песни, фокусируется вдруг в неожиданно точную, а главное, выстраданную строчку — то вся его рыхлость и самодельность выглядят уже совершенно иначе: как нетронутость, что ли, жизни, первичность порыва... А ведь есть еще и другие стихи, их, верно, немного, но они есть: те, что сначала и до конца сохраняют простую и строгую форму, и суровую сдержанность, и спокойное мужество, и романтическое благородство — словом, все, что и должно быть в настоящих стихах, написанных так, чтоб не оставалось сомнений: именно это должно в них быть!..

Так что же случилось?

Что случилось — видно и по стихам.

«Мы, пройдя через кровь и страдания, снова к прошлому взглядом приблизимся, но на этом далеком свидании до былой слепоты не унизимся. Слишком многих друзей не докличется попидавшее смерть поколение, и обратно не все увеличится в нашем горем испытанном зрении».

До былой слепоты не унизимся... Если бы так!

Эти горькие и по-своему мудрые строки написаны в сорок первом году тем же самым поэтом, который всего через несколько лет, специально выпущенный из сталинской клетки, будет ерничать «на обеде в Лондоне»: «И стали до того свободными, какими видим их сегодня мы, свободными до умиления — и их самих, и населения».

Служба изменила свое направление, а с ней — и подведомственная ей судьба, вот что случилось. То была война за освобождение, то — борьба со всякой тенью свободы. А все-то ведь служба!

Через тридцать лет он напишет в этой, последней, книге: «Я очень люблю свои стихи „Речь моего друга Самеда Вургунна на обеде в Лондоне“». И стыдно сказать, я его пойму. Потому что я тоже их очень любил и читал с наслаждением, которое еще и сейчас не забыл: «Над лордами над гордыми и Киплингом воспетыми, в воротнички продетыми стареющими мордами...» Вот только не знал, кто такой этот Киплинг, но и не мучился этим особенно, догадывался, что какой-то прохиндей буржуазный...

Как, Господи, грустно!

Грустно и больно за всю человеческую нашу породу, за то, что так мало несет

она в себе абсолютного, так легко поддается на любой сиоминутный обман, так охотно оправдывается незнанием! Незнанием чего? Что нельзя творить на земле кумира? Что нет такого тайного, что не стало бы явным? Но ведь эти простые истины были открыты задолго до всех великих свершений, могли бы и знать. Да знали же, знали! Но так ненадежно мы устроены, что нам каждый раз надо все объяснять заново: про эту тайну, про эту землю, про этого нашего с вами кумира...

Будем справедливы к Константину Симонову, судьба его могла сложиться иначе, и не так далеко мы от него ушли, как порой нам кажется. Поколение, воспитанное на том искусстве, на той культуре, прожившее лучшие свои годы в той, придуманной, иллюзорной стране, — это, если быть до конца честным, потерянное для будущего поколение, его не может спасти никакой пересмотр. Вот ведь и сейчас раскроешь случайно подходящую книгу и поймаешь себя на том, что любишь, что тоскуешь и, страшное дело, тянется вернуться... Нет, конечно, сразу опоминаешься, но момент этот есть. В ту страну, где сила всегда справедлива, а слабость мимолетна; где насмерть держат честное слово, спасают пропавших; где секрет лучшего в мире завода никому на свете не будет рассказан, кроме разве товарища Ворошилова...

«Думаю, что я не пишу сейчас неправды...» Будем милосердны к Константину Симонову, он действительно пытается быть правдивым, но откуда знать ему, что это значит и как это выглядит?

Он не был ни подлым, ни злым человеком, он многим делал добро, помогал, заступался. К нему обращались как к последней инстанции, и он, если не было явного риска, выхода за пределы системы, нарушений служебного долга, противоречия принципам... Ну, а кто еще? И за это ему спасибо.

Одаренный человек — всегда жертва, пусть даже и собственного рокового выбора. Но ведь на деле — и обстоятельство тоже, которым, как выяснилось, мало кто может противиться. Кто знает, быть может, миссия Симонова — как раз показать с максимальной наглядностью, как служитель муз, становясь совслужащим, из яркого, мужественного поэта превращается в выпцетшего чиновника...

Но есть у меня и другая версия, и она как-то больше мне по душе, хотя тоже проста и лежит на поверхности. Что тот,

молодой и блестящий Симонов тот, служивший с чистой совестью правому делу, так и не дожидаясь Дня Победы, а погиб, допустим, в сорок четвертом. Он не раз в стихах опробовал такой вариант, и судьба, понимая, что для мирного времени он не годен — как его герои, как Суворов, как Амундсен, — совместила конец его физической жизни с концом поэтической. И как бы теперь ни изощрялся его посмертный двойник, какие бы ни сочинял свидетельства, он слишком бледен и водянист, он слишком прозрачен, чтобы заслонить от нас того, нашего — любимца, красавца

и храбреца, солдата и рыцаря. И не знаю, как новые поколения, уж как хотят, так пусть и судят, но для нас, младших его современников, сколько будем жить, он таким и останется, и на нашем литературном празднике его место никто другой не займет.

Кто лгал, что я на праздник не пришел?
Мы здесь уже когда все будут пьяны,
Бесшумно к вам подсядем мы за стол
И сдвинем за живых бесшумные стананы.

Юрий КАРАБЧИЕВСКИЙ.

Гонорар автор передает пострадавшим в Армении.



Политика и наука

ГОСУДАРСТВО СС

Д. Мельников, Л. Черная. Империя смерти. Аппарат насилия в нацистской Германии 1933—1945. М. Политиздат. 1988. 414 стр.

Еще одна книга по истории «третьего рейха»...

Шестое десятилетие продолжается научное осмысление феномена германского фашизма. За эти годы как у нас, так и на Западе появилось большое количество исследований, авторы которых с разных позиций освещают эту сложную и все еще не утратившую политической актуальности тему.

Чем дальше уходят живые воспоминания о войне и военных преступлениях нацизма, тем чаще и настойчивее ведутся разговоры о харизме Гитлера, об ораторском таланте Геббельса и эффективности нацистской пропаганды. В этом и только в этом кое-кому хотелось бы видеть чуть ли не единственный ключ к пониманию причин, ввергнувших немецкий народ — народ Гёте и Шиллера, Гегеля и Канта, Маркса и Энгельса — в пропасть фашистской диктатуры. Рассуждая о гитлеровском тоталитарном государстве, эти люди словно забывают, что тоталитаризм как политическая система зиждется отнюдь не на харизме вождя (и уж, во всяком случае, не на ней одной), а по меньшей мере на трех несущих конструкциях: жестко «пирамидально» организованной централизации общества, полностью подчиненного воле правящей партии с фюрером на вершине пирамиды; массовой оболванивающей пропаганде, основанной на социально-расово-националистической демагогии; и, наконец, тотальном и перманентном насилии. В самом деле, чего стоит любая харизма, равно как и пропаганда, не подкрепленная не-

отвратимой угрозой самого жестокого наказания каждого инакомыслящего? Всегда найдется достаточное число здравомыслящих скептиков, не говоря уж об оппозиционных политических силах, способных противостоять идейному и всякому другому влиянию харизматической личности. Но тоталитаризм как раз и не предполагает никакой оппозиции — ни легальной, ни скрытой, не допускает никакого инакомыслия, никаких оттенков в «коричневом» мировосприятии. Более того, он требует от граждан (и в этом его отличие от родственной авторитарной модели) не пассивного, а активного повиновения, то есть осознания своего духовного рабства как высшей формы «демократии». Достигнуть такого состояния общества можно было только путем устрашения, закрепляющего оболванивающий эффект массовой пропаганды.

История «третьего рейха» — это прежде всего двенадцать лет невиданного насилия над демократией, наглого попрания всех без исключения свобод, откровенного, ничем не стесняемого глумления над личностью.

Как ни парадоксально, но именно этот важнейший аспект истории германского фашизма до последнего времени оставался практически не исследованным в нашей литературе. Скажу больше — в годы застоя глубокое и всестороннее изучение германского фашизма сознательно тормозилось у нас ревнителями идеологических устоев. Благодаря их руководящему вмешательству, по существу, не изучалась внутренняя история гитлеровской Германии —

история нацистской партии и режима. идеология и «культура» нацизма. Разве является случайным, что те немногие серьезные публикации по проблематике германского фашизма, появившиеся в 60—70-х годах, были, как правило, подготовлены вне стен ведущих научных учреждений и университетов, так сказать, внепланово? Официальная наука сводила изучение истории «третьего рейха» к двум темам — разоблачению агрессивной политики германского фашизма и антифашистскому Сопротивлению. Изучались следствия болезни, но не сама «коричневая чума». «Патологоанатомическим» исследованием занимались на свой страх и риск редкие ученые-одиночки.

Тринадцать лет лежала под запретом подготовленная к печати книга Д. Мельникова и Л. Черной «Преступник номер 1» — лишь по счастливой случайности читатель получил ее в 1981 году. У авторов — известных советских германистов — были все основания впасть в уныние, теряя невозможные годы на изнурительную тяжбу с цензурой и издателями. К счастью, они не пали духом и продолжали трудиться над своей темой, еще раз доказав, что в периоды безвременья работа «в стол» не только возможна, но и необходима.

И вот результат: перед нами новая книга, тематически продолжающая предыдущее исследование истории нацистского режима. Если в «Преступнике номер 1» анализировалась история нацистской партии и биография ее фюрера, то в «Империи смерти» речь идет об исследовании аппарата насилия «третьего рейха» (СА, СС, СА, гестапо, дивизий «Мертвая голова», эйнзацгруп и зондеркоманд) — всех тех карательно-террористических органов, которые сначала были использованы для устраниения немецкого народа, а затем для уничтожения и порабощения миллионов людей во временно оккупированных странах Европы.

Неисчислимы жертвы эсэсовской машины уничтожения. В одной лишь Германии они составили сотни тысяч человек. С сентября 1939 года счет этих жертв пошел на миллионы. Только Польша потеряла 6 миллионов своих граждан. Число советских военнопленных, уничтоженных в лагерях смерти СС, только на временно оккупированной территории СССР, составило без малого 4 миллиона. Через концлагеря прошли 18 миллионов человек; 12 миллионов исчезли в душегубках и печах крематориев... Все это лишь жертвы планомерных карательно-террористических, а не обычных военных действий.

Д. Мельников и Л. Черная на обширном материале неопровержимо доказывают, что аппарат насилия целенаправленно создавался Гитлером и его сподвижниками по меньшей мере за десять лет до установления нацистской диктатуры, параллельно с формированием партийной структуры НСДАП. К 1933 году нацисты располагали четырехмиллионной армией штурмовиков — готовых на все громил. Даже первые, так называемые дикие, то есть нелегальные концлагеря были организованы нацистами еще до прихода к власти на глазах агонизировавшей веймарской демократии. Начиналось все на заре 20-х годов с гимнастических и иных спортивных обществ, где будущие гаупт- и штандартенфюреры СС накачивали бицепсы, в то время как их идейные вожди из мало кому известной национал-социалистской рабочей партии пытались пробудить у немцев историческую и расовую «память». Впрочем, будущие каратели и убийцы недолго забавлялись гимнастикой. Очень скоро они перешли к избитым коммунистов, социалистов, представителей других партий, взяв на вооружение кастеты, ножи и дубинки. Уже в 1923 году недавние «спортсмены», разбавленные уголовным сбродом и люмпенами, одетые в коричневую униформу, предприняли первый штурм Веймарской республики. Тогда демократия устояла без особого напряжения, но десять лет спустя все же пала под бешеным натиском нацизма. Именно в 1923 году в недрах «штурмовых отрядов» (СА) зародилась лейб-гвардия Гитлера — СС («охранные отряды»), которые с 1929 года возглавил скромный невзрачный мюнхенский агроном Генрих Гиммлер. Наш читатель достаточно хорошо знает о злодеяниях СС в период второй мировой войны, но гораздо меньше известно ему о самом «черном ордене» — его истории, организационной структуре, идеологии. Книга Д. Мельникова и Л. Черной заполняет этот очевидный пробел. В ней подробно, в деталях раскрывается вся подноготная СС, прослеживается история возникновения этой преступной организации.

После установления нацистской диктатуры в Германии этот карательный «орден» постепенно заменил собой всю «правоохранительную» систему, включив в свою структуру уголовную (крипо) и политическую (гестапо) полицию, службу безопасности (СА), разведку и контрразведку, специальные военные подразделения и части (штандарты «Мертвая голова» и другие), концлагеря. В 1930 году, по свидетельству самого Гиммлера, в СС состояло лишь

2 тысячи человек. В 1943 году только в центральном аппарате СС работало 38 415 служащих. Число сотрудников гестапо в 1943—1945 годах оценивалось в 40—50 тысяч. Численность же военнослужащих войск СС возросла со 100 тысяч в 1940 году до 1 миллиона к 1945 году.

Когда историк пытается постичь механизм и смысл деятельности нацистского аппарата насилия, он неизбежно становится в тулук, если применяет к нему мерки традиционных буржуазных правоохранительных институтов. Д. Мельников и Л. Черная доказывают, что аппарат насилия гитлеровской Германии не имел аналогов в истории буржуазной государственности. Определяющими чертами этого аппарата были: противоположность — отрицание традиционных правовых норм буржуазной демократии; тотальность — установление контроля через систему картотек, досье и армии осведомителей практически за всем населением Германии; идеологическая и расовая направленность. «Можно сказать, — замечают авторы, — что гитлеровский рейх уже в 1933 году потерял характер «нормального» буржуазного государства, в котором существует определенный законом порядок. Ежедневно сотни и тысячи автомобилей, замаскированных под фургоны для перевозки хлеба или грузовики для перевозки мебели, разъезжали по улицам городов и увозили очередные жертвы в гестаповские тюрьмы и концлагеря».

Единственным критерием законности в гитлеровской Германии считалась воля нацистской партии. С момента своего появления и до последнего дня «третьего рейха» органы СС служили надежным орудием диктатуры НСДАП. Они были наделены практически безграничными правами, сосредоточив в одних руках контроль за состоянием общества, выявление неблагонадежных, сыск, арест, следствие, а зачастую — вынесение приговора и его исполнение. В ведении СС находилось 1100 концлагерей только на территории Германии, секретные заводы, институты, лаборатории и КБ с использованием рабского труда заключенных. СС располагала своим штатом ученых всех специальностей, врачей, художников, журналистов, спортсменов. СС имела и собственный печатный орган — газету «Дас шварце кор» («Черный корпус»), выходящую тиражом 750 тысяч.

Это было подлинное государство в государстве, обладавшее правом экстерриториальности. Никто не рисковал совать нос в дела «конторы» рейхсфюрера СС (хотя

формально деятельность СС контролировалась нацистским партийным руководством), зато сам Гиммлер и его люди беспардонно вмешивались буквально во все стороны жизни «третьего рейха», претендуя на решающее участие в формировании его политического курса. Ни один важный вопрос не решался без консультации с органами СС и лично Гиммлером, Гейдрихом или Кальтенбруннером. Любой кандидат на выдвижение в партийно-государственной иерархии должен был получить одобрение гиммлеровской службы безопасности. Да что там нацистские функционеры — каждый рядовой немец обязан был представить «компетентным органам» убедительные свидетельства своей политической благонадежности и расовой чистоты. После 1933 года Германию охватило подлинное безумие: миллионы немцев лихорадочно рылись в старых (XIX и даже XVIII веков) церковных приходских книгах в поисках доказательств своего арийского происхождения. Семидесятимиллионным народом овладело навязчивое состояние беспричинного страха, тем более унизительного, что его объявили высшей расой — «расой господ». «Мы все были убеждены, что находимся под постоянным наблюдением, независимо от того, в каком ранге состоим, — признавался на Нюрнбергском процессе генерал-фельдмаршал Мильх. — Я думаю, что не было такого человека, который не числился бы в картотеке (гестапо. — П. Ч.)». К слову сказать, картотека гестапо подробно описана в рецензируемой книге.

Постоянная слежка осуществлялась людьми Гиммлера даже в высшем эшелоне нацистской партии. В книге приводится письмо жены Рудольфа Гесса, заместителя фюрера по партии, то есть второго по значению человека в государстве, адресованное Гиммлеру. «У Вас, — без издевки пишет Ильза Гесс, — весьма похвальная привычка... следить за происками врагов отечества, например с помощью телефона. Но почему Вы, глубокоуважаемый король всех сыщиков, распространяете слежку на разговоры жен бравых министров, благодаря чему их домашние слышат по телефону сплошной треск? Может быть, стоило бы Вашим чиновникам прекратить подслушивание хотя бы тогда, когда речь идет о рецептах рождественских коржиков и когда госпожа жена имперского министра ведет абсолютно невинную беседу со своей больной матушкой?! Если же по каким-то причинам, непостижимым для простой смертной, неискушенной супруги министра, такое подслушивание совершенно необ-

ходимо, то, может быть, его можно было бы проводить как-то более незаметно?..»

Поголовная слежка и всеобщая подозрительность на всех этажах здания «третьего рейха» — характернейшая черта гитлеровского тоталитарного государства. С самого его рождения нараставшее попрание законности мотивировалось изобретенной А. Розенбергом теорией «враждебного окружения» германской нации. Запуганному насмерть обывателю постоянно вдалбливали мысль о том, что Германию хотят погубить марксисты, сионисты и масоны, демократы и интеллигенты — враги «внутренние» и «внешние». Единственный путь спасения — всенародное единение вокруг нацистской партии и богоносного фюрера, выявление и истребление всех тайных врагов нации, возвращение к древним германским истокам. «Германский народ, — говорил рейхсфюрер СС Гиммлер, — является крестьянским народом и должен быть возвращен к исконно присущему ему способу существования. С помощью Востока должна укрепиться крестьянская основа германского народа, именно на Востоке будет источник вечной молодости германцев, немецкий народ возродится». Вульгарно-примитивные, замешанные на мистике и расизме, идеи «Майн кампф» и «Мифа XX века», ставшие официальной идеологией «третьего рейха», стараниями СС превратились в государственную политику — политику государственного терроризма.

Апробированный на сотнях тысяч немцев, а затем австрийцах и чехах, нацистский аппарат насилия, как уже отмечалось, с началом второй мировой войны был запущен на полный ход и направлен против всех «низших рас». Не является случайным, что именно хозяин «империи смерти» Гиммлер в октябре 1939 года в дополнение ко всем его должностям был назначен «имперским комиссаром по укреплению германской расы». Как раз в ведомстве Гиммлера в преддверии нападения на СССР был разработан чудовищный «план Ост», предусматривавший планомерное «ослабление» польского, русского, белорус-

ского и украинского народов с последующим «освоением» очищенных от этих народов «восточных территорий». Расовый геноцид, практиковавшийся с 1933 года в отношении евреев и цыган, с началом войны был распространен на славян. «Важно, — собственноручно начертил рейхсфюрер СС, — чтобы на русской территории население в своем большинстве состояло из людей примитивного полуевропейского типа...» СС, ставшая и исполнительным органом геноцида, неукоснительно и последовательно выполняла указание своего рейхсфюрера — «ослабление русского народа в расовом отношении».

Со страниц книги предстает галерея четко обрисованных портретов-характеристик высшего эсэсовского руководства: самого хозяина «империи смерти» Гиммлера — «убийцы за письменным столом», Гейдриха — нацистского Люцифера, «сатаны в человеческом образе», Кальтенбруннера — обер-палача, организатора геноцида на временно оккупированной территории СССР, и других менее значительных, но не менее страшных фигур. И, надо сказать, они имеют мало сходства с теми едва ли не обаятельными образами, которые нам иной раз предлагают литераторы и кинематографисты.

Закономерен финал «государства СС», объявленного Международным трибуналом в Нюрнберге преступной организацией. Многих, хотя и далеко не всех, военных преступников в черных мундирах настигло возмездие.

Завершая эти беглые заметки, вызванные знакомством с интересной, серьезной и публицистически острой книгой Д. Мельникова и Л. Черной, хочется выразить надежду, что многолетняя работа авторов по изучению германского фашизма будет продолжена и вслед за «Преступником номер I» и «Империей смерти» читатель получит столь же глубокую и острую книгу о нацистской пропаганде. «Триптих» должен быть завершен.

Петр ЧЕРКАСОВ,
доктор исторических наук.



КОГДА АДАМ ПАХАЛ, А ЕВА ПРЯЛА...

М. Оссовская. Рыцарь и буржуа Исследования по истории морали. Перевод с польского К. В. Душенко. М. «Прогресс». 1987. 527 стр.

Читая книги по морали, даже скучные, всегда интересно. Ведь они о нас, о том, как мы сами думаем о себе. Таких трудов выпускается в нашей стране пре-

достаточно. Заслуженным успехом пользуются исследования И. С. Кона, А. Г. Харчева, Ю. Б. Рюрикова и других специалистов по этике, не говоря уж о пуб-

ликациях наших педагогов — знатоков нравственного мира детей.

И все же содержание и пафос подавляющей части книг по этике, изданных у нас за последние двадцать лет, страдают однообразием. В них много говорится о социалистической морали, о таком «системном объекте», как «конкретно-историческая система коммунистической морали», о сорочка с лишним определений социалистического типа личности, о четырехстах признаках этой самой личности и т. п. В. М. Соколов в книге «Социология нравственного развития личности» (М. 1986), обобщая итоги многолетних опросов населения, делает весьма утешительный вывод: большинство советских граждан в 70—80-е годы обладают устойчивой «нравственной целостностью». Слишком уж благостная картина получается. И виноваты в этом, думаю, не цифры — автор вряд ли занимался «приписками»! — а сама методика исследования, ориентированная на мышление стереотипами, выработанными у анкетированных еще в школе. Ведь пишут же будующие преступники в классных сочинениях о своей вере в светлые идеалы, о своем восхищении подвигами молодого гвардейцев!

Мораль мертва, если она насаждается в виде «системы» вербальных предписаний, кодексов и иных кодифицируемых установлений, если она оторвана от обычаев предков, от мировой истории нравов. Тут-то нам и нужны книги, углубляющиеся в прошлое этики.

Нельзя сказать, что таких работ нет. Ю. В. Согомонов, например, выдвигал гипотезу о трех стадиях развития буржуазной морали, согласно которой капиталистическая конкуренция сковывает свободу личности, развивает лицемерие и цинизм, ведет к стандартизации человека. Преодолеть известную односторонность такого взгляда помогает работа польской исследовательницы Марии Оссовской, переведенная у нас через тринадцать лет после смерти автора.

Ценность книги двоякая. Во-первых, она насыщена живым материалом — цитатами из поэм, романов, трактатов, пьес, дневников и других памятников мировой художественной и научной культуры, что позволяет автору воссоздать движение исторических образов морали. Во-вторых, книга М. Оссовской (представляющая собой два прочно взаимосвязанных исследования) — это пример новых для нашей науки методологических подходов. Она стремится марксистские социологические уста-

новки соединить с достижениями таких известных западных социологов-позитивистов, как М. Вебер, М. Шелер, В. Зомбарт.

Что удалось исследовательнице? Глубокая эрудиция, научная добросовестность позволили ей нарисовать впечатляющую картину становления и развития как рыцарской, так и буржуазной морали, их взаимодействия и борьбы на протяжении тысяч лет европейской истории. М. Оссовская показала, что для человека, живущего в условиях современного социализма, этот исторический опыт актуален. Причем актуален в двойном аспекте — положительном и отрицательном. С одной стороны (хотя мы давно уже отказались от формулировки «наши недостатки — пережитки проклятого прошлого»), разве не воспроизводит современная жизнь древнейшие стереотипы лени, наглости, жадности и прочих смертных грехов? С другой — нам явно не хватает сейчас благородных рыцарских качеств, в большом дефиците и присутствующие капиталистам расчетливость, осмотрительность, деловитость. Нашим хозяйственникам (и не только им) стоило бы заново осмыслить идеалы джентльмена и практического человека, выдвигавшиеся Даниелем Дефо и Франклином. Книга М. Оссовской может послужить прямо-таки учебником для всех, кто искренне желает заниматься перестройкой.

Как следует оценить методологию польского ученого? Выскажем ряд замечаний, ни в малейшей степени не претендуя на абсолютную истину, тем более что поднятые в работе проблемы трудны и слабо разработаны в советской науке. Прежде всего вопрос о том, насколько соединимы в одном исследовании Маркс и Вебер — ведь последнего на Западе называли анти-Марксом, буржуазным Марксом! По-моему, ни автор «Капитала», ни его оппонент не опровергают друг друга. Кто посмеет отрицать жуткую картину первоначального накопления капитала, данную Марксом? Но ведь прав и Вебер, скрупулезно исследовавший этику капиталистов и установивший (пусть несколько претенциозно названный им) феномен «духа капитализма». Этот «дух» (он же «идеальный тип») есть сложный комплекс «профессионального призвания аскетического протестантизма», регулирующего «иррациональные» способы обогащения и связанного с трудолюбием, самодисциплиной и даже с «радостью и гордостью капиталистического предпринимателя от сознания того, что при его участии многим людям дана работа». М. Оссовская

дала и священника. Его духу подвластны и те, кто вступает с ним в ожесточенную схватку.

Но не будем приписывать мировому мещанству всеиллие и отдавать ему все наши ценности. Не будем, в частности, объявлять романтизм «буржуазным течением», как это делает М. Оссовская. При этом автор еще и удивляется, что романтизм вопреки своей буржуазности развивался «под лозунгом культа рыцарских традиций и презрения к мещанской прозаичности». Объяснить такую аберрацию в оценке романтизма можно, очевидно, тем, что М. Оссовская смешивает его с героикой хищничества и приобретательства, которая была присуща некоторым эпигонам романтизма.

Издание книги М. Оссовской — это еще одно напоминание нашим ученым о необходимости создать фундаментальное исследование по истории этики всех времен и народов, в котором были бы собраны и проанализированы впечатляющие яркие «идеальные типы» именно народной морали в ее взаимодействиях и борьбе с моралью классовой, мещанской и т. д. Следовало бы подумать также об издании для широкой аудитории «Памятников мировой этической мысли», куда должны будут войти «Бхагавадгита», «Дхаммапада», канонические и апокрифические евангелия, «Исповедь» Августина, «Этика» В. Вундта,

«Смысл любви» и «Оправдание добра» Вл. Соловьева и многое-многое другое. В самом деле, разве не странно, например, что мы прославляем таких гигантов мысли, как В. И. Вернадский и К. Э. Циолковский, между тем как некоторые их труды надежно скрыты от нас? Кто, кроме узкого круга специалистов, читал «Научную этику» Циолковского? Кто знает книги А. Л. Чижевского? Не помешало бы извлечь из спецхранов и работы зарубежных авторов — скажем, Ф. Ницше, — чтобы самим разобраться, почему и как этот страдающий мыслитель устремлялся «по ту сторону добра и зла».

Социализм в свое время упрекали в безнравственности, в том, что это учение есть лишь крайнее выражение буржуазного эгоизма. В противовес такой критике возникло целое течение «этического социализма». Где оно ныне, что мы знаем о бушевавших когда-то спорах между сторонниками и противниками социалистического переустройства общества? Как нельзя более уместно напомнить здесь слова М. Горького из письма Ромену Роллану от 25 января 1922 года: «Истинных социалистов нет и не может быть до той поры, пока не востанет в сознание этика, сильная, как религия на заре возникновения».

В. ВАХРУШЕВ.



ОБРАЗЦЫ ВЕЛИКИХ

Г. Е. Померанцева. Биография в потоке времени. ЖЗЛ: замыслы и воплощения серии. М. «Книга». 1987. 336 стр.

Как рассказывать о замечательных людях? Сообщать ли все, что мы о них знаем, или только то, что в момент создания биографии может быть полезно? (Кому полезно?) Должна ли книга стать в идеале историей души героя, или же автору достаточно ограничиться хроникой его поступков?..

Автор рецензируемой книги пытается разобратся, например, и в таком вопросе: на что следует опираться при создании биографического произведения — на документы или на художественную интуицию? Ведь достоверность документов, мягко говоря, условна, они полны противоречий и упущений. Никогда, например, за всю историю Советского государства не создавались песни более радостные, нежели те, что имели широкое хождение в 30-е годы — в период самых ужасных трагедий, пережитых народом. И песни и репрессии — все это

реальность; в зависимости от занятой позиции исторический писатель может, следовательно, отдать предпочтение либо одному, либо другому.

Вот почему особую роль при создании биографического повествования играет мировоззрение автора, его совестливое обращение с исторической правдой. Сколько раз мы были свидетелями того, что во имя «красоты» авторы жертвовали правдой: мол, нельзя сообщать о великих людях то, что бросает на них тень. Но «тьень» в данном случае — понятие условное. Гений и послушание несовместимы, провозгласил (и совершенно справедливо) создатель психоанализа. А коли так, то в биографии любого гения существуют факты несоответствия его поведения общественным нормам эпохи. Разве можно эти факты обходить?

Да, Пушкин в последние полтора-два года своей жизни пребывал в состоянии

творческого и личного кризиса, был одержим ревностью, имевшей под собой множество оснований. Да, Пушкин сам искал смерти. Скрывать это незачем, а уж отрицать тем более. Горевать же — надо. А ведь некоторые поклонники Пушкина публично, на страницах «Литературной газеты», протестовали против переиздания в 1987 году книги П. Е. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина» на том основании, что в ней жена поэта изображена безгрешной. Или, скажем, можно ли замалчивать тот факт, что родители Пушкина были безалаберные люди, не уделявшие сыну внимания, что Пушкин поэтому едва ли не единственный в мире поэт, который не написал ни одного стихотворения, воспевавшего мать?..

К бесспорным достоинствам книги Г. Померанцевой относится то, что автор открывает читателю-неспециалисту множество новых или давно забытых фактов. Например, такой: в 1929 году А. Моруа опубликовал свою знаменитую работу «Аспекты биографии», а за два года до этого вышла ныне прочно забытая книга известного историка литературы Г. О. Винокура «Биография и культура», в которой предвосхищались идеи, развитые позже французским писателем. По Винокуру и Моруа, литературная биография — это история личной жизни великого человека...

Кстати сказать, перу французского писателя принадлежит самая полная из всех существующих в мире биографий автора «Трех мушкетеров». Миллионы читателей в разных частях света именно по этой книге Моруа судят теперь об Александре Дюма. В ней много документов, цифр, фактов. Но Моруа не дотошный ученый, он создавал образ писателя, который больше всего импонировал ему самому. В «Трех Дюма», например, лишь один-единственный раз упоминается о том, что Дюма побывал на Кавказе, а все суждения Дюма о России Моруа сводит к следующему: «Дюма никогда не отличался точностью, однако его рассказы по возвращении из России превзошли приключения Монте-Кристо. Хорошо выдумывать тому, кто прибыл изда-

лека. Впрочем, какое это имеет значение? Слушатели были зачарованы. Он так увлекательно рассказывал, с таким пылом и с такой убежденностью, что все верили, и прежде других — сам рассказчик».

Что рассказывал писатель своим знакомым, этого мы уже никогда не узнаем. Но существуют записки Дюма о поездке в Россию, которые, к сожалению, до недавнего времени были в нашей стране почти забыты. Первые три тома (всего их шесть) называются «Из Парижа в Астрахань», на русском языке они не издавались. В трех других рассказывалось о поездке Дюма по Кавказу, в сокращенном виде эта часть записок вышла в 1861 году в Тифлисе под названием «Кавказ. Путешествие Александра Дюма». В 1988 году «Кавказ» полностью издан в тбилисском издательстве «Мерани». В процессе подготовки издания автору этих строк пришлось объездить места, которые посещал Дюма, сопоставить все, что пишет он о своей поездке, с тем, что сообщали современники, что можно прокомментировать документами. Были среди этих документов и донесения жандармов, следивших за каждым шагом писателя... К своему великому удивлению, я обнаружил, что Дюма в своей книге о России ни в чем не отступал от фактов — записывал только то, что видел своими глазами.

В книге Г. Померанцевой можно выделить два плана: с одной стороны, автор размышляет о принципах создания и самой возможности «идеального» биографического повествования, с другой — прослеживает историю развития наших представлений об этом жанре в рамках прославленной серии «Жизнь замечательных людей». Здесь много фактов, мыслей, догадок. И, конечно, куда больше вопросов, чем ответов. Что истинно и что ложно в нашем представлении о жизни выдающегося человека? И над другим извечным вопросом задумывается читатель: что же такое искусство, примиряющее несовершенного человека с его несовершенной жизнью?..

Михаил БУЯНОВ.

КОРОТКО О КНИГАХ



ВИЛЕН САЛЬКОВСКИЙ. Смоленская дорога. Роман. М. «Советский писатель», 1987. 412 стр.

К нашему общему счастью, встречаются еще в жизни подвижники. Не добиты еще, не уничтожены нашими разломными летами, не затоптаны железной поступью эпохи, остались еще живые духом люди, которые где-то вдалеке от столиц тихо и незаметно делают свое дело, ставшее для них главным. Делают, несмотря на то, что заняты невпроворот работой для хлеба насущного, что одиноки, лишены общения с людьми своего уровня, не у кого и совета попросить, мыслями обменяться, что кроме работы приходится еще и на огороде вкалывать, иначе в деревне не проживешь...

Я говорю об авторе романа «Смоленская дорога» Вилене Сальковском, сельском учителе из деревни Капыревщина Смоленской области. Роман этот написан им более десяти лет тому назад, писался он тоже долго, около десяти лет, таким образом, и работа и ожидание публикации заняли и унесли — двадцать лет — треть жизни... Как подумаешь об этом, сердце сжимается от боли, ведь десять-то лет ушли напрасно. Что значит ждать писателю публикации в течение такого долгого времени? Это и отчаяние, это и потеря веры в себя и в свое произведение, в редакциях же не говорят в открытую — не можем печатать, потому как «непроходим», там, как правило, виляют, сомнения в художественности вещи высказывают, а автор-то неопытен, робок, свою вещь оценить ему трудно, ездить в Москву и бегать по редакциям и накладно и некогда. Давайте представим все это, тогда, может, и поймем, что слова мои о подвижничестве не пустой звук, а справедливая дань мужеству и стойкости писателя.

Вилен Сальковский попал на Смоленщину не по своей воле. Его отец был репрессирован, а семья выслана в эти места, где и застала их война. Детская память особая, и она, несомненно, помогла писателю в его работе над романом, где все действующие лица настолько выпукло выписаны, что производят впечатление списанных с натуры, хотя, наверно, это и не совсем так, потому что в романе видна и другая работа, работа историка, собирающего по крупицам, по документам, по рассказам очевидцев ту правду, которая и обжигает читателя и которая в то же время и настоятельно требовала редакторов — уж слишком она

густа, корява, неприметна и так не похожа на написанное раньше и другими о партизанском движении.

И действительно, прошли бои, отгремели бомбежки и артобстрелы, задевшие почти каждую деревню, пережили люди ужас сражений у своих домов, потом немецкая армия зашагала дальше на восток, а в деревнях наступила вроде бы «мирная» жизнь, должен был мужик работать, огород поливать, урожай собирать, только вместо председателей колхозов встали во главе общин назначенные немцами старосты, но из своих же, из односельчан, ну и полиции появились, но тоже как бы из своих — Васьки и Петьки из окруженцев, бывших красноармейцев или сержантов... Один из старост спокойно принимает и укрывает секретаря райкома, оставшегося в оккупированном районе для организации сопротивления немцам, в общем, все как-то по-домашнему, вроде бы и не такая уж страшная жизнь началась — война-то ушла из этих мест, не бомбят, не стреляют, и надо как-то обустраиваться, приспосабливаться в этой жизни...

Но было это затишье перед бурей. Не зря остался в оккупированном районе секретарь райкома, началось неизбежное сопротивление оккупантам... И полетели под откос немецкие поезда, загромыхали взрывы в армейских складах и заполыхали смоленские деревни, подожженные карателями, загремели выстрелы массовых расстрелов, завертелась кровавая карусель, закрутила всех, даже тех, кто хотел в стороне остаться, и полилась реками кровушка русская, уничтожались селения, гибли целые крестьянские семьи, рушились семейные узы, разбивались горькие и короткие военные любви...

И все это выписано автором с такими подробностями, с такими зримыми деталями, с такой потрясающей подлинностью, что если бы не знать его возраст в те времена, то можно было посчитать его участником описываемых событий. Глубокое проникновение в народную жизнь, во внутреннюю суть каждого персонажа (а их очень много), раскрытие разнообразных человеческих судеб и характеров, умение завязать всех их в единый узел несомненно говорят о незаурядном таланте автора, потому что только талант способен создать такую яркую картину всенародной трагедии, в которой главным героем и является сам народ — голодающий, страдающий, убивающий и убиваемый, но героический...

Дело профессиональных критиков подробно рассмотреть и разобрать роман, мой же короткие заметки преследуют лишь одну цель — привлечь внимание читателей к этому достойному и многострадальному произведению.

Вячеслав Кондратьев.



АРСЕНИЙ ГУЛЫГА. Пути Фауста. Эюды германиста. М. «Советский писатель». 1987. 365 стр.

В книгу Арсения Гулыги наряду с работами о классиках немецкой литературы и состоянии советской германистики включены статьи-эссе, где автор выходит за рамки научного исследования. Здесь А. Гулыга, многократно бывавший в Германии, делится своими впечатлениями об этой стране, относящимися к разным годам — и к самым последним и ко времени окончания войны. Но эти впечатления не обычные воспоминания, а как бы переживания на германской почве тем и мотивов немецкой духовной истории, которые издавна интересовали и волновали исследователя. Свою задачу А. Гулыга видит в том, чтобы прояснить недостаточно проясненное коллегами-германистами, будь то представления о художественном методе в Германии второй половины XVIII века, будь то шиллеровские, с самого начала заигранные и развязанные понятия «наивного» и «сентиментального».

И не случайно на многих страницах книги речь идет об Иммануиле Канте, наследие которого особенно сложно интерпретировать.

На мой взгляд, лучшая работа в сборнике — эюд о Канте-иронике. Чтобы написать о Канте как колючем сатирике, нужно увидеть Канта как бы изнутри его мысли. Нужно знать, что сатирическая жила в просветительский век порой нарочно не оголяется и не выставляется напоказ, что писатель часто довольствуется как бы беглой усмешкой — особое удовольствие в том, что противник не замечает издевательств. Канту глубоко запрятанные сатира и ирония были по вкусу. Удачно прослеживая у Канта иронические и сатирические подтексты, А. Гулыга как бы открывает новое окно на немецкого мыслителя, через которое еще никто на него не смотрел.

Скажу об одной частности. Наш автор в конце войны — в разгромленном Кенигсберге. Кто-то написал на могиле Канта мелом: «Теперь-то видишь, что мир материален». Сразу всплывает вопрос: «Разве бомбы и разгром лучше доказывают материальность мира, чем звезды и земля?» Но что поделаешь, если душа поражена избытком материального, извергающимся на тело, и если, подавленная этим избытком, она готова доказывать факт материальности мира великому человеку-мыслителю, который ее не слышит и не услышит... Сама история вела руку писавшего, и, стертые, эти слова уже не вычеркнуть из памяти, коль скоро они были прочтаны. Это вновь возвращает нас к текстам А. Гулыги: к его интересной статье о мифе

(«Миф и современность») и, конечно, к рассуждениям о Канте. Смыкаются линии мысли в книге Гулыги: Кант как необыкновенный феномен человеческой мысли, могила Канта в разрушенном городе, Кант как мифологема обыденного сознания. Тут же — сам автор, Арсений Гулыга, философ, свидетель поворотного этапа в судьбе Германии, он же писатель, умеющий взглянуть на Канта по-новому.

В нашей гуманитарной науке А. Гулыга — представитель знания, устремленного к синтезу. Отсюда, думаю, германист — как обозначение профессии того, кто, в сущности, занят не только историей немецкой литературы, философии, но также историей немецкой культуры. И на родную русскую культуру германист А. Гулыга смотрит как бы сквозь призму основной своей специальности. В который уж раз со времен Владимира Сологуба получается, что русский человек привозит с собой Россию к Западу... В этом возвращении к себе и к своему — внутренняя эволюция автора, несколько скрытая от читателя сборника статей.

А. Гулыга не утаил от нас того, что к русской культуре, к осознанию ее ценностей он пришел через немецкую мысль, через ее изучение, и не в последнюю очередь благодаря выдающемуся слависту Людольфу Мюллеру. О нем Арсений Гулыга написал с вдохновением. И точно так же, щедро и прямодушно, он воздает по достоинству многим из тех, с кем встречался в жизни. Таков певец-антифашист Эрнст Буш, таков самоотверженный издатель философских текстов Рихард Майнер, таков всемирно известный гейдельбергский философ Ганс-Георг Гадамер. Воздавать всем по достоинству, отучаясь от высокомерия и самодовольства, — наш общий долг, который А. Гулыга исполняет с радостью. И это одна из самых примечательных и симпатичных черт его книги.

А. В. Михайлов.



В. Г. ГОРОХОВ. Звать, чтобы делать (История инженерной профессии и ее роль в современной культуре). М. «Знание». 1987. 175 стр.

Говорить об инженерной профессии, о ее роли в обществе нелегко. Язык техники другой — проекты и конструкции, соединяющие научные открытия с миром вещей, служащих человеку. Однако можно попытаться осмыслить инженерную деятельность, обратившись к ее истории в контексте культуры, к ее взаимоотношениям с ремеслом, наукой, искусством. За такое-то исследование и берется автор этой книги. Мы узнаем об «инженерных» заботах строителей египетских пирамид и «технических подвигах» Гефеста у Гомера, можем рассмотреть рисунок, на котором изображен водяной будильник Платона, и прочесть удивительное свидетельство об Архимеде, который «даже на собственном теле, натертом маслом, проводил пальцем какие-то линии — поистине вдохновленный Музами, весь во власти великого наслаждения».

Кто он, инженер-профессионал? Самый краткий ответ на этот вопрос можно найти в приведенном здесь письме Леонардо да Винчи. Желая поступить на службу к герцогу миланскому Лодовико Моро, Леонардо пишет: «Я знаю способ делать...» Эти слова превосходно выражают, на мой взгляд, суть инженерной деятельности. Инженер-профессионал — самостоятельная личность, ориентированная на научный тип знания, для которой это знание важно не само по себе, а в его прикладном значении, как способ создания новых вещей («второй природы») в целях проективного преобразования мира. Это — творческая, поистине духовная работа, обогащающая как творца, так и все общество.

Почему же сегодня результаты инженерной деятельности, опирающейся на научную истину, пугают людей? Известно, например, что в одном из первых докладов Римскому клубу разрабатывалась идея «нулевого роста» техники и производства. История знает достаточно примеров прекращения научных исследований по этическим соображениям именно вследствие их антигуманного технического использования. У наших писателей можно встретить высказывания о прямом вреде не только техники, но уже и самой науки...

Автор не обходит этой проблемы. Наука, по его мнению, как раз и является гарантией полезности и успеха современной техники. До какой черты могло доходить в недавнюю пору пренебрежение серьезными научными обоснованиями инженерных разработок, говорит хотя бы печально извест-

ная история с поворотом северных рек. «Современный инженер-конструктор должен учитывать не только конструктивные и технологические факторы, но и психологические, социальные, эстетические и многие другие. А это значит, что современному инженеру знаний физики, математики и техники явно недостаточно».

Анализируя процесс становления инженерной профессии в эпоху Возрождения, автор особо подчеркивает искусность, творческую озаренность, энциклопедичность знаний и разнообразие умений «инженеров-художников» того времени. Вот что писал Леонардо в своем знаменитом «Атлантическом кодексе», где речь идет об искусственной птице — прообразе современных самолетов: «Птица — действующий по математическим законам инструмент, сделать который в человеческой власти со всеми движениями его, но не со столькими же возможностями... Потому скажем, что этому построенному человеком инструменту не хватает лишь души птицы, которая должна быть скопирована с души человека». Смысл, думается, ясен. Все созданное разумом и руками людей должно иметь человеческую душу, а сама она, трудясь и творя «по законам красоты», возвышает и обогащает себя. Можно сказать, что будущее инженерной деятельности — в ее одушевлении, и этому должно послужить восстановление возрожденческой связи техники и искусства в личности творца.

М Киселева,
кандидат философских наук.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. О личности и воспитании. 286 стр. Цена 70 к.

Дэн Сяопин. Основные вопросы современного Китая. Перевод с китайского. 256 стр. Цена 60 к.

Как была крещена Русь. 383 стр. Цена 2 р. 50 к.

О Степане Шаумяне. Воспоминания, очерки, статьи современников, 272 стр. Цена 1 р. 10 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

А. Бакунц. Альпийская фиалка. Проза. Перевод с армянского. 399 стр. Цена 2 р.

А. Грибоедов. Горе от ума Факсимильное издание. 1833 г. 183 стр. Цена 5 р.

Д. Остен. Собрание сочинений в 3-х тт. Перевод с английского. Т. 1. 750 стр. Цена 6 р.

«РАДУГА»

Ю. Воронов. Блокада. Книга стихов. На немецком языке с параллельным русским текстом 263 стр. Цена 1 р. 80 к.

А. Карпентьер. Царство земное. Век просвещения. Романы. Концерт барокко. Арфа и тень. Повести. Перевод с испанского. («Мастера современной прозы»). Куба) 576 стр. Цена 4 р. 20 к.

М. Маммери. Забытый холм Опиум и дубинка. Через пустыню. Романы. Перевод с французского. («Мастера современной прозы»). Алжир) 457 стр. Цена 3 р. 80 к.

С. Шмаглевская. Невинные в Нюрнберге. Роман. Перевод с польского. 272 стр. Цена 2 р.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

А. Вампилов. Я с вами, люди. Рассказы, очерки, статьи, фельетоны. Одноактные пьесы. Из записных книжек Воспоминания друзей 445 стр. Цена 1 р. 60 к.

А. Жемчужников. Стихотворения. («Поэтическая Россия») 333 стр. Цена 1 р. 10 к.

В. Короленко. Война пером («Библиотека русской художественной публицистики») 493 стр. Цена 2 р. 50 к.

Литературная газета А. С. Пушкина и А. А. Дельвига, 1830 год, № 1—13. 255 стр. Цена 2 р. 50 к.

«СОВРЕМЕННОК»

В. Белов. Бухтины вологодские завиральные в шести темах. 159 стр. Цена 2 р. 10 к.

В. Лакшин. Пять великих имен. 460 стр. Цена 1 р. 30 к.

Люблю я Кавказ. Поэтический сборник. Переводы. 495 стр. Цена 1 р. 80 к.

Я. Смелянов. Строгая любовь. Повесть в стихах. 94 стр. Цена 1 р. 60 к.

«КНИЖНАЯ ПАЛАТА»

В. Быков. Карьер. («Популярная библиотека») 224 стр. Цена 2 р. 60 к.

Зависит от нас. Перестройка в зеркале прессы. Сборник. («Популярная библиотека. Актуальная публицистика») 359 стр. Цена 2 р.

В. Мананин. Повести. Предтеча. Утрата. Один и одна. («Популярная библиотека») 336 стр. Цена 3 р. 60 к.

Современная фантастика. Повести и рассказы советских и зарубежных писателей. («Популярная библиотека») 703 стр. Цена 6 р.

«НАУКА»

Д. Альшиц. Начало самодержавия в России. Государство Ивана Грозного («Страницы истории нашей Родины») 244 стр. Цена 50 к.

Естественнонаучные представления Древней Руси. Счисление лет. Символика чисел. «Отреченные» книги. Астрология. Минералогия 320 стр. Цена 1 р. 40 к.

Ф. Щербатской. Избранные труды по буддизму. Перевод с английского. 426 стр. Цена 2 р. 60 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

А. Веселый. Россия, кровью умытая. Роман, рассказ. («Кубанская библиотека») Краснодар. Книжное издательство. 478 стр. Цена 2 р. 50 к.

И. Северянин. Стихотворения. Поэмы. («Русский Север») Архангельск, Северо-Западное книжное издательство. 382 стр. Цена 1 р. 70 к.

Чернобыль. Дни испытаний. Книга свидетельств Стихи, очерки, рассказы, отрывки из романов и повестей, интервью Киев. «Радяньський письменник». 509 стр. Цена 1 р. 60 к.

Редакция журнала рукописи не рецензирует и объемом менее 2 печатных листов не возвращает.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографии-изготовители, указанные в выходных сведениях журнала.

Главный редактор **С. П. Залыгин**

Редакционная коллегия:

Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **Р. Г. Гамзатов**, **Д. А. Гранин**, **И. Я. Зиедонис**, **В. А. Костров** (зам. главного редактора), **В. Н. Крупин**, **Д. С. Лихачев**, **П. А. Николаев**, **Б. И. Олейник**, **Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **И. Б. Роднянская**, **В. И. Селюнин**, **М. В. Тимофеева**, **О. Г. Чухонцев**, **В. А. Ярошенко**

Адрес редакции: 103806 ГСП Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 21.10.88 г. Подписано к печати 14.12.88 г. А 04983.

Формат бумаги 70×108¹/₁₆. Высокая печать. Объем 17 п. л. (23,8 усл. печ. л.) 27,02 уч.-изд. л.

Тираж 1.560.000 экз. (3-й завод 580.001—780.000 экз.). Зак. 2556

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
103798 Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

Набрано и сматрировано в ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5.
Отпечатано в типографии «Красная звезда», 123826, ГСП, Москва Д-317, Хорошевское шоссе, д. 38.

Цена 1 р. 20 к.

70636

Новый мир, 1989, № 1, 1—272.